

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1966

9



1966

# ИЗВЕСТИЯ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 9

Сентябрь 1966 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
М. ГАЛЛАЙ — Первый бой мы выиграли. Из записок летчика-испытателя	3
В. СЕМИН — Наши старухи, рассказ	51
ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ — Грек ищет гречанку, комедия в прозе. Перевела с немецкого Л. Черная	54
С. Ф. СТАРОДУБ — Судьба отца	122
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА — Мои родители, стихотворение	158
В. БОГАТЫРЕВ — Каменские очерки	159
ЮРИЙ ГОРДИЕНКО — Из книги о детстве, стихи	177
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ ИТАЛИИ — Умберто Саба. Счастье.— Джордж Виголо. Рассеянный и счастливый...— Серджо Сольми. Подсолнух.— Чезаре Павезе. Граппа в сентябре.— Витторио Серени. Эти играющие дети.— Франко Фортини. Первый.— Нело Ризи. Единая семья.— Джованни Джудичи. Новая фирма.— Джованни Арпино. Апрель в Турине.— Эдоардо Сангвинети. Ну поплачь, поплачь... Перевел Евгений Солонович	182

### ПУБЛИЦИСТИКА

И КОН — Психология предрассудка (О социально-психологических корнях этнических предрассудков)	187
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛЕБЕДЕВА — Неразделимые контрасты	206
М. ТУРОВСКАЯ — И. о. героя — Джеймс Бонд	216

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО. Публикация А. Ермакова	231
--	-----

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	245
<b>А. Лебедев.</b> Улыбнись во гневе.— <b>Е. Полякова.</b> Раздумья о детстве.— <b>С. Львов.</b> Путь Брехта.— <b>Р. Орлова.</b> Убийство становится обыкновенным.	
<i>Политика и наука</i>	261
<b>В. Смолянский.</b> План, рентабельность, стимулы.— <b>Б. Поршнев.</b> «Потомство отомстит за меня».— <b>И. Зыков.</b> Богатство страны.— <b>Г. Герасимов.</b> «Эра Кеннеди» так и не началась.— <b>А. Потемкин.</b> Личность на грани катастрофы.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ — «Жизнь — подвиг».</b> А. Избышев, С. Шварц, Д. Карбышев.— Р. Кармен. Буэнавентура — гражданин Кубы.— П. В. Маковецкий. Смотри в корень! — Александр Кушнер. Ночной дозор.— Нина Платонова. Книжка эта про поэта.— Всегда по эту сторону. Воспоминания о Викторе Кине.	281
<b>БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ</b>	285
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	287

---



---

---

М. ГАЛЛАЙ

★

## ПЕРВЫЙ БОЙ МЫ ВЫИГРАЛИ

*Из записок летчика-испытателя*

**И**здали он был похож на безобидное блестящее насекомое. Вроде мушки или мошки, сверкающей в перекрестии лучей прожекторов.

Но, подойдя немного ближе, я узнал его. Это был «Дорнье». Двухмоторный «Дорнье-215» или, может быть, 217. Я не раз видел такую машину и на земле, и в воздухе, даже сам несколько раз летал на ней. Без сомнения, это «Дорнье»... Правда, чем-то он отличается от того экземпляра, который я знал. Вроде точно такой же и в то же время чем-то неуловимо другой: какой-то более «чужой», что ли... Однако размышлять об этом не приходится. Надо побыстрее сближаться и атаковать его, пока держат прожектора!

«Вот и пришла к нам война! — мелькнуло в голове. — Ко мне и моим товарищам...»

Мы давно ждали ее.

В сущности, вся наша юность прошла под знаком ожидания нападения на Советский Союз. И, надо сказать, наши будущие противники (да и кое-кто из будущих союзников) исправно делали все от них зависящее, чтобы поддерживать в нас это состояние ожидания. Я был еще школьником, когда произошел налет английской полиции на помещение АРКОСа — смешанного англо-советского акционерного общества — в Лондоне и разрыв дипломатических отношений между СССР и Англией. Помню демонстрации протеста против этой провокации (вот уж когда никого не приходилось уговаривать идти на демонстрацию!), сбор денег на постройку эскадрильи «Наш ответ Чемберлену», огромную челюсть и моноколь самого Остина Чемберлена на многочисленных плакатах и газетных карикатурах... Потом пошли бесконечные конфликты на границах с Японией. Угрозы из фашистской Германии, — как неожиданно для нашей молодежи эта страна композиторов и мыслителей, страна «Рот фронта», Маркса, Тельмана превратилась в потенциального врага номер один!.

И вот — Испания! Трудно рассказать сейчас, чем она была для нас в то время. Многого в том, что нас окружало тогда, мы не понимали или во всяком случае понимали не до конца. Но в испанских событиях мы разобрались сразу: там шла первая проба сил, первая схватка с фашизмом, враги там назывались врагами, друзья — друзьями. Благодаря блестящим съемкам отважных и талантливых кинематографистов Романа Кармена и Бориса Макасева мы зримо представляли себе, как это все там происходит, — и трудно было бы назвать боевик, который пользовался у зрителей таким успехом, нет, не успехом — таким личным, страстным, жадным отношением к себе, как сюжеты



испанской хроники, демонстрировавшиеся в маленьких, душных, очень не шикарных залах разных «Кинохроник» и «Новостей дня». Зал резко затихал, как только с экрана раздавались первые такты «Испанского каприччио», в сопровождении которого шла хроника, отснятая Карменом и Макасеевым, — не с той ли поры вошли в нашу жизнь разнообразные музыкальные позывные, несущие слушателю и информацию о предстоящем, и, главное, соответствующий настрой его души?

Постепенно просачивались сведения о наших добровольцах, сражавшихся в Испании. В сущности, добровольцами, всеми силами стремившимися туда, были — по крайней мере в авиации — едва ли не все. Но отбор желающих производился не скажу даже строгий, а какой-то очень выборочный, штучный. Впрочем, действовать иначе, когда требовалось послать одного из доброй сотни претендентов, было, наверное, просто невозможно. Мне уж приходилось как-то писать о том, что, узнав о боевых успехах большей части наших «испанцев», мы были склонны наивно восхищаться мудростью людей, сумевших столь удачно отобрать самых боеспособных из тысяч желающих. Много позднее стало ясно, что никакой особенной мудрости тут не требовалось. Более того, сейчас я думаю, что в отборе добровольцев, как и во многом другом в те времена, немалую роль играли соображения так называемого «анкетного» порядка. Но и это — в отличие от множества других случаев — не повредило делу: лотерея была почти беспроигрышная. Едва ли не каждый наш летчик, танкист, артиллерист — с «безупречной» ли анкетой, с красными ли галочками против каких-то ее пунктов — был если не всегда профессионально, то во всяком случае морально готов к бою с фашизмом. Подтверждение тому мы получили через несколько лет, когда началась Великая Отечественная война. Подтверждение, доставшееся нам бесконечно дорогой ценой, но от этого еще более убедительное.

Гораздо незаметнее, даже в авиационных кругах, прошло участие наших летчиков в защите китайского народа от нападения империалистической Японии. Правда, и по масштабу своему это участие было значительно скромнее, чем в испанских событиях. Но для летчиков-испытателей бои в небе Китая представлялись особо примечательными тем, что в них приняли непосредственное участие наши коллеги — опытные, профессиональные испытатели во главе с замечательным летчиком и очень симпатичным человеком Степаном Павловичем Супруном. Впоследствии он оказался первым советским воином — Героем Советского Союза, награжденным во время Великой Отечественной войны второй медалью «Золотая Звезда», — к несчастью, уже посмертно.

Мне запомнилось, как вернувшийся из Китая летчик-испытатель Константин Константинович Коккинаки — ныне Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР — рассказывал о ночном бое, который он провел против японских бомбардировщиков. Запомнилось прежде всего из-за неожиданно спокойного, очень делового тона рассказчика. Невольно пришлось задуматься над тем, что война в воздухе требует от летчика не только уверенного владения самолетом и того комплекса психологических навыков, который принято называть смелостью. Это, как говорят математики, условия необходимые, но недостаточные. Чтобы успешно воевать, надо владеть тактикой, надо непрерывно изобретать все новые и новые неожиданные для противника и выгодные для себя ухищрения. Ум, сообразительность, интеллект на войне нужны, оказывается, не меньше, а больше, чем едва ли не во всех других видах деятельности человека. Больше хотя бы потому, что наказание за лень мысли в бою более жестокое, да и в исполнение приводится чаще всего незамедлительно, без малейшей отсрочки.

Попав впоследствии на фронт, я поначалу чувствовал какое-то

подспудное, но непроходящее беспокойство по поводу того, что так и не успел, за всякими текущими испытательскими делами, должным образом изучить тактику военно-воздушных сил. Тактика эта представлялась мне тогда неким универсальным сборником рецептов, строго следуя которым будешь воевать «правильно», а значит, неизменно с максимальным эффектом и наименьшими шансами сложить голову самому (оказывается, раздумывая о рассказах наших «боевиков», я додумал все-таки не до конца). Однако, поскольку никто мне подобного рецептурного справочника не предлагал, пришлось соображать самому, причем сообщать, не мешкая: боевые вылеты шли один за другим по песколку раз в день и в каждом из них вражеских самолетов попадалось навстречу, по, увы, довольно очевидным причинам, в несколько раз больше, чем своих. И тут-то, убедившись, что, в общем, не боги горшки обжигают, я пришел к несколько неожиданному для себя, но в тех условиях весьма утешительному выводу, что вся тактика в том только и состоит, чтобы мысленно поставить себя на место противника и делать то, чего он меньше всего ожидает. Впоследствии я узнал, что, конечно же, тактика — категория гораздо более сложная и емкая, чем следовало из моей лихой экспромтной формулировки. Но, наверное, что-то более или менее существенное из понятия тактики в этой формулировке все-таки было. Во всяком случае, действуя в соответствии с ней, я чувствовал под собой нечто вроде теоретической базы — это всегда действует успокаивающе, — а главное, не имел особых оснований жаловаться на результаты.

Но все это пришло значительно позже.

А в довоенные годы, о которых идет речь, наших летчиков ждал еще не один, так сказать, предварительный экзамен. Конфликт между Японией и дружественной нам Монголией, начавшийся весной тридцать девятого года в районе реки Халхин-Гол, сложился для нашей авиации поначалу не очень благоприятно. В боях с японскими воздушными силами она несла серьезные потери и в первое время оказалась не в состоянии обеспечить монгольско-советской стороне господство в воздухе. Если наши истребители-монопланы типа И-16, именовавшиеся «скоростными» (впрочем, в то время скорость в четыреста пятьдесят километров в час давала на это право), воевали еще более или менее успешно, то маневренные истребители-бипланы И-15, так хорошо проявившие себя в небе Испании, теперь, всего через каких-нибудь два — два с половиной года, оказались, даже в несколько модифицированном виде (И-15 бис), уже устаревшими. На авиационных заводах как раз начинался серийный выпуск очередной, теперь уже более значительной модификации этих бипланов: их шасси было сделано убирающимся, а мотор заменен на более мощный, с автоматическим винтом. Группа истребителей И-15З — такое название получила эта модификация — была отправлена в Монголию, а среди летчиков группы находился наш коллега летчик-испытатель Алексей Владимирович Давыдов.

Это был очень интересный человек. Редкий книголюб. Время между полетами он проводил всегда за чтением. Тут я хотел было написать, что в этом заключалось его, как сказали бы сейчас, хобби, но вовремя остановился. Нет, книга для Давыдова не была хобби. Он знал, любил, ценил книгу — и новую, и особенно старую — как человек, для которого она не развлечение, а большая часть всей жизни. Он любил поговорить о прочитанном, с кем-то поспорить, кому-то просто рассказать (при этом, как я впоследствии заметил, очень тонко учитывая круг интересов и уровень собеседника), очень старался приобщить своих товарищей к чтению, не смущаясь умеренностью достигнутых в этой области результатов. Уже несколько лет Алексея Владимировича нет среди нас, но его крепко помнят и летчики, и книголюбы, и букинисты, да и просто

многие хорошие люди, справедливо видевшие такого же хорошего человека в нем.

Вернувшись из Монголии с орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке (в довоенные годы награда довольно редкая), Давыдов откровенно рассказывал нам:

— Трудновато приходилось там на «Чайках». Полегче, конечно, чем на старых «Бйсах»<sup>1</sup>, но все-таки трудновато. Скорости нет! А без скорости никакой маневр не помогает: крутись, если хочешь, в вираже, а тебя сверху клевать будут...

Такая оценка была для нас неожиданна. Мы уже успели привыкнуть (к хорошему привыкаешь легко), что мы летаем «выше всех, дальше всех и быстрее всех» и что наши военные самолеты лучше или по крайней мере не хуже, чем у наших противников. В той же Испании, например, наши истребители встречались с «Мессершмиттами», так сказать, на равных, а скоростной бомбардировщик СБ был вообще вне конкуренции: свободно уходил от истребителей противника и делал над его территорией что хотел.

И вот, нате вам, сюрприз: «трудновато»! Впрочем, я думаю, в относительных неудачах наших «Чаек» на Халхин-Голе виноваты не столько создатели именно этой конкретной машины, сколько, так сказать, кризис специально маневренного истребителя как класса боевых машин вообще. Воздушные бои на виражах — «карусели», как их называли, — отжидали свой век.

Нужна была новая техника и новая тактика. Нужна была скорость.

Нужна была скорость!

В сороковом году наша авиационная промышленность породила целое созвездие новых скоростных самолетов. К весне сорок первого года они начали — увы, только начали! — выпускаться серийно. Но новое никогда не дается легко. Одна за другой выплывали «детские болезни» — дефекты, неизбежно присущие всякой вновь созданной машине. Приходилось выявлять причины этих дефектов, изыскивать меры их устранения, проверять эффективность принятых мер — словом, летать, летать и летать.

Все понимали, что повозиться с новыми самолетами есть полный расчет. Дефекты дефектами, а по главным, решающим своим качествам машины получились явно удачными: и МиГ-3, созданный под руководством А. И. Микояна и М. И. Гуревича, и ЛаГГ-3, сделанный в конструкторском бюро С. А. Лавочкина, В. П. Горбунова и М. И. Гудкова, и ЯК-1, коллективом создателей которого руководил А. С. Яковлев. Стремительные, узконосые, тонкокрылые, одинаково красивые на земле и в воздухе, они зримо воплощали главное качество самолета — скорость!

Нам казалось, что лучшие истребители невозможно себе и представить.

И казалось, в общем, правильно. Тот же МиГ-3, например, первым среди советских серийных боевых самолетов перевалил по скорости за шестьсот километров в час. Конечно, сейчас, через четверть века, когда даже пассажирские самолеты летают быстрее, подобной цифрой никого не удивишь. Но тогда она звучала весьма серьезно.

Тем досаднее представлялись недостатки новых самолетов — пресловутые «детские болезни». Недостатки, в сущности, частные, непринципиальные, но ставшие труднопреодолимой преградой на пути наших долгожданных новинок в большие серии, на полевые аэродромы, в руки наших товарищей — летчиков строевых частей военной авиации.

<sup>1</sup> То есть на И-15 бис.



Правда, последующие события показали, что самолетный парк, с которым мы встретили войну (как, наверное, и боевая техника других родов войск), имел и другие недостатки — уже не столь частные, вызванные не какими-то просчетами конструкторов, а самими требованиями, вытекавшими из тогдашних представлений о характере будущей войны в воздухе. Конструкторские бюро создавали новые машины не по собственному наитию, а по четко сформулированному заданию. Что им заказывали, то они и делали. Вот, скажем, у того же МиГ-3 все летные данные — прежде всего скорость — достигали расцвета на высоте восемь и более километров, а на высотах средних и тем более малых были гораздо скромнее. Так вот, оказывается, это в точности соответствовало заданию и отражало господствовавшую до войны уверенность в том, что действия авиации развернутся главным образом на самых верхних этажах — в стратосфере.

Впрочем, характеристики МиГ-3 — далеко не единственный (и не самый разительный — в общем, повторяю, машина получилась хорошая) пример просчетов в прогнозах наших авиационных стратегов, отразившихся на облике авиационной техники сорок первого года. Взять хотя бы судьбу такого уникального самолета, как ИЛ-2 — бронированного штурмовика, подобного которому не было ни в одной армии мира, оказавшегося едва ли не самым эффективным и боеспособным самолетом второй мировой войны. О нем шли долгие споры — нужна такая машина или, может быть, она нам ни к чему? Пока спорили, естественно, самолет не строили или строили в количествах совершенно гомеопатических. И лишь блестящие результаты боевого применения «Ильюшина-2» на полях сражений заставили уже во время войны — ценой великих трудов — спешно налаживать массовое производство штурмовиков.

А наш тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Петляков-8»! По своим летным данным — и скорости, и грузоподъемности, и вооружению — он по крайней мере не уступал американской «Летающей крепости», если не превосходил ее. И создан он был нельзя сказать, чтобы не своевременно: первый вылет АНТ-42 (так сначала назывался Пе-8) состоялся за целых четыре с половиной года до начала войны. Но все эти годы ушли на споры о том: «А нужны ли нам тяжелые бомбардировщики вообще?»

Дебатов вокруг этой проблемы было много. Высказывались самые различные точки зрения, начиная от доктрины итальянского генерала Дуэ, полагавшего, что войну можно выиграть без какого-либо участия сухопутной армии, с помощью одних лишь массированных налетов тяжелой бомбардировочной авиации, и до... до той самой концепции «только легкой фронтовой авиации», сторонники которой насовали столько палок в колеса на пути Пе-8 к крупносерийному производству. В результате, как было написано впоследствии в шеститомнике «История Отечественной войны Советского Союза», к началу войны мы пришли, по существу не имея хороших дальних бомбардировщиков в количестве, необходимом для нанесения серьезных ударов по военно-промышленным объектам в глубоком тылу противника.

Правда, говоря сейчас обо всем этом, нельзя упускать из вида и другую сторону вопроса. Проще всего было бы, имея за плечами опыт большой войны, метать грома и молнии по адресу консерваторов и ретроградов, так много наошибавшихся в определении путей развития нашей военной авиации. Слов нет, были, наверное, среди людей, занимавшихся этим делом, и консерваторы, и ретрограды, и любители чрезмерно пристальной оглядки на действительное или предполагаемое мнение высшего начальства. Были, по-видимому, и просто недостаточно знающие и одаренные. Но нельзя забывать, что и объективные трудности,

стоящие на пути решения таких задач, без преувеличения, огромны! Как определить заранее, какие типы боевых машин окажутся наиболее подходящими в будущей войне, сами контуры которой известны до поры до времени — пока она не началась — лишь весьма приблизительно? Более того: наличная техника может в свою очередь повлиять, в какой-то степени, и на сам характер войны. Взять хотя бы тот же вопрос о высотах действий авиации: естественно, что бомбардировщики противника устремятся прежде всего на те высоты, где... слабее всего наши истребители — то есть на высоты, в наименьшей степени отвечающие нашим прогнозам.

Словом, сложное это дело! И мы, молодые испытатели, в последние предвоенные месяцы о нем и не помышляли — не будем изображать себя мудрее, чем были в действительности. Нам с избытком хватало и текущих дел по устранению вполне очевидных, конкретных недостатков наших новых скоростных самолетов.

На МиГ-3 больше всего возни было, помнится, с мотором. Мощный, прочный, очень высотный (сохраняющий свою мощность до больших высот), он оказался опасно капризным при переходе с режима на режим. Когда летчику, например, при заходе на посадку требовалось подтянуть — уточнить заход небольшим прибавлением тяги — или тем более уйти на второй круг, чтобы повторить заход на посадку заново, тут-то мотор зачастую и подводил. Он не слушался сектора газа, хлопал, дергался на подмоторной раме — но не тянул!

Летчики-испытатели упорно экспериментировали с капризничавшим мотором, и, конечно, это не могло обойтись бесплатно. Пошли потери.

Выполнив очередное задание, летчик-испытатель Афанасьев — кстати, один из первых в истории парашютизма мировых рекорсменов по затяжным прыжкам — возвращался на свой аэродром. Дело шло к обеду, а потом ему предстояло сделать еще один или два полета. Машина красиво развернулась со снижением над городом и вышла на последнюю прямую. Последней она называется потому, что заканчивается приземлением. Иного смысла в это слово, конечно, не вкладывают, хотя на сей раз был в нем и иной, горький смысл. Какая-то причина помешала посадке — мало ли что может возникнуть на большом, интенсивно работающем аэродроме: то ли не вовремя вырулила на бетонную полосу другая машина, то ли заходит на посадку самолет, имеющий преимущество в очередности, то ли что-нибудь еще... Так или иначе, Афанасьев увидел, что белье полотнища посадочного «Т» были быстро переложены и превратились в крест. Посадка запрещена! Летчик плавно повел сектор газа вперед... Мотор загудел громче, принял было обороты, потянул — самолет из снижения перешел в горизонтальный полет, потом в набор высоты... Вот уже центр летного поля точно под ним — и в этот-то самый неподходящий момент (всегда в самый неподходящий!) мотор отказывает... Хлопки... Дым из патрубков... Мгновенно гаснет скорость.

Куда в таком положении деваться? Некуда! И самолет врезался в рошу за аэродромом.

Весной сорок первого года наша авиация потеряла вслед за Афанасьевым одного за другим нескольких отличных, квалифицированных испытателей, в том числе старейшего представителя нашей профессии, участника первого большого советского перелета Москва — Пекин в 1925 году Аркадия Никифоровича Екатова.

Сейчас я думаю: можно ли считать эти потери небоевыми? Сколько жизней наших военных летчиков в первые, самые трудные месяцы войны прикрыли собой испытатели, доводившие до полного совершенства

новое, так остро нужное военно-воздушным силам оружие! Нет, это были боевые потери в чистом виде! Наши товарищи погибли как воины!

Но, как ни горьки были эти потери, испытательные полеты на МиГах, ЯКах и ЛаГГах продолжались полным ходом.

Шли последние часы мирного времени.

И вот — война!

Нет нужды рассказывать, как она была воспринята моими товарищами и мной, какие вызвала мысли и чувства. Наверное, точно такие же, как у всех наших сограждан. Никогда я не видел такого точного всеобщего совпадения помыслов и устремлений, как в годы войны. Беда сплачивает, а тут большая беда грозила не отдельному человеку и не более или менее многочисленной группе людей, а всей стране.

Первая реакция молодых испытателей была вполне естественной: скорее на фронт!

Впрочем, это было легче сказать, чем осуществить. В самом деле, соваться с просьбой: «Отправьте меня на войну» — в районный военкомат профессиональному летчику-испытателю было не очень прилично, а главное — безнадежно: отнестись к такой просьбе серьезно там не могли. Куда же податься?

В разгар раздумий на эту тему я получил ценную информацию от моего приятеля — авиационного инженера и летчика-спортсмена Андрея Арсеновича Манучарова. Он был в свое время ведущим инженером по летным испытаниям самолета конструктора П. Д. Грушина, на котором ведущим летчиком был мой товарищ, впоследствии один из лучших испытателей нашей страны Алексей Николаевич Гринчик. Гринчик и послужил, так сказать, начальным связующим звеном между мной и Манучаровым, хотя очень быстро надобность в каких-либо звеньях подобного рода полностью отпала: душевный контакт между нами установился легко. Во многом этому способствовала общность интересов — конечно же, Манучаров, как, впрочем, в те годы едва ли не каждый молодой человек, обладавший одновременно летной и авиационно-технической квалификацией, хотел летать. И, конечно же, летать испытателем.

Как известно, судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет в жизни. Через пять лет после описываемых событий первых дней войны, во время испытаний первой серии отечественных реактивных самолетов А. А. Манучаров был в составе группы военных летчиков-испытателей, севших в кабины этих машин. Продолжает он успешно летать и по сей день, преодолевая многие неблагоприятствующие этому обстоятельству, начиная хотя бы с небезукоризненного, с точки зрения придирчивой авиационной медицины, здоровья.

Так вот, в первые же дни войны Андрей передал мне, что С. П. Супрун и другой известный летчик-испытатель — П. М. Стефановский — формируют из летчиков-испытателей учреждения, в котором они служили, два истребительных авиационных полка.

Казалось бы, вот оно — то самое, что нужно!

Но пока сообщение Андрея дошло до меня, пока я, явно не перестроившись еще на режим военной оперативности, пытался дозвониться Супруну, было уже поздно. За два дня полки были сформированы и улетели на фронт. Улетел и Андрей Манучаров. Правда, ввиду недостаточности летного опыта (он на истребителях в то время не летал), его взяли поначалу не летчиком, а техником.

Но я-то остался вообще ни с чем!

Не буду продолжать рассказ о других моих попытках и попытках моих товарищей попасть на фронт — достаточно сказать, что все они



оказались безрезультатными. Кое-кто из коллег, исповедовавших мудрое солдатское правило — ни от чего не отказываться и ни на что не спрашивать, — начал уж было не без яда спрашивать у нас:

— Ну что, молодежь? Все еще не вступили на тропу войны? Не знаете, где вход на нее?

И мы даже не обижались на эти слова. Было не до обид. Голова была занята другим — хотелось, нет, не хотелось, а действительно требовалось для поддержания душевного равновесия как-то переварить многие и многие неожиданности, которые принесла с собой война.

А она принесла их куда больше, чем хотелось бы!

Не буду говорить об общеизвестных неожиданностях — в кавычках и без кавычек, — начиная с самих обстоятельств, при которых война свалилась на нас. Об этом уже писалось много и справедливо. Действительно, получилось, что все мы в течение многих лет ждали войну вообще, но очень мало кто из нас (включая, к сожалению, лиц, занимавших высшие посты в армии и стране) был готов к ней конкретно... Молодежи нашего поколения так долго и с таким постоянством напоминали об опасности нападения на СССР — независимо от степени накала этой опасности в каждый конкретный момент, — что это постепенно превратилось в привычное. А значит, в не очень сильно действующее эмоционально. Оказалось, что повторение — далеко не всегда мать учения. И разговоры о грядущей войне, при всей их объективной обоснованности, стали восприниматься не столько как свидетельство реальной угрозы, сколько как некий привычный и, в общем, сам по себе особых неприятностей не причиняющий фон всей нашей жизни. Самые значительные слова от неумеренного употребления теряют свой внутренний смысл — в последующем мы не раз убеждались в этом.

К тому же, как известно, в момент наивысшего обострения опасности войны — когда гитлеровские армии уже были на исходных позициях для вторжения в СССР — нас будто нарочно успокоили. Сказали: не тревожьтесь, все в порядке, Германия строго соблюдает... Думаю, никто из людей нашего поколения не забыл печально знаменитое «Сообщение ТАСС», опубликованное ровно за неделю до 22 июня!

Да — неожиданно для большинства из нас грянула война! С этой главной неожиданности и началось. А потом неожиданности, почти сплошь невеселые, пошли одна за другой.

О том, что у немцев сильная бомбардировочная авиация и что они имеют обыкновение активно бомбить важные центры в тылу своих противников, — было хорошо известно. Двухлетний опыт войны в Европе, начиная хотя бы с длительной, тяжелой, принесшей обеим сторонам немалые потери воздушной битвы за Британию, свидетельствовал об этом с полной определенностью.

Но мысль о том, что в случае войны гитлеровцы, конечно же, попытаются бомбить Москву, пришла в головы людей, коим об этом думать прямо по службе надлежало, нельзя сказать, чтобы очень своевременно. Во всяком случае единое, объединенное общим командованием соединение истребительной авиации, предназначенное для воздушной обороны Москвы — 6-й авиакорпус ПВО, — было создано буквально за считанные дни, вернее часы, до начала войны: приказ командира корпуса полковника (сейчас, когда пишутся эти строки, — генерал-полковника авиации) И. Д. Климова о своем вступлении в должность датирован 21 июня 1941 года. До этого истребительная авиация ПВО Москвы, конечно, тоже существовала, но существовала в виде отдельных, разрозненных полков и дивизий. Создавать единый, управляемый

из общего центра организм, который, конечно, только и мог решить столь сложную задачу, Климову и его ближайшим помощникам — заместителю командира корпуса (а в будущем его командиру) полковнику Митенкову, военному корпусу бригадному комиссару Чернышеву, начальнику штаба полковнику Комарову — приходилось, начиная с самых первых шагов, уже в военное время, фактически одновременно с выполнением боевых заданий.

И тут выяснилось — еще одна из серии неожиданностей, — что части 6-го авиакорпуса вооружены преимущественно устаревшими самолетами, теми самыми «И-шестнадцатыми» и «Чайками», которые в Испании проявили себя блестяще, на Халхин-Голе — удовлетворительно, от силы хорошо, но сейчас, в преддверии большой войны, явно нуждались в замене. Их и заменяли: перевооружение нашей авиации уже началось — недаром так интенсивно шли испытания и доработки МиГов, Яков и ЛаГгов, — но, к сожалению, именно только началось.

Обидно много оказалось в те дни такого, чего мы чуть-чуть не успели. По крайней мере в авиации. Не знаю даже, что досаднее — чистое упущение, недомыслие, неожиданно для всех обнаружившееся с началом войны, или такая вот вещь, о которой подумали, предусмотрели, приняли верное решение, начали уже делать... и вот — не успели вовремя доделать!

В сущности, если вдуматься, в самом факте цикличности колебаний уровня боевой техники ничего противоестественного нет. Совершенно нормально, что, завершив очередную замену устаревших самолетов, танков, орудий на новейшие, любая страна некоторое время пожинает плоды этой замены — располагает наиболее совершенным техническим оснащением своей армии. Но предпринимать такое дело чересчур часто невозможно: на это никаких ресурсов самой богатой державы не хватает. В результате через некоторое время отличная техника превращается в хорошую, а затем и в удовлетворительную. Периоды пиков и провалов этой сложной периодической кривой в разных странах, естественно, не совпадают. И, надо сказать, гитлеровцы, нападая на нас, конечно, кроме всего прочего, учитывали тот факт, что в отношении оснащения боевой техникой наша армия (и, в частности, авиация) едва вышла из очередной нижней точки и только-только пошла на подъем.

Это чувствовалось повсюду — чувствовалось и в частях истребительной авиации Московской зоны ПВО. Новых самолетов было еще очень мало, немногие полки успели получить их, а в получивших — далеко не все летчики освоили даже дневные полеты на этих машинах, не говоря уже о значительно более сложных ночных. А между прочим, налетов противника следовало ожидать именно ночью. Это тоже было очевидно, но, видимо, как и многое другое, — лишь в о о б щ е.

Положение требовало решительных мер, и, к чести командования нашей авиации, такие меры были приняты. Не буду перечислять их — я пишу не историческое исследование, а всего лишь главу воспоминаний, — расскажу только об одной, наверное, далеко не наиболее важной, но имевшей самое непосредственное отношение ко мне и моим товарищам: об организации двух отдельных (это значит — не входивших в состав какого-либо полка и дивизии, а подчинявшихся непосредственно командиру корпуса) авиационных ночных истребительных эскадрилий противовоздушной обороны города Москвы.

Летный состав этих эскадрилий был сформирован из летчиков-испытателей авиационной промышленности.

— Здорово! Наконец-то и мы понадобились! — комментировал это событие Гринчик.

И все мы безоговорочно согласились с ним, хотя, если вдуматься, ничего особенно «здорового» в обстоятельствах, заставивших вспомнить о нас в подобном плане, конечно, не было.

Перечитывая сейчас старые приказы о формировании этих эскадрилий, первый из которых начинался внушительными словами: «Ставка приказала...», я вижу, что командование считало нас (или во всяком случае писало так, будто бы считало) куда более зрелыми мастерами, чем мы были в действительности.

Так, в приказе по корпусу говорилось, что летный состав обеих отдельных эскадрилий обладает большим опытом по эксплуатации самолета в воздухе и уверенно летает на всех высотах и ночью.

Правда, если отбросить последнее утверждение — относительно ночи, — то, в общем, подобная характеристика была не очень далека от истины.

Мы и в самом деле имели на новых истребителях, особенно на МиГах, больший налет, чем летчики любой строевой части. Тут, как нередко случается, не было бы счастья, да несчастье помогло: эпопея с капризными моторами и другими «детскими болезнями» первенцев нашего скоростного самолетостроения заставила изрядно полетать на них, а значит — надежно вжиться в их повадки, привыкнуть к тому, что они любят, а чего не любят, начать чувствовать себя в их кабинах, как дома.

Это было действительно немало.

Однако, к сожалению, далеко не все! Ни один из нас не летал на новых истребителях ночью, мало тренировался в выполнении на них фигур высшего пилотажа, ни разу не стрелял в воздухе.

Не надо быть авиационным специалистом, чтобы оценить значение таких пробелов: мы, в сущности, не умели делать именно того, что прежде всего потребовалось бы в воздушном бою.

К счастью (теперь я понимаю, что, конечно же, к счастью!), нас это, по крайней мере в первый момент, нимало не смущало. И если бы кто-нибудь спросил тогда любого из нас — молодых и по-молодому самоуверенных, — умеем ли мы делать все, что положено ночному летчику-истребителю, то, наверное, услышал бы в ответ нечто подобное классическому анекдоту:

— Скажите, вы умеете играть на скрипке?

— Не знаю. Никогда не пробовал. Очень может быть, что умею.

Впрочем, в интересах истины надо добавить, что определенная разница между персонажем этого анекдота и нами все же была. Мы действительно «никогда не пробовали» делать именно данные вещи на именно данном самолете. Но мы, при всей своей профессиональной, да и не только профессиональной, молодости, уже так много раз успешно справлялись с совершенно новыми для себя заданиями на столь же новых машинах, что успели привыкнуть к этому. «Привычка к непривычному» — едва ли не самая характерная черта, отличающая летчика-испытателя от летчиков других специальностей. На всех новых типах самолетов мы вылетали сами, в лучшем случае после короткого устного инструктажа-консультации со стороны кого-нибудь из уже попробовавших новую машину коллег, а иногда, когда такого коллеги рядом не было, то и без этого.

На том же «МиГ-третьем» я вылетал, посидев минут десять — пятнадцать в его кабине, попривыкнув таким образом к расположению рычагов и приборов и выслушав в заключение примерно следующую речь моего товарища, летчика-испытателя Якимова, имевшего в тот



момент уже весьма солидный — не менее чем двух- или трехдневный — стаж полетов на МиГ-3:

— На взлете держи его изо всех сил левой ногой: норовит развернуться вправо. Когда будешь на посадку заходить, учти — при выпуске закрылков он сам немного опускает нос, но недостаточно: надо еще добавить, иначе скорость быстро гаснет. Перед выравниванием держи двести—двести десять.

Так я и сделал: на взлете бдительно следил за направлением, с силой нажимая на левую педаль; снижаясь на посадку, после выпуска закрылков отдал еще немного ручку от себя; подошел к земле на скорости двести десять километров в час — и благополучно сел. Во всем остальном более или менее разобрался в полете сам. Говорю «более или менее» потому, что свободных минут для изучения повадок машины в моем распоряжении было маловато: время было горячее, шел, как я уже говорил, великий аврал, и предоставление мне специального ознакомительно-тренировочного полета для освоения МиГа в воздухе было расценено начальством как излишняя роскошь. Так я, как, впрочем, почти все мои товарищи, и полетел впервые на новой для себя машине сразу по испытательному заданию. Да еще выслушал по возвращении упреки ведущего инженера — моего институтского товарища Евгения Гансовича Каска:

— Что ж ты не все режимы сделал?

— Не успел, Женя.

— Другие успевают.

— Ну, ничего. Завтра успею...

Назавтра я действительно успел все и, на правах старого «миговца», уже инструктировал кого-то: «На взлете держи его изо всех сил левой ногой...»

Так что некоторые основания для самоуверенного убеждения — мы все можем! — у нас, по-видимому, все-таки были.

Но представляло ли себе истинный уровень нашей подготовленности начальство, подписавшее приказ о формировании грозных отдельных авиаэскадрилий, — этого я не знаю и по сей день.

Все на свете начинается с организации.

С того же началась и деятельность командования нашей эскадрильи. С назначений, перемещений, уточнений списков личного состава и материальной части.

Материальная часть у нас оказалась довольно пестрой. Кроме шести МиГов, ради которых, в сущности, и была сформирована эскадрилья, в ней числились еще четыре И-16 и два И-153 — «Чайки». Ничего хорошего в подобной разношерстности, конечно, не было, но что поделаешь: боевой техники в 6-м авиакорпусе, как, впрочем, и во всей нашей авиации, не хватало, и пренебрегать хотя бы одной, пусть устаревшей, лишней машиной не приходилось.

Первая отдельная авиаэскадрилья, сформированная из летного и технического состава завода, выпускавшего МиГ-3 серийно, оказалась в этом смысле в более выгодном положении: у них было девять самолетов одного и того же, самого современного в те дни типа — МиГ-3.

Командиром первой эскадрильи был назначен летчик-испытатель майор Н. Н. Иноземцев, а нашей, второй, — известный летчик-испытатель, мировой рекордсмен, участник беспосадочного перелета из Москвы через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки Герой Советского Союза полковник Андрей Борисович Юмашев.

Через много лет после описываемых событий в тихом читальном зале Центрального архива Министерства обороны я увидел старые листы списков личного состава эскадрильи — приложений к приказам о

ее формировании. Как положено в подобных случаях, дело шло по инстанциям — сверху вниз. Каждая последующая инстанция выпускала свой приказ, который начинался словами: «Объявляю приказ...» (следовало наименование инстанции вышестоящей) — и заканчивался ссылкой на приложение: списки личного состава. Вот эти-то списки и отличались, как я сейчас обнаружил, заметным непостоянством. Из двадцати с лишним летчиков нашего института нужно было выделить двенадцать в состав эскадрильи, и тут-то и могли возникнуть и, видимо, возникли в действительности определенные сомнения: кого выбрать?

В самом деле — кого? Ну, разумеется, прежде всего тех, кто уже имел боевой опыт, успел принять участие в военных действиях. С кандидатурами таких летчиков спорить не приходилось. Впрочем, их у нас было немного, испытателей, познавших воздушный бой еще до Великой Отечественной войны: сам комэск Юмашев, летчик-испытатель майор Николай Васильевич Гаврилов, воевавший в Китае, да летчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов, отличившийся в боях на Халхин-Голе, — вот, пожалуй, и все. Особо бесспорной была позиция Гаврилова — инициатора формирования наших эскадрилий: именно он подал эту идею начальству.

Итак, три вакансии заполнены. Остаются девять. Кого назначить на них? Кадровых военнослужащих или командиров (слово «офицер» тогда в ходу еще не было) запаса? Более опытных или более молодых и задорных? Имеющих наибольший налет на МиГах или имеющих наибольший специфически испытательский опыт освоения нового вообще, в чем бы это новое ни выражалось? Словом, критериев для сравнительной оценки кандидатов можно было предложить немало и, если прибавить к ним еще такой во все времена сильнодействующий фактор, как личные симпатии или антипатии начальства, станет ясно, почему забушевали страсти и за каждые несколько дней, проходивших между выпуском в свет приказов очередной вышестоящей и очередной нижестоящей инстанцией, список личного состава эскадрильи успевал заметно деформироваться. Кройка и перекраивание шли полным ходом.

Мы — молодые летчики, не имевшие ни боевого опыта, ни орденов и регалий, ни даже сколько-нибудь солидного стажа испытательной работы, — естественно, чувствовали себя наиболее вероятными аутсайдерами. Как всегда в подобных ситуациях, густо пошли слухи:

— Знаешь, тебя, кажется, вычеркнули...

— Я слышал, что Лешу включили...

— Мне дали понять, что нужны только военные...

— Юмашев говорил с кем-то по телефону. Я как раз вошел, а он сказал: «Летчик-испытатель что хочешь освоит. На то он и испытатель»...

В конце концов начальство приняло мудрое Соломоново решение: не рубить живое тело нашего коллектива на части, а... взять всех. Не беда, если поначалу на каждый самолет будет по полтора, а то и по два летчика: попросим — добавят нам самолетов.

Не знаю, что натолкнуло наших руководителей на подобное, наверное, самое разумное из всех возможных, решение. То ли правильное соображение о той самой, уже упоминавшейся профессиональной летно-испытательной «привычке к непривычному», позволявшей рассчитывать, что настоящий испытатель во всем разберется и все освоит, как говорят, на ходу: и ночной полет, и стрельбу в воздухе, и вообще все, что там еще понадобится.

Возможно, сыграло свою роль и то обстоятельство, что с началом войны резко сузился круг летно-испытательной работы. Хотя слова о том, что война продлится «еще несколько месяцев, полгода, годик на-

конец, и гитлеровская Германия рухнет под тяжестью своих преступлений», еще не были сказаны, но представление о возможной продолжительности войны у всех нас было, как показал дальнейший ход событий, весьма заниженное. А раз так, то какой смысл работать над новой авиационной техникой, которая все равно в этой войне участвовать уже не успеет? Надо выпускать побольше наших прекрасных современных МиГ-3, ЯК-1, ЛаГГ-3, ИЛ-2, Пе-2, а следующие типы новых машин — дело послевоенного будущего. Разумеется, если в существующих самолетах выявляются какие-то второстепенные недостатки, надо их устранять и проверять это в воздухе, ну, а больше испытателям вроде делать сейчас нечего...

Так или почти так рассуждали у нас многие. Правда, в интересах истины следует сказать, что подобные концепции жили очень недолго. Уже осенью сорок первого года возобновилась интенсивная испытательская работа. Оказалось необходимым в срочном порядке выяснить очень многое: и почему летные данные самолетов в боевой эксплуатации хуже, чем у опытного образца, и сколько километров в час скорости съедает открытый фонарь кабины летчика, и чем отличаются характеристики винта с деревянными лопастями от характеристик винта с лопастями из дюралюминия, и многое, многое другое. За каждой из этих проблем стояла живая, далеко не радостная в те месяцы военная действительность. Деревянные лопасти понадобились потому, что мы потеряли большую часть металлургических заводов, производящих «крылатый металл» — дюралюминий. С открытыми фонарями фронтовые летчики металы не по безграмотности или косности характера, а потому, что иначе невозможно было обеспечить себе круговой обзор, нужный в воздушном бою не в меньшей степени, чем скорость. Война заставила разгрызть все эти твердые орешки, а по прошествии некоторого времени потребовала и новых типов самолетов, — так родились знаменитые впоследствии Ла-5, ЯК-3, ЯК-9, Ту-2. Но все это было потом. А в первые недели войны летно-испытательная работа почти замерла. И, конечно, это тоже существенно облегчило принятие решения включить всех летчиков нашего института в состав боевой эскадрильи ПВО.

В эти первые недели в мыслях и чувствах многих из нас царила какая-то странная раздвоенность: мы пусть не в полной мере, но сразу поняли масштаб надвинувшихся событий, почувствовали, что отныне вся наша жизнь разрублена на до и после, — но при всем том в первой половине июля сорок первого года многим из нас представлялось, что война все еще далеко — если не во времени, то по крайней мере в пространстве.

Психология мирного времени оказалась неожиданно живучей.

Поэтому приказ командования о выделении из состава нашей эскадрильи на каждую ночь дежурного звена был встречен летчиками, как принято выражаться, без должного понимания:

— Что они там, не знают, что ли, что мы еще не готовы? Все равно — выделяй дежурное звено или не выделяй — толку от нас сейчас мало. Вот летаем на МиГах в сумерках, потом ночью, постреляем по конусу, по наземным мишеням — после этого и доложим начальству: так, мол, и так — к бою готовы... Тогда, пожалуйста, назначайте в дежурство хоть днем, хоть ночью...

При всей нашей здоровой испытательской уверенности в том, что мы справимся с любым делом, мы еще не переварили мысль, что справиться придется не вообще, а с ходу, без подготовки.

Простая истина, состоящая в том, что если на тебя напали, а ты воевать не готов, не остается ничего другого, как начинать воевать не-



подготовленным, уже воспринималась нами применительно ко всей стране, но... не к нашей эскадрилье. Переход от общего к частному, оказывается, не всегда психологически проще перехода от частного к общему.

Но, так или иначе, приказ остается приказом. По воинским правилам он не обсуждается, а выполняется. Мы были еще далеко не до мозга костей военными людьми в то время, а посему приказ обсуждали. Однако, обсудив и даже признав нецелесообразным, все же выполняли: что-то военное в нас все-таки уже было.

А приказ, как я понял впоследствии, логически вытекал из обстановки. Хронологически и, по-видимому, причинно он совпал с первым появлением над Москвой вражеского самолета-разведчика, который 8 июля пришел со стороны Волоколамска, прошел среди бела дня над Москвой — и безнаказанно ушел на запад. Тогда-то и были введены дежурства истребителей: в одних частях — дневные, а у нас, поскольку мы, как было сказано, во всех документах числились ночниками, — ночные.

В одно из начавшихся ночных дежурств я претерпел первые неприятности в своей воинской карьере. Придя в вечерних сумерках к своему МиГу и приняв доклад механика, я уселся в кабине и начал методически проверять исправность боевой техники: показания приборов, положение рычагов и тумблеров, электрическое оборудование... Вот на электрооборудовании-то я и оплошал — недолго думая, нажал на рычажок под надписью «посадочная фара». И в тот же миг, как оно и положено, прикрытый прозрачным плексигласом вырез в передней кромке левого крыла вспыхнул ярким светом и высветил в нескольких десятках метров перед машиной на зеленой траве аэродрома обширное овальное пятно. Убедившись, что фара в порядке, я через три-четыре секунды выключил ее. Но прегрешение уже было содеяно! Я еще продолжал спокойно проверять исправность многообразного оборудования самолета, не подозревая, что в это время уже зазвонили телефоны, забежали люди, зазвучали приказания «выяснить и доложить».

Нарушение режима светомаскировки! Вот как, оказывается, называлось содеянное мной, а вовсе не опробование фары, как я по наивности ответил прибежавшему заместителю командира эскадрильи.

Режим светомаскировки! Конечно, в условиях военного времени он необходим. Но даже если бы такой необходимости не было, его следовало бы выдумать, ибо ничто другое не предоставляло столь широких возможностей для выхода рвущейся наружу гражданской активности части населения, особенно тяготившейся своим мирным тыловым существованием. Деятельный домовый актив боролся за соблюдение режима светомаскировки вплоть до того, что преследовал появление вечером во дворе человека, одетого в белую рубашку, не говоря уже о зажженной спичке, зажигалке, папиресе. Иногда обозлившийся курильщик пытался возвать к гласу рассудка:

— Ну кто с воздуха обнаружит город по папиресе, когда ее и на земле-то за двести метров уже не видно? Вы бы лучше тогда уж трамвайное движение прикрыли: вон у них дуги какие вспышки дают!

Но на подобную попытку следовал вразумительный ответ:

— Много рассуждаете, товарищ! Ясно сказано: ничего светлого в затемненном городе быть не должно. Наше дело смотреть за своим домом. А о трамваях, будьте спокойны, думает тот, кому положено.

Живучая, даже в наши дни прорывающаяся отдельными рецидивами концепция, в соответствии с которой круг мыслей человеческого ограничивается разграничительной линией «положено — не положено», пере-

живала в годы, предшествовавшие войне, пору своего расцвета. Возражать против этого «положено — не положено» было трудно.

Но, разумеется, посадочная самолетная фара — не папироса и не зажигалка. Режим светомаскировки я действительно нарушил, и попал мне, по-видимому, правильно. Единственное, чего я так и не добился от своего непосредственного начальства, это прямого приказа впредь, заступая на дежурство, фару не проверять. Точно так же не получили сколько-нибудь вразумительного ответа и мои ехидные вопросы о том, как поступать, если паче чаяния (тогда мы еще думали, что «паче чаяния») противник действительно предпримет ночной налет на Москву. Как тогда, возвращаясь из боевого вылета, включать посадочную фару или не включать? И если включать, то как быть с режимом светомаскировки? А если не включать, то как быть... с посадкой?

Читатель видит, каким глубоко невоенным человеком был я тогда: даже вопросы начальству задавал.

...Первая боевая тревога оказалась ложной.

Судя по приказу, который последовал назавтра и строго регламентировал — кто, как и в каких случаях имеет право объявлять тревогу по городу Москве, — судя по этому приказу, установить, кто первый сказал «э», в тот раз так и не удалось. Но тревога была полноценная: завывало множество сирен, гудели паровозные гудки (кстати, в только что упоминавшемся приказе содержалась специальная просьба к Наркомату путей сообщения: по возможности запретить паровозным машинистам, увидевшим в небе самолет, самостийно реагировать на этот факт гудками), даже где-то захлопали зенитки... Через много лет, читая книги воспоминаний Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова и летчика-командира А. Г. Федорова, я понял, в кого стреляли тогда зенитки — в наши же самолеты, по заданию оказавшиеся в пределах Московской зоны ПВО. Где-то не сработала договоренность авиаторов с зенитчиками — и вот результат. Слава богу, хоть не попали! Правда, как потом рассказывали, артиллерийское начальство пришло в особый гнев именно из-за последнего обстоятельства — как это так: стреляли и не попали!

В общем, хорошо уже то, что эта первая тревога чему-то научила. Во всяком случае система оповещения стала работать несравненно более четко — без излишней самодеятельности.

Еще несколько дней прошло без особенных событий, если не считать разоблачения вражеского шпиона в лице... нашего замкомэска, известного летчика-испытателя майора Владимира Васильевича Шевченко. Среди многих слухов, циркулировавших в те дни (как, видимо, всегда при нехватке полноценной информации), видное место занимали увлекательные — и, разумеется, подкрепленные ссылками на самые что ни на есть достоверные источники — рассказы о многочисленных шпионах и диверсантах, заброшенных противником в наш тыл. При всем своем разнообразии, рассказы эти имели и нечто общее, более или менее стабильное. Так, все фигурировавшие в них вражеские агенты были обязательно одеты в нашу форму — военную или на худой конец милицейскую — и имели советские ордена. В конце концов в чьих-то доверчивых, но, видимо, не очень искушенных в аналитическом мышлении головах эти многократно повторяемые приметы диверсанта трансформировались довольно странным образом: вместо доверия и уважения форма и знаки отличия стали вызывать кое у кого... подозрение.

Так или иначе, в один прекрасный день у нас на аэродроме раздался телефонный звонок и некий придирчивый («нас не проведешь!») голос принялся дотошно выяснять, состоит ли на службе в нашей орга-

низации некто Шевченко, что он собой представляет и, главное, как выглядит.

А выглядел Шевченко так: плотный, выше среднего роста, белокурый, голубоглазый, в форме майора авиации, с орденом Ленина на гимнастерке. Словом, все приметы налицо. Не человек, а чистая находка для бдительного охотника за шпионами! И, на беду Владимира Васильевича, такой охотник попался ему навстречу не где-нибудь, а на перроне Казанского вокзала в Москве (эта подробность — так сказать, место действия — усиливала подозрения: железнодорожные станции известны любому читателю детективов, как один из любимых объектов вражеских лазутчиков). Все, что оскорбленный до глубины души Шевченко высказывал задержавшим его людям, только подливало масла в огонь: «Ишь, мазурик, как русский язык выучил! Все слова знает! Их этому, наверно, в специальных школах учат...»

Появившийся через несколько часов на аэродроме Шевченко кипел так, что начальник штаба нашей эскадрильи летчик-испытатель А. П. Чернавский сказал:

— На него сейчас можно ставить сковородку и жарить яичницу.

Посмеялись. Повозмущались. Но надолго нашего внимания это происшествие к себе не привлекло. Все помыслы были направлены на события совсем иного масштаба. Первый месяц войны шел к концу. Сообщения ТАСС (они тогда еще не превратились в «от Советского Информбюро») ото дня ко дню становились тревожнее. Умалчивать о реально складывавшемся ходе событий становилось все труднее. А складывался он для нас крайне неблагоприятно: гитлеровская армия все глубже вгрызалась в нашу страну. Начали появляться наименования новых, все более близких к нам направлений.

Вероятность налета на Москву с каждой ночью представлялась все большей.

В тот вечер я снова был в составе дежурного звена — подошла моя очередь. Никаких особых эмоций это у нас уже не вызывало. Даже ворчать на начальство, навязавшее нам эти бессмысленные дежурства, перестали: все равно никакого реального толка от ворчанья нет, да и привыкает человек ко всему — разумному ли, неразумному ли — чрезвычайно быстро.

Я, как обычно, принял машину от механика А. Д. Тимашкова, проверил исправность материальной части (конечно, не зажигая фары; соблюдению режима светомаскировки меня научили!) и залег на чехлы рядом с самолетом, настроившись провести ночь в неторопливых беседах с летчиками и механиками дежурного звена. Благо МиГи стояли совсем близко друг от друга: военное положение выражалось только в том, что строгое, стройное построение машин в одну шеренгу было заменено чуть-чуть более разбросанным — в этакое художественное беспорядке, да носами самолеты смотрели не в сторону ангаров, как раньше, а в сторону летного поля — чтобы в случае чего взлетать прямо с места, без выгуливаний и разворотов.

Не буду задним числом выдумывать предчувствия, которые, по всем литературным канонам, должны были меня обуревать. Нет, предчувствий не было. Ничто, как говорится, не предвещало...

Медленно наползала теплая июльская ночь. Северная часть небосклона оставалась светлой, бирюзовой, даже звезды на ней почти не просматривались. Подумалось о родном городе — Ленинграде; там только кончились белые ночи, все небо такое, какое видится отсюда на севере: «И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря смелить дружую...»

Было тихо и как-то по-дачному уютно. Я не рассказываю, как пахло сеном с соседнего луга и как тянуло влагой с реки, только потому, что это было тысячу раз с большим успехом описано до меня. Но, честное слово, было и сено, была и река...

Неужели сегодня исполняется уже месяц, как идет тяжелая, так неудачно начавшаяся для нас война? Ничто кругом не напоминает о ней.

И в тот самый момент, когда это «ничто не напоминает» пришло мне в голову, война напомнила о себе. Напомнила в лице запыхавшегося моториста, который прибежал откуда-то от ангаров и передал приказ: продолжать дежурство в готовности номер один.

Готовность номер один — это летчик, сидящий в кабине с надетым парашютом. Это прогретый и расчехленный мотор. Это взлет через минуту после команды.

Запах сена и влаги уже нет. Пахнет бензином, авиационным лаком — словом, кабиной самолета. Передо мной зеленоватым, таинственным светом флуоресцируют циферблаты приборов. Под козырьком кабины на прицеле распят шлем с очками — если понадобится, я надену его за несколько секунд.

Если понадобится... Самое удивительное, что это «если понадобится» даже сейчас, когда я сидел в самолете в готовности номер один, продолжало представляться мне категорией достаточно отвлекенной. Велика инертность человеческой психики! Воззрения мирного времени, в частности уверенность в том, что, прежде чем воевать, надо научиться воевать, еще прочно сидели в моей штатской голове. Правда, через два-три года, как только позволили обстоятельства, к этим воззрениям в какой-то степени вернулись. Появились учебные полигоны в ближних армейских тылах, запасные учебные полки, пошли многочисленные конференции по обмену боевым опытом, возродилось понятие ввода в строй. И, конечно, все это привело к резкому повышению эффективности боевых действий и заметному сокращению потерь в нашей авиации, да и, наверное, в других родах войск. Но все это пришло потом, после того, как наша армия завоевала себе возможность воевать планоно, расчетливо, методично. На пути к этой возможности предстояло пройти через многое: и дивизии народного ополчения, и поголовные партийные мобилизации, и многое другое! Когда вспыхивает пожар и не хватает пожарных со всей их огнегасящей техникой, тушить пламя бросается каждый порядочный человек, оказавшийся поблизости. Пригодность моральная в такой момент решительно преобладает над профессиональной. Сейчас это очевидно каждому, но тогда — и я тому живой пример — многие из нас просто не задумывались об этом, уютно устроившись в ложе привычных представлений, бесспорных хотя бы от постоянного повторения. Немалую роль в этом сыграло, по-видимому, и то, что появление по первому вызову квалифицированных, оснащенных всем необходимым пожарных представлялось абсолютно гарантированным. Недаром мы читали книгу «Первый удар» и смотрели фильм «Если завтра война». Тяжкий вред, нанесенный молодежи нашего поколения литературой и искусством подобного шапкозакидательского направления, конечно, не мог раствориться мгновенно. Даже под воздействием всего, что мы узнали о настоящей большой войне за первый месяц с момента ее начала...

Прошло, наверное, около получаса после того, как наше дежурное звено было приведено в состояние готовности номер один, и в окружающем мире стали прорезаться тревожные симптомы. Донесшийся изда-лека вой сирен свидетельствовал о том, что объявлена воздушная тре-

вога — теперь, после введения строгого порядка в этом деле, посчитать ее снова ложной было трудно. Справа, в том месте небосклона, под которым угадывалась Москва, нервно закачались узкие белые столбы прожекторов. Еще западнее задрожал неясный отблеск какого-то зарева — там, в нескольких десятках километров от нас, находились сплошные прожекторные поля, прикрывавшие подступы к Москве с наиболее угрожаемого направления, — как ни мало существовала Московская зона ПВО, но ее командование во главе с генералом Громадиным и входящие в ее состав части времени за прошедший месяц зря не теряли.

Прошло еще несколько минут — и над Москвой яркими звездочками засверкали вспышки разрывов, издали похожих на невинный фейерверк. До ушей донеслось какое-то потрескивание — расстояние приглушало грохот стрельбы.

Это открыла заградительный огонь зенитная артиллерия Москвы.

Зенитная артиллерия Москвы открыла заградительный огонь!

Значит, враг где-то близко, рядом! Где он?

Но разобраться в происходящем я не успел. Из темноты, окружавшей мой самолет, вынырнула человеческая фигура, быстрыми шагами, почти бегом, подошла к машине и просунула голову ко мне в кабину. Наш командир — это был он — положил мне руку на плечо и каким-то очень интимным, неожиданным в такой обстановке и вообще мало свойственным ему тоном сказал:

— Марк, надо лететь!..

Не буду утверждать, что в тоне моего ответа бодро гремела оркестровая медь. Что ни говори, а пришлось за несколько секунд пересмотреть все установившиеся воззрения по вопросу о том, к чему я готов, а к чему еще не готов. Но, так или иначе, если не тон, то содержание моего ответа, видимо, удовлетворило нашего начальника, потому что он тут же уже нормальным «командным» голосом приказал:

— Высота три — три с половиной тысячи метров. Центр города Москвы. Ниже двух с половиной тысяч не спускаться: там привязные аэростаты заграждения. Обнаружить противника. Атаковать. Уничтожить!

Он не успел еще договорить, как механик, не дожидаясь моих распоряжений, протянул руку в кабину и несколькими движениями рукояткой заливного шприца отправил в мотор порцию бензина, нужную для запуска... Шипение сжатого воздуха из баллона... Лениво, толчками проворачиваются невидимые в темноте лопасти винта... Лапки зажигания на «включено»... Кнопка вибратора... Мотор дает вспышку, другую — и начинает работать. Добавляю ему газу, чтобы прожечь после стоянки свечи, — и сталкиваюсь с сюрпризом. Первым из, увы, достаточно обширной серии сюрпризов, с которой мне пришлось столкнуться в эту ночь.

Итак, первый сюрприз: из выхлопных патрубков мотора на всех режимах его работы, кроме малого газа, бьют здоровенные полутора-метровые, слепящие летчика синие хвосты пламени. А надо сказать, обзор из «МиГ-третьего» был и без того не богатый: глубокая посадка летчика в кабине, низкий козырек, широкий и высоко задранный вверх капот мощного мотора, широкие крылья с обеих сторон от кабины. Все это было нужно — бесплатно большой скорости не получишь, — но улучшению обзора в полете отнюдь не способствовало. Оставалось смотреть под углом к направлению полета — вперед-влево и вперед-вправо — между мотором и крылом. Днем мы так и поступали. Но что делать сейчас? Надо было что-то придумывать, и придумывать незамедлитель-

но: на взлете МиГ-3, как я уже говорил, требовал от летчика весьма решительных действий для поддержания направления. Упустить же направление означало создать боковые нагрузки на шасси, которых оно могло не выдержать. Тогда — в лучшем случае авария, если не катастрофа.

В пятидесяти метрах от меня запустился мотор МиГа, в котором находился Якимов. Наверное, сейчас он ошарашен тем же, чем я.

Издавна принято в затруднительных случаях возводить очи к небесам. Чисто рефлекторно я сделал то же самое и... увидел звезды. Вот сно — решение! На взлете буду смотреть не столько вперед, сколько вверх. Так сохранию направление, взлечу, а там — когда окажусь в воздухе — видно будет!

Перед тем, как опустить на глаза очки, кричу механику:

— Скажи ребятам: на разбеге, чтоб не слепило, смотреть поверх капота, на какую-нибудь звезду. Понял?

Механик кивает головой и по моему взмаху рукой отскакивает от машины в сторону. В сущности, мой совет — что-то вроде первого обмена опытом. В эту ночь все первое: первый ночной полет на МиГе, первый боевой вылет, первая встреча с противником... Впрочем, противника пока нет. До него предстоит еще добраться.

Плавно увеличиваю газ... Показания приборов в норме... Отпускаю тормоза... Не спуская глаз с намеченной только что звездочки, удерживаю самолет от разворота вправо (кто это придумал выражение «путеводная звезда»? Молодец! Очень точно придумал)... Ручку потихоньку от себя — все делаю почти на ощупь... Так, достаточно... Два-три легких толчка — и я всем телом чувствую отделение машины от земли... Конвульсивно вздыхаю — оказывается, во время разбега я задержал дыхание... Осторожно переносу левую руку с сектора газа на рукоятку шасси, быстро поворачиваю ее — и по импульсу всего самолета вперед, на увеличение скорости, чувствую, что шасси убралось. Правильно, вот и сдвоенный хлопок закрывающихся створок по брюху фюзеляжа. Ничего. Все в порядке: взлетели! Оказывается, МиГ-3 отлично взлетает и в темноте.

Круто набирая высоту, разворачиваюсь в сторону, где должна быть Москва, и чувствую, как меня бросает в холодный пот от того, что я увидел.

Москва была в огне.

Москва — в огне!

Кто из нас всего месяц назад мог иначе, как в кошмарном сне, представить себе что-нибудь подобное?

Впоследствии мы быстро узнали, что любая паршивая зажигательная бомба — «зажигалка», — особенно на фоне окружающего затемнения, дает такое зарево, будто по крайней мере целый квартал. Внешний эффект от ночного пожара, к счастью, несравненно больше, чем реальный вред от него.

В ночь первого налета гитлеровской авиации на Москву, как нам через день рассказали представители штаба ПВО, во всем городе возникло всего четыре сколько-нибудь серьезных пожара. А тысячи сброшенных противником зажигалок были своевременно потушены москвичами, дежурившими на крышах и во дворах своих домов. Выяснилось, что «домовый актив» способен не только на то, чтобы придираться к соседу, закурившему папиросу или вышедшему на улицу в белой рубашке. Впрочем, я так и не узнал, кто главным образом тушил зажигательные бомбы: те, кто делал замечания за нарушения режима свето-

маскировки, или же те, кому эти замечания адресовались. Не удивлюсь, если окажется, что последние: многие представления о гражданских достоинствах людей были сдвинуты войной (хотя, что еще более удивительно, очень скоро вернулись на исходные позиции, когда война осталась позади).

Но подходя в ту памятную ночь к Москве, я ничего о том, как выглядят горящие «зажигалки», еще не знал. Я видел множество ярких огненных точек, сливающихся в отсвет сплошного зарева. В голове мелькнули ассоциации с той, первой Отечественной войной 1812 года, когда тоже разгорелся пожар московский. Но то был другой пожар и — другая Москва!

Вид горящей столицы мгновенно привел меня в то самое настроение души, с которым люди идут на таран.

То же самое — и притом в очень сходных выражениях — говорили потом мои товарищи, совершившие боевые вылеты в ту ночь: Байкалов, Якимов, Шевченко, Федоров. Повторяю: трудно назвать время, когда помыслы, устремления, восприятия окружающего у самых разных людей совпадали бы так точно, как во время войны.

Приблизившись к городу, я обратил внимание, что в то время как большинство прожекторов продолжало беспорядочно (вернее, мне казалось, что беспорядочно) шарить по черному небу, некоторые из них, сгруппировавшись по три или по четыре, построились в четкие пирамиды. Они держали в скрещении своих лучей самолеты противника.

Он очень нахально — не подберу другого слова — летал в эту ночь, наш противник! Гитлеровские бомбардировщики ходили на малых высотах — два, три, от силы четыре километра, — будто и мысли не допускали о возможности активного сопротивления с нашей стороны. Через несколько дней выяснилось, что так оно, в сущности, и было. Пленные летчики со сбитых немецких самолетов рассказали, что, по данным их разведки, с которыми их ознакомили перед вылетом, сколько-нибудь серьезную систему ПВО и, в частности, организованную ночную истребительную авиацию они над Москвой встретить не должны были. Как мы знаем, немецкая разведка — фирма достаточно солидная, и в данном случае нельзя сказать, чтобы она полностью ошиблась. Всего несколькими неделями раньше ее сведения соответствовали действительности. Единственное, чего она не учла, это напряжения, с которым наша авиация, армия, вся страна на ходу училась воевать, собиралась с силами, исправляла ошибки и упущения предвоенного периода, большим потом и большой кровью закладывая основу для будущего перелома от неудач и поражений к Победе.

Но вот Москва уже подо мной. Можно начинать действовать.

И я начал действовать.

К сожалению, почти сплошь неправильно. Действовать правильно я не умел.

Первый самолет противника, к которому я устремился, едва разглядев его в скрещении лучей прожекторов, растаял в воздухе раньше, чем я успел с ним сблизиться. Объяснялось это просто: он уже отбомбился и уходил на полной скорости в западном направлении. Прожектора еще сопровождали его, но с каждой секундой наклонная дальность от их рефлекторов до цели становилась все больше, освещенность самолета резко падала, и через короткое время он исчез.

Все ясно: надо ловить не того, который на отходе, а того, который на подходе, с бомбами. Это вдвойне целесообразно: можно и прицельное бомбометание ему сорвать, и атаковать с большими шансами на успех, пока прожектора его надежно держат. Вот он — боевой опыт, который в



ту ночь у новичков вроде меня формировался, можно сказать, даже не от часа к часу, а от минуты к минуте!

Лихорадочно осмотревшись, я обнаружил еще одну яркую точку в скрещении прожекторных лучей, образующих на этот раз не наклонную, а стройную, вытянутую вертикально вверх пирамиду. Скорее туда!.. Раза два моя машина попадала под спящий световой удар прожектора. Это действительно воспринималось как физический удар — с такой силой действовал на глаза свет, особенно по контрасту с тьмой, в которой самолет был всего секунду назад. Рефлекторно каждый раз я прятался от луча — чуть не стукаясь носом о ручку управления, отвешивал энергичный поклон внутрь кабины. И эта инстинктивная реакция оказалась вполне правильной (едва ли не первым правильным моим действием в эту ночь, если не считать разве что взлета по звезде): вынырнув через несколько секунд из кабины, я неизменно обнаруживал, что снова нахожусь в темноте. Молодцы-прожектористы мгновенно опознавали свой самолет и выпускали его из луча.

Кажется, ничто больше не мешает мне атаковать фашиста.

Но стоило этой мысли мелькнуть в моем сознании, как вокруг вспыхнуло несколько огненных шаров. Машину резко тряхнуло. Погаснув, огненные вспышки превращались в чернильно-черные, просматривавшиеся даже на фоне окружающей мглы облачка. Врезавшись в одну из них, я почувствовал резкий пороховой запах («вот оно, откуда пошло выражение: понюхать пороха!»)... И тут же рядом рванула новая порция сверкающих шаров... Все ясно: попал под огонь своей зенитной артиллерии! Не знаю уж, как это получилось — то ли я просто сам залез в заградительный огонь, то ли кто-то из артиллеристов, не более опытный в ратном деле, чем я, принял МиГ-3 за самолет противника. Но ощущение было — помню это до сих пор — чрезвычайно противное!.. Не долго думая, я сунул ручку управления в одну сторону, ножную педаль — в другую и энергичным скольжением вывалился из зоны артогня. К сожалению, этот случай оказался не единственным. По прошествии некоторого времени командование корпуса вынуждено было официально обратить внимание зенитчиков на то, что, плохо зная силуэты советских самолетов, они часто обстреливают не только МиГи, ЯКи и ЛаГГи, появившиеся в воздухе сравнительно недавно, но даже такие, казалось бы, давно известные машины, как И-16. Обстреливают — а иногда и сбивают.

Уже в начале сорок второго года, когда на нашем аэродроме базировалась часть авиации Дальнего Действия, однажды утром из дальнего рейда в далекий тыл противника — не то с Штетина, не то с Кенигсберга — возвращался самолет Ер-2 майора Калинина. Мы хорошо знали этого симпатичного, спокойного человека и с восхищением слушали его сдержанные рассказы о многочасовых полетах на тысячи километров за линию фронта — общеизвестно, что трудности и опасности других кажутся острее, чем свои собственные, родные и привычные: танкист удивляется мужеству подводника, подводник преклоняется перед отвагой сапера, сапер не представляет себе, как справляется со своим делом разведчик, и так далее. Такова уж человеческая психология. Но летчиками Дальней Авиации — я до сих пор убежден в этом — мы восхищались не зря. Трудная была их работа!

В утро, о котором идет речь, экипаж Калинина подошел, как всегда, к своему аэродрому, вошел в круг, выпустил шасси и спокойно — наконец можно сказать, что боевой вылет окончен — зашел на посадку. И тут-то, у самой границы аэродрома, его с первого же залпа сбили зенитчицы батареи, незадолго до этого расположившейся здесь. Сбили

очень легко — еще бы: машина шла на малой скорости, строго по прямой — как говорится, условия идеальные.

— Мы думали, это «Мессершмитт». Сто десятый,— растерянно говорили потом зенитчицы. Но что потом ни говори, а самолета нет. Нет и экипажа — отличного, опытного, боевого экипажа, не раз ходившего на дальние цели, до Берлина включительно. Да, умение воевать приходит не сразу. И не по всем компонентам одновременно: осмотрительность почти всегда позже, чем боевая активность...

Но вернусь к событиям ночи первого налета. Итак, я выскочил из зоны артобстрела.

Горячий пот заливал мне глаза под летными очками.

Но где же противник? Не вижу его. Второго упустил! Этак я выжгу все горячее, а немца не только не атакую, но и не увижу вблизи! До сих пор помню, как отчаянно я обозлился от одной мысли о подобной перспективе.

И в этот момент я увидел его. Того самого! В скрещении вцепившихся в него нескольких прожекторов он плыл с запада прямо мне навстречу. Я немного отвернул в сторону, чтобы, описав полукруг, выйти ему прямо в хвост.

Смутно мелькнули в голове теоретически известные мне соображения о том, что атаковать самолет противника лучше всего сзади-сбоку — под ракурсом «три четверти»,— тогда и его поражаемая площадь больше, и меньше шансов нарваться на ответный огонь. Но, стреляя сбоку, надо целиться с упреждением: не во вражеский самолет, а впереди него — в то место, куда он придет за время полета пуль, выпущенных из моих пулеметов. Стрельбы же в воздухе с упреждением — как, впрочем, равно и без упреждения — я до того в жизни не пробовал ни днем, ни ночью. А посему решительно отменил этот тактически грамотный, но весьма туманный для меня по выполнению вариант.

«Черт с ним! — подумал я.— Буду бить его точно с хвоста. Без никаких там упреждений. По крайней мере хоть попаду».

Дистанция быстро сокращалась. Из блестящей точки моя цель превратилась в самолет. Ясно видны угловатые обрубки крыльев, моторы, двухкилевое хвостовое оперение... Это — «Дорнье-215». Или, может быть, 217. Не узнать его невозможно. Слава богу, что-то, а боевые самолеты фашистской Германии мы знали хорошо.

Странными, непонятными для нашего поколения были двадцать два месяца между заключением договора о ненападении с Гитлером и началом войны. Многое представлялось нам необъяснимым, диким, противоестественным. Причем сомнения вызывал прежде всего не сам факт заключения договора: всем было ясно, что ничего другого при сложившихся обстоятельствах не оставалось. Договор большинство из нас восприняло, как горькое лекарство — противно, но нужно. Однако дальше начались вещи совсем уж непонятные. Фашистов перестали называть фашистами — ни в печати, ни в мало-мальски официальных докладах и речах найти это слово стало невозможно. То, в чем мы с комсомольского, даже пионерского возраста привыкли видеть враждебное, злое, опасное, — вдруг оказалось как бы нейтральным. Это не формулировалось прямо словами, но влезало в души с фотографий, на которых Гитлер был снят рядом с Молотовым, из сообщений о советской нефти и советском хлебе, который утекал от нас в фашистскую Германию, даже из введенного тогда же «прусского» строевого шага.

Да, — нелегко было понять, что к чему!

...Вот в эти-то странные годы мы и получили возможность собственными руками пощупать немецкую авиационную технику — это был,

наверное, один из весьма немногих положительных результатов наших противоестественных отношений с фашистской Германией.

Немцы продали нам по несколько штук своих основных типов боевых самолетов: истребители «Мессершмитт-109», «Мессершмитт-110» и «Хейнкель-100», бомбардировщики «Юнкерс-88» и «Дорнье-215», транспортный «Юнкерс-52», тренировочно-пилотажные «Бюккер-Юнгманн» и «Бюккер-Юнгмейстер». Конечно, эта коммерческая операция не могла вызвать у немцев особых сомнений: самолеты перечисленных типов уже несколько лет участвовали в воздушных боях, множество из них было сбито и попало в руки противников Германии — так что говорить о какой-либо секретности этих машин уже давно не приходилось. А бессмысленность игры в секретность там, где секрета больше нет, очевидная любому здравомыслящему человеку, была, разумеется, понятна и фашистам. С другой стороны, почему бы не похвастать боевой мощью и совершенством своих военных самолетов, победоносно летающих над всей Европой, перед русскими? Пусть, мол, знают, с кем имеют дело! Так что, если вдуматься, операция эта в глазах немцев могла выглядеть даже не просто как коммерческая, а скорее как рекламно-коммерческая.

Впрочем, самолеты действительно оказались хороши.

В них было то, что дается только реальным, боевым опытом — и ничем другим: простота, доступность массовому летчику средней квалификации, неприхотливость в обслуживании. Это были солдатские самолеты.

Мы все полетали на них. Каждая машина прошла испытание по развернутой программе, чтобы выявить ее летно-тактические данные и аэродинамические характеристики. Эту работу проводил на каждом самолете свой ведущий летчик: на «Мессере-сто девятом» — И. Д. Селезнев, на «Дорнье» — П. Ф. Муштаев, на скоростном «Хейнкеле-сотом» — П. М. Попельнушенко; И. И. Шелест упорно отрабатывал на «Бюккере» перевернутый полет — ныне обязательный элемент любого соревнования по фигурному пилотажу, но в те времена представлявший собой новинку. А потом, после завершения основной программы испытаний немецких самолетов, был устроен перекрестный облет «всех на всем» — для сравнения впечатлений, выработки общей точки зрения, да и просто для расширения профессиональной эрудиции летчиков-испытателей.

Повторяю: общее впечатление от немецких военных самолетов сложилось у нас положительное.

— Добротные аэропланы, — решили мои коллеги.

Кроме пилотажных и эксплуатационных свойств, о которых я уже упоминал, нам понравились в них и многие так называемые мелочи, которые на самом деле — особенно в авиации — совсем не мелочи. Например, рычаги управления — каждый своего цвета и своей формы: тут уж не перепутаешь, где рычаг шасси, а где кран закрылков (сейчас подобными вопросами всерьез занимаются новые, в те годы еще неоформившиеся отрасли науки — инженерная психология и техническая эстетика). Понравилось нам и приборное хозяйство, особенно манометры и термометры винто-моторной группы, циферблаты которых, в сущности, не имели права именоваться циферблатами, так как были выполнены без оцифровки — на черном поле выделялась жирная белая скобка: находится стрелка внутри этой скобки — значит, все в порядке; вылезла за ее пределы — ненормальность. Удобно и просто!

Правда, при более детальном обследовании характеристик немецких самолетов в них выявились и некоторые странности, причем как раз в том, что с первого взгляда понравилось нам в них едва ли не

больше всего — в приборном хозяйстве. После того, как мы в полете на мерном километре оттарировали их указатели скорости (без этой операции определить с достаточной точностью скорость летательного аппарата невозможно), выяснилась странная закономерность: в области малых, околопосадочных скоростей полета указатель скорости показывал величину меньше истинной, а в области больших скоростей — больше. Подлинный диапазон скоростей машины как бы искусственно растягивался. Причем поправки были отнюдь не ерундовые, а этак километров по сорок в час в каждую сторону! Для чего это понадобилось? Не может же быть такое случайное совпадение на всех машинах, да еще у немцев, славящихся своей аккуратностью.

— Тут не иначе, как расчет на психологический эффект,— с многозначительным видом разъяснял окружающим один из наших коллег-испытателей.— Заходит, скажем, немец на посадку. Видит на приборе скорость сто шестьдесят. Хорошо! Простая машина! На какой малой скорости садится! А в бою взглянет: скорость пятьсот пятьдесят. Отлично! Никто не уйдет, никто не догонит...

— Постой,— возразил кто-то из слушателей.— Летчик же знает, что сто шестьдесят по прибору — это на самом деле двести. А пятьсот пятьдесят — это от силы пятьсот. Не все ли равно, против какой цифры стоит стрелка, если это липа?

— Что значит липа! Я же объясняю — психологический эффект. Как бы там на самом деле ни было, а все равно смотреть как-то приятней.

Не уверен, что подобное объяснение понятия «психологический эффект» удовлетворило бы редакцию толкового словаря, но более вразумительного анализа возможных причин столь странных поправок к показаниям указателей скорости немецких самолетов мне услышать ни от кого не довелось.

Впрочем, бог с ними, с поправками.

Вскоре выяснилось, что и по своим вполне реальным летным данным эти машины хотя и хороши, но никак не лучше наших. Например, по такой решающей для военного летательного аппарата характеристике, как скорость, последние модели советских самолетов не только не отставали от самолетов наших, как тогда говорили, «заклятых друзей», но даже превосходили их. Это касалось и истребителей, и особенно пикирующих бомбардировщиков — самой «модной» в то время машины, которой немецкие воздушные силы гордились более всего. Наш «Петляков-2» по скорости решительно превосходил даже «Юнкерса-88», не говоря уже об одномоторном «Юнкерсе-87». Реклама рекламой, но сильные и слабые стороны самолетов фашистской Германии мы теперь знали хорошо. Не узнать тип немецкой машины, за которой гнался, я не мог.

С каждой секундой «Дорнье» все ближе.

Я лечу ему точно в хвост. Настолько точно, что временами ощущаю характерное потряхивание — попадаю в струю от его винтов.

Чем же он все-таки не похож на того «Дорнье», который был у нас? Вроде точно такой же и в то же время чем-то другой! Да нет — ерунда. Просто обстановка такая, что самое знакомое кажется необычным: ночь, горящая Москва, первый бой, до которого теперь уже остаются буквально секунды... И вдруг меня будто осенило: кресты! Кресты на крыльях — вот что было непривычно! При каждом взгляде на фашистский самолет чуть снизу они четко выделялись на ярко освещенных прожекторами желтоватых крыльях. Вот что, оказывается, придавало немцу иной вид, чем «нашему» самолету того же типа.

И тут же, повинувшись инстинктивному побуждению, я дал длинную очередь... по крылу с черным крестом.

Это, конечно, было тоже неправильно, причем неправильно с многих точек зрения. Во-первых, до «Дорнье» оставалось еще метров четыреста и открывать огонь с такой дистанции не следовало: так я только демаскировал себя, не имея почти никаких шансов поразить цель (особенно если вспомнить «блистательный» уровень моей воздушно-стрелковой подготовки). Во-вторых, шпаря такими длинными очередями, я рисковал довольно скоро — как раз к тому моменту, когда они будут особенно нужны, — остаться без патронов. И наконец, в-третьих, не было ни малейшего смысла целиться в кресты, какие бы чувства их вид во мне ни вызывал. Даже если бы я в них попал, существенного вреда противнику это бы не причинило. К сожалению, все эти очевидные и убедительные доводы рассудка пришли мне в голову лишь после того, как я снял палец с гашетки, выпустив в безбрежное воздушное пространство изрядную порцию патронов.

Нет, надо ближе! Еще ближе!

Еще очередь — теперь уже с меньшей дистанции и не по крыльям, а по кабине, по моторам. И, кажется, удачная. Вроде попал. Что же будет дальше?

А дальше последовало то, что, будь я поопытнее, можно было бы без труда предугадать: с обоих пулеметных постов бомбардировщика — и верхнего и нижнего — навстречу моему МиГу протянулись трассы встречных очередей. Стрелки ожидали атаки истребителя — я, в сущности, сам предупредил их об этом той, первой очередью издалека. Кроме того, я подошел к ним точно на их же высоте — без превышения или принижения — и этим дал возможность вести ответный огонь по себе обоим стрелковым точкам. Наконец, дав очередь, я продолжал идти за бомбардировщиком по прямой, никак не маневрируя, то есть оставался относительно него в одном и том же неизменном положении.

Словом, события развивались вполне логично. Встречного огня надо было ожидать.

Но, боже мой, до чего же отвратительное ощущение — когда в тебя стреляют! Трудно передать, как это мне не понравилось!

После войны мне не раз приходилось читать, что к опасностям всяческого рода, в том числе и к стрельбе по собственной персоне, привыкают. Не знаю. Сильно сомневаюсь. Подозреваю, что авторы подобных утверждений просто забыли свои собственные ощущения в аналогичной ситуации (если, конечно, в них вообще кто-нибудь когда-нибудь стрелял). Я во всяком случае не привык. И если во многом другие мои первые впечатления впоследствии не раз менялись, то это оказалось на редкость стабильным.

Другое дело, что у обстрелянного человека постепенно вырабатывается умение действовать разумно и целесообразно, несмотря на ощущение опасности, но речь сейчас не о том.

Правда, в дальнейшем мне пришлось испытать ощущения еще более отвратительные, чем обстрел в воздухе, — штурмовой налет противника на земле, когда нет возможности ни взлететь, ни спрятаться куда-нибудь, кроме халтурно вырытой щели на краю летного поля (умение окапываться, столь полноценно освоенное пехотой, увы, никогда не принадлежало к числу воинских талантов нашего рода войск). Все это я в полной мере хлебнул позднее, на фронте. В первый раз даже выковырнул из земли в метре от себя и взял на память горячий, остро пахнущий осколок. Но хранил его недолго: вскоре же выбросил, ибо событие оказалось, увы, далеко не уникальным, а таскать с собой или тем более демонстрировать окружающим осколок, «который меня чуть-чуть не

убил», стало, по понятиям фронтового этикета, просто неприличным. Такова, видимо, судьба всех и всяческих сувениров: мода на них недолговечна.

...Итак, стрелки с «Дорнье» открыли по моему МиГу встречный огонь. Почему они меня не сбили — ума не приложу. Наверное, на меткости их огня сказалось сильное нервное напряжение (вспомним, что они не ждали серьезного отпора), ослепление светом нескольких прожекторов, в то время как я-то все-таки находился в темноте, и наконец тот установленный экспериментально общеизвестный факт, что господь бог особенно оберегает пьяных и сумасшедших. Пьяным я в ту ночь, правда, не был, но вел себя, без сомнения, во многом как настоящий сумасшедший...

Следующий заход я сделал немного снизу — верхняя точка противника уже не могла вести огонь по мне, — дал короткую очередь по кабине с переносом на правый мотор, — и тут же отскользнул в сторону... Порядок: встречная очередь (только одна!) прострочила темноту там, где я только что был, но откуда уже успел вовремя убраться. На войне опыт приходит быстро! Впрочем, иначе и невозможно: попробуй он не прийти!..

Через несколько заходов ответный огонь с «Дорнье» прекратился. Мои трассы упирались прямо в фюзеляж и моторы врага... Или мне это только кажется? Потому что если это так, то чего же он не падает?.. Хотелось крикнуть ему: «Падай же, сукин сын, наконец!..»

Долго, бесконечно долго бил я по фашистскому самолету. Так по крайней мере мне казалось, хотя часы, на которые я взглянул после выхода из боя, этого впечатления не подтвердили.

Очередь... Еще очередь... И вдруг — «Дорнье» как-то странно, рывком завалился в правый крен, на мгновение завис в таком положении, потом опять резко увеличил крен, занес хвост и — вывалился из прожекторов.

Где он? Глаза, привыкшие к ярко освещенной цели, ничего в воздухе вне прожекторных лучей не различают. Кругом все черно. Куда он девался?

О том, что «Дорнье», может быть, просто сбит, я в первый момент даже не подумал, хотя последние десятки секунд всем своим существом только этого и ждал. Не подумал скорее всего потому, что никогда не видел, как сбивают самолеты, и подсознательно прочно впитал в себя неоднократно читанное в произведениях художественной и не очень художественной литературы что-нибудь вроде: «Ярко вспыхнув, смердя дымным факелом, стервятник в последнем штопоре с протяжным воем устремился к земле».

А тут означенный стервятник не вспыхнул, не засмердел дымным факелом, а главное — неизвестно куда устремился. Хорошо, если к земле, а вдруг ни к какой не к земле, а просто он таким хитрым маневром вышел из боя, сейчас летит себе домой и посмеивается над мазилой-истребителем, который по нему бил, бил, да так и не сбил.

На земле, докладывая о выполненном боевом вылете, я закончил донесение тем, что противник накренился, занес хвост и вывалился из прожекторов.

По этому поводу один из моих коллег заметил:

— Чего тут копать: вывалился — не вывалился. Доложил бы просто: сбил, мол, и все тут.

— А вдруг не сбил?

— Да нет, по всему похоже, что сбил. А потом, знаешь, сейчас это нужно. Каждая сбитая машина нужна. Для подъема духа.

Мой товарищ явно путал моральный эффект от сбитого самолета

врага и от бумажки, где об этом было бы написано. Во времена, о которых идет речь, еще не была разработана существующая ныне классификация правды по различным видам: «мобилизующая» и «демобилизующая», «окопная» и, видимо, «стратегическая», «малая» и «большая» и тому подобное. Но определенное стремление к разработке, а главное, внедрению в жизнь подобной классификации, как мы видим, уже намечалось.

— Нет,— сказал я.— Давай лучше подождем подтверждения земли. Вернее дело будет.

...Подтверждение пришло назавтра.

Но все это было потом, на земле.

А в полете, потеряв противника из вида, я даже как-то растерялся. Вся сила моих душевных устремлений, направленных на одно — сбить врага! — как-то осеклась, не получив выхода. Это было похоже на то, как, поднимаясь по лестнице в темноте, встречаешь на каждом шагу очередную ступеньку и вдруг нога проваливается — лестница кончилась.

Что делает человек в состоянии растерянности, хотя бы минутной? Известно: озирается. Осмотрелся вокруг себя и я. Все выглядело так же, как несколько минут назад: и россыпь разноцветных — от вишнево-красного до слепяще-белого — больших и малых пожаров подо мной, и шарящие тонкие стволы прожекторов, и зависшие внизу на парашютах люстры светящих авиабомб, и сплошная черная тьма кругом... Я перенес взгляд в кабину, на слабо подсвеченные циферблаты приборов — и очень хорошо сделал, что перенес: показания одного из них мне решительно не понравились. Это были, как нетрудно догадаться, часы. По ним выходило, что хотя бой с «Дорнье» длился считанные минуты, но до этого я потерял немало времени, гоняясь за двумя первыми обнаруженными мной самолетами, а еще ранее потратил сколько-то минут, чтобы прилететь к Москве с нашего аэродрома, находящегося в нескольких десятках километров от нее. Словом, бензин в основных баках моего МиГа должен был кончиться с минуты на минуту. Я узнаю об этом по перебоям в работе мотора — такой прибор, как бензиномер, в те времена на истребителях ставился не всегда, — и сразу же, пока мотор не встал, переключу трехходовой кран на дополнительный бачок, которого хватит еще на двенадцать, от силы пятнадцать минут. До их истечения — хочешь не хочешь — надо быть на земле. Но как?

До этого голова у меня работала, так сказать, в наступательном направлении — взлететь, искать противника, атаковать! — и, наверное, поэтому извечный вопрос «как отсюда слезть» в сознании как-то не возник. Теперь эта проблема встала во весь рост. Надо возвращаться домой — причем возвращаться по-быстрому. Бензина мало!

Никаких технических средств, обеспечивающих выход к своему аэродрому, у меня не было. Не было ни радиокompаса, ни какого-нибудь иного радионавигационного устройства. То есть вообще в природе подобные вещи в то время уже существовали — техника, так сказать, дошла, — но во всем нашем авиакорпусе ПВО города Москвы имелось... шесть (6!) простейших радионавигационных приборов — радиополукомпасов, которые в слешном порядке устанавливались на ЛаГГах 24-го истребительного авиаполка. Капля в море!

На моем же самолете не было ни радиополукомпаса, ни даже обычной радиостанции. Впрочем, о б ы ч н о й на борту машины истребительного типа она тогда в нашей авиации еще не была. Потребовалось всего несколько месяцев — повторяю, война учит быстро! — чтобы на всех МиГах, ЯКах и ЛаГГах были установлены приемники, а на каждом третьем из них, по идее предназначенном для командира звена (оно



тогда состояло из трех самолетов), — и передатчик. Еще через несколько месяцев полнокомплектная радиостанция — приемник и передатчик — стала обязательным элементом оборудования всех без исключения боевых летательных аппаратов. Тогда возникли новые трудности: пользу, вернее жизненную необходимость, радиосвязи пришлось доказывать — консервативен человек. Но доказать столь очевидную вещь удалось быстро. Появилось и управление самолетами внутри группы, и наведение с земли, и радионавигация. Сейчас, в наши дни, просто невозможно представить себе, как это — очутиться ночью в воздухе без спасительной стрелочки по крайней мере одного, а то и нескольких дублирующих друг друга приборов, показывающей направление на приводную радиостанцию. На этом, в сущности, и держится почти полная всепогодность современной авиации.

У меня же в первом боевом вылете всего этого, повторяю, не было. Затемненные окрестности Москвы лежали беспросветно черным, покрытым матовой дымкой, повсюду одинаковым ковром. Конечно, я знал курс на свой аэродром. Но если даже допустить, что мне удастся точно выйти на него, то как я об этом узнаю? Радио-то нет! Никто не сможет, даже услышав над головой шум миговского мотора, подсказать мне:

— Ты над точкой.

Нет, надо спускаться пониже. Все-таки ночь июльская, еще не очень темная, с малых высот обязательно что-нибудь на земле будет просматриваться даже сквозь злополучные хвосты пламени, вот уже без малого сорок минут исправно бьющие у меня перед глазами из выхлопных патрубков мотора.

Надо снижаться. Рука сама потянулась к сектору газа, но тут на поверхность сознания довольно оперативно и, надо сказать, очень вовремя всплыли слова: «Ниже двух с половиной тысяч не спускаться: там привязные аэростаты заграждения».

Пришлось отойти от Москвы с пологим снижением от трех с половиной тысяч метров, на которых меня застал конец боя, до двух с половиной, и лишь пройдя на этой высоте несколько минут, убрать газ и провалиться вниз, поближе к земле.

Ниже... еще ниже... вот уже высотомер показывает триста метров. Больше спускаться нельзя: можно наткнуться на какую-нибудь нектати подвернувшуюся высоту с колоколенкой.

Забортный воздух стал заметно теплее. Это ощущается даже на фоне африканской жары внутри кабины, где летчик сидит над самым радиатором, в который из мотора под давлением поступает нагретая до ста двадцати градусов вода. В первых полетах на МиГах меня, помнится, очень занимала мысль о том, насколько прочны стенки этого радиатора: если он лопнет, я выясню, как себя чувствует рыба, из которой варят ху.

Но сейчас даже не до этого. Надо найти внизу какие-то ориентиры, к которым можно было бы прицепиться. Не бросать же совершенно исправную машину только потому, что я не знаю, где аэродром и куда садиться! Впрочем, в конце концов не найди я аэродром, пришлось бы пойти и на это. В ближайшие же ночи несколько летчиков — батальонный комиссар Ходырев и другие — вынуждены были, выработав все горючее, покинуть свои самолеты на парашютах. В связи с этим в корпусе была спешно организована светомаячная служба — система парных светомаяков, дающих в закодированном виде направление на каждый действующий аэродром ночных истребителей. Радиомаячную службу ввести было труднее: как гласит французская пословица, чтобы изготавить рагу из зайца, надо прежде всего иметь зайца... или по крайней мере кошку. У нас же, как я уже говорил, зайца (радиокомпаса «чайка») не

было вовсе, а кошка (радиополукомпас «чайнок») имелась в количестве, составляющем, наверное, едва несколько процентов от необходимого.

...С каждой минутой горячего остается все меньше и меньше. Я твердо знаю одно: где-то тут должна быть Москва-река. Отходя от города, я намеренно отклонился немного вправо — так сказать, ввел ошибку определенного знака, — а внизу повернул влево и теперь вот-вот пересеку реку. Неужели и ее не будет видно в этой чертовой мгле?

Река! Она появилась наконец — как полоса черного шелка, проложенного по черному бархату.

Теперь главное — не потерять ее! И я пустился вдоль реки на высоте ста—ста пятидесяти метров (благо тут на берегах особенных возвышенностей нет, а если подняться повыше, еще, чего доброго, потеряешь реку), переваливая свой МиГ-3 из одного глубокого крена в другой, чтобы следовать всем крутым извивам моей путеводной нити. Наверное, Тезею, когда он следовал по Критскому лабиринту, держась за нить Ариадны, было легче: он все-таки шел пешком, а не летел на МиГе.

Конечно, сейчас нетрудно упрекнуть меня за такой полет — ночью, почти вслепую, на малой высоте, с энергичными глубокими разворотами, — и призвать в свидетели любого начинающего летчика, который, при всей своей молодости, уже знает, что так летать неправильно. Что же делать — когда нет технических средств, нужных, чтобы лететь по всем правилам, не остается ничего другого, как лететь «неправильно», рассчитывая на здравый смысл, собственное владение машиной и отработанную годами летной работы быстроту реакции. И уж во всяком случае лучше выйти благополучно из сложного положения, в чем-то, если надо, погрешив против инструкций, чем разбить машину и убиться самому со счастливым сознанием, что делал все железно правильно.

Впрочем, не буду вдаваться здесь в профессиональные тонкости — вряд ли они интересны большинству читателей: для них существуют другие литературные жанры, но не воспоминания.

Так или иначе, выработанная мной на ходу (вернее, на лету) кустарная тактика принесла свои плоды: под машиной появился знакомый изгиб. Еще одна энергичная перекладка из правого виража в левый — и под упертым в землю крылом, как Млечный Путь в небе, проявилась дымчато-серая, чуть-чуть более светлая, чем все кругом, полоса. Это — взлетно-посадочная полоса нашего аэродрома. Все. Пришел домой.

Делаю короткий (на широкий уже нет времени) круг над аэродромом. Выпускаю шасси. Подходя к последнему развороту, мигаю аэронавигационными огнями — прошу посадку. В ответ на летное поле ложится блеклый эллипс света от подвижной автопржекторной станции.

Выпускаю закрылки. Включаю посадочную фару — сейчас уже не до игры в светомаскировку. Вспоминаю, что сейчас буду впервые сажать МиГ-3, да и вообще скоростной истребитель ночью, но мысль эта вопреки ожиданиям не вызывает во мне тревоги: столько было за одну ночь сделано «впервые», что — беспредельна наглость человеческая — оно уже стало подсознательно восприниматься как должное.

Подхожу на немного большей скорости, чем днем: запас, как известно, карман не тяготит и ни пить, ни есть не просит. Над самой землей плавно убираю газ. Наконец-то исчезают так надоевшие мне языки пламени из выхлопов. Ручка добрана до конца на себя — колеса мягко толкаются о землю и устойчиво бегут по ней, благо на посадке МиГ-3 склонности к прыжкам не имел: как коснется тремя точками аэродрома, так и вцепится в него.

Уже на пробеге перед моими глазами внезапно возник какой-то зеркально сверкающий серебристый диск. Здравствуйте! Только я успел порадоваться расставанию с пламенем выхлопов, как, пожалуйста, опять

ничего впереди не вижу! В чем дело? Оказалось, это посадочный прожектор, оставшийся сейчас сзади-сбоку от меня, подсветил тыловые, обращенные к летчику, поверхности лопастей винта, сделанных из светлого алюминиевого сплава. Сливаясь во вращении, они и дали эффект сплошного круглого зеркала на добрых три метра в диаметре. Очень скоро тыловые поверхности лопастей винтов на всех самолетах стали окрашивать черной матовой краской — еще один урок войны.

Сколько их ждет нас впереди?

Трудно было точно подсчитать общее число бомбардировщиков, участвовавших в первом налете на Москву. Первоначально названная цифра — около ста пятидесяти самолетов — в ходе уточнения возрастала. В конце концов, сопоставив донесения наших наземных постов и показания пленных летчиков со сбитых машин, остановились на наиболее близкой к действительности цифре: двести—двести двадцать самолетов.

Двести двадцать самолетов!

Но всего через сутки, во втором налете, на Москву было брошено около трехсот бомбардировщиков!

— Ну и силища все-таки! Неужели они так и будут каждую ночь приходить по двести—триста штук?— с тревогой спросил один из наших летчиков.

Никто не ответил ему. Как говорится, не было данных.

Но будущее показало, что надолго их не хватило: в дальнейшем интенсивность налетов фашистской авиации на Москву пошла по нисходящей, причем пошла достаточно резко.

...Несколько летчиков нашей эскадрильи выполнили свои первые в жизни боевые вылеты в ту, первую ночь.

А Матвей Карлович Байкалов успел слетать даже дважды: его механик Г. И. Букштынов умудрился при свете карманного фонарика осмотреть вернувшуюся из боя машину (это не так просто: пробоина может быть крошечной по величине, но решительно угрожающей безопасности полета), заправить ее бензином и маслом, зарядить сжатым воздухом, помочь оружейным мастерам во главе с А. А. Ермолаевым пополнить израсходованный боекомплект пулеметов — и выпустить истребитель в повторный вылет.

И вылет этот оказался весьма результативным. Капитан Байкалов атаковал тяжелый бомбардировщик противника и повредил его винтомоторную группу так, что тот с не полностью работающими двигателями, на малой скорости потянулся восвояси, не успев перелететь линию фронта затемно и был добит фронтовыми дневными истребителями.

Мне уже приходилось писать о М. К. Байкалове — первоклассном летчике, нашем добром друге и товарище — и о том, как он воевал на Калининском фронте в первую военную зиму (там он, кроме всего прочего, отличился однажды тем, что, возвращаясь после выполнения задания с израсходованным боекомплектом, встретил «Юнкерс-88» и сбил его... единственным оставшимся реактивным снарядом — «ЭрЭсом»), как он испытывал после войны летательные аппараты самых различных типов и как в одном из полетов его настигла ранняя смерть. Многие, очень многие успел сделать в своей недолгой жизни этот человек. И боевое крещение он получил в ту самую памятную нам ночь первого налета фашистской авиации на Москву.

Заместитель командира эскадрильи майор Шевченко вылетел в бой на «Чайке» (И-153), потому что в третьем подготовленном для дежурного звена МиГе обнаружилась какая-то неисправность, устранить которую ночью не удалось. Шевченко, не долго думая, сел на резервную «Чайку» и ушел в сторону зарева над Москвой.

Прошло сорок минут, пятьдесят, час с момента его вылета, а он все не возвращался.

Когда я приземлился, зарулил на место, вылез из машины, поблагодарил механика и оружейного мастера и явился доложить на командный пункт эскадрильи — в землянку, вырытую тут же, на краю летного поля,— там как раз начинали поглядывать на часы: «Где же Шевченко? Вроде ему бы уже пора...»

Но о том, где Шевченко, мы узнали только под утро. Телефонная связь с городом у нас была крайне ненадежная, а с теми абонентами, от которых могла поступить информация о Шевченко, вообще ограничивалась одним проводом полевого телефона, соединяющего наш КП с командным пунктом корпуса. От них мы в конце концов и узнали, в чем дело.

А дело было такое. Над Москвой Шевченко вступил в бой и получил несколько пробоин, в том числе одну — в бензопровод. Вот она — цена, которую может иметь порой одна-единственная пробоина! Счастье еще, что машина сразу же не вспыхнула. Но мотор, не получая притока горючего, конечно, встал. Самолет, лишенный тяги, быстро терял высоту. Вроде не оставалось ничего другого, как прыгать с парашютом. Но тогда оставленный летчиком истребитель рухнет на город, которому и без того достается более чем достаточно, чтобы не усугублять повреждений хотя бы своими собственными падающими с неба самолетами.

Шевченко, пока была высота, начал с того, что направил машину от города, на север, туда, где небосклон был светлее. И когда остались позади слепящие пожары, да и высота стала поменьше, сумел рассмотреть землю — конечно, не в деталях, но все же так, что, например, где лесной массив, а где поле, он видел.

Высмотрев одно из таких полей, показавшихся ему более или менее приемлемым по размерам и форме, летчик решительно направил самолет к нему и стал маневрировать на непрерывном снижении с молчащим мотором — как на планере — так, чтобы попасть на это поле.

Легко сказать — поле! Что-то там он встретит? Хорошо, что на нем явно нет деревьев — это видно. Но могут быть канавы, бревна, провода — невозможно перечислить всего, не видимого в темноте, но смертельно опасного для приземляющегося самолета, что может оказаться на этом незнакомом, притаившемся поле!

Шевченко заходил на посадку с убранными шасси, но держал руку на кране его выпуска. И перед самой землей, когда препятствий перед самолетом вроде (вроде!) не оказалось, решившись, перевел кран в нижнее положение. Шипение воздуха, четкие толчки срабатывающих замков — и через секунду «Чайка» коснулась травы своими только что выпустившимися колесами... Короткий, с энергичным торможением пробег — и самолет остановился. Поле не подвело. Оно оказалось площадкой каменоломни рядом с аэроклубным аэродромом. Еще бы метров на триста дальше — и самолет вообще сел бы, как оно и положено по всем правилам, на нормальный аэродром. Зато — не хотелось об этом и думать! — случись приземление хотя бы на несколько десятков метров левее или правее — и мало что осталось бы от истребителя! Да и от летчика тоже... А тут машина была цела. Рискованная ночная вынужденная посадка удалась.

Мне кажется, этот полет, пусть не завершившийся прямой победой над противником,— едва ли не самый приметный из всех, выполненных нашей эскадрилей в ту ночь.

Везение? Да, слов нет, было тут что-то (и немалое «что-то») и от везения. Но еще больше — от воли, решительности, мастерства пилотирования.

Впрочем, если говорить о мастерстве пилотирования, то в этом отношении репутация у Владимира Васильевича Шевченко имелась, пожалуй, наилучшая из всех возможных. Дело в том, что он был одним из немногих летчиков, летавших в «красной пятерке».

Первая «красная пятерка» (говорю «первая», потому что в дальнейшем она не раз возрождалась, каждый раз в новом составе) образовалась в середине тридцатых годов, одновременно с внедрением в строй истребителя И-16. Одновременно — и в прямой связи с этим. На то были, конечно, свои причины. «И-шестнадцатый», отличаясь высокой по тем временам скоростью, вызывал нарекания осваивающих его летчиков за недостаточную маневренность. В чем-то эти претензии были необоснованны: нельзя и требовать от скоростной машины таких же малых радиусов эволюций, как на самолете более тихомодном. Тут действует чистая механика, от которой никуда не уйдешь. Но была в критических замечаниях по адресу «И-шестнадцатого» и своя правда: самолет был действительно недостаточно устойчив, при малейших неточностях в действиях пилота он срывался в штопор, и естественно, что летать на нем все старались поначалу поаккуратнее. А машина уже шла на заводах большой серией, рассматривалась как основная в советской истребительной авиации и мириться со сдержанным отношением к ней со стороны летчиков было невозможно. Надо было заставить людей поверить в новый истребитель, полюбить его, привить вкус к его освоению, понять, на что он способен в искусных руках настоящего мастера.

И тогда-то группа известных летчиков-испытателей — Коккинали, Евсеев, Шевченко, Супрун, Преман — и взялась оттренироваться на пяти «И-шестнадцатых» в групповом пилотаже. Если индивидуальный пилотаж требует от летчика хорошей тренировки и владения машиной, особенно такой, как И-16, то пилотаж групповой требует того же, без преувеличения, в десятикратном размере! В самом деле, при индивидуальном пилотаже отклонение от заданной траектории, скажем, на десять метров не только не таит в себе ни малейшей опасности, но, наверное, и замечено-то никем не будет. Другое дело при групповом пилотаже в плотном строю: там счет идет не на десятки метров, а на десятки сантиметров. Отклоняться, говоря попросту, некуда: где-то между крылом и хвостовым оперением твоего самолета покачивается крыло соседа, а рядом с твоей кабиной звенит острый диск его винта.

Да — здорово надо было летать, чтобы держаться в «красной пятерке», когда она, будто связанная, лихо крутила петли, бочки, перевороты, иммельманы. Именно от нее пошла та культура группового пилотажа, которым вот уже около тридцати лет любуются зрители воздушных парадов. Но парад — парадом. Его не всегда воспринимают, как серьезное дело (хотя, с моей точки зрения, чаще всего напрасно). Однако о «красной пятерке» двух мнений быть не может: она сыграла серьезнейшую роль в освоении нашей истребительной авиацией такой этапной машины, какой был, при всех своих недостатках, самолет И-16.

Интересно, что в последние годы перед войной В. В. Шевченко неожиданно выступил и в другом амплуа — как конструктор. Группа инженеров, возглавляемая им, спроектировала самолет, который взлетал как биплан, а в полете убирал не только шасси, но и нижнее крыло, превращаясь таким образом в моноплан. По идее эта машина должна была сочетать высокие скоростные качества моноплана и хорошие характеристики взлета, посадки и криволинейного полета, присущие биплану. Таким нестандартным путем авторы проекта стреми-

лись примирить две основные самолетные схемы истребительной авиации, особенно остро соперничавшие как раз в то время.

Машина была построена и успешно летала. Испытывал ее мой товарищ Г. М. Шиянов — ныне Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР.

Правда, эта попытка примирить моноплан с бипланом тогда не удалась. Все-таки первое из длинного ряда требований, предъявляемых к военным, да, пожалуй, и к гражданским самолетам, это скорость. Имея преимущество в скорости, монопланы быстро завоевали в современном самолетостроении почти монопольное положение. Опытная «комбинированная» машина, обладавшая, естественно, многими «детскими болезнями», в серию не пошла. А развитию ее последующих модификаций помешала война, и идея Шевченко, казалось бы, совершенно заглохла. В самом деле, долгие годы ничего похожего на его машину в авиации не появлялось. Но пришло время — и идея воскресла. Конечно, в новом обличье, но тут уж ничего не поделаешь: кажется, это единственно возможный в природе вариант воскрешения — в новом обличье. Во всяком случае я неизменно вспоминаю полеты Юры Шиянова на самолете Шевченко каждый раз, когда слышу об американском F-111 и других машинах, у которых в полете изменяется стреловидность крыльев: на взлете и посадке передняя кромка крыла располагается перпендикулярно набегающему на нее встречному потоку воздуха, а в полете, когда нужно выйти на большие сверхзвуковые скорости, отгибается стрелой назад. Конструктивные формы новые, но идея... Идея, пожалуй, весьма родственная той, которую пытался без малого тридцать лет назад реализовать В. В. Шевченко.

В ту первую ночь успешно слетали и А. П. Якимов, и М. Ф. Федоров, и другие. В последующие налеты многие летчики нашей эскадрильи — В. Л. Расторгуев, В. Н. Юганов, Г. М. Шиянов, В. П. Федоров, Е. Н. Гимпель — находили в темном небе самолеты противника и решительно вступали с ними в бой.

Пусть не всем нашим товарищам посчастливилось сбить противника, но чрезвычайно важно было отогнать его от Москвы или хотя бы не дать ему спокойно произвести прицельное бомбометание. И действительно, прорывалась к городу, неожиданно для противника, лишь весьма малая часть его бомбардировщиков, брошенных на нашу столицу. Много лет спустя, когда все, о чем я сейчас рассказываю, стало историей, я узнал из архивных документов 6-го истребительного авиакорпуса ПВО города Москвы, что в первом налете из участвовавших в нем 200—220 фашистских самолетов побывало над городом и сбросило на него бомбы — не более сорока! А за полгода войны — со дня первого налета 22 июля до 20 декабря 1941 года — статистика еще более убедительная: 8278 самолето-вылетов на Москву и всего 207 прорвавшихся к городу бомбардировщиков.

Недаром Москва — наименее пострадавшая из всех европейских столиц, подвергавшихся бомбардировкам во время второй мировой войны.

Кстати, надо заметить, что бомбардировка бомбардировке рознь. Гитлеровцы очень стремились бомбить не как-нибудь, а прицельно. У их сбитых летчиков находили подробные, с немецкой аккуратностью и высокой полиграфической культурой выполненные карты Москвы, на которых были отмечены наиболее важные цели: железнодорожные вокзалы, аэродромы, крупные заводы, Кремль.

Однако фактическое распределение упавших на город бомб носит явно выраженный случайный характер: их бросали беспорядочно, думая не столько о том, куда, сколько о том, чтобы поскорее.

Правда, некоторые фашистские экипажи старались, так сказать, и невинность соблюсти, и капитал приобрести: и более или менее подходящий объект для бомбометания подобрать (чтобы выглядело прилично в боевом донесении) и в то же время сделать это по возможности подальше от зон действия прожекторов, истребительной авиации и зенитной артиллерии — словом, не в самой Москве, а в ее пригородах.

Поиски одного из таких экипажей увенчались шумным (как в переносном, так и в буквальном смысле этого слова) успехом. На затемненной земле Подмосковья он высмотрел несколько параллельных рядов вытянутых ровных блестящих полосок. Места для сомнений не оставалось: конечно же, это не что иное, как остекление крыш цехов какого-то большого промышленного предприятия! Бомбы были сброшены, легли точно и разнесли... Томилинскую птицефабрику, вольеры которой, на свою беду, имели такое «промышленное» остекление крыш. Разнесли в пух и прах! Причем в пух даже в большей степени, чем в прах: несколько дней обезумевшие от бомбежки куры, отчаянно кудахча, в полной панике носились по окрестностям Томилина.

Редкие, очень редкие экипажи немецких бомбардировщиков проявляли такое упорство, как, например, летчики того «Юнкерса-88», который в один из октябрьских налетов прорвался в город и прицельно положил тяжелую тысячекилограммовую бомбу у Ильинских ворот, в то самое здание, которое было его целью.

Подавляющее же большинство бомб сбрасывалось, повторяю, не прицельно и ложилось очень не густо — вдалеке друг от друга. Едва ли не единственное исключение — бомбы, попавшие дважды, с интервалом в несколько дней, в одно и то же здание — угол улицы Воровского и Мерзляковского переулка, — вызвало оживленные комментарии москвичей.

— Вот и верь после этого в теорию вероятностей! — говорили они (хотя в действительности этот случай ни малейшего ущерба теории вероятностей не нанес — вопреки распространенному заблуждению, она не признает никаких преимуществ воронки от ранее разорвавшегося снаряда перед любой произвольно выбранной соседней точкой, если, конечно, говорить о прямом попадании, а не об укрытии от осколков).

Впрочем, тот факт, что москвичи могли позволить себе роскошь специально интересоваться судьбой какого-то одного, в общем, ничем не примечательного здания («Знаете, угловой дом, где аптека!»), сам по себе свидетельствует о весьма умеренной плотности бомбежки, которой подвергалась Москва. И виноват в этом, конечно, не противник: его бы воля, он охотно устроил бы в Москве то же, чему подверглись Лондон, Ковентри, Варшава и многие другие города горящей в огне войны Европы! Помешал этому ряд обстоятельств, но прежде всего — войска Московской зоны ПВО.

Не зря, самоуверенно начав с высот в два—четыре километра, противник был вынужден, начиная уже со второго, последовавшего назавтра налета, уходить вверх — на пять, шесть и более километров. Конечно, там его сбить было несравненно труднее — плохо брали прожектора. Но и ему говорить о точном нахождении целей и сколько-нибудь прицельном бомбометании с такой высоты при тогдашнем уровне прицельной техники не приходилось. Это было что-то вроде предложения ничьей: ни вы меня, ни я вас. Но ничья принята не была. Последующие события это показали.

Постепенно мы начали знакомиться с товарищами по оружию — летчиками строевых частей нашего корпуса.



Больше всего этому способствовало то обстоятельство, что они сами едва ли не в каждую ночь, когда бывал налет, садились у нас. Я уже рассказывал, с какими сложностями было связано возвращение истребителя, лишённого средств радионавигации и даже простой связи, после боевого вылета к себе на аэродром. Быстро выработалось правило: сомневаешься в возвращении домой и увидел какой-то другой действующий аэродром — садись на него.

Наша эскадрилья базировалась юго-восточнее Москвы — несколько в стороне от излюбленных маршрутов прихода и ухода немецких бомбардировщиков. Поэтому мы могли себе позволить даже такую роскошь, как посадочный прожектор, правда, включаемый на какую-нибудь минуту — от момента выхода очередного садящегося истребителя на последнюю предпосадочную прямую до его приземления. Расчет был простой: если даже какой-нибудь не в меру активный гитлеровский ас заметит прожектор и устремится бомбить нас, то, пока он дойдет до места, внизу уже будет снова темно. И, надо сказать, расчет этот хорошо оправдался на практике: за все время воздушной битвы за Москву лишь один случайный бомбардировщик набросал зажигалок нам на летное поле да какой-то «Мессершмитт-110» второпях — а потому, конечно, безрезультатно — обстрелял из пушек самолетные стоянки. Кстати, оба эти случая произошли при бездействующем посадочном прожекторе. А без подсветки старта мы сами, конечно, наломали бы на посадках в темноте намного больше дров, чем мог бы устроить вышеупомянутый не в меру активный ас.

Не мудрено, что наш аэродром пользовался у летчиков соседних частей немалой популярностью.

По несколько раз за ночь над нами раздавалось знакомое гудение мотора М-25, или М-105, или АМ-35 — моторы этих типов стояли на советских истребителях, — и короткие вспышки разноцветных аэронавигационных огоньков сигнализировали о том, что очередной гость просит посадку. Через две-три минуты, в течение которых источник гудения плавно перемещался по кругу над аэродромом, огоньки снова вспыхивали уже в другом месте — на прямой в створе посадочной полосы. Команда: «Прожектор!» — и свет посадочного прожектора возникал в ночи так синхронно с командой, что, казалось, само его включение происходит непосредственно от голоса, — команда прожектористов была оттренирована отменно. Еще через тридцать — сорок секунд в луче появлялся сверкающий самолетик, летел несколько секунд над самой землей и — более или менее плавно (тут бывало всякое: что ни говори, люди приходили из боя) — касался ее. Почти сразу после этого все снова исчезало в темноте, казавшейся по контрасту еще более черной, чем раньше, — прожектор гасили, когда севший самолет был еще в самом начале пробега.

В эскадрильной землянке появлялся очередной гость. На рассвете, заправив самолет (и заправившись сам — авиационное гостеприимство ненамного отстает от прославленного флотского), он улетал домой.

Но ночью, сразу после посадки, каждый из них, естественно, стремился прежде всего сообщить в свой полк, что, мол, летчик имярек жив-здоров и сидит там-то. Такое стремление было легко понять: мы хорошо помнили часы ожидания, пока не получили сведений о ночной вынужденной посадке Шевченко. Но связь, как я уже говорил, даже со штабом корпуса, не говоря уж об отдельных полках, была более чем неважная. Дозвониться, куда надо, было трудно, а разобрать слова собеседника сквозь трески и шорохи помех полевого телефона — еще труднее.

Поэтому фигура летчика в комбинезоне, с планшеткой через плечо

и шлемом у пояса, зажимающего рукой одно ухо и надрывно орущего в трубку, плотно прижатую к другому, стала на КП эскадрильи привычной.

В одну из первых же «налетных» ночей — кстати, с 22 по 31 июля их было семь: немцы прилетали весьма аккуратно — фигура у телефона привлекла мое внимание своей необычной хрупкостью. Невысокий, худощавый, узкоплечий мальчик — именно мальчик — уговаривал кого-то на другом конце провода передать в 177-й полк, что младший лейтенант... Дальше дело не шло, потому что человек на том конце провода никак не мог разобрать фамилию своего собеседника. Фамилия действительно была мало распространенная, и хотя через какие-нибудь две недели ее знал любой мальчишка в нашей стране, но то будет лишь через две недели, а пока младший лейтенант истощенным голосом кричал:

— Та-ла-ли-хин! Младший лейтенант Талалихин. Да нет, не «Па», а «Та»! Давай, слушай по буквам: Тимофей, Анна, Леонид, еще Анна...

Глядя на эту картину, я подумал: неужели такие дети тоже должны воевать?

Живучи предвзятые мнения. Одно из них — правда, далеко еще не самое злобное — наше представление о внешнем облике героического персонажа: косая сажень в плечах, массивный волевой подбородок, острый взгляд серых глаз... О том, что в действительности чаще всего бывает не так, сказано и написано немало. Вот и сейчас передо мной один из последних рассказов Льва Славина, в котором автор с точной афористичностью замечает: «Хрупкость и храбрость не спорят друг с другом». Сказано будто специально про Талалихина! А между тем на картинах (посетите любую выставку), плакатах (посмотрите на стены домов) — словом, повсюду летчик — как, впрочем, и моряк, и геолог, и космонавт, и представитель любой иной профессии, признанной мужественной, — обязательно выглядит этаким чудо-богатырем. Почему? Не знаю! Может быть, из опасения впасть в дегероизацию?..

Но меня смутила, конечно, не комплекция Талалихина — успев рассмотреть на летчиков-испытателей различного роста, полноты фигуры, густоты шевелюры и пронзительности взора, я этим вещам значения уже давно не придавал. Обращало на себя внимание другое: чрезвычайная молодость нашего гостя — он казался совсем, совсем мальчиком.

Однако мне пришлось тут же отказаться от своего первого впечатления: когда мы разговорились с Талалихиным, выяснилось, что хотя по возрасту он действительно очень молод — ему не было и полных двадцати трех лет, — но как воздушный боец имеет все основания смотреть, скажем, на меня сверху вниз. На гимнастерке под комбинезоном у него оказался орден Красной Звезды, в те времена бесспорно свидетельствовавший о военных — и никаких иных — заслугах своего владельца. Оказалось, что Талалихин и вправду уже успел повоевать.

Главное же, что запомнилось из беседы с этим спокойным, вежливым, серьезным пареньком, был, конечно, не его орден, а какая-то острая внутренняя нацеленность, какой-то очень сильный душевный настрой на то тяжелое дело, которое предстояло делать всем нам, — на войну. Разумеется, в нашем разговоре не фигурировали какие-либо торжественные декларации или вообще пышные слова. Кстати, с первых же дней войны выяснилось, что лучше всего воюет не тот, кто громче всех декларировал свою воинственность и жажду подвигов... Нет, речь шла о предметах вполне прозаических: о том, что маловат калибр пулеметов на «И-шестнадцатом», и о том, что надо бы поскорее вводить наведение на противника с земли по радио, и о том, какие молодцы наши прожектористы, а зенитчики, черт бы их взял, очень уж горячие ребята: рубят по всем, кто над ними летит, — свой ли, чужой ли, им все равно...

Словом, разговор был обычный — летчицкий. И ничем особенным он не блистал. Но когда ночью седьмого августа Талалихин, истратив безрезультатно весь боекомплект («маловат калибр пулеметов...»), таранил тяжелый бомбардировщик «Хейнкель-111» — это был первый ночной таран Отечественной войны, — никто из нас как-то не удивился. Такой парень только так и мог поступить, оставшись безоружным перед врагом. И в течение многих лет, когда кто-нибудь при мне говорил о том, что принято называть политико-моральным состоянием воздушного (или любого иного) бойца, перед глазами у меня неизменно возникал невысокий, хрупкий мальчик со спокойными глазами и душой настоящего воина — Виктор Талалихин.

...Многих наших соседей и товарищей по оружию мы не видели ни разу в лицо и все-таки хорошо знали их. С первых дней вступления 6-го авиакорпуса в боевые действия в сводках, а главное, конечно, в изустной молве — по «солдатскому телеграфу» — стали систематически повторяться имена летчиков, воевавших особенно — нет, не лихо; это слово с началом настоящей войны как-то сразу потеряло окружавший его еще недавно ореол, — воевавших особенно результативно.

Я уже рассказывал о многих промахах нашей подготовки к войне — и о нехватке самолетов новых, достаточно современных типов, и об их неосвоенности летным составом многих частей, даже успевших получить эти машины. Все это так и было. Но существовали — пусть, к сожалению, немногие — и такие полки, которые успели подготовить своих летчиков на новой материальной части. Вспоминая, как здорово действовали они в бою, невольно лишний раз подумаешь: эх, если бы вся наша авиация, вся наша армия начала войну такой же подготовленной!

Отлично освоили свои новенькие, недавно пришедшие с завода самолеты ЯК-1 летчики входившего в 6-й авиакорпус 11-го истребительного авиационного полка во главе со своим командиром — незаурядным летчиком капитаном Константином Николаевичем Титенковым. Передо мной лежит сейчас документ четвертьвековой давности — представление к орденам участников отражения первого налета на Москву. Там относительно Титенкова специально подчеркивалось: «Летает на новых типах самолетов днем и ночью». Это было тогда центральной задачей! И Титенков не просто летал на своем ЯКе днем и ночью — с первой же встречи с противником боевой успех сопутствовал этому смелому и умелому летчику. 22 июля он сбивает тяжелый «Хейнкель-111» с немецким полковником и важными документами на борту. Через два дня — 24-го — одерживает победу над «Юнкерсом-88» (на представлении к награде об этом сделана карандашная пометка рукой командира корпуса Климова — пока документ печатался, Титенков увеличил свой счет). 29 июля Титенков с товарищами в групповом бою заваливают еще один «Хейнкель». Отлично начиналась боевая биография этого настоящего аса!

Не раз фигурировали в боевых донесениях и оперативных сводках фамилии летчиков Лапочкина, Бокача, Гошко, Горелика, Кухаренко — всех не перечислить.

Ночью 7 августа таранит своего «Хейнкеля» Талалихин. Можно спорить о принципиальной целесообразности тарана как приема воздушного боя, тем более в условиях количественного превосходства авиации противника, когда потеря по одному самолету с каждой стороны для нас была относительно гораздо более чувствительна, чем для врага. Бесспорно и то, что, в общем, не от хорошей жизни шли наши лет-

чики на таран. Конечно же, это в какой-то степени отражало слабость вооружения советских истребителей, особенно старых типов (характерно, что с середины войны тараны почти полностью прекратились).

Но нельзя сбрасывать со счетов и такой первостепенный на войне фактор, как моральное воздействие этого отчаянного приема воздушного боя на немецких летчиков. Они знали, что наши истребители идут и на такое, и это знание отнюдь не прибавляло им бодрости. Летом и осенью сорок первого года пренебрегать подобными обстоятельствами не приходилось!

И что уж совсем бесспорно — это оценка личных качеств летчика, пошедшего на таран. Товарищи по оружию смотрели на него как на героя — и, конечно, были в этом совершенно правы. Чтобы таранить врага, нужно большое мужество. Риск тут чрезвычайно велик. За примерами далеко ходить не надо: они были и в истребительной авиации ПВО Москвы. Во второй половине августа — вскоре после Талалихина — летчик 24-го полка Деменчук (кстати, сбивший в тот же день «Юнкерс-88» «обычным способом») таранил «Хейнкель-111» и погиб при этом.

Правда, были и другие примеры — примеры большого мужества, сочетавшегося с редким искусством пилотирования. Летчик 27-го истребительного авиаполка Алексей Николаевич Катрич атаковал «Хейнкель-111» и, обстреливая, гнал несколько десятков километров — от Калинин до Старицы. «Хейнкель» — машина вообще очень живучая — ни в какую не падал! Тогда Катрич, чтобы не упускать врага, пошел на таран. Но как! Винтом своего самолета — самими краешками лопастей — он срезал рули с хвостового оперения бомбардировщика. «Хейнкель» упал, а Катрич благополучно приземлился у себя дома, на собственном аэродроме. На его самолете были погнуты концы лопастей винта — и больше ничего!

— Ювелирная работа! — уважительно сказал про этот таран мой товарищ, сам большой мастер пилотирования Виктор Леонидович Расторгуев.

Таран Катрича произвел на летчиков Московской зоны ПВО сильнейшее впечатление. Это было больше, чем просто еще один пример высоких волевых качеств и боевой активности наших авиаторов, — таких примеров в то горячее время было сколько угодно. Катрич заставил по-новому посмотреть на таран. Нарушалось успевшее сложиться представление об этом приеме воздушного боя как о приеме отчаянном, самоотреченном, если не равнозначном самоубийству, то во всяком случае находящемся где-то очень недалеко от него. А тут — нате вам! — не только летчик, протаранив машину врага, жив и здоров, но и самолет его цел!

Слухи о боевых успехах лучших летчиков нашего корпуса распространялись очень быстро — солдатский телеграф действовал исправно. Многих летчиков, приткнувшихся, так сказать, на огонек, после боевого вылета, к нам на аэродром, мы уже знали заочно задолго до личного знакомства. Их воинская слава опережала их самих.

Иногда гости не сваливались к нам с неба, а приезжали при помощи прозаического наземного транспорта.

В один прекрасный день мы узнали, что в нашем корпусе, в целях усовершенствования оперативного руководства частями, вводится разделение на сектора. Сама по себе эта новость особого впечатления на нас не произвела: ко всяческому организационным перестройкам мы были уже тогда хорошо привычны и научились реагировать на них с должной сдержанностью, да и по существу дело непосредственно не касалось ни летчиков, ни даже командиров звеньев (в числе которых

был к тому времени утвержден и я). Еще, кажется, древние римляне установили, что каждый начальник может полноценно руководить, особенно в бою, не более чем тремя — пятью подчиненными. Если же их больше, то следует разбить их на соответствующее количество групп и непосредственно иметь дело с командирами этих групп. В дальнейшем опыт организации вооруженных сил всех времен и всех стран мира, в общем, подтвердил справедливость этого правила. По-видимому, на ту же точку зрения встало и наше командование. Но, повторяю, нам, низовым работникам (если позволительно применить такой термин к летчикам-высотникам), вполне хватало своих собственных забот, чтобы особенно заинтересоваться организацией секторов.

Однако сама персона нашего вновь назначенного начальника сектора вызвала неподдельный интерес, симпатию и уважение. Это был майор (ныне генерал-майор авиации) Михаил Нестерович Якушин — один из героев испанской войны, события которой не померкли даже в свете начавшейся битвы несравненно большего масштаба.

Когда немецкие летчики, воевавшие в Испании на стороне франкистов, начали предпринимать ночные бомбардировки одиночными самолетами городов, аэродромов и позиций республиканских войск, то поначалу ничего, кроме средств пассивной обороны (маскировка, затемнение), этому не противопоставлялось. Инициатива советских летчиков, предложивших использовать их истребители ночью, была поддержана не сразу. Но все же попробовать начальство разрешило: как говорится, попытка — не пытка, вдруг что-нибудь да получится. И получилось! Первого «Юнкерса» в ночном бою сбил не кто иной, как будущий начальник нашего сектора Якушин. Вслед за ним одержал такую же победу Анатолий Серов — и дело пошло. Ночные бомбардировки быстро прекратились. Как говорится, отучили.

Трудно было найти на должность начальника сектора человека более авторитетного в глазах ночных истребителей. Что бы Якушин нам ни сказал, все было бы воспринято как непререкаемая истина.

Но, приехав в нашу эскадрилью, Михаил Нестерович не стал вещать непререкаемых истин. Он начал с того, что стал расспрашивать нас. Расспрашивать обо всем: удавалось ли кому-нибудь из нас заметить самолет противника вне лучей прожекторов, как маневрируют немцы, чтобы уйти от нашего истребителя, сколько неиспользованных патронов остается у нас обычно после боя — словом, обо всем.

Якушин ясно понимал, сколько нового привнесла большая война по сравнению даже со столь недавними событиями в Испании или на Халхин-Голе, а потому счастливо избежал ошибки, в которую впали иные военачальники, в том числе и достаточно высокого ранга, пытавшиеся командовать в Отечественной войне, опираясь, в основном, на опыт войны гражданской.

Положение командования секторов было, как я узнал впоследствии, непростое: сектора эти были, так сказать, незаконнорожденными, 6-й авиакорпус образовал их по собственной инициативе. Поэтому ни по штатам, ни по техническому оснащению, ни даже по четко очерченному кругу прав и обязанностей они не имели всего, что нужно. И все-таки, несмотря ни на что, очевидная польза хотя бы от общения с опытным и вдумчивым авиационным начальником, специально занимающимся лишь несколькими расположенными по соседству частями, конечно, была.

Не следует понимать сказанное в том смысле, что начальник сектора ограничил свою деятельность функциями консультанта. Нет, конечно, командир есть командир, и ему всегда приходится использовать всю гамму находящихся в его руках средств управления подчиненными.

Но начал Якушин именно с того, что постарался, как говорится, «составить себе мнение».

Особенно, помнится, интересовали его сильные и слабые стороны наших истребителей.

Сильные и слабые стороны наших истребителей!

Разговаривая с Якушиным, мы могли уже многое сказать о них. Несравненно больше, чем какие-нибудь две недели назад.

Мы уже чувствовали себя «понюхавшими пороху». Боюсь, что по молодости лет это обстоятельство придавало нашим высказываниям, в том числе и о новых истребителях, некоторую избыточную безапелляционность. Но это касается только тона, а по существу мы, конечно, многое, очень многое поняли. Война продолжала преподносить свои сюрпризы, но уже все-таки не в таком умопомрачительном количестве, как при первом столкновении с противником. А главное, мы сами изменились. Бывают дни, меняющие человека больше, чем годы. Именно такие дни мы и пережили. На многие категории смотрели мы теперь новыми глазами. В том числе — и на находящиеся в нашем распоряжении самолеты.

У нас возникло немало претензий: хотелось и обзора пообширнее, и вооружения более мощного, и чтоб выхлопа не слепили, и чтоб горячего было хотя бы минут на двадцать побольше... Многого чего хотелось! И к чести нашей авиационной промышленности надо сказать, что довольно быстро — практически к весне сорок второго года — все это было реализовано.

Но и в сорок первом году, с самого начала войны, стало очевидно, что воевать на этих машинах можно! И МиГ-3, и ЯК-1, и ЛаГГ-3, и Пе-2, и ИЛ-2 прошли проверку боем и выдержали ее по крайней мере на «хорошо». А в умелых руках — и на «отлично».

Я уже рассказывал о том, как воевали Титенков, Катрич и другие выдающиеся летчики Московской зоны ПВО.

Вскоре стали доходить до нас сведения и об успехах на фронте полков, сформированных из военных летчиков-испытателей.

Один из них — Юрий Александрович Антипов (ныне Герой Советского Союза и заслуженный летчик-испытатель СССР) — поначалу, как и все мы, тоже считал, что хотя по скорости, особенно на больших высотах, МиГ-3 вне конкуренции, но маневренность у него — не то чтобы очень...

В одном из первых же боев с «Мессершмиттами» Антипова крепко зажали.

Немцев в воздухе — и над линией фронта, и в ближайших тылах — было в то трудное время в несколько раз больше, чем наших самолетов. Отсюда — почти всегда неравные воздушные бои. В отличие от противника наши летчики не уклонялись от схваток в невыгодных для себя условиях. Да и что им оставалось делать — иначе пришлось бы уклоняться едва ли не от всех соприкосновений с противником. Это было очевидно, хотя и нерадостно. Естественное раздражение летчиков против сложившейся обстановки выливалось чаще всего в несколько неожиданном направлении: на головы журналистов, публиковавших в газетах очерки о неравных воздушных боях — «Трое против восемнадцати», «Семеро против двадцати пяти» и тому подобное. По существу в этих очерках все было правильно. Раздражал тон — такой, будто нашим богатырям воздуха прямое наслаждение идти всемером против двадцати пяти: на двадцать четыре они уже не согласны.

Через полгода после начала воздушной битвы за Москву, уже в другом месте — на Калининском фронте, — в аэродромной землянке

собралась группа летчиков, ожидавших вылета. Сидели в теплых комбинезонах и не только потому, что предстояло вскоре идти в воздух. Было холодно. Железная печурка грела плохо. Через узкое окошко, прорезанное над самым уровнем земли — у потолка, еле светило сумрачным, зимним светом. Разговор шел о бое, который летчики соседнего полка — Алкидов, Баклан и Селищев — дали втроем восемнадцати самолетам противника. Дали — и выиграли его: сбили несколько немецких машин, а главное, не допустили бомбежки нашего переднего края — это котировалось еще выше, чем лишние сбитые на боевом счету истребители. Словом, бой был по всем статьям отличный. Но он был уже обсужден во всех подробностях несколько дней назад — сразу после того, как произошел. И текущие дела — удачи и неудачи, которые на войне сменяют друг друга очень быстро, — привлекли внимание к себе. Но вот пришла на фронт газета, где этот бой был описан, — и разговоры о нем, вернее о статье, возобновились. В землянке пошли комментарии:

— Очень уж гладко все тут получается.

— Вроде им еще три-четыре ЯКа только помешали бы!

А один из присутствовавших мечтательно произнес:

— Эх, ребята! Дожить бы нам до такого времени, чтобы шестеркой или восьмеркой зажать пару «Мессеров», да дать им жизни, да загнать сукиных детей в землю! Вот это было бы дело... А то пишут и радуются: смотри-ка — трое против восемнадцати. Ах, как хорошо!.. Тьфу!

— Не плюй в землянке, — сказал наставительно самый старший из нас. И сказал, конечно, правильно — не столько по соображениям поддержания должной чистоты и гигиены в помещении, сколько по причине очевидной для всех беспочвенности мечтаний предыдущего оратора. Дожить бы до такого времени!

Дожили далеко не все. Но время такое пришло! Когда наша армия подошла к Берлину так же близко, как стоял противник под Москвой в сорок первом году, советские самолеты летали бомбить и штурмовать подступы к вражеской столице ночью — вопреки всем правилам военного времени — с зажженными аэронавигационными огнями на крыльях и хвостовом оперении. Почему? Очень просто: опасность противодействия противника была несравненно меньше, чем опасность просто столкнуться в темноте со своими же самолетами — настолько много их участвовало в этой операции.

Соотношение сил в воздухе стало в точности таким, о котором летчики мечтали в той землянке суровой, холодной зимой сорок первого года.

...Итак, в одном из первых же воздушных боев Антипова крепко зажали «Мессера». Чтобы выйти из-под удара, хочешь не хочешь надо маневрировать, причем маневрировать как можно более энергично. Через много лет после этого боя он рассказывал:

— Чувствую, что еще секунда — и по мне дадут. Потянул ручку на себя: ничего, крутится МиГ, дрожит весь, но не сваливается. Только краешком глаза вижу, что мне в концы крыльев упираются сзади какие-то полосы. Первое, что подумал: трассы! Но тут же усомнился: не могут же они так точно попадать именно по консолям, а главное, так устойчиво держаться — без перерывов и все по одному и тому же месту. Повернул голову: батюшки, оказывается, это жгуты крыльевые. Вот тебе и маневренная машина! Выражает со струями с консолей, как тебе какой-нибудь «И-пятнадцатый», и в ус себе не дует!..

С тех пор взгляд на маневренность МиГа у Антипова и его однополчан существенно изменился к лучшему. Не скоростью единой жив



был этот самолет. Впрочем, так часто бывает в жизни: увидев какое-то одно, доминирующее, наиболее ярко выраженное свойство, мы на его фоне не замечаем многого другого, пусть менее «профилирующего», что ли, но подчас весьма существенного. И не только при оценке самолетов...

Так что маневренные возможности самолета МиГ-3 оказались для многих наших летчиков сюрпризом. Причем сюрпризом приятным — неприятных и без того хватало!

Относительно же вооружения МиГа — три пулемета, из которых два, хотя и чрезвычайно скорострельные, имели тот же калибр, что обычная винтовка, — дело обстояло, к сожалению, именно так, как оказалось в первых же боях. Вооружение было слабоватое.

— Вот бы пушечку на МиГ — первая машина была бы! — говорили летчики.

Действительно, калибр оружия, мощь огневого залпа — вещи для истребителя чрезвычайно важные. Но, как вскоре выяснилось, кроме всего этого, очень важно еще одно: надо уметь стрелять. Без такого умения никакой калибр не поможет. А для владеющего меткой стрельбой летчика... впрочем, вот конкретный случай.

В том же бою, о котором я начал рассказывать, Ю. А. Антипов оказался на МиГ-3 в одиночку против пяти «Me-109». Это было то самое соотношение сил, при котором фашистские летчики охотно завязывали бой. Не имея численного преимущества, они, как правило, от схватки уклонялись. Интересно, что в этом проявлялся прежде всего не слабый наступательный дух летчиков противника (воевать они — ничего не скажешь — умели), а результат прямых указаний командования гитлеровских воздушных сил, о которых рассказали пленные немецкие летчики: вступать в бой лишь при явном превосходстве в силах.

Тут такое превосходство было, и Антипову пришлось вступать в неравную борьбу. Первое, что он при этом обнаружил, был... отказ — одного за другим — всех трех пулеметов. Летчик нажимал на гашетки, а в ответ не происходило ни мелкой, нервной дрожи всей машины, ни похожего на стрекотание швейной машинки треска пулеметной стрельбы, прорывающегося сквозь шум мотора и шелест потока обтекания, ни дуновения острого запаха пороховых газов — ничего. Пулеметы молчали. Антипов попробовал перезарядку: один фаз, другой, третий — не помогало. Сейчас немцы заметят, что он фактически безоружен, и тогда... тогда будет нехорошо.

Оставалось одно: любыми средствами выходить из боя.

Выбрав удобный момент, Антипов с полным газом, с полупереворота устремился к земле и, оторвавшись таким образом от «Мессершмиттов» метров на восемьсот, пустился домой.

Если бы дело происходило где-нибудь повыше, МиГ-3 свободно ушел бы от любого немецкого истребителя, но у самой земли это не получалось. А противник, как на грех, попался упорный — три «Мессершмитта» остались патрулировать в районе боя, но два настойчиво преследовали МиГ-3, смело углубляясь за ним в глубь нашей территории. Тогда немцы этого особенно не опасались: они считали — к сожалению, не без оснований, — что во всех случаях эта территория не сегодня, так завтра будет занята ими.

Антипов тянул к своему аэродрому — за добрых шестьдесят — семьдесят километров от места, где начался бой. «Мессершмитты», дымя работающими на полном газе моторами, медленно сокращали дистанцию.

Вот наконец и аэродром. Сейчас оттуда поднимутся наши истребители и зарвавшимся немцам достанется... Но не тут-то было! Никто не

поднялся и никому не досталось. Дома не ждали возвращения Антипова со столь необычным эскортом. Ни одна машина не взлетела на помощь ему. Пришлось обходиться своими силами. Легко сказать — своими силами! Единственное, чего удалось добиться, так сказать, для наращивания означенных сил, был один пулемет: упорно повторяя по дороге к аэродрому попытки наладить бортовое оружие, Антипов хоть на одну треть, но оживил его.

Трудно представить себе более тяжелые условия: двукратное превосходство противника в количестве самолетов и, наверное, десятикратное в огневой мощи, крайне неблагоприятная для МиГа высота, невыгодное исходное положение — вражеские истребители за хвостом... Все плохо! Но выхода нет — надо давать бой.

Антипов неожиданно для противника ввел свою машину в энергичный, предельно крутой разворот (нет, что ни говори, маневр у МиГа есть!), успел выйти «Мессершмиттам» в лоб и, прицелившись в ведущего, нажал гашетку.

Сухо щелкнула короткая — патрона на четыре — очередь и... пулемет снова замолк. Четыре выстрела! Какой толк от них, когда счет огня в воздушном бою идет на сотни и тысячи пуль в минуту!

Но, оказывается, толк был. «Мессершмитт» горкой с разворотом отвернул на запад и пустился восвояси, оставляя за собой тонкую серовато-белую струйку, тут же испаряющуюся в воздухе. Второй истребитель, как оно и положено дисциплинированному ведомому, последовал за ним. Через несколько километров первый «Мессершмитт» перешел на снижение и, не выпуская шасси, приземлился на фюзеляж в лесную просеку.

Немецкий летчик (которого, кстати, взяли в плен только через два дня у самой линии фронта — он двинулся пешком на запад и едва не ушел), когда дело дошло до его допроса, сказал:

— Мне просто не повезло.

Ему действительно не повезло или, если угодно, крупно повезло Антипову: единственная (только единственная!) пуля попала точно в радиатор «Мессершмитта». Масло, конечно, сразу же выбило — это оно струйкой тянулось за подбитой машиной, — и мотор заклинило.

Слов нет — повезло. Но не только повезло! Чтобы попасть одним выстрелом за несколько сот метров в жизненно-уязвимую часть вражеского самолета, кроме везения, нужно очень здорово стрелять. Плохому стрелку так повезти не может. Везет умелому.

Этот случай, как и ему подобные, натолкнул нас еще на одну истину, занявшую свое место среди многих других, открывшихся участникам жестокого университета войны. Оказалось, что, при всем первостепенном значении летно-технических и летно-тактических данных самолета, воюет не он — не самолет. Воюет человек на самолете.

А среди свойств самолета, кроме таких, по существу ему присущих, как скорость, высотность, маневренность, неожиданно видное место заняла, так сказать, приспособленность самолета к использованию его человеком: начиная от устойчивости и обзора и кончая расположением приборов в кабине. Через много лет возникнет специальная отрасль науки — инженерная психология, — одной из центральных проблем которой будет изыскание оптимальных характеристик взаимодействия человека и машины. Многие практические наблюдения и находки более раннего времени сорганизуются в стройную систему.

Но, скажем, изменение внешних форм фюзеляжей наших боевых Яков и ЛаГгов, благодаря которому, ценой небольшой потери в скорости, летчикам была дана возможность видеть, что делается за хвостом их машины, — это было сделано по здравому смыслу, без какой-либо

науки, в разгар самого тяжелого для нас периода войны. Впрочем, на практике уменьшения скорости от такого нововведения не произошло, даже наоборот: летчики, получив полноценный обзор назад, перестали летать с открытым фонарем кабины, что, конечно, съедало гораздо больше скорости, чем небольшой излом очертаний фюзеляжа.

Машину надо приспособлять к человеку.

Лучше всего, конечно, когда это заложено в ней конструктивно, так сказать от рождения, но если нет, то — голь на выдумки хитра! — человек пытается приспособить к себе машину сам, любыми, пусть самыми кустарными средствами.

Пытались это, в меру своих сил, делать и фронтовые летчики, а особенно испытатели, для которых это было чем-то вроде продолжения на войне прямой работы по специальности.

Летчик-испытатель К. Н. Груздев, убедившись, что в бою на виражах наш ЛаГГ-3 не может зайти в хвост «Мессершмитту», придумал хитрый прием: отклонять на несколько градусов посадочные щитки крыльев. Это было не так-то легко! На глубоком вираже, под давящей двух-трехкратной перегрузкой дотянуться к нижней части приборной доски, нажать кнопку выпуска закрылков, а в нужный момент — когда щитки отклонятся насколько требуется — вернуть ее в нейтраль. И все это в бою — крутись, уворачиваясь от огненных трасс, ни на секунду не теряя из вида противника! Посторонний наблюдатель сказал бы, наверное, что для того, чтобы справиться со всем этим, надо иметь еще одну руку и дополнительную пару глаз (желательно — на затылке). Груздев говорил иначе: «Надо правильно распределять внимание».

Видимо, он сам распределял его достаточно правильно. Во всяком случае, пользуясь закрылками, он уверенно заходил на ЛаГГе в хвост «Мессеру» и сбил таким способом не одну вражескую машину.

Всего Груздев успел за несколько первых месяцев войны сбить более двадцати самолетов противника. А сколько сбили другие летчики, используя умные технические и тактические приемы, предложенные этим настоящим испытателем, в полном смысле этого слова, — подсчитать невозможно.

Вскоре Груздева, как и почти всех других испытателей, отозвали с фронта: возрождался выпуск новых самолетов, нужно было их испытывать.

Между прочим, Груздев выполнил один полет на первом ракетном (имеющем жидкостный реактивный двигатель) самолете БИ-1, который испытывал капитан Г. Я. Бахчиванджи — тоже отозванный с фронта специально для проведения этой работы. На испытаниях Груздев летал так же талантливо, напористо, инициативно, как на фронте. Но продолжалось это обидно недолго. В одном из испытательных полетов у него не вышел из штопора американский истребитель «Аэрокобра» — машина, вообще говоря, очень сильная, но по части штопорных свойств достаточно капризная. Груздев до последнего старался найти способ вытащить падающий самолет из неуправляемого вращения, — но так и не успел ни вывести «Кобру» из штопора, ни покинуть ее. Так и был потерян этот незаурядный летчик.

В один прекрасный день наша эскадрилья была расформирована.

В приказе командующего Военно-Воздушными Силами Красной Армии говорилось, что она «сыграла свою положительную роль при отражении первых налетов немецкой авиации на Москву, когда летный состав частей ПВО Москвы не в достаточном еще количестве был подготовлен к ночным действиям на новой материальной части».

Еще раз получила подтверждение старая истина — настоящий ис-

пытательский коллектив всегда осилит любое, самое нестандартное задание, даже если поначалу был не очень подготовлен к его выполнению. Привычка к непривычному — опять она!

В общем, оказалось, что авторы того, первого приказа, выпущенного при формировании эскадрильи, в котором боевые возможности летчиков-испытателей оценивались достаточно высоко, не так уж ошиблись. Впрочем, это тоже один из уроков войны: выяснилось, что люди вообще могут чрезвычайно много — несоизмеримо больше, чем представлялось им самим совсем недавно, в мирные, казавшиеся уже такими далеки-ми времена.

...Мы получили другие задания — с воистину неистощимой изобретательностью война ставила перед нашей авиацией одну задачу за другой.

А славный 6-й авиакорпус продолжал держать в своих руках небо над Москвой.

Правда, интенсивность налетов фашистской авиации постепенно снижалась. Если в первые налеты к Москве устремлялось по 200—300 бомбардировщиков, то уже в августе больше 110—120 самолетов собрать для этой цели не удавалось, в сентябре же наибольшее количество участвующих в налете машин не превышало 35. Бомбардировки Москвы оказались далеко не таким простым делом, как представлялось немцам накануне первого налета!

Даже в октябре и ноябре, когда линия фронта подошла к Москве так близко, что в налетах стали принимать участие даже самолеты фашистской фронтовой авиации — двухместный истребитель «Мессершмитт-110» и пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87», — даже тогда массированные налеты у них больше не получались. Только в ночь на 10 ноября противник попробовал было ударить по Москве группой в 100 самолетов, но, потеряв во время этого налета 47 (сорок семь!) машин, от массовых налетов отказался. Отказался, как показал последующий ход событий, навсегда.

Но не следует думать, что октябрь и ноябрь сорок первого года были для 6-го авиакорпуса месяцами передышки. Нет, именно в это время на его долю пришлось самые тяжкие испытания и самые жестокие потери. Фронт приблизился к городу. Война пришла в Подмоскowie. И летчикам-истребителям ПВО пришлось, кроме выполнения своих прямых обязанностей, еще и патрулировать над линией фронта и сопровождать своих бомбардировщиков и штурмовиков, а в дни самых острых, критических событий — самим штурмовать позиции и войска противника. Штурмовать на небронированных, одномоторных, совсем не приспособленных для этого вида боевой работы самолетах!

Я перелистываю старые документы — боевые донесения частей корпуса и оперативные сводки его штаба. Октябрь сорок первого. Потери... потери... потери... Один за другим гибнут классные летчики — герои отражения первых налетов на Москву.

Восьмого октября не возвращается с боевого задания лейтенант В. Д. Лапочкин.

Десятого октября гибнет замечательный летчик, ветеран корпуса — капитан Константин Николаевич Титенков. За три дня до гибели он вместе с Лапочкиным (для которого этот день был предпоследним днем жизни), Васильевым и Верблюдовым (который не вернулся с задания, сбив «Хейнкель-111» в тот же день, когда погиб Титенков, четырьмя часами раньше) сбил очередной «Мессершмитт»... Через две недели будет опубликован Указ о присвоении К. Н. Титенкову звания Героя Советского Союза. Пометка «посмертно» в Указах тех лет не фигурировала: их было бы чересчур много, таких пометок...

Двадцать седьмого октября в групповом бою с девяткой «Мессершмиттов» гибнет Герой Советского Союза младший лейтенант Виктор Талалихин — каких-нибудь три месяца назад мы познакомились с этим сдержанным, спокойным, обаятельным юношей. После своего знаменитого ночного тарана он продолжал успешно воевать. Только в октябре на его счету три самолета врага: два «Хейнкеля-111» в один день 13-го и «Мессершмитт-110» 15-го. И вот не стало его самого... В марте сорок второго года мы прочитали в Указе о его награждении орденом Красного Знамени. Тоже — посмертно и тоже без упоминания об этом...

Восемнадцатого ноября гибнет в воздушном бою младший лейтенант И. М. Швагирев, который месяцем раньше — 13 октября — таранил «Юнкерс-88», после того как трижды безрезультатно атаковал его и израсходовал все боеприпасы. Таранил — и посадил свою пробитую во многих местах пулями и осколками машину с двумя погнутыми и одной начисто обрубленной лопастью винта к себе на аэродром. Как видно, пример Катрича оказался привлекательным: появилось стремление если уж таранить самолет противника, то делать это не отчаянно зажмурившись, а филигранно.

Потери... потери... потери...

Я пишу сейчас о них и думаю: неужели правы те, кто считает (или по крайней мере говорит, что считает), будто современной молодежи нет дела до всего этого, что никому не нужны сейчас поминальнички, что всех погибших все равно не перечислишь...

Недавно один человек, мой ровесник, с раздражением сказал мне: — Для них же сейчас нет ничего святого. Они ни во что не верят!

Вот с этим я не согласен решительно! Святое есть. Общение с современной молодежью (наверное, во все времена существовал брюзгливый термин «современная молодежь») решительно укрепляет меня в этом убеждении. И гражданские чувства, и неравнодушие к общественным судьбам, и тяга к честности, порядочности, благородству, и многое другое — в полной мере присуще людям, которым сейчас столько же лет, сколько было нам, когда на нас навалилась война. С ними нетрудно найти общий язык, причем найти, как выражаются докладчики, на достаточно высокой принципиальной основе. Нет, ошибался мой собеседник: не следует принимать неверие в жрецов за неуважение к самому храму.

Поэтому я и надеюсь, что эти имена, имена очень немногих из множества погибших на войне, погибших совсем молодыми — «на веки веков восемнадцатилетних» — не будут пропущены читателем. Трагедия народа слагается из миллионов трагедий его сынов. Летчики-истребители Московской зоны ПВО — цвет славного 6-го авиакорпуса — одни из них.

Давайте напомним себе еще раз и постараемся не забыть: Москва осталась цела и почти невредима прежде всего благодаря их мужеству, умению, воле, благодаря жизням многих из них.

Во второй половине войны мы воевать уже умели. Научились делать эту работу. И, как во всякой работе, возникло и утвердилось множество больших и малых, простых и сложных, жизненно важных и более или менее второстепенных чисто деловых приемов, способов, методических находок, которые позволяли воевать эффективно и с относительно (только относительно, конечно) малыми потерями. Сформировалась и отработанная авиационная тактика — та самая, которую я так кустарно пытался создать для личного употребления в первые месяцы войны. Пришла зрелость.

Тогда-то один знакомый командир истребительного авиационного полка и сказал мне:

— Знаешь, что самое главное для молодого истребителя, когда он только приехал на фронт и в строй входит?

— Ну что?

— Ему надо выиграть первый бой! Самый первый! Потом всякое будет: и ему самому холку наломают, и с пробойнами возвращаться будет, и — не исключено — на парашюте сигануть придется. В общем, поклюет его жареный петух в заднее место. Война — ничего не попишешь!.. Но первый бой ему надо выиграть. Для уверенности в характере. Мы это, конечно, намоток не пускаем: посылаем его поначалу в такой компании, чтобы ему фрица загнала и на блюдецке преподнесла — прицеливайся и бей. И в случае чего самого бы прикрыла... Дальше его, конечно, все равно учить надо: чтоб кругом смотрел, голову на триста шестьдесят крутил и чтоб на всякую приманку по дешевке не клевал, в общем, много чему учить. Но это уже дело второе. А с самого начала он должен что понимать? Что фриц — если хорошо по нему дать — и горит, и падает в самом лучшем виде! Вот это оно и есть — самое главное.

На стороне моего собеседника был авторитет фактов: в его полку молодежь входила в строй быстро и воевала не менее успешно, чем старики. Видимо, принятая методика их ввода в строй была правильна.

Правда, история нашей авиации преподносила и обратные примеры — когда первые неудачи только придавали человеку злости и вызывали активное стремление рассчитаться с противником сполна. Достаточно назвать самого результативного истребителя в нашей авиации — Ивана Никитовича Кожедуба, сбившего шестьдесят два вражеских самолета. Ему в первом бою так досталось от истребителей противника и от зенитной артиллерии (кстати, своей, в огонь которой он устремился, чтобы оторваться от преследования «Мессершмиттов»), что еле удалось посадить подбитый «Лавочкин» на своем аэродроме. Но Кожедуб по многим статьям — в том числе и по волевым качествам — конечно, не правило, а исключение. Обычному же молодому летчику выиграть свой первый бой, наверное, действительно очень важно.

Разговор этот вспомнился мне через много лет после войны.

Для защитников Москвы та теплая июльская ночь первого вражеского налета и была ночью первого боя. Боя, с которого, в сущности, и началась многомесячная, тяжелая, кровопролитная битва за Москву — на земле и в воздухе.

Наша эскадрилья была лишь малой частицей среди множества частей и соединений — участников этой битвы. Но сейчас, вспоминая те горячие месяцы, я вижу, что в ней как в капле воды отразилось самое главное, самое характерное, определявшее в то время дела и думы нашей авиации, нашей армии, всей нашей страны.

Война началась неожиданно для подавляющего большинства из нас. У нас не хватало новой техники. Еще больше не хватало организованности, порядка, всего того, что в совокупности называется умением воевать. Мы не были до конца готовы к войне не только материально, но и даже психологически. В головах наших прочно засела мысль о том, что «если завтра война»... Завтра, — а она началась сегодня! Не мудрено, что во многих душах возникла растерянность, недоумение, тревога, досада — сложный сплав чувств людей, застигнутых врасплох...

Все это было.

Но было и другое!

Было твердое, естественно возникшее с первой минуты, органическое убеждение всех и каждого, что эту внезапно свалившуюся тяжесть никто, кроме нас самих, на свои плечи не возьмет.

Мы сразу и бесповоротно поняли, что это — н а ш а война.

Мы не знали, кто из нас доживет до ее конца, но ни минуты не сомневались в том, к а к и м будет этот конец.

Многого необходимого для того, чтобы воевать, мы не знали, не имели и не умели. Но душевное состояние поколения, встретившего войну, было единое. То самое, с которым полгода спустя была выиграна битва за Москву — начавшаяся 22 июля сорок первого года, в ночь отражения первого налета вражеской авиации на нашу столицу,— и которое через четыре года привело нас к Победе...

А первый бой — мы все-таки выиграли.



---

---

В. СЕМИН

★

## НАШИ СТАРУХИ

*Рассказ*

**М**ы давно уже не были у наших старух. Не звонили им, не писали. И теперь, поднимаясь к ним на третий этаж, как всегда, договаривались с женой: никак не могли выбраться — много работы, сын болел... Но врать нам не пришлось. Дверь открыла старшая сестра — младшей, перед которой мы готовились оправдываться, не было дома.

Юлия Тихоновна обрадовалась нам, а мы обрадовались ей.

— Пропашие! — сказала она и предупредила: — Виктории дома нет.

Юлия Тихоновна считает себя второй в доме; она думает, что мы приходим только к Виктории Тихоновне.

После смерти мужей сестры живут вместе. Старшая из Вильнюса приехала к младшей, и младшая тихонько терроризирует ее.

— Пока ее нет, — Юлия Тихоновна показала нам в комнате разглаженную скатертную дорожку, занавески, скатерть, — я поглажу. Если не увижу, нагнусь, посмотрю. Лишь бы спокойно. Если меня никто не гонит, я все могу сделать. Я ей не говорила. Я сама окна вымыла. Видите, чистые. Правда, чистые? Это очень просто: я поставила табуретку на балкон, влезла на табуретку и помыла. Уборщица пришла, говорит: «А окна у вас чистые, не надо мыть». А я, — подмигнула нам Юлия Тихоновна, — говорю: «А как же! Мы и зимой окна моем». Виктория и не поняла ничего. А наша Дульця — это мы между собой так уборщицу зовем — покрутилась, покрутилась и ушла. Смотрю, а окна она не трогала — значит, чистые. Я и обед могу сварить, и постирать, и полы натереть. Лишь бы спокойно. Если меня спросят: «Юля, а утюг не перегорит?» — я уже сама не своя. Обязательно что-то сожгу, что-то не так сделаю. Обязательно. А если никого нет, если все покойно, я все могу сделать. А она придет: «Ты опрокинешь, ты сожжешь! Ты недоглядишь! Ты упадешь! Ложись и лежи! Отдыхай!» Только когда я одна, и поработаю...

— Юлия Тихоновна! И лежите себе! Это же хорошо, — смеется моя жена. — Отдыхайте. Я бы отдыхала. Я бы ничего не делала, так муж говорит: делай, пожалуйста!

— Это пока ты еще можешь делать, тебе не хочется. А я скоро совсем лягу... отдыхать. Мне хочется. — Юлия Тихоновна шевелит толстой, мягкой рукой, кладет ее на остывший утюг. — Вот она мне не решает, а я думаю: скорей бы вам квартиру дали. Вы ходите, просите, раз уж вам обещали, — добивайтесь, а я вам все в вашей квартире сделаю. И уберу, и на базар схожу, и приготовлю. И за сыном догляжу.



Вы мне только ключ дадите, а я все сделаю сама. А меня вы и не увидите. Я к сыну, бывало, приду в Вильнюсе. Квартира у него хорошая, три комнаты. Я днем приду, когда он на работе, подойду, а окна ставнями закрыты, темно. Я стучу, стучу — никто не отвечает. Я и уйду. Только отходить — кричит: «Мама, куда вы! Входите!» Это жена сына. «А где же ты была?» — «Да, говорит, голова болела, нездорова я». Это она так говорит, а ей просто делать ничего не хочется. Я у сына спрашиваю: «Она у тебя хворая?» — «Хворает, мама». Ну, я им все приберу, помою, сварю и уйду.

— Давно от сына было письмо? Пишет Генка? — спрашиваю я.

Юлия Тихоновна оборачивается и через очки внимательно смотрит на меня.

— Так же, как и мы, — догадывается жена.

Юлия Тихоновна смеется.

— Точно, все точно так. Месяц назад позвонил из Вильнюса. Ему позвонить — трубку поднять. Дома же телефон. Кашлял, кашлял в трубку. Я спрашиваю: «Что с тобой?» Говорит, был в гостях. Обрато шли против ветра, нес на руках дочку и простудился немного. Я ему говорю, чтобы поберегся. У отца был туберкулез. У отца, — поясняет она, — не с детства был туберкулез. В гражданскую он участвовал в боях, зимой переходил через речку, заледенел, вот и последствия...

О муже, профессиональном военном, с которым она горела в хате, подожженной бандеровцами, и который, когда им обоим было далеко за пятьдесят, вдруг взбесился, бросил ее и укатил за какой-то девчонкой, она говорит спокойно — «отец».

— Так что туберкулез не наследственный. А все же поберегся надо. А Генка отмахивается: «Ничего со мной не будет». Спрашивает: «А как у вас с продуктами? Масло есть?» — «Нет», говорю. «А как ты посмотришь на то, если я вам подошлю масла?» Как посмотрю! Рада буду! Тут телефонистка прервала разговор. Время истекло. С тех пор, — смеется Юлия Тихоновна, — ни посылки, ни письма. А я, по правде говоря, обрадовалась: масло на базаре не по нашим средствам.

— А что сегодня на кладбище? Чего Виктория Тихоновна туда пошла? — спрашиваю я с некоторым беспокойством: не забыл ли какой-нибудь поминальной даты, за которыми старухи тщательно следят.

— Там сейчас новоселов много. — Юлия Тихоновна так просто произносит «новоселов», что до меня не сразу доходит жутковатый смысл, который она вкладывает в это слово. — Помните аллею у оградки Василия?

Василий — муж Виктории Тихоновны.

— Аллеи уже нет, осталась узенькая тропинка. Рядом с Василием генерала похоронили. Там такую ограду сделали! За такой оградой можно еще несколько человек похоронить. Виктория тоже решила на метр ограду раздвинуть. Даже хотела цоколь ломать. А я говорю: не надо ломать, он еще тысячу лет простоят, если не ломать...

— А зачем раздвигать ограду?

— А как же? Где же я буду? И Виктория хочет с Василием лежать. Только Виктории не надо это говорить. А то сразу: «Ах, умираю, умираю!»... Она теперь каждый день ходит — стережет место. Там соседи хотели ограду сделать. Помните, была запущенная могилка? Теперь объявили, что скоро кладбище закрывать будут. Уж очень старое. Могилы, что без присмотра, сравнивают, оставят только те, где присматривают. Вот наши соседи и забеспокоились. Решили сделать ограду. Виктория пришла, а они мостят свою ограду так, что к Василию не пройти. Только через их ограду. Они и говорят Виктории: «А чего вы

волнуетесь? Будете ходить через нашу ограду». Виктория им: «Может, так бы и было, если бы вы посоветовались со мной. А сейчас я своего согласия не даю». Пошла к директору кладбища, тот пришел, накричал на этих людей, они все делали без его разрешения. «Совсем, говорит, не разрешу делать ограду». Так что теперь Виктория ходит туда каждый день, чтобы без нее что-нибудь не сделали...

Жена моя осматривает комнату.

— А ваша Дульця,— говорит она,— не очень-то аккуратна. Виктория Тихоновна говорила, что она курит, пьет. Это же неприятно, когда женщина пьет.

Юлия Тихоновна не сразу, как-то уклончиво соглашается:

— Да, неприятная. Курит, пьет, плохо убирает, но мы ее приглашаем к себе. А что делать? Ей уже больше пятидесяти, поясница не сгибается, руки болят, а она на каждый день набрала себе работы. Каждый день где-нибудь стирает, моет, полы трет. Как она их трет? Сядет на пол и тряпкой — раз-раз... Паркетный пол так не натирают. За ней надо ходить: «И это вы не сделали, и это». Ну, а что делать? Пожилой одинокий человек.

Когда мы собираемся домой, Юлия Тихоновна, вспомнив что-то, протягивает мне почтовую карточку «обратное уведомление». Что-то она там не разберет. Послали они посылку своей племяннице, которая с мужем живет под Архангельском. Посылку послали с «обратным уведомлением». Время проходит, а письма-подтверждения, что молодые уже получили посылку, нет. Старухи начали волноваться: не случилось ли чего. Правда, «обратное уведомление» пришло, но не может же быть, чтобы молодые получили посылку и не прислали письмо, не подтвердили, что посылка пришла. Старухи заказали телефонный разговор, а дурочка-племянница что-то такое накричала на них. «Не нужна мне ваша посылка!» Или еще что-то. Так что старухи до сих пор сомневаются.

— Давно получили они посылку,— говорю я.

— Да? — с сомнением смотрит на меня Юлия Тихоновна и, так и не решив этот вопрос для себя, идет провожать нас к дверям.

— Так вы добивайтесь, чтобы вам дали квартиру,— говорит Юлия Тихоновна.— А я буду все для вас делать...

А приходили мы к ним, чтобы забрать костюмчики, которые старухи сшили для нашего сына.



---

---

ФРИДРИХ ДЮРРЕНМАТТ

★

## ГРЕК ИЩЕТ ГРЕЧАНКУ

*Комедия в прозе*

1

**Д**ождь шел и шел — день за днем, ночь за ночью, неделю за неделей. Улицы, проспекты, скверы влажно поблескивали, вдоль тротуаров неслись потоки воды, текли реки и ручейки; машины плыли, люди перебирались вброд, спрятавшись под зонтики, закутавшись в плащи, башмаки у них не просыхали, чулки — хоть выжми; с кариатид, подпиравших балконы дворцов и гостиниц, с лепных амурчиков и афродит на фасадах домов текло и капало, струи воды перемешивались с размокшим птичьим пометом, голуби прятались на греческом фронтоном парламента, под ногами и торсами на историко-патриотических барельефах. Кошмарный январь! А потом пошли туманы — и опять день за днем, неделю за неделей; вспыхнула эпидемия гриппа; для людей порядочных, социально-обеспеченных она была не столь уж страшна, грипп унес, правда, нескольких богатых старичков и старушек, нескольких почтенных государственных мужей, но пачками он косил только бездомных бродяг, ютившихся под мостами у реки. А дождь лил и лил. Лил как из ведра.

Его звали Арнольф Архилохос, и мадам Билер за стойкой говорила:

— Бедняжка. Какое неммыслимое имя. Огюст, принеси ему еще стакан молока.

А по воскресеньям она изрекала:

— Дай ему еще стакан перье.

Но ее муж Огюст, костлявый мужчина, занявший однажды первое место в легендарной велогонке *Tour de Suisse*<sup>1</sup> и второе в еще более легендарном велокроссе *Tour de France*<sup>2</sup>, — он обслуживал посетителей в костюме гонщика, в желтой майке победителя (ведь приходили все люди свои, болельщики), — имел особое мнение об Архилохосе.

— Не понимаю, чем он тебе нравится, Жоржетта, — говорил он утром, вставая с постели или нежась под одеялом, а также вечером, когда публика расходилась и экс-чемпион, забравшись за печку, мог подержать в тепле свои тощие волосатые ноги, — не понимаю, чем тебе нравится этот Архилохос. Никакой он не мужчина, а просто размазня. Нельзя же всю жизнь ничего не пить, кроме молока и минеральной воды.

---

<sup>1</sup> Вокруг Швейцарии (*франц.*).

<sup>2</sup> Вокруг Франции (*франц.*).

— И ты прежде ничего другого не пил,— отвечала Жоржетта своим низким голосом и подбоченивалась, а если она лежала в кровати, то складывала руки на своей мощной груди.

— Согласен,— говорил Огюст после долгого размышления, во время которого он не переставая массировал себе ноги.— Но у меня была цель — прийти первым в Tour de Suisse, и я пришел первым, хотя брал так и те высокие перевалы, и в Tour de France я тоже чуть не пришел первым. Ради этого стоило себе во всем отказывать. С Архилохосом ты меня не равняй. Он даже с женщинами не спал, хоть ему уже сорок пять.

Последнее огорчало и мадам Билер. Она приходила в смущение всякий раз, когда Огюст, лежа в кровати или расхаживая по кафе в своем костюме гонщика, касался этой темы. Нельзя отрицать, что у месье Арнольфа — так мадам называла Архилохоса — были очень твердые принципы. К примеру, он не курил. А уж о крепких словечках и думать нечего. Наконец Жоржетта не могла представить себе Арнольфа в ночной рубашке и уж тем более — голым: настолько он был всегда подтянутым и застегнутым на все пуговицы, хотя одет был бедновато.

Мир его стоял незыблемо: целая система, миропорядок, основанный на высокой нравственности, и венчал его президент.

— Поверьте мне, мадам Билер,— говорил Архилохос, почтительно взирая на портрет президента в рамке из эдельвейсов, который висел позади стойки над бутылками из-под водки и ликеров.— Поверьте мне, наш президент — трезвенник, мудрец, почти святой. Не курит, не пьет, уже тридцать лет как овдовел, детей не имеет. Можете прочесть об этом в газетах.

Мадам Билер не решалась возражать по существу. Она, как и все ее сограждане, испытывала некоторое почтение к президенту — ведь он был единственной твердыней в беспокойной политической жизни страны, в этой чехарде, где правительства без конца сменяли одно другое,— испытывала почтение, хотя столь безупречная добродетель пугала ее. Мадам не желала в нее верить.

— Мало ли что пишут в газетах,— говорила Жоржетта нерешительно,— пусть себе пишут, но как оно там на самом деле, никому неизвестно. Все знают, что газеты врут.

— Нет,— отвечал Архилохос,— неверно. Мир, в сущности, исполнен нравственности,— и при этом он размеренными глотками допивал свое перье так торжественно, словно это было шампанское.— Огюст тоже верит газетам.

— Ну что вы,— возражала хозяйка,— уж мне-то лучше знать. Огюст не верит газетам. Ни одному их слову.

— Разве он не верит спортивной хронике?

С этим мадам Билер не могла спорить.

— Добродетель всем видна,— продолжал Архилохос, протирая свои очки без оправы, с погнутыми дужками.— Она светится на лице президента, и на лице моего епископа она тоже светится.— При этом Архилохос окидывал взором портрет, висевший над дверью.

Мадам Билер протестовала: епископ, говорила она, довольно-таки толстый мужчина, уж он-то никак не может быть добродетельным.

Однако и в этом пункте Архилохоса нельзя было поколебать.

— Такая уж у него комплекция,— возражал он,— если бы он не жил добродетельно, как мудрец, он был бы еще голще. Вот посмотрите на Фаркса: невоздержанный субъект, неуемный гордец. Законченный грешник и к тому же тщеславный.— Большим пальцем он через плечо указывал на изображение небезызвестного фрондера.

Но мадам Билер не сдавалась.

— Какое уж там тщеславие,— заявляла она,— при эдакой физиономии и всклокоченной шевелюре. Да еще при его-то социальных симпатиях.

Арнольф возражал, что у Фаркса, дескать, особый вид тщеславия.

— Не понимаю, почему здесь красуется этот демагог. Ведь его только что выпустили из тюрьмы.

— Никогда не знаешь, как все обернется,— говорила в таких случаях мадам Билер, залпом выпивая бокал кампари.— Никогда не знаешь. В политике тоже надо быть осторожным.

Возвратимся, однако, к портрету епископа,— портрет Фаркса висел на противоположной стене. Епископ занимал второе место в иерархическом миропорядке господина Архилохоса. То был не католический епископ, хотя мадам Билер была на свой лад доброй католичкой: она ходила в церковь (если уж ей случалось туда зайти), чтобы самозабвенно поплакать (точно так же самозабвенно она плакала и в кино). То был также не протестантский епископ, хотя Огюст Билер (Густы, сын Геду Билера), выходец из немецкой Швейцарии (Гроссафолтерн), «первый корифей велосипедного трека, которого Швейцария дала миру» («Спорт» от 9 сентября 1929 года), как сторонник Цвингли<sup>1</sup>, не признавал никаких других епископов, впрочем, сам он и не подозревал, что является цвинглианцем. Тот епископ на стенке был главой старопрепосвитерия предпоследних христиан, довольно-таки редкой и путаной секты, импортированной из Америки; теперь он висел над дверью, потому что Архилохос впервые предстал перед Жоржеттой с его портретом под мышкой...

Это было девять месяцев назад. Майский день, на улицах — яркие солнечные блики, в маленьком кафе — косые снопы света, золотившие и без того золотистую майку Огюста, а также его унылые волосатые ноги велогонщика, как бы окутывая их мерцающим облаком.

— Мадам,— сказал тогда Архилохос робко,— я пришел к вам потому, что в вашем заведении висит портрет президента. Прямо над стойкой, на самом видном месте. Меня как патриота это радует. Я ищу кафе, где мог бы столоваться. По-домашнему. Я хотел бы иметь постоянное место, лучше всего в углу. Я одинок, работаю бухгалтером, веду размеренный образ жизни, совершенно не употребляю спиртного. Не курю. И, конечно, не произношу бранных слов.

Они столковались насчет цены.

— Мадам,— заговорил Архилохос снова, передавая хозяйке портрет и меланхолично разглядывая ее через свои грязноватые невзрачные очки,— мадам, разрешите обратиться к вам с просьбой: повесьте, пожалуйста, на стенку этого старопрепосвитерия епископа предпоследних христиан. Желательно рядом с президентом. Я не могу есть в помещении, где нет этого портрета. Именно потому я и ушел из столовой Армии спасения, в которой питался до сих пор. Я чту епископа. Он пример абсолютного трезвенника, настоящего христианина.

Так получилось, что Жоржетта повесила в кафе епископа предпоследних христиан — правда, всего лишь над дверью,— и он висел там, безмолвный и убогатворенный, человек чести; только иногда его предавал Огюст, кратко и ясно отвечая на вопрос немногих любопытных:

— Мой коллега по спорту.

Через три недели Архилохос принес второй портрет. Фотографию

<sup>1</sup> Цвингли (1484—1531) — швейцарский церковный реформатор, который, так же как и Лютер, вел борьбу с католицизмом. Последователи Цвингли примкнули к кальвинистской церкви.

с факсимиле. На карточке был изображен Пти-Пейзан — владелец машиностроительного концерна Пти-Пейзан. Архилохос сказал, что ему было бы приятно, если бы в кафе висел также Пти-Пейзан. Может быть, его стоило бы повесить вместо Фаркса. Оказалось, что в основном на нравственных принципах миропорядке Архилохоса владелец машиностроительного концерна занимал третье место. Но у мадам Жоржетты были на этот счет возражения.

— Пти-Пейзан производит пулеметы,— сказала она.

— Ну и что?

— Танки.

— Ну и что?

— Атомные пушки.

— Не забывайте электробритву Пти-Пейзана и родовспомогательные щипцы, мадам Билер. Исключительно гуманные изделия.

— Месье Архилохос,— торжественно возвестила Жоржетта,— я должна вас предостеречь: никогда не имейте дела с Пти-Пейзаном.

— Я служу у него,— ответил Арнольф.

Жоржетта рассмеялась.

— Раз так,— сказала она,— зря вы пьете одно только молоко и минеральную воду, зря не едите мяса — (Архилохос был вегетарианец) — и не живете с женщинами. Пти-Пейзан выполняет поставки для армии, а когда армия обеспечена поставками — начинается война. Это уж определено.

Архилохос стоял на своем.

— Но не при нашем президенте! — воскликнул он.

— Как же!

На это Архилохос, ничуть не смутившись, ответил, что мадам, мол, ничего не знает о санаториях для беременных работниц и о домах призрения для престарелых рабочих-инвалидов, которые открыл Пти-Пейзан. Вообще Пти-Пейзан нравственный, можно сказать, настоящий христианин.

Но мадам Билер была непреклонна, и получилось так, что, кроме первых двух столпов миропорядка господина Архилохоса (он сидел в своем углу, окруженный болельщиками, бледный, застенчивый, немного располневший), третьим в кафе висел тот, кто в этом миропорядке был последним звеном, воплощением зла, а именно Фаркс, анархист, устроивший путч в Сан-Сальвадоре и взбунтовавший Борнео. Ибо и с номером четвертым Арнольфу тоже не повезло.

Передавая Жоржетте еще одну картину, четвертую по счету,— на сей раз репродукцию, и притом дешевенькую,— Архилохос предложил вывесить ее где угодно, ну хотя бы под Фарксом.

— Кто это намалевал? — спросила Жоржетта и с удивлением воззрилась на треугольные четырехугольники и на искривленные круги.

— Пассап.

Оказалось, что месье Арнольф — поклонник этого знаменитого художника. Тем не менее Жоржетта никак не могла понять, что изображено на картине.

— Подлинная жизнь,— утверждал Архилохос.

— Но ведь внизу написано «Хаос»,— воскликнула Жоржетта и показала на правый нижний угол репродукции.

Архилохос покачал головой.

— Великие художники творят бессознательно. Я убежден, что это полотно изображает подлинную жизнь.

Однако никакие доводы не помогали, и это так разобидело Архилохоса, что он не приходил в кафе целых три дня. Потом он опять явился, и постепенно мадам Билер вошла в курс жизни месье Арнольфа,

если вообще можно назвать это существование жизнью, таким оно было размеренным, упорядоченным и ни с чем не сообразным. Выяснилось, например, что в миропорядке Архилохоса были еще номера — от пятого до восьмого включительно.

Номером пятым шел Боб Форстер-Монро, посол Соединенных Штатов. Правда, он не являлся старо-новопресвитерианином предпоследних христиан, а был всего лишь старопресвитерианином предпоследних христиан: обидное, но не безнадежное различие, о котором Архилохос, человек отнюдь не нетерпимый в вопросах веры, мог рассуждать часами. (Не считая всех других религий, он решительно отвергал и новопресвитериан предпоследних христиан.)

Номером шестым шел мэтр Дютур.

Номером седьмым — Эркюль Вагнер, ректор университета.

В свое время адвокат Дютур защищал давным-давно обезглавленного убийцу, растлителя малолетних, который был помощником проповедника у старо-новопресвитериан («это плоть младшего проповедника изнасиловала его дух, душа его была ни при чем, она осталась незапятнанной перед лицом творца»). Что же касается ректора университета, то он посетил как-то раз студенческое общежитие предпоследних христиан и минут пять беседовал со вторым номером миропорядка (епископом).

Под номером восьмым шел Биби Архилохос, брат Арнольфа, большой души человек, как его охарактеризовал Архилохос, но безработный, что немало удивило Жоржетту, — ведь благодаря стараниям Пти-Пейзана вся страна была пристроена к делу.

Архилохос жил в каморке под крышей, неподалеку от кафе «У Огюста» — так называлось заведение чемпиона велоспорта, — и ему приходилось тратить больше часа, чтобы добраться до белого двадцатизэтажного административного здания машиностроительного концерна Пти-Пейзана, которое построил Ле Корбюзье. Каморка Арнольфа помещалась в мансарде на шестом этаже. Вонючий коридор, в комнате негде повернуться, косою потолок, обои неопределенного цвета, стул, стол, койка, библия, выходной костюм, прикрытый простыней; зато на стене целая картинная галерея: во-первых — президент, во-вторых — епископ, в-третьих — Пти-Пейзан, в-четвертых — репродукция картины Пассапа (четыреугольные треугольники), и так далее вплоть до Биби (семейная фотография: папа, мама и детки). Вид из окна: стена общественной уборной, подозрительные потеки — белые, желтые и зеленые; ровные ряды открытых вонючих окошек; только в разгар лета около полудня в каморку откуда-то сверху проникало солнце; вдобавок все время слышался шум спускаемой воды. Что касается рабочего места, то Архилохос сидел вкупе с пятьюдесятью другими бухгалтерами в большом, разделенном стеклянными перегородками зале, напоминающем лабиринт; передвигаться по нему можно было только зигзагами; восьмой этаж, отдел акушерских шипцов: нарукавники, карандаш за ухом, серый рабочий халат, обед в столовке при предприятии, где Архилохос чувствовал себя несчастным, потому что там не было портретов президента и епископа, а только портрет Пти-Пейзана (номер три). Собственно говоря, Архилохос числился не бухгалтером, а всего лишь помощником бухгалтера. Если выражаться точнее, помощником помощника бухгалтера. Словом, он являлся одним из последних помощников бухгалтера, если вообще можно употребить термин «последний», поскольку число бухгалтеров и помощников бухгалтеров в концерне Пти-Пейзана практически приближалось к бесконечности. Но, даже занимая эту незначительную, чуть ли не последнюю должность, Архилохос оплачивался гораздо лучше, чем это можно было предположить, судя по его каморке. К полутемной, окруженной уборными трущобе его приковывал Биби,

## 2

С номером восьмым (братом) мадам Билер познакомилась. Это произошло как-то в воскресенье. Арнольф пригласил Биби Архилохоса отобедать с ним в кафе «У Огюста».

Биби появился с одной законной и двумя незаконными женами и с семью детками; старшие, Теофил и Готлиб, были уже почти взрослые. Тринадцатилетняя Магда-Мария привела поклонника. Сам Биби оказался горьким пьяницей; жену его сопровождал «дядюшка», как его называла вся семья,— отставной моряк, с которым не было никакого сладу. Поднялась такая кутерьма, что даже болельщики ахнули. Теофил хвастался тем, что сидел в тюрьме, Готлиб тем, что участвовал в ограблении банка, Маттиас и Себастьян, двенадцати и девяти лет от роду, не расставались с финками, а оба младших мальчика, близнецы шести лет — Жан-Кристоф и Жан-Даниэль,— подрались из-за бутылки настоек.

— Что за люди! — в ужасе воскликнула Жоржетта, когда вся эта банда удалилась.

— Они еще дети,— успокаивал ее Архилохос, уплачивая по счету (половину своего месячного оклада).

— Послушайте,— возмутилась мадам Билер,— ваш брат содержит, по-моему, целую шайку разбойников. И вы еще даете ему деньги, чуть ли не все, что зарабатываете.

Но и в этом пункте Архилохоса нельзя было переубедить.

— Нужно смотреть в корень, мадам Билер,— сказал он.— Нужно смотреть в корень, а корень у них здоровый. Как у всех людей. Внешность обманчива. Мой брат, его супруга и их детки — благородные создания, пожалуй, только плохо приспособленные к этому грешному миру.

И вот Архилохос опять пришел в маленькое кафе — было снова воскресенье, половина десятого утра,— пришел на этот раз по другому поводу, с красной розой в петлице. И Жоржетта с нетерпением дожидалась его... Во всем был, в сущности, виноват этот нескончаемый дождь, и туман, и холод, и непросыхающие носки, и эпидемия гриппа, и еще то, что со временем грипп перешел в желудочный и Архилохос — мы ведь знаем его жилищные условия — из-за постоянного шума не мог сомкнуть глаз. Все это заставило Арнольфа изменить свою позицию: чем выше поднималась вода в сточных канавах, тем покладистей он становился в разговорах с мадам Билер и тем чаще мадам Билер заводила речь на одну деликатную тему, которая ее чрезвычайно волновала.

— Вам надо жениться, месье Арнольф,— говорила она.— Что за жизнь у вас в этой каморке под крышей? И нельзя же вечно быть в обществе болельщиков, вы ведь человек с культурными запросами. Вам необходима жена, которая бы о вас заботилась.

— Обо мне заботитесь вы, мадам Билер.

— Бросьте, если вы женитесь, все будет по-другому. Уютное гнездышко. Сами увидите.

Наконец она вырвала у него согласие поместить брачное объявление в газете «Ле суар». И тут же принесла бумагу, перо и чернила.

— «Холостой бухгалтер, сорок пять лет, старо-новопресвитерианин, чуткий, ищет старо-новопресвитерианку»,— предложила она.

— Это лишнее,— сказал Архилохос,— я уж сам обращаю свою жену в истинную веру.

Жоржетта согласилась

— «...ищет милую, веселую жену его возраста. Можно вдову».



Но Архилохос заявил, что нужна обязательно девушка.

Жоржетта стояла на своем.

— О девушке забудьте,— сказала она твердо.— У вас никогда не было женщины, а хотя бы один из двоих должен знать, как это делается.

Но тут месье Арнольф осмелился возразить, что он, мол, представлял себе объявление совершенно иначе.

— Как именно?

— Грек ищет гречанку!

— Господи,— поразилась мадам Билер,— разве вы грек? — спросила она и уставилась на господина Архилохоса, слегка обрюзгшего неуклюжего мужчину, скорее северного склада.

— Видите ли, мадам Билер,— сказал он застенчиво,— люди действительно представляют себе греков не такими, как я; мой предок давным-давно переселился в эту страну, чтобы погибнуть в битве при Нанси на стороне Карла Смелого. Так что я не очень-то похож на грека. Вы правы. Но сейчас, мадам Билер, в этот туман и стужу, в этот дождь меня так же, как почти каждую зиму, тянет на родину, которую я никогда не видел. Я мечтаю о Пелопоннесе, о его красноватых скалах и голубом небе. (Я как-то прочел об этом в «Матче».) Вот почему я непременно хочу жениться на гречанке, наверно, и она в этой стране чувствует себя такой же одинокой.

— Вы поэт в душе,— ответила Жоржетта, вытирая слезы.

И смотри-ка, уже на третий день Архилохосу пришел ответ. Маленький, надушенный конвертик с голубым, как небо Пелопоннеса, листком бумаги. Хлоя Салоники писала ему, что она одинока, и спрашивала, когда им можно встретиться.

По совету Жоржетты он ответил в письменной форме, предложив Хлое встретиться с ним «У Огюста» в воскресенье такого-то числа, в январе. Они узнают друг друга по красной розе.

Архилохос надел свой темно-синий костюм, справленный еще к конфирмации, но забыл пальто дома. Он волновался. Думал, не повернуть ли ему назад, не забраться ли в свою каморку под крышей, и впервые ощутил недовольство, увидев, что у дверей кафе его поджидает Биби; он с трудом различил брата в этом тумане.

— Гони монету,— сказал Биби, протягивая свою братскую раскрытую ладонь.— Магде-Марии необходимо брать уроки английского.

Архилохос удивился.

— У нее новый кавалер, вполне приличный,— разъяснил Биби,— но он говорит только по-английски.

Архилохос с красной розой в петлице дал Биби деньги.

Жоржетта не находила себе места, один Огюст сохранял спокойствие: как всегда, когда в кафе не было народа, он сидел в своем костюме велогонщика у печки, потирая голые ноги.

Мадам Билер прибирала на стойке.

— Интересно, какая она. Можно лопнуть от любопытства,— сказала Жоржетта,— держу пари, что толстая, но милашка. Надеюсь, не слишком старая, ведь про это она ничего не пишет. Да и кто признается в таких вещах?

Чтобы немного согреться, Архилохос заказал стакан горячего молока.

Хлоя Салоники вошла в кафе как раз в ту минуту, когда он протирает очки, запотевшие от пара, который подымался над стаканом.

По близорукости Архилохос увидел сначала только нечто расплывчатое, овал лица и под ним где-то справа ярко-красное пятно — розу,

как он догадался; но молчание, которое воцарилось в трактире, гробовая тишина, не прерываемая ни звяканьем стаканов, ни человеческим дыханием, так встревожило его, что он не смог сразу нацепить очки. Однако лишь только это удалось ему, как он снова сбросил их и опять стал в волнении протирать стекла. Произошло нечто невероятное. В этой забегаловке в этот туманный и дождливый день совершилось чудо! К обрюзгшему холостяку, к добренькому растяпе, загнанному судьбой в вонючую каморку под самой крышей и не пьющему ничего, кроме молока и минеральной воды, к этому помощнику помощника бухгалтера, изнывающему от своих принципов и страхов, разгуливающему в мокрых рваных носках, в измятой рубашке, в куцем костюмчике и в стоптанных башмаках,— к этому человеку, у которого в голове была сплошная каша, явилось волшебное создание, чудо красоты и грации, настоящая маленькая принцесса; не мудрено, что Жоржетта не смела шелохнуться, а Огюст стыдливо спрятал за печку свои ноги велогонщика.

— Господин Архилохос? — спросил тихий, нерешительный голосок.

Архилохос поднялся и попал рукавом в чашку, молоко пролилось на его очки. Он с трудом нацепил их опять и, застыв на месте, глядел на Хлою Салоники сквозь молочные струйки.

— Принесите мне еще молока,— проговорил он наконец.

— О,— рассмеялась Хлоя,— мне тоже.

Архилохос сел, не в силах оторвать глаз от красавицы и не смея пригласить ее за свой столик. Ему было страшно, эта нереалистическая ситуация подавляла его, и он не отваживался вспоминать о своем объявлении; розу он смущенно вытащил из петлицы своего кургузого пиджака. Он ждал, что Хлоя вот-вот разочарованно повернется к дверям и исчезнет навсегда. А может быть, думал он, все это ему только снится. Он был беззащитен перед красотой этой девушки, перед чудом, которое было невозможно постичь, и не надеялся, что чудо продлится хотя бы еще несколько секунд. Он чувствовал себя смешным уродом и вдруг с необычайной ясностью представил себе свое жилище, беспросветность рабочего квартала, в котором он прозябал, и всю унылую однообразность работы помбуха; но тут девушка присела к нему за столик и взглянула на него своими огромными черными глазами.

— Ах,— сказала она счастливым голосом,— я не знала, что ты такой славный. И я рада, что мы, греки, нашли друг друга. Сядь-ка поближе, у тебя на очках молоко.— Она сняла с него очки и вытерла их, очевидно, своим шарфом, так показалось близорукому Архилохосу, а потом начала дышать на стекла.

— Мадемуазель Салоники,— с трудом выдавил из себя Архилохос. Казалось, он произносит свой смертный приговор.— Я, может быть, уже не совсем настоящий грек. Моя семья выехала из Греции во времена Карла Смелого.

— Грек всегда остается греком,— рассмеялась Хлоя. Потом она надела на него очки, и Огюст принес молоко.

— Мадемуазель Салоники...

— Зови меня просто Хлоя,— сказала она,— и давай говорить друг другу «ты», мы ведь поженимся, я хочу выйти за тебя замуж, потому что ты грек. Мне хочется, чтобы ты был счастлив.

Архилохос покраснел.

— Хлоя, я в первый раз в жизни беседую с девушкой,— выдавил он из себя наконец.— Из женщин я разговаривал раньше только с мадам Билер.

Хлоя молчала. Она, очевидно, думала о чем-то своем, и они пили горячее молоко, от которого шел пар.

Дар речи вернулся к мадам Билер только после того, как Хлоя и Архилохос ушли из кафе.

— Ну и девушка,— сказала она,— глазам своим не верю. А какой на ней браслет и колье! Сотни тысяч франков, не меньше. Наверно, у нее хорошая должность. А манто ты видел? Не знаю, что и за мех! О лучшей жене мечтать нельзя.

— Совсем молоденькая,— не мог прийти в себя Огюст.

— Положим, ей уже за тридцать,— ответила Жоржетта и налила себе стакан кампари с содовой.— Но она следит за собой. Небось каждый день ходит на массаж.

— И я тоже ходил, когда занял первое место в Tour de Suisse,— сказал Огюст и с грустью взглянул на свои костлявые ноги.— А какие у нее духи!

## 3

Хлоя и Архилохос стояли на улице. Дождь все еще шел. И был густой туман и пронизывающий холод.

Наконец Архилохос прервал молчание и сказал, что на набережной напротив Международной организации здравоохранения есть безалкогольный ресторан, очень дешевый.

Архилохос мерз — ведь он был в одном потрепанном мокром костюмчике, справленном еще к конфирмации.

— Возьми меня под руку,— предложила Хлоя.

Помбух смутился. Он толком не знал, как это делается. И только изредка осмеливался взглянуть на девушку, которая легкими шажками пробиравась сквозь туман, накинув на черные волосы серебристо-голубой платочек. Архилохос немного стеснялся. В первый раз он шел вдвоем с девушкой,— собственно, он был рад туману. Часы на церкви пробили половину одиннадцатого. Они шли по пустынным улицам предместья, в мокром асфальте отражались ряды домов. Шаги звучали приглушенно. Казалось, Арнольф и Хлоя идут по сводчатому подземелью. Кругом ни души, но вот навстречу из плотного тумана вынырнул голодный пес, грязный, промокший насквозь спаньель, черный с белым, уши и язык спаньеля уныло повисли. Оранжевый свет уличных фонарей казался тусклым. Мимо Арнольфа и Хлои промчался, бессмысленно сигналив, автобус. Наверно, шел к Северному вокзалу. Ошеломленный пустынной улицей, этим воскресеньем и непогодой, Архилохос прижался к мягкому меху, ища укрытия под маленьким красным зонтиком Хлоя. Они шагали в ногу, почти как настоящая любовная парочка. Где-то в тумане гнусаво запели — это была Армия спасения, а из окон домов по временам доносились обрывки музыки — по телевидению передавали утренний концерт, какую-то симфонию, не то Бетховена, не то Шуберта, и все эти звуки врывались гудки машин, плутовавших в тумане. Арнольф и Хлоя спустились к реке — так им по крайней мере казалось; одинаковые улицы сменяли друг друга, видны были только куски мостовой, да и то, когда светлело; все остальное было покрыто серой пеленой. Потом потянулся длинный-предлинный бульвар, с однообразными, скучными фасадами по обе стороны, и стало ясно, что они шли теперь мимо особняков давно прогоревших банкиров и отцветших кокоток, особняков с дорическими и коринфскими колоннами у подъездов, с чопорными балконами и высокими окнами в бельэтаже, освещенными или заколоченными, мокрыми и призрачными.

Хлоя начала рассказывать. Она рассказывала историю своей юности, столь же необыкновенную, как она сама. Она говорила запинаясь, порой смущенно. Но самые неправдоподобные эпизоды не вызывали сомнения

у младшего бухгалтера — ведь и то, что он переживал сейчас, походило на сказку.

Хлоя была сиротой (по ее словам), родилась в греческой семье, эмигрировавшей с Крита. На Крите семья, ютившаяся в бараке, в суровые зимы замерзала. А потом Хлоя осталась одна-одинешенька. Она росла в трущобах, ходила в лохмотьях, грязная, как тот черный с белым спаньель; воровала фрукты с лотков и монетки из церковных кружек. Ее преследовала полиция, за ней охотились торговцы живым товаром. Она спала в пустых бочках и под мостами вместе с бродягами, пугливая и недоверчивая, как зверек. А потом ее подобрала чета археологов, подобрала в буквальном смысле этого слова во время вечерней прогулки; девочку поместили в школу к монахиням, и вот она подросла и стала прислугой у своих благодетелей; приличная одежда, приличное питание, в общем и целом — ужасно трогательная история.

— Чета археологов? — удивился Арнольф. Такого он еще не слышал.

Хлоя Салоники разъяснила, что это супруги, которые занимаются археологией и производят в Греции раскопки.

— Они обнаружили там храм с ценными статуями, который погрузился во мхи. Храм с золотыми колоннами, — добавила она.

Он спросил, как зовут супругов.

Хлоя немного замялась. По-видимому, она подыскивала подходящее имя.

— Джильберт и Элизабет Уимэн.

— Знаменитые Уимэны?

(Только что в «Матче» была напечатана об Уимэнах статья с цветными иллюстрациями.)

— Они самые.

Арнольф сказал, что он включит их в свой миропорядок, основанный на нравственных принципах, за номерами девять и десять, а может быть, и за номерами шесть и семь, мэтр Дютур и ректор университета должны будут потесниться, они перейдут на номера девять и десять, что, впрочем, тоже весьма почетно.

— У тебя есть свой миропорядок? — с удивлением спросила Хлоя. — Что это такое?

Архилохос ответил, что каждому человеку необходимо иметь в жизни опору, а также нравственные образцы для подражания. И его, Архилохоса, путь был нелегким, хотя он и не рос среди убийц и бродяг; они с братом Биби воспитывались в сиротском приюте; после этого он начал рассказывать Хлое о своем миропорядке.

#### 4

Погода исправилась, но вначале они этого даже не заметили. Дождь перестал, в тумане появились просветы. Теперь он был как бы населен призраками; над виллами, банками, правительственными зданиями и дворцами клубились, сплетались, подымались ввысь и постепенно таяли огромные драконы, пузатые медведи и люди-гиганты. Сквозь скопления тумана проглядывало голубое небо; вначале, правда, неясно, еле заметно, как провозвестник весны, которая придет еще не скоро; голубые пятна были сперва очень блеклыми, но потом они стали яснее, лучезарнее, ярче. На мокром асфальте вдруг обрисовались тени домов, уличных фонарей, памятников, и внезапно каждый предмет обрел необычайную четкость и заблестел в потоках света.

Архилохос и Хлоя очутились на набережной перед дворцом президента. Бурная река чудовищно вздулась. Через нее были перекинуты

мосты с ржавыми чугунными решетками, под ними плыли пустые баржи, увешанные детскими пеленками, на палубах прогуливались промерзшие капитаны с трубками в зубах. Улицы по случаю воскресенья были полны народа. Вдоль тротуаров шпалерами выстроились важные старики со своими разряженными в пух и прах внуками, целые семьи. Повсюду были видны полицейские, фоторепортеры, журналисты — очевидно, они ожидали президента. И вот он выехал из дворца в своей исторической карете, запряженной шестеркой белых лошадей, а вокруг кареты гарцевали лейб-гвардейцы в золотых шлемах с белыми плюмажами; президент должен был, наверное, совершить акт государственной важности — освятить памятник, или прикрепить орден к чьей-то груди, или открыть сиротский приют. Цоканье копыт, фанфары, крики «ура», мелькание шляп в воздухе, омытом туманом и дождем.

И тут-то случилось нечто непостижимое.

В ту самую секунду, когда президент поравнялся с Хлоей и Архилохосом и Арнольф, обрадованный неожиданной встречей с номером первым его миропорядка (который он как раз начал разъяснять Хлое), оставил на своего седого бородатого кумира — лицо президента в позолоченном переплете каретного окошка было точь-в-точь, как на фотографии, висевшей у мадам Билер над бутылками из-под перно и кампари, — в ту самую секунду президент поздоровался с младшим бухгалтером, махнув ему рукой, будто Архилохос был его закадычный приятель. Рука его превосходительства в белой перчатке настолько явственно взмахнула и жест этот столь недвусмысленно относился к Архилохосу, что два полицейских с залихватскими усами стали перед бухгалтером во фронт.

— Президент поздоровался со мной, — пролепетал ошеломленный Архилохос.

— А почему бы ему не здороваться с тобой? — спросила Хлоя Салоники.

— Но я ведь человек маленький.

— Он — президент. Стало быть, всем нам отец, — так откомментировала странное происшествие Хлоя.

Но тут произошло новое событие, которого Архилохос, правда, также не понял, но которое преисполнило его еще большей гордостью.

Собственно, он как раз собрался поговорить о номере втором своего миропорядка, о епископе Мозере, и о той глубокой пропасти, которая разделяет старо-новых и просто старопресвитериан предпоследних христиан, а затем вкратце остановиться на новопресвитерианах (этом скандальном явлении внутри пресвитерианской церкви), но тут они увидели Пти-Пейзана (номер третий миропорядка Архилохоса), до которого, в сущности, речь еще не дошла. Итак, они увидели Пти-Пейзана: миллионер вышел не то из Международного банка, находившегося в пятистах метрах от дворца президента, не то из собора святого Луки, расположенного рядом с банком. Одет он был с иголочки — пальто, цилиндр, белый галстук. Прямо-таки лоснился от элегантности. Его шофер уже распахнул дверцу «роллс-ройса», и в эту секунду Арнольф заметил Пти-Пейзана. Он растерялся. Это было небывалое событие в его жизни, и притом поучительное, если вспомнить, что он как раз разъяснял Хлое свой миропорядок. Миллионер не знал Архилохоса, да и не мог знать, поскольку Архилохос был всего лишь младшим помощником бухгалтера в отделе акушерских щипцов, и именно это обстоятельство дало Архилохосу мужество указать перстом на великого человека, но не дало ему мужества поздороваться с ним (нельзя же здороваться с высшим существом!). Итак, Архилохос, хоть он и испугался немного, чувствовал себя защищенным — ведь он мог незаметно пройти мимо всемогущего про-

мышленника. Но тут во второй раз случилось чудо: Пти-Пейзан ухмыльнулся, снял цилиндр, помахал им и отвесил любезный поклон побледневшему Архилохосу, а потом, опустившись на мягкое сиденье своего лимузина, еще раз взмахнул рукой — и машина умчалась.

— Это был Пти-Пейзан,— тяжело дыша, пробормотал Архилохос.

— Ну и что?

— Номер третий моего миропорядка.

— Ну и что?

— Он мне поклонился!

— Надо надеяться.

— Но я всего лишь помощник бухгалтера и работаю еще с пятьюдесятью другими помощниками бухгалтеров во второстепенном подотделе отдела акушерских щипцов! — воскликнул Архилохос.

— Стало быть, у него есть социальное чутье,— заявила Хлоя,— и он достоин занять третье место в твоём миропорядке, основанном на нравственности.

По-видимому, она никак не могла уразуметь, насколько поразительно было это происшествие.

Чудесам воскресного дня конца не предвиделось, да и сам этот зимний день становился все лучезарней, все теплей, небо все голубело. Это уже было какое-то невероятное небо. С Архилохосом, который шагал со своей гречанкой то по мостам с чугунными решетками, то по старым аллеям парка мимо полуобвалившихся дворцов, теперь здоровался, казалось, весь огромный город. И сердце Арнольфа наполнялось гордостью, он присанился, его походка стала непринужденной, лицо просветлело. Он уже представлял собой нечто более значительное, нежели простой помощник бухгалтера. Он был счастливым человеком! Из кафе и автобусов ему махали рукой вылощенные молодые люди, ему кланялись солидные господа с серебристыми висками, с ним поздоровался увешанный орденами бельгийский генерал, который вышел из джипа,— очевидно, он служил в штабе НАТО. Американский посол Боб Форстер-Монро, который прогуливался около посольства с двумя шотландскими овчарками, явственно крикнул Арнольфу «хэлло»; что касается номера второго (это был епископ Мозер, еще более упитанный, чем на портрете у мадам Билер), то он повстречался им между Национальным музеем и крематорием, недалеко от безалкогольного ресторана напротив Международной организации здравоохранения. И епископ Мозер поклонился Архилохосу — теперь это казалось в порядке вещей. Архилохос знал епископа только по пасхальным проповедям — и то это отнюдь не был личным знакомством: просто Арнольф внимал Мозеру в толпе старух, распевавших псалмы; правда, он был прекрасно информирован о жизни епископа, читал о ней раз сто в брошюре, посвященной этому важному вопросу и распространяемой в епархии. Однако епископ казался еще более смущенным, чем приветствуемый им рядовой прихожанин старо-новопресвитерианской церкви, которую он возглавлял. Поздоровавшись, епископ заторопился и моментально юркнул в какой-то глухой проулок.

А потом Архилохос и Хлоя обедали в безалкогольном ресторане. Они сидели у окна и смотрели на другой берег реки — на Международную организацию здравоохранения и на памятник знаменитому здравоохранителю из этого ведомства; памятник облюбовали чайки, они сидели на нем, взмывали ввысь и, покружившись в воздухе, снова садились на то же место. Архилохос и Хлоя, утомленные долгой прогулкой, сидели, держась за руки, хотя им уже подали суп. Ресторан посещали главным образом старо-новопресвитериане (и в небольшом количестве старопресвитериане), в основном старые девы и холостяки без царя в голове;

борясь с алкоголизмом, они приходили сюда по воскресеньям обедать, хотя хозяин, закоснелый католик, ни за что не желал повесить в своем заведении портрет Мозера; более того — рядом с изображением президента красовалось изображение католического архиепископа.

## 5

А после два грека нашли прибежище под сенью двух других греков. Теперь Архилохос и Хлоя сидели на скамейке в старом городском парке, все теснее прижимаясь друг к другу, рядом с замшелой скульптурой, которая согласно всем путеводителям и городским справочникам должна была изображать Дафниса и Хлою. Они наблюдали, как за деревьями опускалось солнце, похожее на алый воздушный шарик. И здесь с Архилохосом все здоровались. Казалось, этим невзрачным человеком (бледным, слегка обрюзгшим очкариком), которого раньше никто не замечал, кроме болельщиков «У Огюста» и младших бухгалтеров, вдруг заинтересовался весь город — он как бы стал центром всеобщего внимания. Сказка продолжалась. Мимо Архилохоса и Хлои проследовал номер четвертый (Пассап), окруженный толпой ценителей искусства, — кое-кто из них был озадачен, кое-кто ликовал, ибо мастер живописи только что покончил с прямоугольным, а также кругло-гиперболоидным периодом своего творчества и перешел к изображению углов в шестьдесят градусов, эллипсов и парабол; одновременно он отказался от красной и зеленой красок в пользу синего кобальта и охры. Классик современной живописи в изумлении остановился, пробурчал что-то невнятное, оглядел Архилохоса с ног до головы, кивнул ему и прошествовал дальше, поучая на ходу свою свиту. В отличие от Пассапа мэтр Дютур и ректор университета — в прошлом номера шесть и семь (а ныне девять и десять) — ограничились легким подмигиванием, почти совершенно незаметным, поскольку оба шли рука об руку со своими величественными супругами.

Архилохос рассказывал о своей жизни.

— Жалованье у меня скромное, — сообщил он, — и работа однообразная — сводки об акушерских щипцах. Главное в этом деле — аккуратность. Мой начальник, вице-бухгалтер, человек строгий, и потом я должен помогать брату Биби и его деткам — симпатичные создания, может быть, правда, несколько неотесанные и непосредственные, но зато честные. Мы будем откладывать деньги и через двадцать лет поедем в Грецию. На Пелопоннес и острова. Это моя заветная мечта, а с тех пор, как я знаю, что мы поедем вместе, мечта стала еще лучезарней.

Хлоя обрадовалась.

— Чудесное будет путешествие, — заметила она.

— Мы поедем на пароходе.

— На «Юлии».

Он вопросительно взглянул на нее.

— Самый модный пароход. Мистер и миссис Уимэн всегда путешествуют на «Юлии».

— Конечно, — вспомнил Архилохос, — в «Матче» об этом писали. Но «Юлия» нам не по карману, и через двадцать лет ее сдадут в металлолом. Мы поедем на грузовом, это обойдется дешевле.

Потом он рассказал, что часто думает о Греции, и взглянул на туман, который пока что стлался по земле наподобие легкого белого дыма. И тогда, продолжал Архилохос, он явственно видит старые, полуразрушенные храмы и красноватые скалы, которые просвечивают сквозь оливковые рощи; порою ему кажется, что в этом городе он — изгнанник, такой же, какими были иудеи в древнем Вавилоне, и что весь смысл его жизни — вернуться на старую, давно покинутую родину.

Теперь туман, похожий на огромные белые тюки ваты, зловеще скапливался за деревьями и по берегам реки. Он поглощал медленно проплывавшие, призывно ревущие баржи, потом начал подниматься кверху, окрасился в лиловые тона, а когда солнце зашло, окутал все вокруг. Архилохос проводил Хлою на тихую зеленую улицу, где жили супруги Уимэн; он заметил, что это был богатый аристократический район. Они шли мимо оград, мимо обширных садов с густыми деревьями, за которыми едва угадывались виллы. Платаны, вязаы, буки, черные ели подымались к серебристому вечернему небу, их верхушки тонули во все сгущавшихся клубах тумана. Хлоя остановилась перед узорчатыми воротами с литыми амурами и дельфинами, с гиляндами причудливых листьев, перевитых спиралями; ворота стояли на двух огромных каменных цоколях, а над ними висел красный фонарь.

— Завтра вечером?

— Хлоя!

— Ты позвонишь? — спросила она, указывая на старинный звонок. — Завтра в восемь. — Потом она поцеловала младшего бухгалтера, обвила руками его шею и поцеловала еще раз и еще.

— Мы поедem в Грецию, — прошептала она, — на нашу старую родину. Скоро. На «Юлии».

Она открыла ворота и сразу исчезла за деревьями в тумане, потом появилась снова, взмахнула рукой и ласково крикнула что-то — казалось, в саду запела таинственная птица. Хлоя шла к какому-то зданию, которое, очевидно, находилось в глубине парка.

Архилохос пустился в обратный путь, в свой рабочий квартал. Идти ему было далеко, он проходил по тем же улицам, по которым недавно шагал вместе с Хлоей. Мысленно он вспоминал все этапы этого сказочного воскресенья, постоял немного у опустевшей скамьи под сенью Дафниса и Хлои, потом перед безалкогольным рестораном, из которого как раз выходили последние посетители — старо-новопресвитерианские старые девы; одна из них поклонилась Арнольфу и, видимо, решила подождать его на ближайшем углу. Потом он миновал крематорий и Национальный музей и вышел на набережную. Туман опять сгустился, но сейчас он был не грязно-серый, как раньше, а нежный, молочно-белый. Так ему по крайней мере казалось, и этот чудесный туман был прошит длинными золотистыми нитями и скреплен тонкими игольчатыми звездочками. Архилохос подошел к «Рицу», и в ту секунду, когда он поравнялся с роскошным подъездом, охраняемым швейцаром двухметрового роста в зеленой накидке, в красных шароварах и с большой серебряной булавой в руках, из отеля вышли Джилберт и Элизабет Уимэн, знаменитые археологи, которых он знал по фотографиям в газетах. Это были два истых британца, и миссис тоже больше походила на британца, нежели на британку; у них были одинаковые прически и золотые пенсне, а у Джилберта еще рыжие усы и короткая трубка в зубах (в сущности, единственные приметы, которые отличали его от жены).

Архилохос собрался с духом.

— Мадам, месье, — сказал он. — Мое вам почтение.

— Well<sup>1</sup>, — ответил ученый и с изумлением обратил взгляд на младшего бухгалтера, который стоял перед ним в своем потрепанном костюме, справленном еще к конфирмации, и в стоптанных башмаках и на которого удивленно взирала миссис Элизабет сквозь свое пенсне. — Well, — повторил он снова, а потом добавил: — Yes<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Здесь: да, да (англ.).

<sup>2</sup> Да (англ.).



— Я сделал вас номерами шестым и седьмым моего миропорядка, основанного на нравственности.

— Yes.

— Вы приютили гречанку,— продолжал Архилохос.

— Well,— сказал мистер Уимэн.

— Я — тоже грек.

— О,— сказал мистер Уимэн и вытащил кошелек.

Архилохос отрицательно покачал головой.

— Нет, сударь, нет, сударыня,— сказал он,— я знаю, что моя внешность не внушает доверия и что я, пожалуй, не ярко выраженный греческий тип. Но моего жалованья в машиностроительном концерне Пти-Пейзана должно хватить на то, чтобы завести скромный домашний очаг. И детишек мы вправе позволить себе — правда, всего трех или четырех: ведь при машиностроительном концерне Пти-Пейзана существует такое социально-передовое учреждение, как санаторий для беременных жен рабочих и служащих.

— Well,— сказал мистер Уимэн и спрятал кошелек.

— Будьте здоровы,— сказал Архилохос,— да благословит вас господь. Я буду молиться за вас в старо-новопресвитерианской церкви.

## 6

Однако у входа его ждал Биби с протянутой братской ладонью.

— Теофил задумал обчистить Национальный банк, но фараоны разнюхали,— сказал Биби на своем обычном блатном жаргоне.

— Так что же?

— Ему надо сматываться на юг, а то пахнет жареным. Гони монету.

Архилохос протянул ему деньги.

— Что случилось? — заныл разочарованный Биби.— Так мало?

— Больше никак не могу,— извинился Архилохос. Он был смущен и, к собственному удивлению, немного рассержен.— Право, не могу. Я пригласил девушку в безалкогольный ресторан напротив Международной организации здравоохранения. Стандартный обед и бутылка виноградного сока. Хочу обзавестись семьей.

Брат Биби испугался.

— Зачем тебе семья? — воскликнул он с возмущением.— Ведь у меня уже есть семья! Или, может, девушка богатая?

— Нет.

— Чем занимается?

— Прислуга.

— Где?

— Бульвар Сен-Пьер, дом номер двенадцать.

Биби свистнул сквозь зубы.

— Иди проспись, Арнольф. И дай еще одну монету.

## 7

Забравшись в свою каморку на шестой этаж, Архилохос разделся и лег в постель. Собственно говоря, он хотел открыть окно. Воздух был затхлый. Но близость уборных ощущалась, как никогда. Арнольф лежал в полутьме. На стене напротив его окна беспрерывно вспыхивал свет то в одном, то в другом узеньком окошке. И слышался шум воды. Фотографии, висевшие у него в комнате, время от времени возникали из мрака: вот осветился епископ, президент, Биби и его детки, репродукция картины Пассапа — треугольные четырехугольники, а вот кто-то из прочих занумерованных столпов миропорядка.

Архилохос подумал, что завтра должен приобрести портреты супругов Уимэн и окантовать их.

В каморке было так невыносимо душно, воздух был такой спертый, что Архилохос задышался. Он не мог уснуть. Ложась в постель, он чувствовал себя счастливым, а сейчас его одолевали заботы. Немыслимо привести сюда Хлою, немыслимо устраивать здесь свой домашний очаг и обзаводиться тремя или четырьмя детками, о которых он мечтал, возвращаясь домой. Необходимо подыскать другое жилье. Но у него нет ни наличных, ни сбережений. Все, что у него было, он отдавал брату Биби. И остался ни с чем. Даже это убогое ложе, даже этот колченогий стол и шаткий стул принадлежали не ему. Он снимал меблированную комнату. Его личной собственностью были только портреты столпов миропорядка. Архилохос ужаснулся своей бедности. Он понимал, что изящество и красота Хлои нуждались в изящном и красивом обрамлении. Нет, она не должна вернуться к старому — к ночевкам под мостами, к бочкам и помойкам. Шум спускаемой воды казался ему все более невыносимым, все более отвратительным. Он поклялся вырваться из этой клоаки. Решил уже завтра подыскать себе новую комнату. Но, размышляя над тем, как претворить в жизнь эти замыслы, он терял мужество. Чувствовал себя колесиком безжалостной машины, понимал, что у него нет выхода, нет ни малейшей надежды реализовать чудо, которое судьба подарила ему в это воскресенье. В отчаянии, обессилив, он ждал утра, и оно возвестило о себе адским шумом: воду в уборных спускали с удвоенной силой.

Незадолго до восьми — в это время года на улицах еще было темно — Архилохос, как всегда по понедельникам, вместе с целой армией бухгалтеров, секретарш и помощников бухгалтеров брел по направлению к машиностроительному концерну Пти-Пейзана, он был незаметной частичкой серого потока людей, изливавшегося из метро, автобусов, трамваев и электричек, — потока, который при свете уличных фонарей уныло устремлялся к огромному кубу из стали и стекла; куб заглатывал его, разделял на отдельные ручейки, сортировал, подымал на лифтах и эскалаторах, проталкивал сквозь коридоры; первый этаж — отдел танков; второй этаж — атомные пушки; третий — пулеметы и так далее. Толпа сдавила Архилохоса со всех сторон, а потом его, вконец измочаленного, полуживого, выбросило на седьмой этаж — отдел акушерских щипцов для родильных домов, подотдел 122АЩ — в убогое помещение с голыми стенами, одно из многочисленных канцелярских помещений на этом этаже, разделенном стеклянными перегородками; но, прежде чем приступить к работе, он еще должен был пройти через процедурный кабинет, прополоскать горло и принять таблетку (профилактика против желудочного гриппа) — охрана здоровья. Потом он натянул на себя серую спецовку, согреться он так и не успел: в эту ночь в первый раз за всю зиму грянул настоящий жестокий мороз, который сковал весь город, покрыл улицы гладким льдом. Архилохос торопился, было уже без одной минуты восемь, а в концерне не разрешали манкировать работой (время — деньги!). Архилохос сел за стол — даже стол был из стали и стекла, — за ним, кроме Архилохоса, трудились еще три помбуха: номера ПБ122АЩ28, ПБ122АЩ29, ПБ122АЩ30, — и снял чехол с пишущей машинки. На его спецовке было начертано: ПБ122АЩ31. Когда большие часы показали ровно восемь, Архилохос начал стучать на машинке окоченевшими пальцами; в это утро ему надо было составить отчет на тему: «Резкое повышение спроса на акушерские щипцы Пти-Пейзана в кантоне Аппенцелл Иннерроден». Три помбуха за одним столом с Архилохосом также стучали на машинках, равно как и еще сорок шесть бухгалтеров, сидевших в этой комнате, равно как и тысячи других бухгалтеров, находившихся в здании концерна. Они стучали с

восьми до двенадцати, а потом с двух до пяти, в промежутке был перерыв на обед, который надлежало съесть в общей столовке: в образцовом аппарате Пти-Пейзана все было регламентировано, недаром концерн посещали и отечественные министры, и иностранные делегации — из комнаты в комнату проплывали очкастые китайцы и томные индусы со своими супругами в шелках — словом, все, кто интересовался социальными проблемами.

Однако чудеса, которые случаются по воскресеньям, иногда (хоть и редко) продолжаются и в будние дни.

## 8

Репродуктор вдруг возвестил, что Архилохоса вызывает начальник подотдела бухгалтер Б121АЩ. На секунду в комнате 122АЩ воцарилась мертвая тишина. Никто не дышал. Машинки замерли. Грек привстал. Он был бледен, слегка пошатывался. Он не ждал ничего хорошего. Предстояло сокращение штатов. Однако бухгалтер Б121АЩ, кабинет которого находился рядом с комнатой 122АЩ, встретил Архилохоса прямо-таки с распростертыми объятиями. Архилохос, едва осмелившийся переступить порог его кабинета, был ошеломлен. Он наслушался страшных историй о бешеном нраве Б121АЩ.

— Месье Архилохос! — воскликнул Б121АЩ, направляясь навстречу помбуху и крепко пожимая ему руку. — Не скрою, я уже давно заметил ваш редкостный талант.

— Благодарю вас, — сказал ошарашенный похвалой Архилохос. Он все еще опасался подвоха.

— Ваш отчет, — продолжал, улыбаясь и потирая руки, Б121АЩ (маленький подвижный человечек лет пятидесяти с хвостиком, лысый и близорукий, в белой бухгалтерской куртке с серыми нарукавниками), — ваш отчет о внедрении акушерских шипцов в кантоне Аппенцелл Иннерроден — блестящий успех фирмы.

Архилохос ответил, что он, мол, очень рад этому, но про себя опять подумал, что стал жертвой злой шутки бухгалтера: его любезность он принимал за коварство. Бухгалтер предложил своему недоверчивому подчиненному сесть, а сам в волнении заметался по комнате.

— Учитывая вашу отличную работу, дорогой господин Архилохос, я задумал предпринять некоторые шаги.

— Весьма польщен, — запинаясь, промолвил Архилохос.

И тут Б121АЩ трагическим шепотом поведал, что он, дескать, метит Архилохоса на пост вице-бухгалтера.

— Только что я направил это предложение начальнику отдела кадров, который ведает нашим подотделом.

Архилохос приподнялся в знак благодарности, но бухгалтер хотел урегулировать с ним еще одно дельце, и когда он о нем заговорил, вид у него стал такой робкий и несчастный, словно он был не бухгалтером, а всего лишь младшим помощником.

— Да, чуть было не забыл, — тихо сказал Б121АЩ, стараясь сохранить достоинство. — Старший бухгалтер ОБ9АЩ выразил желание принять господина Архилохоса нынче же утром. — И бухгалтер отер красным клетчатым платком пот со лба. — Да, нынче утром, — продолжал он, — обер-бухгалтер вас примет. Сядьте, дорогой друг, в нашем распоряжении еще несколько минут. Но прежде всего возьмите себя в руки, не нервничайте, наберитесь мужества, будьте на высоте положения.

— Конечно, — сказал Архилохос. — Постараюсь.

— Боже мой, — воскликнул бухгалтер, садясь за свой письменный

стол,— боже мой, господин Архилохос, дорогой друг,— я ведь могу называть вас другом с глазу на глаз в личной беседе — кстати, моя фамилия Руммель. Эмиль Руммель. Боже мой, ничего подобного в моей практике еще не случилось, хотя я служу в концерне Пти-Пейзана тридцать три года. Никогда старший бухгалтер так, за здорово живешь, не вызывал младшего помощника — это совершенно поразительное нарушение субординации. Ей-богу, мне дурно, дорогой друг. Конечно, я всегда верил в ваш гений. Но подумайте сами! Ведь я еще ни разу в жизни не говорил с обер-бухгалтером, при одной мысли дрожу, как осиновый лист. Обер-бухгалтеры общаются только с вице-обер-бухгалтерами. А тут вдруг вы! Вас вызвал сам обер-бухгалтер. Разумеется, на это есть свои причины, свои тайные соображения: я понимаю — вам предстоит повышение. Наверно, сядете на мое место,— при этих словах БИ21АЩ вытер слезы,— может, вы даже станете вице-обер-бухгалтером. Недавно то же самое стряслось в отделе атомных пушек: тамошний бухгалтер имел честь близко познакомиться с супругой начальника главного отдела кадров... Но не думайте, что я намекаю, друг мой, боже упаси, в данном случае повышение вызвано вашими деловыми качествами, превосходным отчетом по кантону Аппенцелл Иннерроден, знаю. И еще, дорогой друг, говорю вам это строго между нами: чистая случайность, что мое предложение назначить вас вице-бухгалтером и вызов обер-бухгалтера, так сказать, совпали во времени, клянусь честью! Мое ходатайство о вашем повышении было уже составлено, и тут, будто гром среди ясного неба, раздался звонок секретарши нашего высокоуважаемого обер-бухгалтера... Но время не ждет, любезный друг... Между прочим, моя жена страшно обрадуется, если вы к нам пожалуете... а уж дочь как обрадуется... прелестная девушка... миловидная... берет уроки пения... Заходите в любое время... Для нас это большая честь... Уже пора, пятый коридор, юго-восточное крыло, шестой кабинет... О господи, я ведь сердечник... И почки тоже пошаливают...

## 9

Обер-бухгалтер ОБ9АЩ — пятый коридор, юго-восточное крыло, шестой кабинет — представительный мужчина: бородка клинышком, сверкающие золотые зубы, дорогие духи, животик; на письменном столе фотография полуобнаженной танцовщицы в платиновой рамке — принял помощника бухгалтера с большим достоинством: выгнал из кабинета стайку секретарш и королевским жестом указал Архилохосу на удобное кресло.

— Дорогой господин Архилохос,— начал он,— ваша выдающаяся работа, особенно ваши отчеты о внедрении акушерских щипцов на дальнем Севере, и в частности на Аляске, уже давно привлекли наше внимание и возбудили восхищение всех моих коллег — обер-бухгалтеров. В наших кругах только и разговору что о вас, а упомянутый отчет поразил и дирекцию.

— По-видимому, здесь какое-то недоразумение, господин обер-бухгалтер,— заметил Архилохос,— я занимаюсь исключительно кантоном Аппенцелл Иннерроден и Тиродем.

— Зовите меня просто Пти-Пьер,— сказал обер-бухгалтер 9АЩ.— Мы ведь говорим с вами тет-а-тет, а не в кругу глупых обывателей. Какая разница, кто именно составлял отчет об Аляске; важно то, что он инспирирован вами, что на нем отпечаток вашего таланта, что он сделан в непревзойденных традициях ваших классических отчетов по кантону Аппенцелл Иннерроден и по Тиролю. Еще одно доказательство, что у вас, слава богу, есть последователи. Я всегда твердил коллеге

Шренцле: Архилохос — поэт, большой прозаик! Кстати, Шренцле кланяется вам. А также обер-бухгалтер Хеберлин. С болью в сердце взирал я на то подчиненное положение, которое вы занимали в нашем прекрасном концерне, — положение, ни в какой степени не соответствующее вашим выдающимся достоинствам. Позвольте, между прочим, предложить вам рюмочку вермута.

— Спасибо, господин Пти-Пьер, — сказал Архилохос. — Я не потребляю алкогольных напитков.

— Особенно скандальным я нахожу, что вы работали под началом этой пешки — бухгалтера Б121АЩ, вот уж действительно серая личность, под началом этого господина Руммлера или как его там зовут.

— Он только что предложил мне стать вице-бухгалтером.

— Очень похоже на него, — сердито сказал ОБ9АЩ. — Вице-бухгалтером! Тоже рассудил! Человек с вашими талантами! Ведь бурный рост производства акушерских щипцов Пти-Пейзана в последнем квартале — исключительно ваша заслуга.

— Полно, господин Пти-Пьер...

— Не скромничайте, уважаемый друг, не скромничайте. Скромность тоже имеет свои границы. Много лет я терпеливо ждал и надеялся, что вы доверитесь мне, обратитесь к вашему самому верному другу и почитателю, а вы сидите себе под началом этого ничтожества, числитесь младшим помощником младшего бухгалтера, одним из младших помощников и вращаетесь в среде, которая, воистину, недостойна вас. Давно пора было стукнуть кулаком по столу! Воображаю, как раздражал вас этот сброд. Пришлось мне наконец самому вмешаться. Правда, я — всего лишь обер-бухгалтер, песчинка в нашем огромном управленческом аппарате, круглый ноль, винтик. Но я собрался с силами. Кто-то ведь должен иметь мужество вступить за гениального человека, даже рискуя своей карьерой! Гражданское мужество, дорогой мой! Если ни один из нас не найдет в себе гражданского мужества, пиши пропало моральным устоям концерна Пти-Пейзана. Мы тогда скатимся к диктатуре бюрократии, о чем я давно кричу на всех перекрестках. И вот я звоню начальнику главного управления кадров нашего отдела — кстати, он вам тоже кланяется — хочу предложить вашу кандидатуру на пост вице-директора. Для меня не может быть большей радости, чем работать в концерне под вашим руководством, уважаемый, дорогой господин Архилохос, и, не щадя сил, трудиться над усовершенствованием и распространением акушерских щипцов. Но, к сожалению, к великому сожалению, меня опередил сам Пти-Пейзан, так сказать всемогущий бог, или, если хотите, сама судьба. Лично для меня — это маленькая неудача, а для вас, разумеется, огромное счастье, хотя и заслуженное.

— Пти-Пейзан? — Архилохосу казалось, что все это ему снится. — Не может быть!

— Он желает вас видеть, господин Архилохос, сегодня, сегодня утром, сию минуту.

— Но...

— Никаких «но».

— Я думаю...

— Господин Архилохос, — торжественно сказал обер-бухгалтер и провел рукой по своей холеной бороде. — Давайте говорить начистоту, как мужчина с мужчиной, как добрые друзья. Положа руку на сердце, сегодня — исторический день, день больших свершений. И вот я чувствую огромную потребность заверить вас честным словом благородного человека, что мое предложение назначить вас вице-директором и приглашение, которое передал вам Пти-Пейзан — перед этим именем мы

все благоговеем, — никак не связаны между собой. Совсем наоборот. В ту секунду, когда я диктовал официальное ходатайство о вашем повышении, как раз в эту секунду меня вызвал к себе директор Зевс.

— Директор Зевс?

— Начальник отдела акушерских щипцов.

Архилохос извинился за свою серость. Фамилию Зевса он ни разу не слышал.

— Знаю, — ответил вице-бухгалтер, — имена руководящих кадров неизвестны широкому кругу бухгалтеров и их помощников. Да это и не нужно. Пусть канцелярские крысы корпят над своими бумажками, над филькиными грамотами о кантоне Аппенцелл Иннерроден и о других медвежьих углах; их писанина, строго между нами, дорогой господин Архилохос, никого не волнует... конечно, я не говорю о присутствующих, вы — наша опора, ваши отчеты мы, обер-бухгалтеры, буквально рвем друг у друга из рук. Ваши труды по Базельскому округу, например, или по Коста-Рике непревзойденны. Это — классика, как я уже говорил. Что же касается всех остальных младших бухгалтеров и их помощников, то они жалкие паразиты и тунеядцы; я без конца толкую это господам начальникам. Всю бумажную волокиту я мог бы повернуть один со своими секретаршами. Машиностроительный концерт Пти-Пейзана — не богадельня, и нечего нам нянчиться с умственно отсталыми субъектами. Кстати, директор Зевс сердечно кланяется вам.

— Спасибо.

— К сожалению, его увезли в больницу.

— Ай-яй-яй!

— Нервный шок.

— Как жаль.

— Видите ли, дорогой друг, благодаря вам в дирекции отдела акушерских щипцов разыгралась форменная буря; по сравнению с тем, что творится у нас, в Содоме и Гоморре была тишь и гладь. Пти-Пейзан пожелал встретиться с вами! Ладно, это его право, всемогущий бог все может: даже согнуть луну в бараний рог. Но если бы он это сделал, мы все же удивились бы. Пти-Пейзан — и младший бухгалтер! Примерно такое же чудо! Естественно, что в ушах неудачливого директора раздавался погребальный звон. А вице-директор? И он тоже свалился как подкошенный.

— Но почему?

— Голубчик, драгоценный, да потому что вас назначат директором отдела акушерских щипцов — это ясно каждому младенцу, иначе какой смысл в вызове Пти-Пейзана. Человек, которого вызывает Пти-Пейзан, становится директором — это нам по опыту известно. Вот если решают кого-нибудь выгнать, то это идет через начальника главного отдела кадров.

— Меня назначат директором?

— Несомненно. Об этом уже сообщено в кадры, кстати, кадры вам тоже кланяются.

— Директором отдела акушерских щипцов?

— А может, и директором отдела атомных пушек. Кто знает. Начальник главного отдела кадров Февс считает, что все возможно.

— Но по какой причине? — воскликнул Архилохос, который ничего не понимал.

— Дорогой мой, драгоценный! Вы забываете о ваших выдающихся отчетах по Северной Италии.

Но младший бухгалтер опять упрямо поправил старшего, сказав, что он, мол, занимается только Восточной Швейцарией и Тиролем.

— Да, да, Восточной Швейцарией и Тиродем, всегда путаю географические названия, но ведь я не учитель географии.

— Все, что вы сказали, — еще не основание, чтобы назначить меня директором отдела акушерских щипцов.

— Что вы, что вы!

— Для этого нужны особые дарования, а у меня их нет, — запротестовал Архилохос.

ОБ9АЩ помотал головой и бросил на Архилохоса загадочный взгляд, потом улыбнулся, оскалив золотые зубы, и сложил руки на своем животике.

— Дорогой, бесценный друг, — сказал он, — причину, по какой вас назначают директором, должны знать вы, а не я, а если она вам неизвестна, не допытывайтесь. Так будет лучше. Послушайтесь моего совета. Сегодня мы разговариваем с вами в последний раз. Директорам и обер-бухгалтерам не положено общаться между собой — это было бы нарушением неписаного закона нашего опытно-показательного концерна. Сегодня я в первый раз в жизни встретился с директором Зевсом, встретился в час его заката, а в это время беднягу Штюсси, вице-директора и моего прямого начальника — он единственный, кто непосредственно общался с обер-бухгалтерами, — в это самое время Штюсси волокли на носилках. Форменное светопреставление. Но не будем останавливаться на этом душераздирающем факте. Вернемся к вашим опасениям: вы боитесь, что не справитесь с обязанностями директора. Дорогой, бесценный друг, с обязанностями директора может справиться каждый человек, скажу по секрету: каждый болван. Вам ничего не надо делать, нужно просто быть директором, вжиться в образ, носить свое звание, представлять, водить из комнаты в комнату индийцев, китайцев, зулусов, представителей ЮНЕСКО и всяких там объединений медиков — словом, каждого чудака, который заинтересуется нашими несравненными акушерскими щипцами. Все практические дела, будь то производство, технические вопросы, калькуляция, планирование, — все это прокручивают старшие бухгалтеры, извините, дорогой друг, за это несколько вульгарное выражение. Вам же лично не придется забивать себе голову всякими пустяками. Правда, очень важно, на ком вы остановитесь, когда будете выбирать вице-директора среди обер-бухгалтеров. Штюсси — человек конченный, и, слава богу, он был слишком тесно связан с директором Зевсом, превратился в прихвостня своего высокого шефа... Насчет деловых качеств Зевса я вообще не желаю распространяться, сейчас не время. У него и так нервный шок. Я не бью лежачих, но, между нами говоря, это был тяжкий крест для меня, он даже не мог оценить ваши отчеты по Далмации, мой дорогой друг и покровитель, — да и вообще он круглый невежда... Знаю, знаю, отчеты не по Далмации, а по Тогенбургу и Турции, черт с ними, — вы рождены для лучшей доли. Подобно орлу, вы воспарите в поднебесье, оставив на этой грешной земле потрясенных бухгалтеров. Во всяком случае еще раз говорю вам со всей откровенностью: мы, обер-бухгалтеры, счастливы, что вы станете нашим директором. Разумеется, будучи вашим лучшим другом, я ликую и торжествую больше всех, — тут ОБ9АЩ прослезился, — но я считаю неуместным это подчеркивать, ведь мои слова можно истолковать как желание выдвинуться в вице-директора, хотя я и без того мог бы претендовать на этот пост как старший по званию. Но каков бы ни был ваш выбор, кого бы вы ни назначили своим заместителем, я заранее смиряюсь перед вашей волей и остаюсь вашим самым горячим почитателем... С вами хотел бы встретиться также коллега Шпецле и коллега Шренцле, но боюсь, боюсь, что мне следует спешно проводить вас к Пти-Пейзану, сдать вас целым и невредимым в его приемную. Час настал. Так пойдём-

те же, выше голову, упивайтесь и наслаждайтесь — ведь вы самый достойный и талантливый среди нас. Слепая фортуна не ошиблась, вы, можно сказать, гениальное дитяще акушерских щипцов, и благодаря вам наш отдел одним рывком обставит отдел пулеметов, могучим скачком обгонит его; да, я это чувствую, уважаемый, бесценный господин директор, разрешите мне уже сейчас назвать вас так... прошу вас... имею честь... с превеликим удовольствием... Давайте же смело войдем в директорский лифт.

## 10

Вместе с ОБ9АЩ Архилохос вступил в незнакомый мир, в царство стекла и каких-то неизвестных ему строительных материалов, где все сверкало чистотой,— великолепные лифты подняли его на верхние, строго секретные этажи здания. Вокруг с улыбкой на устах порхали благоухающие секретарши: блондинки, брюнетки, шатенки и одна с неопишуемо рыжими, как киноварь, волосами; референты уступали ему дорожку, директора отвешивали поклоны, генеральные директора приветствовали кивком головы. Архилохос и ОБ9АЩ шагали по тихим коридорам, где над дверями вспыхивали то красные, то зеленые лампочки — единственные признаки того, что и здесь шла своя, невидная постороннему глазу, административная деятельность. Бесшумно ступали они по мягким коврам. Казалось, стены поглощали все звуки, вплоть до самого легкого покашливания, вплоть до приглушенного шепота. В залах висели полотна французских импрессионистов (собрание картин Пти-Пейзана славилось во всем мире), «Танцовщицы» Дега, «Купальщица» Ренуара; в высоких вазах благоухали цветы. Чем выше поднимались, вернее возносились, Архилохос и его спутник, тем пустынее были коридоры и залы, а комнаты теряли свое деловое, холодное ультрасовременное обличье, хотя планировка была та же; интерьеры становились все более изысканными и в то же время теплыми, человечными. На стенах теперь висели гобелены, позолоченные зеркала в стиле рококо и Людовика XVI, несколько картин Пуссена, несколько Ватто и одна картина Клода Лоррена. А когда они поднялись на самый верхний этаж (ОБ9АЩ был так же напуган, как Архилохос,— ведь и он еще никогда не проникал в это святилище) и когда Пти-Пьер простился с Арнольфом, помбуха принял на свое попечение сановный седой господин в безукоризненном смокинге, вероятно референт. Он повел грека по нарядным коридорам и светлым залам, где стояли античные вазы, готические мадонны и азиатские боги и висели индейские циновки. Здесь уже ничего не напоминало о производстве атомных пушек и пулеметов, разве только при взгляде на херувимчиков и младенцев, которые улыбались помбуху с полотна Рубенса, возникали отдаленные ассоциации с акушерскими щипцами. Все тут радовало глаз. Солнце, проникавшее в окна, казалось теплым и ласковым, хотя на самом деле оно светило с ледяного небосклона. В залах стояли удобные кресла и кушетки, где-то слышался звонкий смех — этот смех напомнил облаченному в серую спецовку Архилохосу смех Хлои в минувшее воскресенье, в тот счастливый день, у которого оказалось столь же сказочное продолжение. Откуда-то доносилась музыка — не то Гайдн, не то Моцарт, не трещали машинки, не слышались лихорадочные шаги бухгалтеров — словом, ничего, что могло бы напомнить Арнольфу о мире, из которого он чудом вырвался и который остался где-то далеко внизу, похожий на дурной сон. А потом они очутились в светлых покоях, обитых малиновым шелком, на стене висела большая картина, изображавшая обнаженную женщину, вероятно, это было знаменитое полотно Тициана, то самое, о котором все говорили и цену которого называли ше-



потом. Вокруг стояла изящная мебель, миниатюрный письменный стол, небольшие стенные часы с серебряным звоном, ломберный столик, по бокам несколько креслиц и повсюду — цветы, цветы в невиданном изобилии: розы, камелии, тюльпаны, орхидеи, гладиолусы, — казалось, на свете не существует ни зимы, ни холода, ни тумана.

Стоило им переступить порог зала, как где-то сбоку распахнулась маленькая дверь и появился Пти-Пейзан в смокинге, как и его референт; в левой руке он держал изящный томик Гельдерлина, заложив указательным пальцем листы книги. Референт удалился. Архилохос и Пти-Пейзан остались с глазу на глаз.

— Ну-с, — сказал Пти-Пейзан, — милейший господин Анаксимандр.

Поклонившись, младший бухгалтер поправил Пти-Пейзана, сообщив, что его зовут Арнольф Архилохос.

— Архилохос. Отлично. Я помнил, что в вашем имени есть что-то греческое, балканское, любезный старший бухгалтер.

— Младший, — уточнил Архилохос свое социальное положение.

— Младший, старший — это ведь почти одно и то же, — улыбнулся промышленник. — Разве не так? Я по крайней мере не вижу особой разницы. Как вам нравится у меня наверху? Должен сказать, что вид отсюда прекрасный. Весь город и река как на ладони, виден даже дворец президента, не говоря уже о соборе, а вдали — Северный вокзал.

— Очень красиво, господин Пти-Пейзан.

— Вы первый человек из отдела атомных пушек, который поднялся на этот этаж, — сказал промышленник таким тоном, будто поздравил Архилохоса с альпинистским рекордом.

Архилохос возразил, что он, мол, из отдела акушерских щипцов. Занимается Восточной Швейцарией и Тиролем, а в данный момент кантоном Аппенцелл Иннерроден.

— Вот как, — удивился Пти-Пейзан, — оказывается, вы работаете в отделе акушерских щипцов, а я даже не подозревал, что мы выпускаем подобные изделия. Что это, собственно, такое?

Архилохос сообщил, что акушерские щипцы, по-латыни *Fogscers*, — это родовспомогательный хирургический инструмент, предназначенный для того, чтобы в процессе родов охватывать головку ребенка. С их помощью роды проходят быстрее. Машиностроительный концерн Пти-Пейзана производит щипцы различных конструкций; но во всех конструкциях надо различать, во-первых, ложечки с зеркалами, изогнутые так, что они могут охватить головку плода, кроме того, в щипцах имеются еще изгибы для таза и для промежности, что делает их пригодными для введения в родовые пути роженицы; во-вторых, различные конструкции отличаются друг от друга ручками: ручки бывают короткие и длинные, деревянные и металлические, с особыми приспособлениями и с поперечными перекладинами; наконец существуют различные замки, то есть зажимы, при помощи которых ложечки при родовспоможении фиксируются. Цены...

— Вы большой специалист, — сказал, улыбаясь, мультимиллионер. — Но не будем пока что касаться цен. Итак, дорогой господин...

— Архилохос.

— ...Архилохос, перейдем к делу, не хочу вас долго томить, сразу скажу, что назначаю вас директором отдела атомных пушек. Правда, вы только что сказали, что работаете в отделе акушерских щипцов, о существовании которого я не имел понятия. Это меня немного озадачивает, очевидно, произошла какая-то путаница, но на таких гигантских предприятиях, как наше, без путаницы не обойдешься. Ладно, не так уж важно. Стало быть, сольем два отдела — и вы можете считать себя директором и отдела атомных пушек, и акушерских щипцов, а я улажу во-

прос с бывшими директорами — они выйдут на пенсию. Рад сообщить вам лично о вашем повышении и пожелать удачи.

— Господин директор Зевс из отдела акушерских щипцов в данное время в больнице.

— Неужели? Что с ним такое?

— Нервный шок.

— Да ну! Значит, он уже все узнал. — Пти-Пейзан с удивлением покачал головой. — А ведь я собирался уволить директора Йехуди из отдела атомных пушек. Какие-то слухи всегда просачиваются, люди — неисправимые болтуны, ну да ладно, директор Зевс опередил меня, слез в больницу. Все равно мне пришлось бы его уволить. Будем надеяться, что директор Йехуди встретит свою отставку более достойно.

Архилохос собрался с духом и в первый раз за весь разговор взглянул прямо в лицо Пти-Пейзану, который стоял с томиком Гельдерлина в руке.

— Позвольте узнать, — сказал он, — как все это понимать? Вы вызвали меня и назначили директором отделов атомных пушек и акушерских щипцов. Признаться, я в большой тревоге, потому что не понимаю, что происходит.

Пти-Пейзан спокойно взглянул в глаза младшего помощника бухгалтера, положил Гельдерлина на зеленое сукно ломберного столика, сел сам и жестом пригласил сесть Архилохоса. Теперь они сидели друг против друга в мягких креслах, освещенные солнцем. Архилохос затаил дыхание — эта сцена казалась ему чрезвычайно торжественной. Наконец-то он узнает причину загадочных происшествий, которые с ним случились.

— Господин Пти-Пейзан, — снова начал он, робко запинаясь, — я всегда вас почитал, вы занимаете третье место в здании миропорядка, которое я себе воздвиг, чтобы иметь в жизни моральные устои. Вы непосредственно следуете за нашим уважаемым президентом и за епископом Мозером — главою старо-новопресвитерианской церкви. Видите, я ничего не утаиваю, и тем более, умоляю вас, объясните мне ваш поступок: бухгалтер Руммель и обер-бухгалтер Пти-Пьер уверяют, что меня возвысили из-за отчетов по Восточной Швейцарии и по Тиролю, но ведь их никто не читал.

— Дорогой господин Агезилаос, — торжественно сказал Пти-Пейзан.

— Архилохос.

— Дорогой господин Архилохос, вы были бухгалтером или обер-бухгалтером — в этих тонкостях я, как вы знаете, не разбираюсь, — а теперь стали директором, очевидно, это вас и смущает. Видите ли, друг мой, все эти непонятные для вас превращения надо рассматривать в свете широких мировых взаимосвязей, как часть многообразной деятельности, которую осуществляет мой концерн. Ведь выпускает же он, как я сегодня с радостью узнал, родовспомогательные щипцы. Будем надеяться, что их производство рентабельно.

Просиявший Архилохос заверил Пти-Пейзана, что в одном только кантоне Аппенцелл Иннерроден за последние три года было продано шестьдесят две штуки щипцов.

— Гм, маловато. Но пусть так. Очевидно, это надо рассматривать скорее как гуманное предприятие. Очень приятно, что наряду с изделиями, которые отправляют людей на тот свет, мы производим также изделия, которые помогают им появиться на этот свет. Известное равновесие необходимо, даже если оно не всегда рентабельно. Не надо гневить бога, мы — люди благодарные.

Пти-Пейзан помолчал немного, и лицо его выразило благодарность.

— В своем стихотворении «Архипелаг» Гельдерлин называет всякого коммерсанта, стало быть и промышленника, «дальномыслящим», —

продолжал он с легким вздохом. — Это определение меня потрясло. Наше предприятие — огромная махина, дорогой Аристипп, на нем занято громадное число рабочих и служащих, бухгалтеров и секретарш. Обозреть все это хозяйство невозможно, я с трудом помню директоров, даже с генеральными директорами знаком только шапочно; человек близорукий заблудится в этих джунглях, лишь человек дальновзоркий, который не видит частных, не обращает внимания на единичные судьбы, зато способен охватить всю картину, который не выпускает из поля зрения конечные цели, то есть человек «дальномыслящий», как говорит поэт — вы ведь читали Гельдерлина? — человек, у которого беспрестанно роятся новые идеи и который создает все новые предприятия то в Индии, то в Турции, то в Андах, то в Канаде, только такой человек не падет жертвой конкуренции и монопольной борьбы. Дальномыслящий... Я вот как раз замыслил объединиться с трестом резины и смазочных масел. Это будет настоящее дело.

Пти-Пейзан опять замолчал, и лицо его выразило дальномыслие.

— Вот какие у меня планы, вот как я работаю, — сказал он, помолчав немного, — по мере сил ворочаю тяжелые жернова истории, хотя и в скромных масштабах. Что такое машиностроительный концерн Пти-Пейзана по сравнению со Стальным трестом или с горнорудным концерном «Вечная радость», с заводами «Песталотци» и Хесслер-Ла-Биш? Мелкота!.. Ну, а что происходит в это время с моими рабочими и служащими? С единичными судьбами, которыми я вынужден пренебрегать, чтобы не выпускать из поля зрения всю картину? Думая об этом, я часто не сплю. Счастливы ли они? Мы боремся за свободный мир, свободны ли мои подчиненные? Я осуществил ряд социальных мерсприятий — открыл дома отдыха для работниц и рабочих, стадионы, бассейны для плавания, столовые, раздаю профилактические таблетки, устраиваю коллективные посещения театров и концертов. Но, быть может, массы, которыми я руковожу, цепляются за чисто материальные блага, за презренный металл? Этот вопрос не дает мне покоя. С директором приключился нервный шок только из-за того, что на его место назначен другой. Какая мелочность! Разве можно думать об одних деньгах? Важны лишь духовные ценности, дорогой господин Артаксеркс, деньги — это самое низменное, самое несущественное на земле. Право, я очень озабочен...

Пти-Пейзан снова замолк, и лицо его выразило озабоченность.

Архилохос боялся шевельнуться.

Но вот промышленник выпрямился, и в его голосе зазвучал металл:

— Вы спрашиваете, почему я назначил вас директором? Слушайте, отвечаю: чтобы перейти от разговоров о свободе к ее осуществлению. Я не знаю своих служащих, не понимаю их, мне кажется, что они еще не полностью усвоили значение духовных ценностей. Мои светочи Диоген, Альберт Швейцер, Франциск Ассизский, по-видимому, еще не стали их светочами. Они хотят променять созерцательность, благотворительность, идеальную бедность на социальную мишуру. Что ж, дай людям то, чего они желают. Я всегда придерживался этой заповеди Лао Цзы. И именно потому я назначил вас директором. Пусть и в этом вопросе восторжествует справедливость. Человек, который вышел из низов, который сам познал заботы и нужды бедноты, станет директором. Я занят всем производством в целом, пусть же человек, который имеет дело с бухгалтерами, старшими бухгалтерами, референтами, секретаршами, рассыльными и уборщицами — словом, с маленькими людьми, сам будет человеком маленьким. Директор Зевс и директор Иехуди вышли не из низов. Когда-то я просто перекупил их у обанкротившихся конкурентов, перекупил готовыми директорами. Бог с ними. Но теперь уже пора воплотить в жизнь идеалы западного мира. Политики с этим не справились, и если

деловые люди тоже не справятся, дорогой господин Агамемнон, нам грозит катастрофа. Только в процессе творчества человек становится человеком. Ваше назначение — творческий акт, одно из проявлений творческого социализма, который мы должны противопоставить нетворческому коммунизму. Вот и все, что я хотел сказать. Отныне вы директор, генеральный директор. Но сперва возьмите себе отпуск, — продолжал он, улыбаясь, — чек для вас уже выписан, он лежит в кассе. Займитесь личными делами, на днях я видел вас с прелестной женщиной.

— Моя невеста, господин Пти-Пейзан.

— Собираетесь жениться? Поздравляю. Женитесь. К сожалению, мне не довелось испытать семейного счастья. Я распорядился, чтобы вам выплатили жалованье генерального директора за год, но сумма будет удвоена, поскольку в придачу к атомным пушкам вы еще получаете акушерские щипцы... А теперь у меня срочный разговор с Сантьяго... Будьте здоровы, дорогой господин Анаксагор.

## 11

Когда генеральный директор Архилохос, в прошлом ПБ122АЩ31, покинул святая святых здания концерна — до лифта его провожал референт Пти-Пейзана, — ему устроили княжескую встречу: генеральные директора с восторгом заключали его в объятия, директора низко кланялись, секретарши льстиво щебетали, бухгалтеры становились на цыпочки и издали заглядывали в лицо, а ОБ9АЩ, поджидавший Архилохоса на почтительном расстоянии, прямо-таки истекал подобострастием; из отдела атомных пушек вынесли на носилках директора Йехуди, который был, очевидно, в смирительной рубашке — он лежал обессиленный, в глубоком обмороке. Говорили, что Йехуди переломал у себя в кабинете всю мебель. Но Архилохоса ничего не интересовало, кроме чека, который ему тут же вручили. Чек — по крайней мере это что-то реальное, думал он, так и не избавившись от своей подозрительности. Потом он произвел ОБ9АЩ в вице-директора отдела акушерских щипцов, а номера ПБ122АЩ28, ПБ122АЩ29 и ПБ122АЩ30 — в бухгалтеров, дал еще несколько руководящих указаний насчет рекламы родовспомогательных щипцов в кантоне Аппенцелл Иннерроден и покинул здание концерна.

Сев в такси в первый раз в жизни, он поехал к мадам Билер, измученный, голодный и совершенно растерявшийся от своих головокружительных успехов.

Небо было ясное, холод — отчаянный. В ярком свете дня все вокруг — дворцы, церкви и мосты — выступало с особой четкостью, большой флаг на дворце президента будто застыл в воздухе, река была как зеркало, краски казались необыкновенно чистыми, без всяких примесей, тени на улицах и бульварах — резкими, словно их провели по линейке.

Архилохос вошел в маленькое кафе — колокольчик над дверью, как всегда, зазвенел — и сбросил потертую зимнее пальто.

— Боже мой! — воскликнула Жоржетта за стойкой, уставленной бутылками и рюмками, которые сверкали в холодных лучах солнца: Жоржетта наливала себе кампари. — Боже мой, месье Арнольф! Что с вами? Вы такой усталый, такой бледный, невыспавшийся, явились к нам среди бела дня, когда вам полагается просиживать штаны на вашей живодерне! Стряслось что-нибудь? Может, вы в первый раз спали с женщиной? Или напились? А может, вас выгнали с работы?

— Наоборот, — сказал Архилохос и сел в свой угол.

Огюст принес молоко.

Удивленная Жоржетта осведомилась, что может означать в данном

случае «наоборот», закурила и начала пускать колечки дыма прямо в косые солнечные лучи.

— Сегодня утром меня назначили генеральным директором отделов атомных пушек и акушерских щипцов. Меня назначил лично Пти-Пейзан,— заявил Архилохос; он все еще не мог отдышаться.

Огюст принес миску с яблочным пюре, макароны и салат.

— Гм,— пробормотала Жоржетта, очевидно, не очень-то потрясенная новостью.— А по какой причине?

— По причине творческого социализма.

— Неплохо. Ну, а как вы провели время с гречанкой?

— Обручились,— смущенно сказал Архилохос и покраснел.

— Вполне разумно,— похвалила мадам Билер.— Чем она занимается?

— Прислуга.

— У нее хорошее место,— заметил Огюст,— удивительно, как она могла купить себе такую шубу.

— Не болтай,— прикрикнула на него Жоржетта.

Арнольф рассказал, что они гуляли по городу и что все было очень странно, необычно, почти как во сне. Незнакомые люди вдруг стали с ним здороваться, они махали ему из машин и автобусов, абсолютно все — и президент, и епископ Мозер, и художник Пассап, и американский посол, который крикнул ему «хэлло».

— Ага,— сказала Жоржетта.

— И мэтр Дютур со мной поздоровался,— продолжал Арнольф,— и Эркюль Вагнер тоже, хотя несколько странно — они мне подмигнули.

— Подмигнули,— повторила Жоржетта.

— Хороша птичка,— пробормотал Огюст

— Помолчи! — сказала мадам Билер так резко, что Огюст залез за печку и спрятал окутанные мерцающим облаком ноги,— не вмешивайся! Не мужское это дело! Надеюсь, вы решили поскорее жениться на Хлое? — снова обратилась она к Архилохосу, допивая кампари.

— Как можно скорее.

— Очень правильно! С женщинами надо быть решительным, особенно если их зовут Хлоя. А где вы собираетесь жить с вашей гречанкой?

Архилохос, вздохнув, признался, что не знает — одновременно он уплетал яблочное пюре и макароны.

— В моей каморке я, конечно, не останусь — из-за шума воды и из-за запаха. Первое время придется жить в пансионе.

— Что вы, месье Архилохос,— рассмеялась Жоржетта,— теперь-то вам все по карману. Снимите номер в «Рице», там таким, как вы, сам бог велел жить. И с сегодняшнего дня вы будете платить мне вдвое. С генеральных директоров надо драть шкуру, больше они ни на что не годны.— С этими словами она налила себе еще рюмку кампари.

Архилохос ушел, и в кафе «У Огюста» на некоторое время воцарилось молчание. Мадам Билер мыла рюмки, а ее муженек сидел за печкой, не шелохнувшись.

— Ну и птичка,— сказал наконец Огюст, поглаживая свои костлявые ноги.— Когда я занял второе место в Tour de France, я тоже мог завести себе такую в такой же шубке, надушенную и с богатым покровителем; он был промышленник, некий фон Цюнфтиг, может, слышала — бельгийские угольные шахты. И я не хуже твоего Арнольфа стал бы теперь генеральным директором.

— Чепуха,— сказала Жоржетта, вытирая руки.— Ты другого полета. Такая женщина за тебя не пошла бы. В тебе нет изюминки. Архи-

дохос родился в рубашке, я это чувствовала, и потом он грек. Увидишь, что из него получится. Он себя покажет, еще как покажет. А она — женщина-прима. Я не удивляюсь, что она решила бросить свое ремесло. Заниматься им долго тяжело и, уж что ни говори, мало радости. Все женщины такого сорта стремятся покончить с этим. И я когда-то стремилась. Правда, большинству это не удается, они и впрямь подышают под забором, люди правду говорят. Ну, а некоторые получают своего Огюста и весь век любят его голыми ногами и желтой майкой... Ладно, если уж мы вспомнили старые времена, то я своей жизнью довольна. И потом лично у меня никогда не было крупного промышленника. Для этого мне не хватало профессионального размаха. Ко мне ходили только мелкие буржуа да чиновники из министерства финансов. Две недели я встречалась с аристократом — графом Додо фон Мальхерном, последним отпрыском этого рода, теперь его давно уже нет в живых. Но Хлоя своего добьется. Она нашла Архилохоса, а уж из него будет толк.

## 12

Не теряя времени Архилохос поехал на такси в Международный банк, а оттуда в туристское агентство на набережной Де Л'Эта. Он вошел в большой зал, стены которого были увешаны географическими картами и пестрыми плакатами: «Посетите Швейцарию», «Твоя мечта — солнечный Юг», «Самолеты Эр-Франс доставят вас в Рио», «Зеленая Ирландия». Служащие с вежливыми гладкими лицами. Стрекотанье пишущих машинок. Лампы дневного света. Иностранцы, говорящие на неведомых языках.

Архилохос сказал, что он хочет поехать в Грецию: Корфу, Пелопоннес, Афины.

Служащий ответил, что агентство, к сожалению, не устраивает экскурсий на грузовых баржах.

Архилохос возразил, что он, дескать, желает поехать на «Юлии». Просит каюту люкс для себя и жены.

Служащий полистал расписание и сообщил испанскому сутенеру (по имени дон Руис) время отправления и прибытия какого-то поезда. Затем он сказал, что на «Юлии» нет свободных мест, и повернулся к коммерсанту из Каира.

Архилохос вышел из туристского агентства и сел в такси, подждавшее его у входа. Задумался. Потом спросил шофера, кто лучший портной в городе.

Шофер удивился:

— О'Нейль-Паперер на проспекте Бикини и Фатти на улице Сент-Оноре.

— А самый лучший парикмахер?

— Жозе на набережной Оффенбаха.

— Самый лучший шляпный магазин?

— Гошенбауэр.

— А где покупают самые лучшие перчатки?

— У де Штутца-Кальберматтена.

— Хорошо, — сказал Архилохос, — поедем по всем этим адресам.

И они поехали к О'Нейль-Папереру на проспект Бикини, к Фатти на улицу Сент-Оноре, к Жозе на набережную Оффенбаха, к де Штутцу-Кальберматтену — в магазин перчаток и к Гошенбауэру — в магазин головных уборов. Архилохос прошел через множество рук — его мяли, обмеривали, чистили, кромсали, терли, и он менялся буквально на глазах: каждый раз он садился в такси все более элегантный и благоухаю-

щий; после посещения Гошенбауэра на голове у него появилась серебристо-серая шляпа, введенная в моду Иденом. К концу дня он опять пришел в туристское агентство на набережной Де Л'Эта.

Спокойно обратившись к тому же служащему, который его спроводил, Архилохос сказал, что желает получить двухместную каюту люкс на «Юлии» и небрежно кинул на барьер перед окошком серебристо-серую шляпу иденовского фасона.

Служащий начал заполнять бланк...

— «Юлия» отплывает в следующую пятницу. Корфа, Пелопоннес, Афины, Родос и Самос. Будьте любезны назвать вашу фамилию.

Однако после того, как Арнольф, отсчитав деньги за два билета, удалился, служащий заговорил с испанским сутенером, который все еще околачивался в агентстве — перелистывал туристские проспекты и время от времени договаривался с дамами, которые (также не отрывая глаз от проспектов) совали в его благородные узкие ладони денежные купюры.

— Скандальная история, сеньор,— сказал служащий по-испански (испанский он изучал на вечерних курсах),— является к тебе какой-то там дворник или трубочист и требует два места на «Юлии». А ведь «Юлия» — аристократический пароход для особ из самого высшего общества (служащий поклонился дону Руису), следующим рейсом на «Юлии» едут принц Гессенский, миссис и мистер Уимэн и Софи Лорен... А когда ты ему самым деликатным образом отказываешь, между прочим, из человеколюбия тоже, чтобы он не опозорился среди такой публики, этот нахал возвращается разодетый, как лорд, и сорит деньгами, как архимиллионер, и ты вынужден дать ему каюту. Не могу же я бороться с мировым капиталом. За три часа этот подонок вылез из грязи в князи. Уверен, что здесь дело нечисто — ограбление банка, изнасилование, убийство с целью грабежа или политика.

— Какое безобразие,— ответил дон Руис по-испански (испанский он изучал на вечерних курсах).

Тем временем уже стемнело и на улицах зажглись фонари. Архилохос проехал по новому мосту к бульвару Кюннеке, где стоял дом епископа старо-новопресвитерианской церкви предпоследних христиан, на обочине тротуара перед небольшой виллой в викторианском стиле, прислонившись к фонарному столбу, сидел Биби в изжеванной шляпе, грязный и оборванный. От него несло сивухой, и он читал газету, которую подобрал в канаве.

— Что это на тебе, брат Арнольф? — спросил Биби, свистнул сквозь зубы, прищелкнул языком и ударил в ладоши, а потом старательно сложил грязную газету.— Знатные шмотки. Шик-блеск!

— Меня назначили генеральным директором,— сказал Арнольф.

— Вот это да!

— Я возьму тебя бухгалтером в отдел акушерских щипцов. Конечно, если ты обещаешь держать себя в руках. Порядок — прежде всего.

— Нет, Арнольф, я не создан для канцелярской работы. Вот двадцать монет у тебя найдется?

— В чем дело?

— Готлиб сверзился со стены. Сломал руку.

— С какой стены?

— Со стены пти-пейзановского концерна.

В первый раз в жизни Архилохос рассердился.

— Готлиб не должен грабить Пти-Пейзана,— к удивлению Биби, он повысил голос,— он никого не должен грабить, а Пти-Пейзан к тому же мой благодетель. Из соображений творческого социализма он сделал

меня генеральным директором. И ты еще требуешь у меня денег! В конечном счете мои деньги — деньги Пти-Пейзана.

— Больше это никогда не повторится, брат Арнольф, — с достоинством отвечал Биби. — И вообще мальчик просто делал гимнастические упражнения. Пти-Пейзан здесь ни при чем. Готлиб хотел обчистить чилийского посла, залезать к нему, кстати, сподручней. Но он перепутал номера домов, ведь он еще совершенное дитя. Ну так как, дашь монету? — И он протянул Архилохосу свою братскую раскрытую ладонь.

— Нет, — сказал Архилохос, — я не могу прощщать жуликов, и вообще мне пора к епископу.

— Я подожду тебя, брат Арнольф, — сказал стойкий Биби и опять развернул газету, — хочу уточнить международное положение на нынешнем этапе.

## 13

Епископ Мозер — толстый розовощекий мужчина в черном одеянии церковного сановника, с белым накрахмаленным воротничком — принял Архилохоса в своем кабинете, небольшой высокой и прокуренной комнате, освещенной только одной лампой. Вдоль стен тянулись полки, заставленные книгами духовного и светского содержания, сквозь высокое окно с тяжелыми портьерами проникал свет уличного фонаря, под которым брат Биби поджидал Арнольфа.

Архилохос назвал себя. Собственно, он младший бухгалтер в концерне Пти-Пейзана, но сегодня его назначили генеральным директором отделов атомных пушек и акушерских шипцов.

Епископ Мозер благосклонно оглядел гостя.

— Знаю, дружок, — прошепелявил он, — вы посещаете проповеди отца Тюркера в часовне святой Элоизы. Правда? Как видите, я немножко знаком с моими милыми старо-новопресвитерианскими прихожанами. Добро пожаловать! — Епископ приветствовал генерального директора крепким рукопожатием. — Садитесь. — Жестом он указал Архилохосу на удобное кресло, а сам сел за письменный стол.

— Спасибо, — поблагодарил Архилохос.

— Прежде чем вы изольете мне душу, я хотел бы сам излить вам душу, — прошепелявил епископ. — Не угодно ли сигару?

— Я некурящий.

— Тогда, может, рюмочку вина или водки?

— Я непьющий.

— Надеюсь, вы не возражаете, если я закурю. С сигарой легче говорить по душам, приятнее исповедоваться друг другу. «Грехи смело», — сказал Лютер, мне хотелось бы перефразировать его слова: «Курь смело», и еще добавить: «Пей смело». Вы ведь не возражаете?

Епископ наполнил стопку из запыленной водочной бугылки, которую держал за книгами.

— Прошу вас, — с некоторым смущением сказал Архилохос.

Его огорчало, что епископ все же не совсем соответствовал тому идеалу, который он себе создал.

Епископ Мозер закурил дорогую сигару «данеман».

— Видите ли, любезный брат, — разрешите мне так вас называть — я уже давно мечтаю поболтать с вами о том о сем. — Он выпустил первое облачко сигарного дыма. — Но, бог мой, вы не знаете, как загружены епископы. Надо посещать дома для престарелых и молодежные лагеря, устраивать падших женщин в богоугодные заведения, следить за преподаванием в воскресных школах и за подготовкой к конфирмации, экзаменовывать кандидатов на церковные должности, угощать новопресвитериан и мылить шею проповедникам. У епископа тысяча всяких дел



и делишек, крутишься как белка в колесе. Мы со стариной Тюркером часто беседовали о вас — ведь вы не пропустили ни одной проповеди и проявили воистину редкое рвение.

Архилохос ответил, что ходить в храм божий для него — первейшее удовольствие.

Епископ Мозер налил себе еще стопочку водки.

— Знаю и давно уже отмечаю это с радостью. А теперь получилось вот что: достопочтенный член всемирного церковного совета старо-новопресвитериан два месяца назад предстал перед престолом господа бога, и я уже некоторое время подумываю: может, вы и есть самый подходящий человек, чтобы занять его почетное место. С постом генерального директора это вполне согласуется, не надо только особенно напирать на атомные пушки... А вообще-то нам нужны люди, которые занимают прочное положение в жизни, ведь борьба за существование стала особенно многотрудной и жестокой, господин Архилохос.

— Но, господин епископ...

— Согласны?

— Для меня это неожиданная честь.

— Стало быть, я могу предложить вашу кандидатуру всемирному церковному совету.

— Если вы полагаете...

— Не скрою, всемирный церковный совет охотно следует моим указаниям, может быть, даже слишком охотно. И так говорят, будто я свое нравный церковный владыка. Члены совета — люди славные и добрые христиане, этого нельзя отрицать. Но они рады, когда я снимаю с них организационную сторону дела, а зачастую и думаю за них; далеко не каждый человек на это способен, то же относится и к членам всемирного совета. Следующее заседание, на котором вы должны присутствовать как кандидат, состоится в Сиднее. В мае. Каждая такая поездка — дар божий, ты видишь новые страны, новых людей, знакомишься с чужими нравами и обычаями, с нуждами и проблемами любезного челсвечества в разных широтах. Разумеется, все расходы берет на себя старо-новопресвитерианская церковь.

— Мне, право, неловко...

— Я изложил вам свое дело, — прошепелявил епископ, — теперь перейдем к вашему. Не будем играть в прятки, господин генеральный директор. Догадываюсь, что вас привело ко мне. Вы собираетесь сочетаться браком, соединить свою жизнь с милой женщиной. Встретив вас вчера на улице неподалеку от крематория и Национального музея, я приветствовал вас, но вынужден был тут же свернуть в темный переулок... Навещаю там одну умирающую старушку. Тоже святая душа.

— Да, да, господин епископ.

— Ну что, я угадал?

— Да, так и есть.

Епископ Мозер захлопнул лежавшую перед ним библию на греческом языке.

— Недуренькая особа, — сказал он, — что ж, желаю счастья. А когда состоится венчание?

— Если можно, завтра, в часовне святой Элоизы... И еще одно: я был бы счастлив, если бы вы сами обвенчали нас.

Епископ почему-то пришел в замешательство.

— Собственно, это обязанность священника, который там служит, — сказал он. — Тюркер отлично совершает бракосочетания, и у него, между прочим, на редкость звучный голос.

— Прошу вас сделать для меня исключение, — сказал Архилохос, — тем более что я буду членом всемирного церковного совета.

— Гм, а успеете ли вы уладить все гражданские формальности?— спросил епископ. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Я обращаюсь к мэтру Дютуру.

— Тогда согласен,— сдался епископ,— скажем, завтра в три часа пополудни в часовне святой Элоизы. Сообщите мне, пожалуйста, фамилию невесты и кое-какие данные о ней.

Епископ все записал.

— Господин епископ,— начал Архилохос,— моя предстоящая жепитьба, вероятно, достаточная причина, чтобы оторвать вас от дел, но для меня она не самая главная, если можно так выразиться и если это не прозвучит кощунством, ибо, казалось бы, что может быть важнее, чем связать себя узами брака на всю жизнь. И все же в этот час у меня есть еще более важная забота, которая лежит на мне тяжелым грузом.

— Говорите, дорогой генеральный директор,— любезно предложил епископ.— Смелее! Снимите камень со своей души: ведь все, что нас гнетет, дела человеческие, очень даже человеческие.

— Господин епископ,— начал Архилохос в полном унынии, но потом выпрямился и даже закинул ногу на ногу,— простите, если я несу бог знает что. Но еще сегодня утром я был одет совсем иначе. Бедно одет, признаюсь честно. Костюм, который вы видели на мне в воскресенье, был куплен в день моей конфирмации, а теперь я вдруг щеголяю во всем новом от О'Нейль-Паперера и от Фатти. Мне стыдно, господин епископ, вы можете подумать, что я с головой погряз в мирских со-блазнах.

— Как раз наоборот,— улыбнулся церковный сановник,— приятная внешность, красивая одежда достойны похвалы, в особенности в наш век, когда в некоторых кругах, которые исповедуют нигилизм, вошло в моду одеваться нарочито небрежно, почти нищенски, когда юноши носят пестрые рубахи навыпуск и прочую мерзость. Приличная модная одежда и христианство вовсе не исключают друг друга.

— Господин епископ,— продолжал осмелевший Архилохос,— думается, что хороший христианин будет встревожен, если на его голову одно за другим обрушатся несчастья; он, наверное, почувствует себя Иовом, у которого, как известно, погибли все сыновья и дочери и который впал в нищету и заразился проказой. И все же он сможет утешиться, считая, что несчастья ниспосланы ему за его прегрешения. Но представьте, что с человеком случается обратное, что на его голову сыплется одна удача за другой, вот когда можно встревожиться по-настоящему — ведь это совершенно необъяснимо. Нет людей, которые заслужили бы столько счастья.

— Милый мой Архилохос,— улыбнулся епископ Мозер,— мир так устроен, что подобные случаи навряд ли возникают. Человек — тварь стенающая, сказал апостол Павел, и все мы стенаем от различного рода бед, правда, мы не должны воспринимать их слишком трагически; нам следует учиться у Иова, об этом вы сказали очень верно и красноречиво, почти как сам отец Тюркер. Случай, о котором вы говорите — длинная цепь удач,— почти исключен, вы с ним никогда не встретитесь.

— Я и есть этот случай,— сказал Архилохос.

В кабинете стало тихо, сумерки сгущались, день на улице совсем угас, наступила темная ночь, снаружи почти не доносилось ни звука, только время от времени слышался шум проезжающей машины или шаги прохожего, замирающие вдали.

— Счастье подстерегает меня на каждом шагу,— вполголоса продолжал бывший младший помощник бухгалтера, одетый в безукоризненный костюм с хризантемой в петлице (серебристо-серую шляпу иде-новского фасона, ослепительно-белые перчатки и элегантную шубу он

оставил на вешалке). — Я помещаю брачное объявление в «Ле суар», и ко мне приходит очаровательная девушка, она влюбляется в меня с первого взгляда, и я влюбляюсь в нее, все идет, как в плохой кинокартине, мне даже стыдно рассказывать. Я отправляюсь гулять с девушкой, и весь город мне кланяется. Со мной здороваются президент, вы, господин епископ, и прочие важные персоны, а сегодня я вдруг сделал головокружительную карьеру — и светскую и церковную; только что я был никем, вел жалкое существование младшего из младших — и вот я уже генеральный директор и член всемирного церковного совета. Все это совершенно необъяснимо. Я в большой тревоге.

Епископ не произносил ни слова, теперь он казался усталым седым стариком; долго он так сидел, уставившись в одну точку; сигару он положил в пепельницу, и она лежала там погасшая и ненужная.

— Господин Архилохос, — сказал наконец епископ, голос его изменился, окреп, и он уже не шепелявил, — господин Архилохос, признаюсь, все эти происшествия, о которых вы поведали мне в этот тихий вечер с глазу на глаз, в самом деле удивительны и необычны. Что же касается причин, которые их обусловили, мне думается, что не этим неизвестным нам причинам, — тут голос его дрогнул, и на секунду опять стало заметно, что епископ шепелявит, — следует приписывать столь важное решающее значение, поскольку они ведь лежат в сфере человеческого, а в этих пределах — все мы грешники; суть в другом — в том, что на вас снизошла благодать и что вам все время являются зримые признаки этой благодати. Сейчас вы уже не младший помощник бухгалтера, а генеральный директор и член всемирного церковного совета, и речь теперь идет о том, сможете ли вы доказать, что достойны божьей милости. Несите свой счастливый крест так же смиренно, как вы несли бы крест несчастий; вот все, что я могу вам сказать. Быть может, путь, на который вы вступили, особенно труден — ведь это путь удач, и бог потому не ниспосылает его людям, что они еще меньше способны им идти, нежели путем несчастий, обычным для этой земли. А теперь прощайте. — С этими словами епископ встал. — Завтра мы увидимся в часовне святой Элоизы, когда вы уже многое себе уясните. А я буду молиться, чтобы вы не забывали мои слова, как бы ни сложилась ваша жизнь в дальнейшем.

## 14

После разговора с епископом Мозером, после прокуренной комнаты с тяжелыми портьерами, письменным столом и полками, забытыми классикой и библиями, и после того, как брат Биби, читавший под окном епископа газету («Ле суар»), получил требуемую сумму, — Архилохосу захотелось сразу же поехать на бульвар Сен-Пер, но часы на церкви Иезуитов у площади Гийом пробили всего шесть раз, а они с Хлоей условились встретиться в восемь, и Архилохос решил подождать до восьми, хотя и подумал с болью в сердце, что Хлое еще два лишних часа придется служить в прислугах. Он хотел уже в тот же день переехать с ней в «Риц» и все заранее подготовил: занял два номера — один на втором этаже, другой — на шестом, чтобы не смущать девушку и чтобы не ставить себя как церковного деятеля в ложное положение. Потом он попытался разыскать адвоката и нотариуса Дютура, но — увы — тщетно: Архилохосу сказали, что Дютур отправился оформлять передачу какого-то дома новому владельцу. В результате у Арнольфа образовалось свободное время — полтора с лишним часа. Он подготовился к свиданию, купил цветы, узнал, в каком ресторане можно поесть; в безалкогольный ресторан напротив Международной организации здравоохранения он не

хотел больше идти, а о забегаловке «У Огюста» тоже не могло быть и речи. С грустью Архилохос подумал, что в этой элегантной одежде ему там не место — костюм от О'Нейля-Паперера не подходил к желтой майке месье Билера. Поэтому он, хоть и втайне угрызаясь, решил пообедать в «Рице», конечно, без вина, заказал столик и, радостно взволнованный, отправился на выставку Пассапа, которую случайно обнаружил в художественном салоне Пролазьера, прямо напротив «Рица», и которая из-за наплыва посетителей была открыта также по вечерам. В салоне были выставлены и последние работы Пассапа (углы в шестьдесят градусов, эллипсы и параболы); Архилохос с восторгом любовался ими, пробираясь с букетом цветов (белые розы) сквозь толпу американцев, журналистов и художников, заполнившую светлые выставочные залы. Но от одной картины он прямо-таки отпрянул, хотя на ней, собственно, не было ничего особенного — всего лишь два эллипса и одна парабола, написанные синим кобальтом и охрой. Некоторое время Архилохос с изумлением смотрел на эту картину, покраснев до корней волос и судорожно сжимая в руке букет, потом в паническом ужасе, обливаясь потом и одновременно дрожа от озноба, ринулся прочь и вскочил в первое попавшееся такси, не забыв, впрочем, узнать адрес художника у Пролазьера, который в черном смокинге стоял у кассы, улыбаясь и потирая руки. Тут же владелец салона, как был, без пальто, и тоже на такси пустился в погоню за Архилохосом. Он боялся, что Арнольф тайно приобретет у Пассапа картину, и желал получить причитающиеся ему комиссионные. Пассап жил на улице Фюнебр, в старом городе, и такси выехало на проспект маршала Фегели (впритык за ним следовало другое такси с Пролазьером), правда, выехало с огромным трудом, поскольку сторонники Фаркса как раз в это время устроили многолюдную манифестацию: на длинных шестах они несли портреты анархиста, флаги и огромные транспаранты: «Долой президента!», «Срывайте Лозаннский договор!» и другие в том же духе. Где-то поблизости держал речь сам Фаркс. На улицах стоял дикий рев и гам, прерываемый свистками и конским топотом, потом полицейские взялись за резиновые дубинки и шланги, и оба такси — генерального директора и владельца салона — были облиты водой, причем владелец салона, на беду, опустил стекло, видимо из любопытства. Но как раз в эту минуту шоферы, ругаясь на чем свет стоит, свернули у магазина Вреннера и Потта в старый город. Немецкие улицы круто шли в гору, дома были ветхие, то тут, то там попадались подозрительные заведения. Кучками стояли проститутки, похожие на черных птиц; они призывно махали руками и шипели; было так холодно, что мокрые такси уже давно покрылись коркой льда. На тускло освещенной улице Фюнебр у дома номер 43 (где жил Пассап) Архилохос с букетом белых роз вышел из своей сказочно-разукрашенной сверкающими и звенящими сосульками машины и велел шоферу ждать; уличные мальчишки сразу же обступили Архилохоса, хватая его за штаны; наконец, миновав злую и пьяную консьержку, он проник внутрь большого старого дома и начал взбираться по нескончаемой лестнице. Лестница была совершенно гнилая, несколько раз ступеньки обламывались под ногами Арнольфа и он повисал в воздухе, уцепившись за перила. Чуть ли не в полной темноте с огромным трудом одолевал он этаж за этажом, обдирая ладони о необструганные перила. Напрягая зрение, он пытался различить, нет ли на какой-нибудь из дверей имени Пассапа; за его спиной пыхтел Пролазьер, на которого он по-прежнему не обращал внимания. В доме был адский холод, за стенкой брнчали на рояле, где-то хлопало окно. В какой-то квартире визжала женщина и орал мужчина, и повсюду пахло грязью и пороком. Архилохос подымался все выше, опять продавил ступеньку и провалился по колено, по-

том угодил головой в паутину; по лбу у него прополз жирный полузамерзший паук, и он с отвращением смахнул его. Шуба от Фатти и шикарный новый костюм от О'Нейль-Паперера запылились, брюки он порвал — хорошо еще, что розы были невредимы, — но вот в конце узкой и крутой чердачной лестницы он увидел ободранную дверь и на ней по диагонали огромную надпись мелом: «Пассап». Архилохос постучал. Двумя пролетами ниже лязгал зубами Пролазьер. На стук никто не отозвался. Архилохос постучал снова, потом еще раз и еще. Опять ни ответа, ни привета. Тогда генеральный директор нажал ручку, дверь оказалась незапертой. Архилохос вошел.

Перед ним был необъятный чердак: вместо потолка — сплетение балок; пол неровный, где выше, где ниже. Всюду стояли негритянские идолы, лежали груды холстов, пустые рамы, скульптуры — провололочные каркасы диковинной формы, над раскаленной железной печкой подымалась очень длинная, причудливо изогнутая труба, тут же валялись винные и водочные бутылки, засохшие тьюбики с красками, пузырьки и кисти. В довершение всего по чердаку бегали кошки, а на полу и на стульях громоздились горы книг. Посредине стоял Пассап в рабочем халате; когда-то давно халат был, по-видимому, белый, сейчас он был сплошь заляпан красками. Пассап колдовал над холстом, изображавшим параболы и эллипсы, а против него, у самой печки, на расшатанном стуле, сцепив руки на затылке, позировала жирная девица с длинными волосами цвета пакли; она была совершенно голая; член всемирного церковного совета окаменел (ведь он в первый раз в жизни видел голую женщину), он боялсядохнуть.

— Кто вы такой? — спросил Пассап.

Архилохос представился, хотя вопрос живописца его несколько удивил, ведь не далее, как в воскресенье, тот сам с ним поздоровался.

— Что вам надо?

— Вы написали мою невесту Хлою обнаженной, — с трудом произнес грек.

— Вы говорите о картине «Венера, 11 июля»? Вывешена в салоне Пролазьера?

— Да.

— Одевайся, — приказал Пассап натурщице, и та убежала за ширму. Потом он стал внимательно разглядывать Архилохоса; в зубах у него торчала трубка, и дым таял где-то под крышей в нагромождении балок. — Ну и что?

— Сударь, — с большим достоинством начал Архилохос, — я почитатель вашего таланта, с восхищением следил я за вашими успехами, вы шли номером четвертым в моем миропорядке.

— Какой миропорядок? Что за чушь! — сказал Пассап, щедро выдавливая на палитру новые краски (кобальт и охра).

— Я составил перечень самых достойных представителей нашей эпохи, и они служат мне моральной опорой.

— Ну, а дальше?

— Сударь, несмотря на все мое уважение и восторг, я вынужден просить у вас объяснений. Не так уж часто, по-моему, случается, что жених видит на картине свою невесту обнаженную, в облике Венеры. Даже если мы имеем дело с абстрактной живописью, тонко чувствующий человек всегда угадывает натуру.

— Правильно, — сказал Пассап, — жаль, что критики на это не способны. — Он опять воззрился на Архилохоса, подошел к нему ближе, ощупал его, как ощупывают лошадь, снова отступил на несколько шагов и прищурился. — Раздевайтесь, — сказал он наконец, налил стакан виски, залпом выпил и опять набил трубку.

— Но...— попытался было возразить Арнольф.

— Никаких «но»,— загремел Пассап и так грозно взглянул на Архилохоса своими черными колючими глазками, что тот прикусил язык.— Я хочу изобразить вас в виде Ареса.

— Какого Ареса?

— Бог войны в древней Греции,— пояснил Пассап.— Много лет я искал подходящего натурщика — антипода моей Венере. И вот нашел. Вы — типичный изверг, порождение грохота битв, тиран, купающийся в крови. Вы грек?

— Конечно, но...

— Вот видите.

— Господин Пассап,— начал Архилохос,— вы ошибаетесь, я не изверг, не тиран, купающийся в крови, и не порождение грохота битв, я — человек смирный, член церковного совета старо-новопресвитерианской церкви, абсолютный трезвенник, некурящий. К тому же вегетарианец.

— Все это ерунда,— сказал Пассап.— Чем вы занимаетесь?

— Генеральный директор отдела атомных пушек и...

— А я что говорил,— прервал его Пассап,— стало быть, бог войны. И изверг. Вы просто скованы, еще не проявили себя, не развернулись; по натуре вы горький пьяница и распутник. О лучшем Аресе я и не мечтал. Раздевайтесь, и поживее! Мое дело писать, а не точить лясы.

— Не буду раздеваться, пока здесь эта барышня, которую вы только что писали,— заупрямился Архилохос.

— Проваливай, Катрин, он стесняется,— закричал художник.— До завтра ты, толстуха, мне больше не понадобится.

Жирная девица с волосами цвета пакли, уже одетая, попрощалась. Когда она открыла дверь, на пороге появился Пролазьер — он дрожал от холода и сильно обледенел.

— Протестую,— осипшим голосом закричал владелец салона.— Протестую, господин Пассап, мы ведь договорились...

— Убирайтесь к чертовой матери!

— Я дрожу от холода,— в отчаянии вопил владелец салона.— Мы ведь договорились...

— Дрожите себе на здоровье.

Девица закрыла дверь, и ее каблучки застучали на лестнице.

— Вы еще в штанах?— раздраженно спросил Архилохоса художник.

— Сию минуту,— ответил генеральный директор, раздеваясь.— Рубашку тоже снимать?

— Снимайте все.

— А цветы? Они для невесты.

— Бросьте на пол.

Церковный деятель аккуратно сложил свой костюм, предварительно почистив его (ибо костюм сильно запылится во время трудного восхождения по лестнице) и остался нагишом.

Ему было холодно.

— Придвиньте стул к печке.

— Но...

— Станьте на стул в позе боксера, руки должны быть под углом в шестьдесят градусов,— распорядился Пассап,— именно таким я и представлял себе бога войны.

Архилохос повиновался, хотя стул ходил под ним ходуном.

— Слишком много жира,— раздраженно бормотал художник, опять наливая себе виски.— Мне нравится это только у баб, и то не

всегда. Ну да ладно, жир мы уберем. Главное — это голова и торс. Густая шерсть на груди — хорошо, верный признак воинственности. Ляжки тоже еще годятся. Снимите очки, они все портят.

Потом художник начал писать: он писал углы в шестьдесят градусов, эллипсы и параболы.

— Сударь, — снова заговорил член церковного совета (стоя в позе боксера). — Я жду объяснений насчет...

— Помолчите, — заорал Пассап. — Здесь говорю только я. Вполне естественно, что я писал вашу невесту, вполне. Грандиозная женщина. Вы ведь знаете, какая у нее грудь.

— Сударь...

— Одни бедра чего стоят! А пупок!

— Я попросил бы...

— Станьте как следует, я же сказал, в позе боксера, черт возьми, — зашипел художник, нанося на холст целые горы охры и синего кобальта. — Никогда не видел свою невесту голой, а еще туда же — обручается!

— Вы топчете цветы. Белые розы.

— Ну и пусть. Ваша невеста — само совершенство. Когда я увидел ее голой, то чуть было не превратился в пошлого натуралиста или в эдакого беззубо-безобидного бодрячка-импрессиониста. Роскошная плоть, а какая кожа! Втяните живот, прямо беда с вами! Никогда у меня не было такой божественной природы, как Хлоя! Великолепная спина, точеные плечи, а две нижние выпуклости — твердые и округлые, как два земных полушария. При виде эдакой красоты в голову лезут шальные мысли. Уже давно живопись не доставляла мне такого удовольствия. Хотя женщины меньше всего интересуют меня в плане живописи: я пишу их редко, да и то обычно толстух вроде этой. Для искусства женщина не находка; мужчина — совсем другое дело, и самое интересное — это отклонения от классических норм. Хлоя — счастливое исключение! У нее все райски-гармонично: и ноги, и руки, и шея, а голова еще не утратила истинной женственности. Я изобразил ее в скульптуре тоже. Вот смотрите. — Пассап показал на какой-то каркас несуразной формы.

— Но...

— Встаньте как следует! — приказал художник Арнольфу, отошел на шаг, снова отошел, внимательно поглядел на картину, поправил один эллипс, снял холст с мольберта и прикрепил новый. — А теперь опуститесь на колени, — приказал он. — Арес после битвы! Наклоните туловище вперед. В конце концов вы ведь не будете позировать мне каждый день.

Совершенно растерянный и наполовину изжаренный из-за близкого соседства с печкой, Архилохос почти не сопротивлялся.

— И все же я попросил бы вас... — начал Архилохос.

Но при этих словах на чердак ввалился Пролазьер, который уже совершенно обледенел и даже позвякивал на ходу: он заподозрил неладное, решил, что Архилохос все же покупает картину.

Пассап разъярился.

— Убирайтесь, — взвыл он.

И владелец салона вновь ретировался на лестницу, где стужа стояла, как в Арктике.

— У меня одно объяснение — искусство, — говорил художник, попивая виски, нанося на холст краски и одновременно отгоняя кошку, норовившую вскочить ему на плечо, — и мне наплевать, удовлетворяет вас это объяснение или нет. Из вашей голой невесты я сделал шедевр, произведение искусства, в котором все совершенно: и пропорции, и

плоскостное решение, и ритм, и цвет, и поэзия линий. Прекрасный мир кобальта и охры. Вы же делаете с Хлоей как раз обратное, если она вообще захочет предстать перед вами в голом виде. Вы превратите ее в мамашу с выводком пiskuнов. Вы, а не я разрушаете шедевр, созданный природой, я же облагораживаю его, возвожу в абсолют, придаю законченность, стираю грани между явью и сном.

— Уже четверть девятого! — воскликнул Архилохос; он был напуган поздним временем и вместе с тем чувствовал облегчение от слов художника.

— Ну и что?

— Мы условились с Хлоей встретиться в восемь, — робко сообщил Арнольф и попытался было слезть со стула, который со всех сторон осаждали мурлыкающие кошки. — Она ждет меня на бульваре Сен-Пер.

— Пусть подождет. Стойте, как стояли, — проревел Пассап, — искусство важнее ваших любовных шашней. — И он продолжал писать. Архилохос застонал. Серый кот с белыми лапками вскарабкался к нему на плечо и выпустил когти.

— Тише! — приказал Пассап. — Не шевелитесь.

— Кот...

— Кот — молодчага, чего не скажешь про вас, — бушевал художник. — Мыслимо ли отрастить такое брюхо, да еще человеку непьющему.

На чердаке опять появился Пролазьер, окоченевший и покрытый толстой ледяной корой. Хныча, он заявил, что промерз до костей; он так охрип, что речь его стала невнятной.

— Никто не просит вас околачиваться у меня под дверь, а в мастерскую я вас не пушу, — грубо ответил Пассап.

— Вы на мне наживаетесь, — прохрипел владелец салона, он хотел высморкаться, но не смог вынуть руку из кармана брюк, рука примерзла.

— Как раз наоборот, это вы на мне наживаетесь! — заорал художник громовым голосом. — Вон!

Владелец салона удалился в третий раз.

Да и Архилохос не смел пикнуть. А Пассап, прихлебывая виски, малевал свои углы в шестьдесят градусов, параболы и эллипсы, густо накладывая кобальт на охру и охру на кобальт; прошло еще полчаса, и он разрешил генеральному директору одеться.

— Берите, — сказал Пассап и сунул Арнольфу в руки проволочный каркас. — Поставьте это возле своего супружеского ложа. Мой свадебный подарок. Будете вспоминать красоту своей невесты, когда она отцветет. Один из ваших портретов я тоже пришлю, пусть только подсохнет. А теперь убирайтесь подобру-поздорову. Ненавижу членов церковных советов и генеральных директоров — пожалуй, они еще хуже, чем владельцы салонов. Ваше счастье, что вы — вылитый бог войны. Иначе я давно выбросил бы вас раздетого на мороз. Не сомневайтесь!

Архилохос ушел от художника, держа в одной руке белые розы, а в другой — каркас, изображавший его обнаженную невесту; на крутой чердачной лестнице — собственно, это была просто стремянка — он столкнулся с владельцем салона, у которого под носом висела длинная сосулька. Пролазьер прижимался к стене; от долгого стояния на сквозняке он чуть не испустил дух.



— Вот видите,— запричитал он так тихо, что казалось, его голос доносится из ледяной расселины,— я ведь знал: он вам что-то продал. Протестую!

— Свадебный подарок,— объявил Арнольф, осторожно спускаясь; ему мешали цветы и проволочная скульптура, и он сердился на себя за это бессмысленное приключение — ведь скоро уже девять. Но идти по этой лестнице быстрее было немислимо.

Владелец салона спускался за ним.

— Как не стыдно,— хныкал Пролазьер; половину его слов вообще нельзя было разобрать.— Как вам не стыдно, я слышал, что вы говорили Пассапу: будучи членом всемирного совета... Безобразия, разве можно позировать, занимая церковный пост? Да еще в чем мать родила.

— Подержите, пожалуйста, скульптуру,— волей-неволей попросил Пролазьера Архилохос (между пятым и четвертым этажом около квартиры, где все еще визжала женщина и орал мужчина).— Всего минуточку, у меня застряла нога — ступенька трухлявая.

— Не могу,— пискнул Пролазьер.— Без комиссионных я не прикасаюсь ни к одному произведению искусства.

— Тогда возьмите букет.

— Не в состоянии,— извинился владелец салона,— рукава примерзли.

Наконец они выбрались на улицу. Машина вся обросла сосульками и блестя, как серебро. Только радиатор был чистый — мотор все время работал. Но внутри машины стоял несусветный холод. Продрогший шофер объяснил, что отопление вышло из строя.

— Бульвар Сен-Пер, двенадцать,— сказал Архилохос; он был рад, что скоро увидит свою невесту.

Шофер нажал на газ, но тут в стекло застучал владелец салона.

— Будьте любезны, захватите меня с собой.

Арнольф опустил стекло и высунул голову, чтобы расслышать невнятное бормотанье Пролазьера, который пока что успел превратиться в айсберг.

Айсберг заявил, что он не в силах ступить ни шагу, а в старом городе ни за какие деньги не найдешь такси.

Архилохос ответил, что он торопится на бульвар Сен-Пер и так он, мол, сильно опаздывает.

— Как христианин и как член всемирного церковного совета вы не имеете права бросить меня на произвол судьбы,— возмутился Пролазьер,— я уже начал примерзать к тротуару.

— Садитесь,— сказал Архилохос, открывая дверцу.

— Здесь, кажется, немного теплее,— заметил владелец салона, когда он наконец уселся рядом с Архилохосом.— Будем надеяться, что я оттаю.

Однако они уже свернули на бульвар Сен-Пер, а Пролазьер так и не оттаял. Ему тоже пришлось выгрузиться из такси: шофер не желал возвращаться на набережную, он и сам порядком замерз; машина ушла. Теперь Архилохос и Пролазьер очутились перед узорчатой решеткой с литыми амуриками и дельфинами, с красным фонарем, который на этот раз не горел, и двумя огромными каменными цоколями. Архилохос позвонил в старинный звонок. Никто не вышел. Бульвар был безлюден, только издали доносился шум и гам — это бушевали люди Фаркса.

— Сударь,— сказал Архилохос, обеспокоенный своим опозданием, руки у него были заняты букетом и проволочным каркасом.— Я вынужден вас покинуть.

Он открыл калитку и решительно шагнул в парк, но Пролазьер как тень следовал за ним.

Заметив, что от обледеневшего владельца никак не отделаешься, Архилохос спросил, что тому надо.

Пролазьер заявил, что ему, мол, надо вызвать по телефону такси.

— Я почти не знаком со здешними хозяевами.

— Вы как член...

— Пожалуйста, — сказал Архилохос, — пожалуйста, идите за мной.

Мороз все крепчал, при каждом шаге владелец салона звенел, будто целая церковная звонница. Ели и вязы стояли недвижимо, на небе, опоясанном серебристым Млечным Путем, сверкали огромные звезды — красные и желтые. Сквозь стволы деревьев были видны освещенные окна — они отбрасывали мягкое золотистое сияние. При ближайшем рассмотрении оказалось, что вилла — миниатюрный замок в стиле рококо, несколько вычурный; изящные колонны и стены обвивали ветки дикого винограда; в светлую ночь все это было хорошо видно. Архилохос и его спутник поднялись по пологой, красиво изогнутой лестнице. Дверь виллы была ярко освещена, но на ней не оказалось дощечки с фамилией владельца, только массивный звонок.

Пролазьер опять заныл: он не может стоять ни минуты на таком морозе, вот-вот отдаст богу душу.

Архилохос нажал ручку. Дверь была не заперта, и Арнольф сказал, что он на минуту заглянет в дом.

Пролазьер последовал за ним.

— Вы что, с ума сошли?

— Не могу же я стоять на улице в такой холод.

— Я не знаком с хозяевами.

— Вы как христианин...

— Тогда ждите меня здесь, — велел Арнольф.

Они оказались в холле. Похожую мебель и изящные зеркала на стенах Архилохос уже видел в покоях Пти-Пейзана. Холл утопал в цветах, в доме было очень тепло. Владелец салона тут же начал таять, лед прямо на глазах превращался в воду.

— Сойдите с ковра, — прикрикнул на него член церковного совета: ему стало явно не по себе при виде Пролазьера, с которого текло в три ручья.

— Как угодно, — сказал тот и подошел к стойке с зонтами, — только бы мне поскорей добраться до телефона.

— Я изложу вашу просьбу хозяину.

— Ради бога, не мешкайте.

— Подержите хотя бы скульптуру, — сказал Архилохос.

— Без комиссионных не могу.

Арнольф бросил проволочный шедевр к ногам Пролазьера и открыл дверь в маленькую гостиную, где стояли кушетка, столик, клавесин и хрупкие креслица. Он откашлялся. В гостиной никого не оказалось. Но за высокой дверью послышались шаги. Очевидно, это был мистер Уимэн. Архилохос подошел к двери и постучал.

— Войдите!

К своему удивлению, Арнольф увидел мэтра Дютура.

Мэтр Дютур, маленький суетливый человек с черными усиками и живописной седой гривой, стоял у большого красивого стола в комнате с высокими зеркалами в позолоченных рамах. Ярко горела люстра со множеством свечей, словно рождественская елка.

— Вас-то я и ждал, господин Архилохос,— сказал мэтр Дютур, поклонившись.— Садитесь, пожалуйста.

Он жестом указал Арнольфу на кресло, а сам сел напротив него. На столе лежала бумага с гербовыми печатями.

Архилохос признался, что он ничего не понимает.

— Дорогой господин генеральный директор,— с улыбкой начал адвокат,— я рад, что именно меня уполномочили передать вам в дар эту виллу. Дом не заложен, находится в прекрасном состоянии, если не считать крыши на западной стороне: ее придется ремонтировать.

Архилохос повторил, что он ничего не понимает, он и впрямь был изумлен, хотя счастливые сюрпризы уже несколько закалили его волю и ко многому подготовили.

— Может, вы мне объясните...

— Препжний хозяин дома не пожелал себя назвать.

Арнольф заявил, что в общих чертах он догадывается — речь идет, конечно, о мистере Уимэне, знаменитом археологе, который специализировался на раскопках в Греции и обнаружил погрузившийся во мхи древний храм с ценнейшими статуями и золотыми колоннами.

Мэтр Дютур был явно озадачен, некоторое время он с удивлением взирал на Архилохоса, покачивая головой. Наконец заверил, что не имеет права разглашать профессиональную тайну; препжний владелец желает, чтобы дом принадлежал греку, он счастлив, что нашел в лице Архилохоса человека, который отвечает этому условию. Далее Дютур заявил, что в эпоху всеобщей коррупции и безнравственности, когда самые противозаконные преступления кажутся естественными, когда гибнет всякое правовое начало и человечество повсеместно возвращается к жестокому кулачному праву, то есть к временам варварства,— в эту эпоху юрист мог бы отчаяться, потерять вкус к порядку и справедливости. Но, слава богу, блюстителю законности хоть изредка выпадает честь подготавливать и оформлять юридический акт, который символизирует бескорыстие в чистом виде, вот как, например, этот акт о передаче в дар виллы в стиле рококо. Документы уже подготовлены, господину генеральному директору нужно только бегло просмотреть их и поставить свою подпись. Налоги в связи с передачей виллы — государство — это ненасытный молох — тоже заплачены.

— Большое спасибо,— сказал Архилохос.

Дютур зачитал вслух дарственную и прочие документы, и член церковного совета подмахнул их.

— Отныне вилла ваша,— сказал адвокат и поднялся с кресла.

Архилохос тоже поднялся.

— Сударь,— торжественно произнес Арнольф,— разрешите мне выразить радость по поводу знакомства с вами, человеком, которого я давно почитаю. Это вы защищали беднягу проповедника. И вы тогда воскликнули: «Это плоть изнасиловала его дух...» Ваши слова на всю жизнь врезались мне в память.

— Что вы,— возразил Дютур.— Я только выполнял свой долг. К сожалению, проповедника обезглавили, до сих пор горюю об этом — ведь я настаивал на двенадцати годах каторги. Правда, от самого страшного мы его спасли — как-никак ему не пришлось болтаться на виселице.

Архилохос попросил Дютура уделить ему еще минутку своего драгоценного времени. Дютур поклонился.

— Прошу вас, уважаемый мэтр, подготовьте документы к моему бракосочетанию.

— Они готовы,— ответил адвокат.— Ваша милая невеста уже говорила со мной.

— Неужели,— радостно воскликнул Арнольф.— Вы знакомы с моей милой невестой?

— Имел удовольствие.

— Чудесная девушка. Правда?

— Несомненно.

— Я самый счастливый человек на свете.

— Кого вы предлагаете в свидетели жениха и невесты?

Архилохос признался, что об этом он не подумал.

Дютур предложил в качестве свидетелей американского посла и ректора университета.

Арнольф заколебался.

Мэтр сообщил, что оба свидетеля уже дали согласие.

— Вам ничего не надо предпринимать. Предстоящая женитьба вызвала сенсацию, все уже знают о ваших поразительных служебных успехах, дорогой господин Архилохос.

— Но ведь эти господа не знакомы с моей невестой.

Маленький адвокат откинул со лба живописную седую прядь, погладил усы и почти злобно взглянул на Арнольфа.

— Думаю, что все-таки знакомы,— сказал он.

— Понимаю,— просиял Архилохос,— эти господа были гостями Джильберта и Элизабет Уимэн.

На этот раз очередь изумляться была за мэтром Дютуром.

— Назовем это так,— сказал он после долгой паузы.

Имена свидетелей не вызвали у Арнольфа особого восторга.

— Конечно, я всегда восхищался ректором университета...

— Вот и прекрасно.

— Но американский посол...

— У вас опасения политического порядка?

— Да нет,— сказал Архилохос смущенно,— мистер Форстер-Монро занимает, правда, пятое место в моем миропорядке, но он старопресвитерианин, а их догмат всепрощения я не разделяю, я твердо верю в адские муки за гробом.

Дютур покачал головой.

— Не стану посягать на чужую веру. Но в данном случае это, по моему, не столь существенно: что общего между вашей женитьбой и адскими муками за гробом?

Архилохос вздохнул с облегчением.

— Собственно, я тоже так думал.

— Стало быть, разрешите откланяться,— заметил Дютур, захлопывая портфель.— Гражданское бракосочетание состоится в два ноль-ноль в здании ратуши.

Арнольф собрался проводить мэтра.

Но маленький адвокат сказал, что он предпочитает идти через парк; раздвинув красные портьеры, он открыл стеклянную дверь на веранду.

— Кратчайший путь.

В комнату ворвалась струя ледяного воздуха.

Когда торопливые шаги адвоката замерли в темноте, Архилохос подумал, что Дютур был в этом доме частым гостем; он постоял некоторое время на веранде, глядя, как мерцают звезды над голыми ветками, потом ему стало холодно, он вернулся в комнату и запер дверь.

— Уимэны, как видно, жили на широкую ногу,— пробормотал он.

Архилохос бродил по миниатюрному замку, который отныне был его собственностью. Ему почудилось вдруг, что в соседней комнате слышатся чьи-то легкие шаги, но там никого не оказалось. Вилла была ярко освещена: горели высокие белые свечи и маленькие лампочки. Арнольф проходил по анфиладе изящно обставленных комнат, ступал по пушистым коврам. Стены были обиты старинными штофными обоями, в некоторых местах уже немного потертыми, на серебристо-сером фоне — лилии, вытканые матовым золотом; повсюду висели великолепные картины, от которых Арнольф, впрочем, краснея, отводил глаза; с картин на него смотрели все больше голые женщины, зачастую они были в обществе мужчин, изображенных в том же натуральном виде. Хлоя не отзывалась. Вначале Архилохос шел куда глаза глядят, но потом он заметил, что кто-то незримый указывает ему путь: на пушистых коврах то тут, то там лежали вырезанные из бумаги звезды — голубые, красные и золотые — по этому следу, наверно, и надо было идти. Совершенно неожиданно Архилохос увидел узкую винтовую лестницу, которая начиналась у потайной двери (прежде чем обнаружить эту дверь, он долго стоял у обитой штофом стены, где звездная дорожка внезапно обрывалась), на ступеньках лестницы лежали бумажные кометы и звезды, на одной даже Сатурн и его кольца; потом Арнольф увидел бумажную луну и солнце.

Однако чем выше взбирался Архилохос, тем больше он замедлял шаг и терял мужество: на него напала привычная робость. Запыхавшись, он судорожно сжимал букет белых роз, который, впрочем, не выпустил из рук даже во время разговора с мэтром Дютуром. Винтовая лестница привела Архилохоса в круглую комнату с тремя венецианскими окнами, большим письменным столом и глобусом, креслом с высокой спинкой, шандалом и ларем; мебель была средневековая, как в опере, когда там ставят «Фауста»; на кресле лежал пожелтевший клочок пергамента, на котором губной помадой было выведено: «Кабинет Арнольфа».

При виде телефона на письменном столе у Архилохоса мелькнула мысль о владельце салона, он вспомнил, как тот стоял внизу в холле у стойки с зонтами и как с него текло в три ручья; наверно, Пролазьер уже совсем оттаял. Но стоило Арнольфу открыть дверь в другую комнату, на которую указывали звезды и кометы, как он начисто позабыл о владельце салона — перед Архилохосом была спальня с огромной старинной кроватью под балдахином; «Спальня Арнольфа», как сообщал клочок пергамента, лежавший на маленьком столике в стиле Ренессанса. Но звездная дорожка вела дальше: следующая комната была снова выдержана в стиле рококо — то был прелестный будуар, освещенный лампами под красными абажурчиками; в нем стояли мебель и безделушки, обычные для будуаров; на одном из креслиц лежал пергамент с надписью, сделанной губной помадой: «Будуар Хлоя» — и тут же в ужасающем беспорядке были разбросаны предметы дамского туалета: бюстгальтер, пояс с резинками, комбинация, штанишки — все белое, как снег; на полу валялись чулки и башмачки, а через полуоткрытую дверь можно было заглянуть в ванную, облицованную черным кафелем, с бассейном в полу, наполненным зеленоватой душистой водой, над которой подымался пар.

Однако кометы и звезды на ковре указывали путь не только к ванной, но и к другой двери. Заслонившись букетом, как щитом, Архилохос открыл ее. Теперь он очутился в спальне с изящной, но необъятно широкой кроватью под балдахином, которая стояла как раз посередине

комнаты. Звездная дорожка тут кончалась, хотя несколько звезд и солнц были еще приклеены к деревянной раме кровати. Занавеси над кроватью были затянuty, и Архилохос вначале никого не заметил. В камине горели поленья, и пламя отбрасывало гигантскую колеблющуюся тень Арнольфа на пурпурный балдахин, затканый причудливыми золотыми узорами. Архилохос боязливо приблизился к кровати. Оказалось, что занавеси были задернуты неплотно, и он заглянул внутрь, но вначале не заметил ничего, кроме белого кружевного облака. Однако ему показалось, что он слышит чье-то дыхание; перепуганный до смерти, он шепнул одними губами: «Хлоя». Ни звука. Необходимо было проявить решительность, хотя в глубине души Арнольфу хотелось незаметно выскользнуть из этой комнаты, убежать из этого замка и снова залезть в свою каморку под крышей, почувствовать себя в безопасности, спастись от этих смущавших его душу звезд. И все же, хотя и не без тяжелой внутренней борьбы, он раздвинул балдахин и увидел, что та, которую он искал, лежит в постели, окутанная волнами своих распущенных черных как смоль волос. Хлоя спала.

Архилохос был так смущен, что он бессильно опустился на край кровати, только изредка, набравшись смелости, он бросал на спящую стыдливые взгляды. Он смертельно устал: счастье настигало его безостановочно, оно не давало ему спокойно вздохнуть, привести в порядок свои мысли. И вот тень Архилохоса, скользя по пурпурному воздушному балдахину, все ниже и ниже склонялась над Хлоей. Но тут он вдруг заметил, что Хлоя слегка приоткрыла глаза; наверное, она уже давно наблюдала за ним из-под длинных ресниц.

— Ах, Арнольф,— сказала она, делая вид, будто только что проснулась.— Легко ты меня нашел? Не заблудился?

— Хлоя! — воскликнул Архилохос с испугом.— Ты спишь в постели миссис Уимэн!

— Но ведь теперь постель принадлежит тебе,— рассмеялась Хлоя, потягиваясь.

— Ты открылась мистеру и миссис Уимэн? Сказала, что мы любим друг друга?

Некоторое время Хлоя колебалась, потом ответила:

— Конечно.

— И тогда они подарили нам этот дом?

— У них еще много домов в Англии.

— Знаешь,— сказал он,— у меня это еще как-то не укладывается в голове. Я не предполагал, что англичане настолько прогрессивны в социальных вопросах, что они дарят прислугам свои замки.

— Видимо, в некоторых английских семьях такой обычай,— разъяснила Хлоя.

Архилохос покачал головой.

— И вдобавок меня назначили генеральным директором отделов атомных пушек и акушерских щипцов.

— Слышала.

— И дали сказочное жалованье.

— Тем лучше.

— И сделали членом всемирного церковного совета. В мае я поеду в Сидней.

— Это будет наше свадебное путешествие.

— Нет, не это,— сказал Архилохос, протягивая Хлое билеты на паром.— Мы едем на «Юлии».

Но потом Арнольф вдруг смутился.

— Откуда ты знаешь о моих служебных делах? — спросил он с удивлением.

Хлоя села, она была так прекрасна, что Архилохос опустил глаза. Казалось, она хотела что-то сказать, но потом задумалась, долго-долго смотрела на Арнольфа и ничего не сказала, только вздохнула и снова опустилась на подушки.

— Весь город только и говорит о твоей карьере,— заметила она каким-то странным голосом.

— И ты хочешь, чтобы мы завтра поженились? — спросил он, запинаясь.

— А ты разве не хочешь?

Архилохос все еще боялся взглянуть, потому что Хлоя сбросила с себя одеяло. Вообще он не знал, куда девать глаза в этой спальне — повсюду висели картины, изображавшие обнаженных богинь и богов. Архилохос никогда не предположил бы, что у сухопарой миссис Уимэн такой вкус.

«Уж эти мне англичанки,— подумал он,— к счастью, они очень порядочно поступают с прислугой, за это им можно простить их неумный темперамент». Но как он устал! Хорошо бы обнять Хлою и заснуть; проспять много часов подряд без сновидений в этой теплой, нагретой каминном комнате.

— Хлоя! — сказал он вполголоса. — Все, что случилось с нами, так необычно для меня и для тебя, конечно, тоже, что минутами я теряюсь и думаю: может, я — это вовсе не я, может, на самом деле мое место в камерке под крышей с грязными обоями и, может, тебя вообще никогда не существовало. Епископ Мозер сказал сегодня, что счастье труднее снести, чем несчастье, и порой мне кажется, что он прав. Беда никогда не приходит неожиданно, она предопределена, но счастье — дело чистого случая, поэтому мне страшно: боюсь, что наше счастье так же быстро исчезнет, как оно пришло; боюсь, что кто-то подшутил над нами, над простым помбухом и горничной.

— Не надо думать об этом, любимый,— сказала Хлоя,— весь день я ждала тебя, и вот ты со мной. Какой ты красивый. Сними же пальто. Уверена, что оно от О'Нейль-Паперера.

Когда Архилохос начал снимать пальто, он заметил, что все еще держит в руках цветы.

— Дарю тебе белые розы,— сказал Архилохос.

Он хотел отдать ей букет и наклонился над кроватью, и тут Хлоя обняла его своими нежными ручками и потянула к себе.

— Хлоя,— прошептал Арнольф, задыхаясь,— я ведь еще не успел разъяснить тебе основные догматы старо-новопротестантской веры.

Но в эту секунду за спиной Архилохоса раздалось легкое покашливание.

Член всемирного церковного совета отпрянул, а Хлоя, вскрикнув, нырнула под одеяло. Возле кровати с балдахинном стоял владелец салона, дрожа мелкой дрожью; зубы у него стучали, он был мокрый, как утопленник, тонкие пряди волос прилипли ко лбу, с усов текло, костюм облепил все тело, в руках Пролазьер держал проволочную скульптуру; лужа, которая натекла от его ног, тянулась до самой двери, в ней отражалось пламя свечей и плавало несколько бумажных звезд.

Он уже совсем оттаял, сообщил владельцу салона.

Архилохос смотрел на него непонимающим взглядом.

— Оттаял и принес скульптуру.

— Зачем вы сюда явились? — спросил смущенный Арнольф.

Пролазьер ответил, что он отнюдь не хотел мешать; при этом он тряхнул рукавами, и вода потекла на пол, словно из водопроводной трубы. Однако, продолжал Пролазьер, он вынужден просить Архилохоса, как церковного деятеля, немедленно вызвать врача, у него сильный жар, колет в груди и невыносимо ломит поясницу.

— Хорошо, — сказал Арнольф, приводя себя в порядок. — Скульптуру можете поставить хотя бы сюда.

— Как будет угодно, — ответил Пролазьер, ставя проволочный каркас у кровати с балдахином. Нагнувшись, он заохал, сообщив, что ко всему прочему у него сильная резь в мочевом пузыре.

— Моя невеста, — представил Архилохос, ткнув пальцем в возвышение над одеялом...

— Как не стыдно, — сказал владелец салона, у которого буквально изо всех пор текла вода. — Вы, как христианин...

— Она в самом деле моя невеста.

— Так и быть, я никому не стану рассказывать...

— А теперь я попросил бы вас, — сказал Архилохос, выпроваживая Пролазьера из спальни. Но в будуаре около стула, где лежали бюстгальтер, пояс с резинками и штанишки, владелец салона вдруг зартачился.

Лязгая зубами, он показал на открытую дверь ванной, на бассейн с зеленоватой водой, над которой подымался пар, и заявил, что горячая ванна очень полезна в его состоянии.

— И не просите.

— Вы, как церковный деятель...

— Пожалуйста, — сказал Архилохос.

Пролазьер разделся и влез в бассейн.

— Не уходите, — сказал он, сидя в ванне нагишом, весь размякший и потный, умоляюще глядя на Архилохоса широко раскрытыми, лихорадочно блестящими глазами. — Я могу потерять сознание.

Архилохосу пришлось растереть его полотенцем.

Но тут Пролазьер вдруг всполошился.

— А что, если сюда придет хозяин виллы, — заскулил он.

— Я хозяин этой виллы.

— Но вы ведь сами сказали...

— Вилла только что оформлена на мое имя.

У владельца салона был сильный жар, его трясло от озноба.

— Бог с ним, кто хозяин, — сказал он, — я во всяком случае из этого дома не уйду.

— Верьте мне, — просил Архилохос, — я всегда говорю правду.

Но, вылезая из ванны, Пролазьер бормотал, что он, мол, еще сохранил остатки здравого смысла. «Вы, как христианин!.. Я глубоко разочарован... Вы не лучше других».

Архилохос закутал его в голубой полосатый халат, который висел в ванной.

— Уложите же меня в постель, — простонал владелец салона.

— Но...

— Вы, как церковный деятель...

— Хорошо, хорошо.

Архилохос повел Пролазьера к кровати с балдахином в комнате, обставленной в стиле Ренессанса. Пролазьер улегся. Арнольф сказал, что он вызовет врача.

— Сперва дайте мне хлебнуть коньяка, — хрипло зашептал владе-



лец салона, от озноба у него зуб на зуб не попадал.— Мне это всегда помогает. Вы, как христианин...

Архилохос обещал сходить в винный погреб — поискать коньяк; еле волоча ноги от усталости, он вышел.

## 19

Однако, проблуждав немного по дому и найдя лестницу, ведущую в подвал, Архилохос услышал дикие вопли, доносившиеся откуда-то издалека; он заметил также, что повсюду горит свет. А когда Арнольф спустился в подвал, худшие его опасения подтвердились: Биби и близнецы Жан-Кристоф и Жан-Даниэль валялись на полу в окружении пустых бутылок и горланили народные песни.

— Кто там грядет с высоты? — в восторге заорал Биби, увидев Арнольфа.— Наш дядя Арнольф!

Встревоженный Арнольф спросил, что они тут делают.

— Хлещем водку и гуляем на радостях.

— Биби,— с достоинством возвестил Арнольф,— я попросил бы тебя прекратить пение. Ты находишься в моем доме.

— Ну и ну,— загоготал Биби,— ты неплохо устроился. Поздравляю. Садись прямо на трон, брат Арнольф.— И он жестом указал Архилохосу на пустую бочку, стоявшую в луже красного вина.

— Валяйте, детки,— обратился он к близнецам, которые уже успели забраться на колени и на плечи Арнольфа и кувыркались, как обезьяны.— Гряньте псалом в честь дядюшки.

— Будь верен и честен всегда,— визгливо запели Жан-Кристоф и Жан-Даниэль.

Архилохос попытался стряхнуть с себя усталость.

— Брат Биби,— сказал он,— я хочу раз и навсегда объясниться с тобой.

— Отставить вой, малыши! Внимание! — забормотал Биби.— Дядя Арнольф хочет толкнуть речугу.

— Не думай, что я стыжусь тебя,— начал Архилохос,— ты мой родной брат, и я знаю, что, в сущности, ты человек добрый и тихий, благородная душа, но у тебя есть одна слабость, и потому я должен проявлять к тебе отеческую строгость. Я всегда тебе помогал, но чем больше денег тебе давали, тем больше ты опускался, ты и вся твоя семья. А теперь ты дошел до того, что пьянствуешь в моем винном погребе.

— Досадное недоразумение, брат Арнольф, я думал, что это пореб военного министра. Досадное недоразумение.

— Тем хуже,— печально возразил Арнольф,— разве можно залезать в чужой погреб? Помяни мое слово: ты кончишь свои дни на каторге. А теперь отправляйся домой и забирай близнецов, завтра ты начнешь работать у Пти-Пейзана в отделе акушерских щипцов.

— Домой? В такую холодину? — с испугом спросил Биби.

— Я вызову такси.

— Хочешь, чтобы мои крошки замерзли,— возмутился Биби.— Они ведь такие слабенькие, а у нас в хибаре гуляет ветер. Они сразу окочурятся в таком холоде. Минус двадцать по Цельсию.

За стеной послышался адский грохот, и из соседнего помещения выскочили Маттиас и Себастьян, двенадцати и девяти лет от роду. Они тут же вскарабкались на колени и на плечи Арнольфа, где уже кувыркались близнецы.

— Маттиас и Себастьян, бросьте финки, раз вы играете с дядей,— прикрикнул на них брат Биби.

— Боже мой,— спросил Арнольф, на котором висели его четыре племянника,— кого ты еще привел сюда?

— Никого, только мамочку и дядюшку-моряка,— ответил Биби, раскупоривая очередную бутылку,— ну, и, конечно, Магду-Марию и ее нового кавалера.

— Англичанина?

— Почему именно англичанина? — недоумевал Биби.— Тот уже давно смылся; у нее теперь китаец.

Когда Архилохос вернулся из подвала, оказалось, что Пролазьер спит, но и во сне его трепала жестокая лихорадка. Однако было уже слишком поздно, чтобы звать врача. Силы покинули Архилохоса. А из подвала все еще доносились вопли и пение. Архилохос не посмел пройти второй раз по звездной дорожке, которая вела в спальню Хлои. Он лег на кушетку недалеко от креслица, на котором валялись бюстгальтер и пояс с резинками, и тут же заснул. Но предварительно он все же снял пальто от О'Нейль-Паперера и укрылся им.

## 20

Утром часов в восемь его разбудила горничная в белом переднике.

— Живей, сударь,— сказала она,— надевайте пальто и уходите, на кровати спит хозяин дома.

Горничная открыла дверь, которую он раньше не заметил, дверь вела в широкий коридор.

— Ничего подобного,— сказал Архилохос,— хозяин дома это я. На кровати — владелец художественного салона Пролазьер.

— О,— сказала девушка и сделала книксен.

— Как тебя зовут? — спросил Арнольф.

— Софи.

— Сколько тебе лет?

— Шестнадцать, сударь.

— Давно ты здесь служишь?

— Полгода.

— Тебя наняла миссис Уимэн?

— Мадемуазель Хлоя, месье.

Архилохос решил, что произошла какая-то путаница, но постеснялся расспрашивать девушку.

— Не угодно ли сударю кофе?

— Мадемуазель Хлоя уже встала?

— Она спит до девяти.

Тогда и он позавтракает в девять, сказал Архилохос.

— Моп д'ieu <sup>1</sup>, месье.— Софи покачала головой.— В девять мадемуазель принимает ванну.

— А в половине десятого?

— Ей делают массаж.

— А в десять?

— К ней приходит месье Шпац.

— Кто такой месье Шпац? — с удивлением спросил Архилохос.

— Портной.

Когда же он сможет увидеться со своей невестой, воскликнул Архилохос в отчаянии.

<sup>1</sup> О боже (франц.).

— Ah поп<sup>1</sup>,— сказала Софи энергично,— готовится свадьба и мадемуазель страшно занята.

Архилохос сдался, он попросил проводить его в столовую: надо было хотя бы поесть.

Он завтракал в той же комнате, в какой мэтр Джутур оформлял дарственную на виллу, и ему прислуживал седой, исполненный величия дворецкий (вообще выяснилось, что в доме полным-полно слуг — камердинеров и горничных): Арнольфу подали яйцо, ветчину (к которой он не притронулся), кофе по-турецки, апельсиновый сок, виноград и сдобные булочки с маслом и конфитюром. Тем временем за окном в парке с высокими деревьями совсем рассвело и в дом хлынул поток свадебных подарков: цветы, письма, телеграммы, груды свертков. К дверям, громко сигналив, подъезжали автофургончики; подарки загромождили холл и гостиные: их сваливали прямо на пол в спальне перед ренессансной кроватью и даже на саму кровать, в которой лежал всеми забытый владелец салона и совершенно молча с большим достоинством лязгал зубами.

Архилохос вытер рот салфеткой. Он ел почти час, серьезно, истово, ведь с того времени, как Жоржетта накормила его макаронами и яблочным пюре, у него не было ни крошки во рту. На буфете стояла батарея бутылок с аперитивами и ликерами и ящики ароматных хрупких сигар: «партагас», «данеман», «коста-пенна», рядом с сигарами лежали пестрые пачки сигарет; в первый раз в жизни у Арнольфа возникло желание вкусить запретный плод, но он подавил это желание. Он наслаждался этим ранним часом и своей ролью хозяина. Правда, дикий шум, который производил семейный клан Биби и который время от времени явственно долетал наверх, вызвал в доме некоторую панику; толстая кухарка, спустившаяся за чем-то в подвал, выскочила оттуда совершенно растерзанная: ее чуть было не изнасиловал дядюшка-моряк.

Дворецкий с испугом сообщил, что в дом ворвалась шайка разбойников; он хотел было позвонить в полицию, но Архилохос удержал его от этого шага.

— Это мои родственники.

Дворецкий поклонился.

Арнольф спросил, как его зовут.

— Том.

— Сколько вам лет?

— Семьдесят пять, сударь.

— Давно вы здесь служите?

— Десять лет.

— Вас нанял мистер Уимэн?

— Мадемуазель Хлоя.

Архилохос решил, что и на этот раз произошло недоразумение, но и сейчас он не хотел ни о чем спрашивать. Он немного стеснялся семидесятипятилетнего слуги.

Дворецкий доложил, что в девять явится О'Нейль-Паперер: он шьет свадебный фрак. Цилиндр от Гошенбауэра уже прибыл.

— Хорошо.

— А на десять назначен чиновник из ратуши. Придется урегулировать кое-какие формальности.

— Отлично.

<sup>1</sup> Что вы (франц.).

— В половине одиннадцатого надо принять месье Вагнера, который официально поздравит господина Архилохоса с присвоением ему звания почетного доктора медицинских наук за заслуги в деле внедрения акушерских щипцов.

— Жду его.

— На одиннадцать назначен американский посол — он вручит поздравительное послание от президента Соединенных Штатов.

— Очень приятно.

— В час подадут легкую закуску для свидетелей бракосочетания, а без двадцати два состоится отъезд в ратушу, где будет зарегистрирован брак. После венчания в часовне святой Элоизы — обед в «Рице».

— Кто же все это организовал? — удивился Архилохос.

— Мадемуазель Хлоя.

— Сколько гостей ожидается?

— Мадемуазель пожелала отпраздновать свадьбу в узком кругу, приглашены только самые близкие друзья.

— Совершенно согласен.

— Поэтому стол будет накрыт всего на двести кувертов.

Архилохосу опять стало не по себе.

— Хорошо, — сказал он, помолчав немного. — В этом я пока не разбираюсь. Вызовите мне такси на половину двенадцатого.

— Разве вы не поедете с Робертом?

— Кто такой этот Роберт? — осведомился Архилохос.

— Ваш шофер, — ответил дворецкий. — У господина Архилохоса самый комфортабельный красный лимузин во всем городе.

«Как странно», — подумал Архилохос, но именно в эту секунду появился О'Нейль-Паперер.

А в половине двенадцатого Арнольф поехал в «Риц», чтобы увидеться с мистером и миссис Уимэн. Англичане находились в холле отеля — в роскошном зале с диванами, обитыми плюшем, и креслами всех фасонов; на стенах висели потемневшие от времени картины, они были такие темные, что почти невозможно было различить изображенные на них предметы — иногда, видимо, это были фрукты, иногда дичь. Супруги восседали на плюшевом диване и штудировали журналы: он — «Новое археологическое обозрение», она — альманах по античным древностям.

— Миссис и мистер Уимэн, — сказал Арнольф, взволнованный до глубины души, и протянул англичанке, которая смотрела на него с несказанным изумлением, две орхидеи, — вы самые лучшие люди на свете.

— Well, — ответил мистер Уимэн, пососал свою трубку и отложил в сторону «Новое археологическое обозрение».

— Отныне вы будете номерами первым и вторым в моем мире — порядке, основанном на нравственности!

— Yes, — сказал мистер Уимэн.

— Вас я уважаю даже больше, чем президента и епископа староновопресвитериан.

— Well, — сказал мистер Уимэн.

— Подарки, которые преподносят от чистого сердца, вызывают чистосердечную благодарность.

— Yes, — сказал мистер Уимэн и в полном ошеломлении перевел взгляд на жену.

— Thank you very much<sup>1</sup>.

— Well, — сказал мистер Уимэн, потом еще раз сказал «yes» и вынул из кармана кошелек.

<sup>1</sup> Очень благодарю вас (англ.).

Но Архилохоса уже и след простыл.

«Какой милый народ эти англичане, жаль только, что они такие сдержанные», — думал Архилохос, сидя в своем красном лимузине (самом комфортабельном во всем городе).

На этот раз свадебный кортеж у часовни святой Элоизы встречала не жалкая кучка старо-новопресвитерианских кумушек, а гигантская толпа народа; вся улица Эмиля Каперера была запружена полузамерзшими людьми; люди выстроились длинными шпалерами вдоль тротуаров; любопытные осаждали окна грязного молеального дома. Оборванные уличные мальчишки, будто припорошенные известкой, гроздьями висели на фонарях и на нескольких чахлах деревьях, которые росли поблизости. Но вот вереница автомобилей показалась на бульваре Мерклинга со стороны ратуши, и из головной машины — красного лимузина — вышли Хлоя и Архилохос. Наэлектризованная толпа бесновалась и орала: «Да здравствует Архилохос!», «Эвива Хлоя!»; болельщики велоспорта сорвали себе голос от крика, а мадам Билер и Огюст (на этот раз он сменил свой обычный костюм велогонщика) расплакались. Несколько позднее прибыл президент в разукрашенной карете, запряженной шестеркой белых лошадей; вокруг кареты на вороных конях гарцевали лейб-гвардейцы в золотых шлемах с белыми плюмажами. Толпа хлынула в часовню святой Элоизы.

Однако нельзя сказать, что часовня радовала глаз. Здание часовни — колокольни у нее не было — напоминало скорее маленькую фабрику; стены этой фабрички, уже довольно ободранные, были покрыты несвежей белой краской — словом, часовня являла собой в высшей степени неудачный образец современного церковного зодчества; вокруг нее росло несколько унылых кипарисов. Внутренний вид часовни соответствовал ее внешнему облику: когда-то в нее завезли купленную по дешевке рухлядь из старой, пошедшей на слом церкви, на месте которой построили кино. Часовня была бедная, голая, в ней сгояли простые деревянные скамьи и грубо сколоченный амвон, торчавший будто шишка на ровном месте. Трухлявый крест был укреплен против входа на стене, которая своими желтыми и зеленоватыми потеками, а также узкими, как бойницы, окошками живо напомнила Архилохосу стену напротив его прежней каморки. Сейчас в церковные окна падали косые лучи солнца, в которых плясали пылинки. Но когда этот бедный, постылый, затхлый храм, где воняло дешевым одеколоном, старухами и чесноком, заполнили свадебные гости, он весь преобразился, расцвел, похорошел: повсюду сверкали драгоценности, матово поблескивали жемчужные ожерелья, белели обнаженные плечи и груди, и армяк дорогих духов поднимался ввысь к закопченным балкам (в свое время церковь чуть не сгорела). Епископ Мозер взошел на кафедру, он был очень импозантен в своем черном старо-новопресвитерианском одеянии, епископ положил на разошедшееся дерево кафедры библию со сверкающим золотым обрезом, молитвенно сложил руки и взглянул на толпу: казалось, он чем-то смущен, по его розовому лицу градом катился пот. Внизу у самых ног епископа сидели жених и невеста: огромные черные доверчивые глаза Хлои сияли от радости, в ее легкой прозрачной фате запутался солнечный зайчик; рядом с ней застыл смущенный Архилохос во фраке (от О'Нейль-Паперера); он был почти неузнаваем — о старом напоминали только очки без оправы с непротертыми стеклами. Эти выдавшие виды очки, как всегда, криво торчали у него на носу. Но на коленях у Арнольфа лежал цилиндр (от Гошенбауэра) и белые перчатки (де Штугг-Кальберматтен). Прямо за Хлоей и Архилохосом, отделенный от всей остальной публики, восседал президент с бородкой

клинышком, морщинистый и с седою, как лунь, головой, в мундире кавалерийского генерала с золотым шитьем. Худыми ногами в начищенных до блеска сапогах президент придерживал длинную саблю. Позади него сидели свидетели: американский посол, на белом фрачном жилете которого сверкали ордена, и ректор университета при всех своих регалиях. Чуть поодаль на неудобных жестких скамьях разместились гости: Пти-Пейзан, мэтр Дютур и возле него могучая дама — его супруга, похожая на высокую гору с шапкой ледников; тут же сидел Пассап, он тоже облачился во фрак, но руки у него были перепачканы синим кобальтом. Вообще в часовне собрался весь цвет столицы, все знатные мужи (главным образом это были именно мужи), так сказать, самые сливки сливок общества, и лица у всех были торжественные, а когда епископ уже собрался было приступить к своей праздничной проповеди, в церковь вошел, правда с опозданием, Фаркс, первый бунтовщик, занимавший самую последнюю ступеньку в миропорядке Арнольфа. Все увидели его огромную массивную голову, взъерошенные усы, огненно-рыжие кудри, спускавшиеся до самых плеч, двойной подбородок и накрахмаленную манишку в вырезе фрака, на которой болтался золотой орден с рубинами.

## 21

— Слова, которые я хотел бы взять за основу моей проповеди, — начал епископ Мозер, заметно шепелявя и явно чувствуя себя неудобно, — слова, которые я хотел бы сказать сегодня моим любезным прихожанам, почтившим своим присутствием это торжество, взяты из семьдесят второго псалма, псалма о Соломоне, где сказано: «Благословен господь бог, Бог Израилев, Который творит чудеса — един». Сейчас, — продолжал епископ, нервно переминаясь с ноги на ногу, — мне предстоит соединить узами брака двух людей, которые стали дороги и близки не только мне, но и всем собравшимся сегодня в часовне святой Элоизы. Поначалу несколько слов о невесте, — тут епископ Мозер слегка запнулся, — с большей нежностью возлюбили ее мы все, здесь присутствующие, и она дарила всем нам, присутствующим здесь, столько ласк и любви, — на этом месте епископ ударился в поэзию, — столько прекрасных блаженных ощущений — словом, столько незабываемых минут, что мы никогда не устанем ее благодарить, — епископ вытер пот со лба. — А теперь о женихе, — продолжал Мозер со вздохом облегчения, — он человек достойный и благородный, и вся та любовь, которую его невеста так щедро расточала, по праву достанется ему одному, добродушному патриоту, который за несколько дней сумел привлечь к себе внимание всей страны. Выходец из низов, он стал генеральным директором, членом всемирного церковного совета, почетным доктором медицинских наук и почетным дипломатом США. И хотя неоспоримо, что все, что предпринимает смертный, все, чего он добивается, все его чины и звания — преходящи, все это — суть тлен и прах, ничто перед лицом всевышнего, карьера жениха доказывает, что здесь налицо великая благодать, — при этих словах Фаркс демонстративно откашлялся. — Но это отнюдь не благодать, которая исходит от человека, — (теперь откашлялся Пти-Пейзан), — это благодать, исходящая от господа бога, как нас учит священное писание. Не человеческие милости возвысили Архилохоса, а милость творца. Правда, бог выражает свою волю посредством людей, используя для высших целей даже человеческие слабости и несовершенство, но един бог всему причиной.

Так говорил епископ Мозер, и по мере того, как он переходил от частного к общему, по мере того, как он удалялся от исходной точки

своих рассуждений, то есть от невесты и жениха, и устремлялся к высшим материям, к божественному, его голос становился все звучнее, все громогласнее; епископ набрасывал картину мироздания, которое по сути своей является совершенным и мудрым, ибо в конечном счете веление всевышнего оборачивает все во благо.

Но вот епископ кончил проповедь, сошел с кафедры и совершил обряд бракосочетания. Жених и невеста шепнули «да». И вот уже Архилохос стоит под руку с прелестной новобрачной, огромные черные глаза которой сияют от счастья... Но тут вдруг у грека словно пелена с глаз упала, и он начал медленно оглядывать торжественное сборище, толпу, через которую ему надо было прошествовать к выходу; он увидел важного президента, увидел шикарных господ и дам, осыпанных орденами и брильянтами, самых богатых влиятельных и знаменитых людей в стране, увидел взъерошенную рыжую шевелюру Фаркса, его лицо, скривившееся в злобной гримасе, и иронические взгляды, которые он на него бросал, услышал первые такты свадебного марша Мендельсона, ибо как раз в эту минуту заиграл небольшой визгливый орган над хорами. Да, Архилохос все увидел и все понял. В это мгновение он был на вершине славы, народ, который все еще не разошелся, завидовал ему. Но Арнольф побледнел и зашатался, лицо его взмокло от пота.

— Я женился на куртизанке, — в отчаянии крикнул он, точно смертельно раненный зверь, вырвал руку из рук своей перепуганной жены, которая с развевающейся фатой бежала за ним до самых врат часовни, и как ошпаренный выскочил на улицу, где толпа встретила его смехом и улюлюканьем; увидев, что жених появился один, люди тут же смекнули, в чем дело. У чахлах кипарисов Архилохос на секунду приостановил свой бег. Только сейчас он с ужасом понял, какая несметная толпа собралась у церкви. Но потом он стремглав промчался мимо кареты президента, мимо вереницы «роллс-ройсов» и «бьюиков» и, петляя, побежал по улице Эмиля Каперера. Время от времени кто-то пытался преградить ему путь, и Арнольф чувствовал себя загнанным зверем, по следу которого идут собаки.

«Да здравствует заслуженный рогоносец!», «Долой!», «Сорвите с него фрак!»

Вслед ему неслись пронзительные свистки, брань, в него бросали камни, уличные сорванцы припустились за ним, норовя подставить ножку, он падал и снова бежал, а потом вскочил в подъезд какого-то дома, где ютилась беднота, и спрятался под лестницей, заполз в самый темный угол и закрыл голову руками, ибо ему казалось, что прямо над ним, грохоча сапожищами, несется людская лавина. Но время шло, и преследователи рассеялись, потеряв надежду обнаружить свою жертву.

Много часов подряд просидел Арнольф, съезжившись, под лестницей, ему было холодно, он тихонько всхлипывал, а в нетопленном парадном становилось все темнее и темнее.

— Со всеми она спала, со всеми — с президентом, с Пассапом, с мэтром Дютуром, решительно со всеми, — причитал он.

Мощное здание миропорядка, которое он воздвиг, обрушилось и погребло его под своими обломками. Но потом он взял себя в руки, пошатываясь, прошел по чужому подъезду, споткнулся о велосипед и выбрался на улицу. Была уже ночь. Крадучись, спустился он к реке по плохо освещенным, грязным переулкам; под мостом ночевали оборванцы, прикрывшись газетами, они охали и стонали; почти невидимая в крошечном мраке, бродячая собака зарычала на него, с громким пис-

ком проносились крысы, вода накатила на берег, и Арнольф промочил себе ноги. Завыла пароходная сирена.

— Уже третий за эту неделю,— просипел кто-то из оборванцев.— Давай прыгай!

— Как бы не так,— хрипло ответил ему другой.— Вода слишком холодная.

Вся шайка загоготала.

— Лезь в петлю! Лезь в петлю! — хором твякали оборванцы.— Самое милое дело, самое милое дело!

Архилохос ушел от реки; долго и бесцельно бродил он по старому городу. Где-то вдали гнусавила Армия спасения, Арнольф очутился на улице Фюнебра, недалеко от жилища Пассапа, и ускорил шаги: много часов блуждал он по незнакомым улицам, прошел по кварталам особняков и оказался в нищем пригороде, где в домах орало радио и приверженцы Фаркса горланили крамольные песни в подозрительных кабаках; потом потянулись фабричные корпуса и домны, похожие в темноте на привидения: только в полночь Арнольф добрался до своего старого дома. Он не стал зажигать свет. Запер дверь каморки и прислонился к ней спиной. Он дрожал, фрак от О'Нейля-Паперера превратился в грязные лохмотья, цилиндр от Гошенбауэра он уже давно потерял, по-прежнему слышался шум спускаемой воды, а когда зажигались пыльные окошки на противоположной стене, из мрака комнаты выступали то простыня (в которую был завернут старый выходной костюм Арнольфа), то железная койка, то стул, то колченогий стол с библией, то портреты бывших столпов миропорядка, висевшие на обоях неопределенного цвета. Арнольф открыл окно, в нос ему ударила вонь, и шум воды в уборных стал слышнее; тогда Архилохос начал срывать со стены портреты, он выбросил за окно в глубокий, темный колодец двора президента, епископа и американского посла, а за ними следом полетела и библия. На стене осталась лишь фотография брата Биби и его деток. А потом Арнольф пробрался на чердак, где на длинных веревках смутно белело вывешенное для просушки белье, он отвязал одну из веревок, не обращая внимания на то, что простыни, принадлежавшие кому-то из жильцов, упали на пол. Потом он ощупью нашел дорогу в свою каморку, поставил стол посредине комнаты, забрался на него и прикрепил веревку к крюку, на котором висела лампа. Крюк был прочный, и грек завязал петлю. Окно хлопнуло, ледяная струя воздуха обожгла лоб Арнольфа. Он просунул голову в петлю и уже хотел было спрыгнуть со стола, как вдруг кто-то открыл дверь. Щелкнул выключатель.

На пороге стоял Фаркс, он еще не снял фрака, в котором был в церкви, только набросил на плечи подбитое мехом пальто; широкое лицо его было бесстрастно, на груди болтался орден, взъерошенные волосы зловеще пламенели. С Фарксом были двое. Один из них — референт Пти-Пейзана — запер дверь на крючок, другой — детина исполинского роста в форменной куртке шофера такси — захлопнул окно и передвинул стул к двери, при этом он не переставая двигал челюстями — жевал резинку. Архилохос все еще стоял на колченогом столе, просунув голову в петлю; при свете лампы он казался выходцем с того света. Фаркс опустил на стул и скрестил руки. Референт сел на кровать. Все трое молчали. Теперь шум воды в уборных стал глуше. Анархист внимательно разглядывал грека.



— Ну что ж, господин Архилохос,— начал он после длинной паузы,— вы, собственно, должны были ожидать моего прихода.

— Вы тоже спали с Хлоей,— прошипел Архилохос, стоя на столе.

— А как же иначе,— подтвердил Фаркс,— ведь в этом, в сущности, и состояла профессия прекрасной дамы.

— Уходите!

Анархист не шевельнулся.

— От каждого ее любовника вы получили свадебный подарок,— продолжал он,— теперь очередь за мной. Люгинбюль, дай ему мой подарок.

Детина в шоферской куртке, не переставая двигать челюстями, подошел к столу и положил к самым ногам Арнольфа металлический предмет яйцеобразной формы.

— Что это за штука?

— Справедливость.

— Бомба?

Фаркс расхохотался.

— Угадали.

Архилохос вынул голову из петли, осторожно слез с колченогого стола и, поколебавшись немного, взял в руки бомбу. Она была холодная и блестящая.

— Что я должен с ней делать?

Старый анархист помедлил с ответом. Насупившись, он сидел неподвижно, положив огромные ручки на колени.

— Вы хотели покончить с собой,— сказал он.— Почему?

Архилохос молчал.

— В этом мире существуют две возможности,— отчеканил Фаркс медленно и сухо,— либо подохнуть, либо изменить мир.

— Молчите! — крикнул Архилохос.

— Как угодно, в таком случае вешайтесь.

— Говорите!

Фаркс опять захохотал.

— Дай мне сигарету, Шуберт,— обратился он к референту Пти-Пейзана.

Люгинбюль дал ему прикурить от массивной зажигалки грубой работы. Фаркс закурил, не спеша выпуская большие синеватые кольца дыма.

— Что же мне делать? — закричал Архилохос.

— Слушаться меня.

— Зачем?

— Необходимо свергнуть строй, который сделал из вас дурака.

— Но это невозможно.

— Наоборот, легче легкого,— ответил Фаркс.— Убейте президента. Об остальном позабочусь я.— И он постучал пальцем по своему ордену.

Архилохос пошатнулся.

— Осторожнее, а то уроните бомбу,— предостерег его старый террорист,— она может разорваться.

— Я должен стать убийцей?

— А что в этом страшного? Шуберт, покажи ему план здания.

Референт Пти-Пейзана подошел к столу и развернул лист бумаги.

— Вы заодно с Пти-Пейзаном! — закричал Архилохос в ужасе.

— Ерунда! — сказал Фаркс.— Референта я подкупил. Таких мальчиков можно купить задешево.

Деловито водя пальцем по бумаге, референт приступил к объяснениям: вот план президентского дворца. Здесь стена, окружающая дворец. Фасад отделен от улицы железной оградой высотой в четыре метра. Высота стены два метра тридцать пять сантиметров. Слева от дворца — министерство экономики, справа — дворец папского нунция. В углу двора министерства экономики у стены стоит лестница.

— Всегда ли она там стоит, — поинтересовался Архилохос.

— Сегодня ночью она там будет, остальное вас не касается, — ответил референт, — мы доведем вас на машине до набережной. Вы влезете на стену, подымете лестницу и спуститесь по ней в сад. Лестница окажется в тени, отбрасываемой высокой елью. Вы спрячетесь за дерево и подождете, пока не пройдет стража. Потом вы обогнете дом и увидите маленькую дверь, к которой ведут несколько ступенек. Дверь будет заперта, вот ключ от этой двери.

— А что потом?

— Спальня президента в бельэтаже, вам придется пересечь главную лестницу и пройти по коридору в глубь здания. Бомбу бросьте прямо на постель старика.

Референт замолчал.

— А что будет дальше? После того, как я брошу бомбу?

— Уйдете той же дорогой, — ответил референт. — Охранакинется во дворец через главный вход, у вас останется достаточно времени, чтобы убежать через двор министерства экономики; возле министерства вас будет ждать машина.

В каморке стало тихо и холодно. Не слышен был даже шум спускаемой воды. Брат Биби и его детки одиноко висели на грязных обоях.

— Ну-с, я слушаю вас, — нарушил молчание Фаркс, — как вы отнесетесь к моему предложению?

— Не хочу, — закричал Архилохос, бледный, содрогаюсь от ужаса, — не хочу!

Старый бунтовщик уронил сигарету на пол, пол был весьма примитивный (плохо оструганные доски с большими дырками на месте сучков); сигарета все еще дымилась.

— Так все говорят поначалу, — сказал Фаркс, — будто мир можно переделать без кровопролития.

От крика Архилохоса в соседней комнате проснулась обитавшая там служанка и забарабанила в стену. Архилохос мысленно представил себе, как он проходит под руку с Хлоей сквозь замерзший город. На реке туман, видны только огни и большие темные силуэты судов. Он вспомнил, как с ним здоровались люди, проезжавшие на трамваях и в машинах; красивые лощеные молодые люди; потом он представил себе свадебных гостей, раззолоченных, в россыпях алмазов, в черных фраках и вечерних туалетах, с алыми орденами, вспомнил их белые лица и пылинки, пляшущие в лучах солнца; вспомнил, как все они любезно улыбались ему и как это было подло, вспомнил и еще раз пережил жестокий миг своего внезапного прозрения и свой стыд; вспомнил, как он убежал из часовни святой Элоизы, остановился под кипарисами, а потом, петляя, помчался по улице Эмиля Каперера; вспомнил, как орала, гоготала и улюлюкала толпа; мысленно увидел на асфальте тени своих преследователей, которые с каждой секундой становились все огромней; вспомнил, как он упал на жесткую землю, окрасив ее своей кровью, опять почувствовал боль от ударов кулаков и от камней, которые бросали в него; представил себе, как он лежит, свернувшись под лестницей в чужом подъезде, и услышал грохот сапожищ у себя над головой.

— Я согласен, — сказал он.

Фаркс и его спутники подвезли Архилохоса, горевшего желанием отомстить миру, к набережной Тассиньи; отсюда было минут десять ходу до набережной Де Л'Эта (где находился президентский дворец). Четверть третьего ночи. Пустынные улицы, над собором святого Луки возшел лунный серп, при свете луны заблестели льдины на реке и обледеневший фонтан святой Цецилии со множеством завитушек и бород святых. Архилохос шел в тени, отбрасываемой дворцами и гостиницами, он миновал «Риц», у входа которого разгуливал оконеченный швейцар; больше он не встретил ни души, только американская машина Фаркса как бы невзначай несколько раз проехала по улице; это Фаркс следил за тем, чтобы Арнольф выполнил задание.

Потом машина остановилась у министерства экономики, очевидно, шофер задал полицейскому какой-то пустяковый вопрос; Архилохос в это время должен был незаметно проскользнуть во двор. У стены стояла лестница. Арнольф нащупал в кармане своего старого чиненого-перечиненного пальто, которое он захватил с собой из дома, бомбу, влез по лестнице, подтянул ее наверх и, сидя верхом на узкой стене, перебросил лестницу через ограду, а потом спустился в парк. Он стоял на промерзшей траве в тени большой ели; все, как сказал референт.

На набережной ярко горели огни, где-то засигналила машина, может быть это была машина Фаркса; луна стояла теперь за дворцом президента — нелепым, слишком вычурным зданием в стиле барокко (изображенном во всех альбомах по искусству и воспетом всеми специалистами-искусствоведами). Рядом с лунным серпом сверкала большая звезда, а высоко над ними проплывали бортовые огни самолета. На замощенной дороге, огибавшей дворец, раздалась гулкие шаги. Архилохос прижался к стволу ели, спрятавшись под ее ветвями, которые спускались до самой земли. Арнольфа обдал запах хвои, иголки оцарапали его лицо. Печата шаг, шли два лейб-гвардейца; вначале были видны только их темные силуэты, потом при свете луны Архилохос различил ружья наперевес с примкнутыми штыками и белые развевающиеся плюмажи. Солдаты остановились у ели. Один из них раздвинул ружьем ветви; Арнольф затаил дыхание, ему казалось, что все кончено, и он уже приготовился бросить бомбу. Но потом гвардейцы двинулись дальше, так и не заметив грека. Теперь стражники были с ног до головы облиты лунным светом; их исторические шлемы и латы сверкали. Потом они завернули за угол дворца. Архилохос отошел от дерева и торопливо побежал к задней стене здания.

Здесь все также было ярко освещено луною, Арнольф увидел голые плакучие ивы и высокие ели, замерзший пруд и дворец папского нунция. Дверь он нашел сразу. Ключ подходил. Архилохос повернул его в замочной скважине, но дверь не открылась. Очевидно, она была заперта изнутри на засов. Архилохос растерялся, каждую минуту караул мог появиться вновь. Арнольф вбежал на задний двор и оглядел стену дворца. По обеим сторонам бокового входа возвышались обнаженные мраморные гиганты, очевидно, это были Кастор и Поллукс, на плечах которых покоился пузатый балкон (по расчетам Архилохоса, как раз за ним находилась спальня президента).

Арнольф тут же принял решение взобраться на балкон. Он почувствовал прилив отчаянной храбрости, так ему хотелось бросить бомбу в президента. Он вскарабкался по бедру гиганта, по его животу и груди, вцепился в мраморную бороду, обхватил рукой мраморное ухо, наконец он выпрямился на голове колосса и влез на балкон. Все было тщетно.

Дверь оказалась запертой, а бить стекла он не решался, так как вдали уже снова слышались шаги солдат. Арнольф бросился на холодные плиты балкона. Печата шаг, как и в первый раз, лейб-гвардейцы прошли прямо под ним.

Балкон, ярко освещенный луной, был окружен фигурами голых мужчин и женщин выше человеческого роста, вперемежку с лошадиными головами; все эти персонажи, изображенные в самых причудливых позах, ожесточенно сражались, буквально рвали друг друга на части; еще лежа на балконе, Архилохос сообразил, что перед ним, по-видимому, битва с амазонками; в самом пекле, где тела были наклеплены особенно густо, зияло круглое отверстие — открытое окошко, и Архилохос очертя голову ринулся в мраморный мир богов; вокруг него теперь громоздились мощные торсы и чресла. Дрожа от страха при мысли о том, что бомба в кармане его пальто вот-вот взорвется, он полз по героическим животам и неестественно изогнутым спинам; один раз он чуть было не сорвался, но в последнюю минуту ему удалось ухватиться за обнаженный меч какого-то воина, а потом он в страхе припал к рукам умирающей амазонки, на миловидном лице которой блуждала довольно-таки игривая улыбка; дворцовая стража в третий раз закончила обход и остановилась под балконом.

Архилохос увидел, как гвардейцы, стоя на ярко освещенном дворе, оглядывают стену дворца.

— Кто-то залез наверх, — сказал один из солдат после долгого высматривания.

— Где он? — спросил другой.

— Вон там.

— Глупости, это просто темная впадина между богами.

— Это вовсе не боги, а амазонки.

— Кто такие эти амазонки?

— Бабы с одной грудью.

— Но у этих по две груди.

— Скульптор просто позабыл, — решил первый солдат. — И все же там кто-то сидит. Сейчас я его сниму.

Он прицелился. Архилохос не шелохнулся.

— Хочешь всполошить весь дом своей дурацкой стрельбой? — запротестовал его товарищ.

— Но ведь там человек.

— Да нет же. Туда невозможно забраться.

— Пожалуй, ты прав.

— Вот видишь. Пошли.

Солдаты, чеканя шаг, двинулись дальше; ружья они вскинули на плечо. Арнольф снова полез вверх, наконец он добрался до открытого окошка и с трудом протиснулся в него. Третий этаж, высокая голая комната — уборная, залитая лунным светом, который проникал через открытое окно. Архилохос устал, как собака; карабкаясь по стене, он вывалился в пыли и птичьим помете; притом резкий переход из одного мира в другой, из мраморного мира богов в тот мир, где он очутился теперь, несколько отрезвил его. Отдышавшись, Арнольф открыл дверь и вышел в просторную переднюю, по обе стороны которой тянулись залы, также освещенные луной; между колоннами в залах белели статуи; Архилохос с трудом различил вдалеке пологую лестницу, осторожно спустился по ней в бельэтаж и нашел коридор, о котором ему говорил референт Пти-Пейзана. Из высоких окон коридора была видна набережная, огни города ослепили Арнольфа. Внизу в парке проходила смена

караула: высокаторжественная церемония с отдаванием чести, шелканием каблуков, стоянием во фронт и прусским шагом.

Архилохос снова отошел от окна в темноту, прокрался на цыпочках в конец коридора к спальне президента и, держа в правой руке бомбу, тихонько приоткрыл дверь. Через высокую балконную дверь на противоположной стене пробивался неверный лунный свет — это была та самая дверь, перед которой он прежде стоял. Архилохос вошел в комнату, стараясь разглядеть очертания кровати, ведь он должен был бросить бомбу прямо в спящего президента. Но в комнате не оказалось ни души, спящего президента не было и в помине. Вообще Архилохос не обнаружил здесь ничего, кроме корзины с посудой. Совершенная пустота. Все было не так, как ему описывали. Стало быть, и бунтовщики не всегда хорошо информированы. Сбитый с толку Архилохос снова вышел в коридор. Вопреки всему он твердо решил разыскать свою жертву. Все еще держа бомбу в руке, он поднялся сперва на третий этаж, потом на четвертый. Он шагал по бальным залам и роскошным гостиным, по коридорам и конференц-залам, по маленьким салонам и служебным помещениям, где стояли зачехленные пишущие машинки; прошел по картинной галерее и по оружейной палате, где было выставлено старинное оружие — пушки с длинными стволами — и по стенам висели флаги, наткнувшись на алебарду, он разорвал себе рукав.

Наконец, когда он поднялся на пятый этаж и начал ощупью пробираться вдоль мраморной стены, вдалеке показался свет. Очевидно, где-то горело электричество. Собравшись с духом, Архилохос продолжил свой путь. Бомба придавала ему уверенность в своих силах. Вот он вошел в коридор, застланный мягким ковром. Усталость как рукой сняло. Он внимательно смотрел вперед — коридор упирался в какую-то дверь. Дверь была полуоткрыта. В комнате горел свет. Быстрым шагом направился Арнольф к этой двери и, подняв руку с бомбой, распахнул ее настежь... Перед ним стоял президент в шлафроке. Это было так неожиданно, что Арнольф быстро сунул бомбу в карман пальто.

## 23

— Извините,— пролепетал опасный заговорщик.

— Вот вы где, оказывается, милый, любезный господин Архилохос,— радостно воскликнул президент и потряс руку ошеломленному Арнольфу.— Ждал вас весь вечер, а недавно выглянул случайно в окно и увидел, что вы перелезаете через стену. Прекрасная идея. Моя стража слишком дотошна. Эти молодцы ни за что не впустили бы вас. Но теперь вы, слава богу, здесь, чему я несказанно рад. Каким образом вы попали в дом? Я как раз собирался послать вниз камердинера. Всего неделя, как я переселился на пятый этаж, здесь гораздо уютнее, чем внизу; правда, лифт не всегда работает.

— Боковой вход не был заперт,— забормотал Архилохос. Он явно пропустил подходящий момент, к тому же объект покушения находился слишком близко от него.

— Все получилось на редкость удачно,— радовался президент,— мой камердинер, Людвиг, древний старикашка,— я зову его Людовик (кстати, у него гораздо более президентская внешность, чем у меня) — экспромтом соорудил легкий ужин.

— Что вы,— сказал Архилохос, покраснев до ушей.— Не буду вам мешать.

В ответ бородастый президент рассыпался в любезностях. Разве Архилохос может ему помешать?

— Люди моего возраста спят немного; ноги никак не согреешь, ревматизм, заботы — личные и служебные по линии президентства. Особенно при нынешней ситуации, когда государства то и дело разваливаются. Ночь тянется без конца в моем одиноком дворце, вот я и норовлю перекусить в неурочное время. Счастье еще, что в прошлом году здесь провели центральное отопление.

— В доме на самом деле очень тепло,— поддакнул Архилохос.

— Боже, что с вами?— удивился президент.— Вы ужасно испачкались. Людовик, почисти его как следует.

— Разрешите,— сказал камердинер, щеткой очищая Архилохоса от грязи и птичьего помета.

Архилохос не смел возразить, хотя боялся, что от этой процедуры бомба у него в кармане взорвется. Он был рад, когда камердинер помог ему снять пальто.

— Вы похожи на моего дворецкого на бульваре Сен-Пер,— невольно сказал он.

— Мой единокровный брат,— сообщил камердинер.— Моложе меня на двадцать лет.

— Я считаю, нам есть о чем потолковать,— говорил президент, проводя своего убийцу по коридору, который был теперь ярко освещен.

Они вошли в маленькую комнату с окнами на набережную. На столике в эркере, покрытом скатертью тончайшего полотна, горели свечи, стоял дорогой фарфор и хрустальные искрящиеся бокалы.

«Я задушу его,— упрямо подумал Архилохос,— это будет самое лучшее».

— Садитесь, дружок, золотко мое,— сказал гостеприимный старый президент, нежно коснувшись руки Арнольфа.— Отсюда мы можем взглянуть на парк, если нам захочется; увидим лейб-гвардейцев с белыми плюмажами. Вот бы они удивились, если бы узнали, что ко мне кто-то забрел. На счет лестницы вы прекрасно придумали. Я особенно радуюсь, потому что и мне иногда приходится перелезть через стену таким способом. И тоже среди ночи. Но это я говорю вам по секрету. И у старого президента нет-нет да и возникает такая необходимость. И тут уж без лестницы не обойдешься. В жизни всякое случается. Вам, человеку чести, в этом можно признаться, но газетчикам такие вещи знать ни к чему. Людовик, налей нам шампанского.

— Большое спасибо,— сказал Архилохос, подумав про себя: «И все-таки я его убью».

— На ужин сегодня цыпленок,— радовался старикан.— Цыпленок у нас с Людовиком не выходит из меню. Ровно в три ночи — цыпленок и шампанское. Правильное питание. Думаю, что, поработав верхолазом, вы нагуляли себе хороший аппетит.

— Неплохой,— чистосердечно признался Архилохос и вспомнил, как он карабкался по стене.

Камердинер прислуживал очень церемонно, хотя руки у него сильно дрожали, и это вызывало некоторые опасения.

— Не обращайтесь внимания на то, что у Людовика трясутся руки,— сказал хозяин.— Я у него уже шестой президент, он им всем прислуживал.

Арнольф протер очки салфеткой. Бомба намного удобнее, размышлял он. Он все еще не знал, как приступить к делу. Нельзя же сказать «извините» и схватить старика за горло. Кроме того, придется убить камердинера, иначе он вызовет стражу, а это сильно усложнит все предприятие.

Арнольф ел и пил; вначале, чтобы выиграть время и примениться к новой обстановке, потом просто потому, что ему это понравилось.

Добродушный старый джентльмен был ему определенно симпатичен. Арнольфу казалось, что он беседует с родным дядюшкой, которому можно во всем признаться.

— Цыпленок удивительно нежный,— восхищался президент.

— Вы правы,— согласился Архилохос.

— Шампанское тоже неплохое.

— Никогда не думал, что это так вкусно,— признался Архилохос.

— Но давайте поболтаем, не надо скрывать: поговорим о вашей Хлое, ведь это из-за нее вы так разнервничались,— предложил старикан.

— Сегодня в часовне святой Элоизы я, правда, очень понервничал,— сказал Архилохос.— Совершенно внезапно я все понял.

— Мне тоже так показалось,— подтвердил президент.

— Когда я вас увидел при всех орденах,— продолжал Архилохос,— меня вдруг пронзила мысль, что вы явились на свадьбу только потому, что Хлоя...

— Неужели я внушал вам такое уважение? — спросил старик.

— Вы были моим кумиром. Я считал, что вы абсолютный трезвенник,— сказал Архилохос нерешительно.

— Выдумки газет,— проворчал президент,— правительство ведет борьбу с алкоголизмом, и меня по этому случаю всегда фотографируют со стаканом молока.

— Считают также, что вы придерживаетесь очень строгих моральных правил.

— Эти басни распространяют женские организации. Вы непьющий?

— Да, и вегетарианец тоже.

— Но ведь вы пьете шампанское и едите курицу?

— Я утратил свои идеалы.

— Как жаль.

— Люди — лицемеры.

— И Хлоя тоже?

— Вы ведь прекрасно знаете, кто такая Хлоя.

— Истина,— начал президент, положив на тарелку обглоданную куриную косточку и отодвинув подсвечник, который заслонял Архилохоса,— истина всегда несколько щекотлива, когда она выходит наружу, и это касается не только женщин, но и всех людей, а особенно государств. Мне иногда тоже хочется выбежать из президентского дворца, который я считаю уже с чисто архитектурной точки зрения безобразным, выбежать, как вы выбежали из часовни святой Элоизы. Но у меня, увы, не хватает смелости, единственное, на что я способен — это тайком перелезть через стену. Не хочу никого защищать,— продолжал он,— меньше всего себя самого. Вообще это та область, о которой не принято говорить вслух, а если люди говорят о ней, то только ночью и без свидетелей; при всяком разговоре на эту тему не обойдешься без банальностей и нравочучений, а они здесь совершенно излишни. Людские добродетели, страсти и пороки так тесно связаны друг с другом, что там, где уместнее всего были бы уважение и любовь, рождаются презрение и ненависть. Поэтому, дружок, золотко мое, хочу вам сказать только одно: вы, пожалуй, единственный человек, кому я завидую, и, пожалуй, также единственный, за кого я боюсь. Мне приходилось делить Хлою со многими,— сказал он, помолчав минуту и откинувшись на спинку своего бидермайеровского кресла; голос у него был ласковый.— Она была владычицей в царстве темных и примитивных инстинктов. Самая знаменитая в

городе куртизанка. Не хочу ничего приукрашивать, да и годы не позволяют. Я благодарен ей за то, что она дарила мне свою любовь, ни об одном человеке я не вспоминаю с такой благодарностью. Но вот она отвернулась от всех и ушла к вам. Для вас это был большой праздник, для нас — торжественное прощание.

Старик президент умолк и мечтательно провел правой рукой по своей холеной бородке; камердинер наполнил бокалы шампанским, из парка доносились отрывистые слова команды и топот сапог. Архилохос тоже откинулся на спинку кресла, заглянул в окно сквозь раздвинутые портьеры и, увидев машину Фаркса у министерства экономики, с неприязнью вспомнил о бомбе в кармане своего пальто, о бомбе, которая ему так и не пригодилась.

— Что же касается вас, дружок, золотко мое, — сказал президент, после недолгого молчания закуривая маленькую светлую сигару, которую ему подал камердинер (Архилохос тоже закурил), — то ваши бурные переживания мне совершенно понятны. Какой мужчина не счел бы себя оскорбленным, окажись он на вашем месте. Но ведь как раз эти естественные чувства надо, говорят, подавлять, так как из-за них и происходит черт знает что. Помочь я не могу, да и никто вам не поможет. Будем надеяться, что вы примиритесь с фактами, которые не стоит отрицать, но которые покажутся вам мелкими и несущественными, если вы найдете в себе силы поверить в любовь Хлои. Чудо, которое свершилось с вами и с ней, возможно только благодаря любви. Без любви — это чистая комедия. Представьте себе, что вы идете по канату над пропастью, точно так же, как магометане идут в свой магометанский рай, балансируя на острие меча; сдается мне, что я где-то читал об этом... Возьмите еще кусочек цыпленка, — обратился он к своему несостоявшемуся убийце, — цыпленок восхитительный, а вкусная еда — утешение во всех случаях жизни.

Приятное тепло комнаты, мягкий свет свечей как бы убаюкивали Архилохоса. На стенах в тяжелых позолоченных рамах висели портреты усопших государственных деятелей и полководцев. Они задумчиво взирали на Арнольфа — далекие, важные, давным-давно ушедшие в небытие. Архилохос ощутил неизведанный покой, непонятное умиротворение. И все это совершили не слова президента — слова звук пустой, — а его отеческий тон, его доброта и учтивость.

— Судьба осыпала вас милостями, — сказал старик, — а как трактовать причину этих милостей — ваше дело; тут есть две возможности: во-первых, любовь, если вы в нее верите, во-вторых, зло, если вы не верите в любовь. Любовь — чудо, единственное чудо, которое возможно на земле; зло — вечный спутник человека. Праведник проклинает зло, мечтатель хочет его исправить, любящий его просто-напросто не замечает. Только любовь способна воспринять милость судьбы такой, какая она есть. Знаю, что это самое трудное. Жизнь полна горя и бессмыслицы. И только любящие могут верить в то, что и в горе и в бессмыслице кроется какой-то смысл.

Президент умолк, и Архилохос впервые опять подумал о Хлое без отвращения и ужаса.

Свечи догорели, президент помог Архилохосу надеть пальто со злощастной бомбой и пошел провожать его к главному входу — лифт не работал. По словам президента, ему не хотелось беспокоить Людовика: камердинер заснул, стоя позади президентского кресла в исключитель-



но строгой и корректной позе; престарелый президент утверждал, что это большое искусство, достойное всяческого уважения. И вот Архилохос и старикан зашагали по безлюдному дворцу, начали спускаться по широкой пологой лестнице; Архилохос успокоился, примирился с жизнью и опять всей душой рвался к Хлое; что касается президента, то он чувствовал себя теперь чем-то вроде экскурсовода: он зажигал свет то в одном, то в другом зале и давал соответствующие пояснения. Здесь он представляет, говорит старик, указывая на огромный помпезный зал, а здесь принимает отставку премьер-министров не реже двух раз в месяц; здесь, в этом интимном салоне, где висит почти совсем подлинный Рафаэль, он пил чай с английской королевой и ее августейшим супругом и чуть было не заснул, когда августейший супруг заговорил о флоте; ничто не наводит на него такую тоску, как военно-морские истории, только благодаря находчивости начальника протокольного отдела удалось предотвратить беду: в решающую минуту тот разбудил его и шепотом подсказал правильный флотский ответ. В остальном же эти англичане оказались довольно-таки милыми людьми.

А потом президент и Архилохос попрощались, как два друга, которые поговорили по душам и пришли к доброму согласию. У главного входа старик еще раз с добродушной улыбкой помахал Архилохосу. Архилохос оглянулся. Дворец стоял на фоне холодного неба, мрачный, как огромный вычурный комод. Луна скрылась. Стража отдала Арнольфу честь. Он вышел из сада и спустился на набережную Де Л'Эта, но потом сразу свернул в переулок Эттер к дворцу папского нунция и швейцарской миссии, так как увидел, что навстречу ему от министерства экономики движется машина Фаркса. На улице Штиби перед баром Пфиффера он взял такси; с Фарксом он больше не хотел встречаться. Через парк к маленькому замку Арнольф пробежал бегом — ему не терпелось заключить в объятия Хлою. Вилла в стиле рококо была ярко освещена. Оттуда доносилось нестройное пьяное пение. Двери были распахнуты настежь. Дым сигар и трубочного табака желтым облаком повис в воздухе. Брат Биби и его детки завладели всем домом. Повсюду на диванах и под столами валялись и лопотали что-то друзья Биби — бандиты со всего города, закутавшиеся вместо одеял в сорванные портьеры; здесь сообрались ворюги, педерасты и сутенеры, на кроватях визжали полураздетые девицы, в кухне, чавкая и рыгая, пировали громилы — они сожрали и вылакали все, что было в чуланах и в винном погребе. В столовой Маттиас и Себастьян играли в хоккей деревянными протезами; в коридоре дядюшка-моряк и мамочка бросали в стенку ножи, а Жан-Кристоф и Жан-Даниэль дулись в камешки; Теофил и Готлиб, прижимая к груди шлюх, катались на перилах.

Охваченный мрачным предчувствием, Арнольф бросился на второй этаж, он пробежал мимо ренессансной кровати, где все еще метался в жару владелец салона Пролазьер, миновал будуар — из ванной доносилось мужское пение, плеск воды и пронзительный голос Магды-Марии — и ворвался в спальню Хлои: в кровати лежал брат Биби с любовницей (раздетой). Хлои нигде не было. Тщетно искал ее Арнольф, тщетно перерыл, пересмотрел, переворошил всю комнату.

— Где Хлоя?

— В чем дело, братец? — с упреком спросил Биби, посасывая сигару. — Не имей привычки входить в спальню без стука.

Больше Биби ничего не успел сказать. С его братом произошло чудесное превращение. Он вбежал на свою виллу с самыми возвышенными чувствами, преисполненный любви и нежности к Хлое, теперь эти чувства обратились в бешенство. Он вдруг понял, как глупо было содержать

эту семью долгие годы; подумал, с какой наглостью она захватила его виллу; к тому же его мучал страх, что он по собственной вине потерял Хлою,— все это превратило Архилохоса в грозного мстителя. Он стал Аресом, древнегреческим богом войны, как это предсказал Пассап. Схватив проволочную скульптуру, он накинулся на брата Биби, расположившегося вместе с любовницей на его супружеском ложе. Биби, мирно посасывавший сигару, вскочил с диким криком, но тут же повалился назад, сраженный ударом в подбородок, а потом, чуть оправившись, заковылял к двери, но Арнольф снова нокаутировал его. Не переводя дыхания Арнольф схватил за волосы любовницу, потащил ее в коридор и швырнул прямо на дядюшку-моряка, который как раз подошел, привлеченный криком Биби,— и дядюшка и любовница с грохотом покатались по лестнице. Из всех дверей повыскакивали теперь домовники, взломщики и прочая шваль; своих племянников — Теофила и Готлиба — Арнольф сбросил с винтовой лестницы; та же участь постигла Пролазьера, который полетел вниз вместе с кроватью под балдахином; Себастьяна и Маттиаса Арнольф избил, голую Магду-Марию и ее очередного поклонника (китайца) выкинул в окошко; так же он расправился и с остальной шпаной. По воздуху со свистом летали протезы и ножки стульев, текла кровь; шлюхи разбегались кто куда, мамочка грохнулась в обморок, педерасты и фальшивомонетки удирали, визжа, как крысы. Архилохос молотил кулаками, душил, царапал, раздавал зуботычины, валил с ног, разбивал черепа, походя изнасиловал какую-то девку, и все это под градом ударов — его дубасили протезами, кастетами, резиновыми дубинками; он падал и снова подымался, стряхивая с себя врагов; изо рта у него шла пена, весь он был в битом стекле; круглый стол он использовал как щит, вазы, стулья, картины, Жана-Кристофа и Жана-Даниэля — как метательные снаряды. С яростью он гнал бандитов из своего дома, неуклонно пробиваясь вперед, круша все на своем пути, осыпая подонков отборной руганью. И вот он остался один на вилле, где клочья штофных обоев развевались, будто флаги, где гулял ледяной ветер, рассеивая клубы табачного дыма; а потом он бросил в сад вслед этой хищной своре бомбу Фаркса и взрыв осветил небо, на котором уже занялась утренняя заря.

Долго стоял Арнольф у входа разгромленного замка и глядел, как рассвет серебрил вязы и ели в парке. Порывы теплого ветра налетали на деревья, тормозили их, трясли. Лед на крыше растаял, вода потекла по водосточным трубам. Послышался стук капли. Сплошные облака проползали над крышами и садами — тяжелые, разбухшие от влаги. Заморосил дождь. Мимо Архилохоса, хромая, проследовал избитый, полуодетый Пролазьер, стуча зубами от озноба.

— Вы, как христианин... — крикнул он Архилохосу и исчез за пеленой дождя.

Архилохос не обратил на Пролазьера внимания. Он пристально глядел вперед заплывшими глазами. Он был весь в кровоподтеках, его свадебный фрак превратился в лохмотья, подкладка вылезла наружу, очки он потерял.

#### Первый конец

Архилохос начал разыскивать Хлою.

— Боже мой, месье Арнольф,—воскликнула Жоржетта, когда он вдруг появился перед стойкой и потребовал рюмку перно.— Боже мой, что с вами случилось?

— Не могу найти Хлою.

В кафе было полно народу. Подавал Огюст. Архилохос выпил рюмку перно и заказал еще одну.

— А вы повсюду ее искали? — спросила мадам Билер.

— Повсюду: и у Пассапа и у епископа.

— Не пропадет ваша Хлоя, — утешала его Жоржетта. — Женщины вообще никогда не пропадают и часто они оказываются там, где их меньше всего ожидаешь.

Она налила ему третью рюмку перно.

— Наконец-то, — со вздохом облегчения сказал Огюст болельщикам. — Наконец-то он начал закладывать за воротник.

Архилохос не прекращал поисков. Он врывался в монастыри, частные пансионы, меблированные комнаты. Хлоя исчезла. Он бродил по опустевшей вилле, по голому парку, стоял под мокрыми деревьями. Ветки шелестели, тучи проносились над крышами. И внезапно его обуяла тоска по родине, жажда увидеть Грецию, ее красноватые скалы и темные рощи, увидеть Пелопоннес.

Не прошло и двух часов, как он оказался на борту парохода, а когда «Юлия», оглашая воздух ревом сирены, поплыла в тумане, окутанная клубами дыма, который тянулся за ее трубой, в гавань примчалась машина с головорезами Фаркса, и несколько пуль просвистели в воздухе. Эти пули, предназначавшиеся ренегату Архилохосу, продырявили зелено-золотой государственный флаг, уныло полоскавшийся на ветру.

На «Юлии» оказались мистер и миссис Уимэн; когда Арнольф как-то раз предстал перед ними, их лица выразили тревогу.

Средиземное море. Палуба, залитая солнцем. Шезлонги. Архилохос сказал:

— Я уже несколько раз имел честь беседовать с вами.

— Well, — пробурчал сквозь зубы мистер Уимэн.

Арнольф извинился.

— Тогда произошло недоразумение, — сказал он.

— Yes, — заметил мистер Уимэн.

А потом Архилохос попросил разрешения участвовать в раскопках на его старой родине.

— Well, — ответил мистер Уимэн и захлопнул специальный журнал по археологии, а потом, набивая свою короткую трубку, еще раз добавил: — Yes.

Итак, он в Греции, разыскивает древности на Пелопоннесе, в краю, ни в малейшей степени не соответствующем представлениям о родине, которые он себе создал. Он копает землю под лучами безжалостного солнца. Вокруг камни, змеи, скорпионы, а у самого горизонта несколько кривых деревьев — оливковая роща. Невысокие голые горы, высохшие источники, ни единого кустика. Над головой Арнольфа упрямо кружит коршун, его не отгонишь никакими силами.

Много недель подряд, обливаясь потом, Арнольф ковырял какой-то холмик и в конце концов, когда он почти срыл его, оказались полуобвалившиеся стены, засыпанные песком; песок раскалялся на солнце, залезал под ногти, от песка гноились глаза. Мистер Уимэн выразил надежду, что они откопали храм Зевса, миссис уверяла, что это храм Афродиты. Супруги спорили так громко, что их голоса были слышны за несколько миль. Рабочие греки давно разбежались. В ушах Арнольфа стоял комариный писк, мошкара облепила его лицо, заползала ему в глаза. Наступили сумерки, где-то далеко раздался крик мула, протяжный и жалобный. Ночь была холодная. Архилохос лег в своей палатке около самого места раскопок, миссис и мистер Уимэн устроились на

ночлег в десяти километрах, в главном городе этого захоластья — убогой дыре. Вокруг палатки летали ночные птицы и летучие мыши. Совсем недалеко завыл какой-то хищник, может быть волк. А потом все опять стихло. Архилохос заснул. Под утро ему показалось, что он услышал чьи-то легкие шаги. Но он не стал открывать глаза. А когда красное раскаленное солнце, поднявшееся из-за никому не нужных горных отрогов, осветило его палатку, он встал. Еле волоча ноги, побрел он к безлюдному месту раскопок, к развалинам. Было холодно. Высоко в небе опять кружил коршун. Во впадине, где стояли древние стены, тьма еще не рассеялась. У Архилохоса ныли все кости, но он принялся за работу. Перед ним возвышался длинный песчаный бугорок, неясно обрисовывавшийся в полумраке. Арнольф осторожно орудовал археологической лопатой и очень скоро наткнулся на какой-то предмет. В нем проснулось любопытство: что это — богиня любви или Зевс? Интересно, кто из археологов прав — мистер Уимэн или миссис Уимэн? Обеими руками Архилохос начал сбрасывать песок и... откопал Хлою.

Не дыша смотрел он на свою возлюбленную.

— Хлоя, — крикнул он, — Хлоя, как ты сюда попала?

Хлоя подняла ресницы, но не встала с земли.

— Очень просто, — сказала она, — я поехала за тобой. Ведь у нас было два билета.

А потом Хлоя и Арнольф сидели на только что откопанных развалинах и разглядывали греческий ландшафт: невысокие голые горы, над которыми стояло пронзительное солнце, кривые деревца на горизонте и какую-то белую полосу вдаль — ближайший городок, где ночевали Уимэны.

— Это — наша родина, — сказала она, — твоя и моя.

— Где же ты была? — спросил он. — Я искал тебя повсюду.

— Я была у Жоржетты. В ее комнатах над кафе.

Вдалеке показались две точки, они быстро росли, это были мистер и миссис Уимэн.

А потом Хлоя произнесла целую речь о любви, почти совсем как некогда Диотима Сократу (правда, речь эта оказалась не столь глубокомысленной, ибо Хлоя Салоники, дочь богатого греческого купца — теперь мы знаем и ее социальное происхождение, — была женщина простая и практичная).

— Вот видишь, — говорила она, а в это время ветер играл ее волосами, солнце подымалось все выше и выше, и англичане, восседавшие на своих мулах, подъезжали все ближе и ближе, — теперь ты знаешь, кем я была; стало быть, между нами полная ясность. Мне надоело мое ремесло, это тяжелый хлеб, как и каждый честно заработанный хлеб. Печаль не оставляла меня. Я мечтала о любви, мне хотелось заботиться о ком-то, делить с другим не только радости, но и горе. И вот однажды, когда мою виллу окутал густой туман, беспросветно пасмурным зимним утром, я прочла в «Ле суар» объявление: грек ищет гречанку. И я тут же решила, что полюблю этого грека, только его, и никого больше. Я пришла к тебе в то воскресное утро ровно в десять с розой. Я не собиралась ничего скрывать и надела самое лучшее, что у меня было. Я хотела принять тебя таким, какой ты есть, но и ты должен был принять меня такой, какая я есть. Ты сидел за столиком, робкий, беспомощный, от чашки с молоком шел пар, и ты протирал очки. Тут все и случилось: я тебя полюбила. Но ты думал, что я честная девушка, ты совершенно не знал жизни, и ты никак не мог догадаться, чем я занимаюсь, хотя Жоржетта и ее муж поняли все с первого взгляда, — и я не посмела разрушить твои иллюзии. Я боялась тебя потерять и этим только все

испортила. Твоя любовь превратилась в фарс, а когда в часовне святой Элоизы ты узнал правду, любовь разлетелась вдребезги, а заодно обрушился и весь твой миропорядок. Хорошо, что так получилось. Ты не мог любить меня, не зная правды. Но любовь сильнее правды, которая нас чуть было не погубила. Твою слепую любовь надо было разрушить во имя любви зрячей, любви истинной.

## 25

Однако, прежде чем Хлоя и Архилохос смогли вернуться к себе домой, прошло довольно много времени. В стране началась великая смута. К кормилу правления пришел Фаркс с двойным подбородком. Ночное небо окрасилось в красный цвет. На улицах пестрели флаги, толпы людей скандировали: «Ami go home!»<sup>1</sup>. Но доллары были нужны позарез, да и Фаркс оказался порядочным честолюбцем. Он перекинулся в западный лагерь, вздернул на виселицу шефа своей тайной полиции (бывшего референта Пти-Пейзана) и начал достойно представлять в президентском дворце на набережной Де Л'Эта под неусыпным присмотром лейб-гвардейцев в золотых шлемах с белыми плюмажами, все тех же лейб-гвардейцев, которые охраняли его предшественников. Теперь он тщательно приглаживал свои рыжие волосы и подстригал усы. Режим смягчился, мировоззрение Фаркса стало умеренным, и в один прекрасный день на пасху бунтовщик посетил собор святого Луки. В стране опять установился буржуазный порядок. Но Хлоя и Архилохос никак не могли приспособиться к новой жизни. Довольно долго это им не удавалось. Наконец они открыли у себя на вилле домашний пансион. У них поселился Пассап, который был в опале (в области искусства Фаркс твердо стоял на позициях реализма); мэтр Дютур, карьера которого также оборвалась; смещенный с поста Эркюль Вагнер и его могучая супруга; низложенный президент, по-прежнему учтивый, взиравший на мир с философским спокойствием; и еще Пти-Пейзан (объединение с концерном резины и смазочных масел оказалось для него роковым). Словом, на вилле оказалось сборище банкротов. Не хватало только епископа — он вовремя переметнулся к новопресвитерианам предпоследних христиан. Постояльцы пили молоко, а по воскресеньям — перье, жили тихо, летом гуляли в парке, смиренные, поглощенные житейскими заботами. Архилохосу было не по себе. Как-то раз он отправился на окраину, где брат Биби, мамочка, дядюшка-моряк и детки открыли маленькое садоводство; выволочка на вилле Хлои пошла им впрок (Маттиас сдал экзамен на учителя, Магда-Мария стала воспитательницей в детском саду, младшие дети пошли работать на фабрику, а часть из них примкнула к Армии спасения). Но и у Биби Архилохос не смог долго пробыть. Мещанская обстановка, моряк, посасывающий трубочку, и мамочка с вязаньем на коленях навевали на него тоску, равно как и сам брат Биби, который теперь ходил вместо Архилохоса в часовню святой Элоизы. Четыре раза в неделю.

— Вы какой-то бледный, месье Арнольф,— сказала Жоржетта, когда однажды он появился у стойки в ее кафе (над стойкой, уставленной бутылками с водкой и ликерами, висел теперь портрет Фаркса в рамке из эдельвейсов).— У вас неприятности?

Она налила ему рюмку перно.

— Все теперь перешли на молоко,— пробормотал он,— и болейшички, и даже ваш муж.

<sup>1</sup> Американцы, убирайтесь домой! (Англ.)

— Что поделаешь,— сказал Огюст, потирая свои голые ноги, окутанные рыжеватым облачком; как и встарь, на нем была желтая майка.— Правительство проводит очередную кампанию по борьбе с алкоголизмом. И потом я как-никак спортсмен.

Тут Архилохос увидел, что Жоржетта открывает бутылку перье. «И она тоже»,— подумал он с горечью.

Но вот однажды, когда они с Хлоей лежали в кровати под балдахинном с пурпурными занавесками, а в камине потрескивали поленья, Арнольф сказал:

— Нам живется совсем неплохо, и наши старенькие постояльцы всем довольны; жаловаться грех, и все же от этой добродетели, которая нас окружает, просто нет сил. Иногда мне кажется, что я обратил весь мир в мою веру, а он обратил меня в свою. И в итоге получилось одно на одно — стало быть, все оказалось напрасно.

Хлоя приподнялась.

— Знаешь, я все время вспоминаю те развалины у нас на родине,— сказала она,— когда я закопалась в песок, чтобы сделать тебе сюрприз, и тихо лежала в полутьме, и смотрела на коршуна, который кружил над местом раскопок, я вдруг почувствовала, что подо мною лежит какой-то твердый предмет, что-то каменное, наподобие двух больших выпуклостей.

— Богиня любви,— закричал Архилохос и вскочил с кровати. И Хлоя также встала.

— Надо всегда искать богиню любви. Нельзя прекращать поиски,— прошептала она,— иначе богиня нас оставит.

Они тихонько оделись и уложили чемодан. На следующий день часов в одиннадцать Софи долго стучала в дверь спальни, а потом, когда она вошла в комнату вместе с напуганными постояльцами, то увидела, что комната пуста.

Второй конец

Перевела с немецкого Л. Черная.



---

С. Ф. СТАРОДУБ

★

## СУДЬБА ОТЦА

*Автор нижепубликуемых записок Сергей Федосьевич Стародуб — бывший учитель рисования и литературы, ныне пенсионер. Страдая тяжелым недугом, не позволяющим ему держать в руках перо, он диктовал свои записки жене и сыну. Некоторые дополнения были записаны с его слов при подготовке рукописи к печати.*

**М**оему отцу, как многим людям его поколения, было о чем рассказать, но, человек немногословный, он сам редко вспоминал о прошлом.

А мне в те годы, когда отец был жив, и в голову не приходило порасспросить его о прожитой им жизни. Мы старались походить на героев, поднятых литературой и кино на высокий пьедестал славы, и не замечали героев, живущих с нами вместе, рядом.

По школьным урокам обществоведения старая Россия плакатно рисовалась мне огромной соломенной деревней, населенной темными, забитыми мужиками-вахлаками. Ее, сермяжную и лапотную, густо обволакивала беспросветная нужда. В диком беззаконии и самодурстве правилею ея спесивые дворяне да хамские хари — широкозадые, в жилетках и рубахах в крупный горошек, кулаки-мироеды... В городах и рабочих поселках трубами заводов, фабрик, рудников и шахт дымили толстобрюхие буржуи в цилиндрах с плетью в руках. Над всей матушкой Россией и всеми к ней «прочая и прочая» (это представлялось легко и знакомо, как старый денежный билет) на фоне двуглавого орла тускло мерцал лубочно-сусальный лик «императора всея Руси» Николая Романова. Я относил отца к этой старой России, и поэтому его прошлое не могло представлять для меня никакого интереса. Так было до тех пор, пока я не вышел из щенячьего возраста. При первых же попытках осмыслить жизненные явления плакатных знаний оказалось недостаточно. Задумываясь над прочитанной книгой, я стал испытывать потребность свериться со свидетельствами очевидцев и участников событий. Вот когда отец помог бы мне ответить на многое, но, увы, отца у меня уже не было.

В разное время и всегда по какому-нибудь случайному поводу (иначе она не могла вспомнить) мать все же кое-что рассказывала об отце. Что-то узнал я из других, не менее скудных источников, из его документов, заброшенных кем-то в сумке на чердак, кое-чему и сам был свидетель, хоть и несмышленный.

Отец мой, родившийся на Киевщине в деревне Хлыстуновке, в семь лет остался круглым сиротой. Перелямченный крест-накрест холщовой сумкой, сшитой доброй соседкой из мамкиных стареньких юбок, он вы-

шел из родной хаты со своим пятилетним братишкой и пошел нищенствовать по деревням. Два года водили они слепых, собаки рвали на них портки, одежонка лоскутами сползала, а потом мальчигов взяли к себе в услужение мастеровые. Федосея (моего отца) до одиннадцати лет обучал ремеслу бондарь, подростком он жил и работал за харчи у веселого колесника — человека доброго, житейски мудрого, большого мастера и горького пьяницы. Отец на всю жизнь сохранил к нему самые добрые чувства за перенятые у него приемы ремесла и любовь к делу. С четырнадцати годков полных двенадцать лет проработал он на шахтах Донбасса, начал парнишкой-лампоносом и дошел до классного забойщика. Шахта оставила навек ему в память о себе вкрапленные под кожу черносиние пятнышки и точки угольной пыли, особенно густо сосредоточенные на скулах.

В двадцать шесть лет, приехав на побывку в родную деревню, он женился на шестнадцатилетней крестьянской девушке. Ее родители, не желая дочери срама жизни в общих шахтерских бараках, разгороженных простынями да старыми одеялами, уговорили своего зятя бросить шахту.

В 1911 году с большой партией переселенцев, с семьей жены и своим старшим, тоже уже семейным братом Федосей поехал на Дальний Восток, на амурские земли, о которых ходила слава, что озера и реки там кишат рыбой, а лето длится долго и все посаженное и посеянное дает богатые урожаи. До Байкала ехали товарняком в одном составе с каторжниками, а дальше плыли на плоту по Амуру и Зее.

Семьи переселенцев облюбовали и выхлопотали себе место на Зее, в четырнадцати верстах от Благовещенска, рядом с угодьями мужского монастыря, на берегу большого глубокого с песчаным дном озера, что лежало в двух верстах от деревни Бунды. Выкопали землянки, распахали землю и стали заниматься огородничеством.

Край благодатный, суровый и прекрасный! Край ясных зорь, чистых красок, буйной растительности, величественных вольных рек, дремучей тайги; край несметных сокровищ, необыкновенных возможностей и в то же время — далекие задворки России. Для бывшего шахтера здесь не нашлось того, с чем он кровно сросся, что составляло часть его жизни, сформировало характер, определило жизненные принципы и стало мерой его поведения. На новом месте он чувствовал себя чужим и одиноким — куском угля, отбитым от целого пласта. Его жена с малышом жила в землянке на озере, а он, мыкаясь в поисках дела по душе, то сплавлял лес на Зее, то в Благовещенске на паровой мельнице работал грузчиком, даже пытал щедрую на каверзы и обман фортуна золотонкателя. Потом задумал было перебраться на Сучан, к шахтерам, да началась война и его взяли в солдаты.

Мое первое стереотипное «уа» относится к началу осени пятнадцатого года, когда братишке Павлику не было еще двух лет, а отец на другом конце земли защищал от немцев «веру, царя и отечество». Кто знает, по каким размоченным дождями, скованным морозом или опаленным солнцем, разбитым снарядами, опутанным колючей проволокой и густо утыканным крестами солдатских могил землям пролегали те дороги, по которым маршем прошел, бегал и ползал в наступление, держал оборону солдат? Известно только, что, будучи тяжело раненным, он вместе с другими солдатами на длинном молдавском фургоне, влекомом медлительными быками, был доставлен в госпиталь, где его залатали, подлечили, после чего снова отправили на передовую.

Конечно, он мог бы рассказать о братании солдат враждующих армий, о великом брожении солдатских масс на фронтах, о революции. Он был в Петрограде и, кажется, даже видел Ленина. В трудные для



революции дни, в разбитых теплушках и походным маршем в разные концы по взбудораженной стране направлялся солдат на разгром бело-гвардейцев.

Как-то на покосе в полуденную жару сошлись с соседских делянок под наш тальниковый навес бывшие солдаты и разговорились, вспоминая прошлое. Помню, что отец тогда рассказывал, как где-то в Сибири товарищи сняли его, больного, с теплушки, надеясь, что люди подберут, а может, и выйдут. На холодном, заплеванном, засыпанном окурками и подсолнечной шелухой полу какой-то небольшой железнодорожной станции метался он в тифозном бреду.

Ясно помню я и крутолобый зеленый бережок большого светлого озера, мостки для полоскания белья, бочку без дна, вкопанную почти у самого берега, из которой, как из колодца, женщины брали воду для питья и поливки огородов. Возле нашей землянки на солнцепеке привычно лежал поклеванный до глубокой седловины толстый чурбак, на котором мать рубила для топки хворост. Тут же валялся обезображенный круглым шрамом клейма, безразличный ко всему, ржавый, зазубренный топор на коротком растресканном и перевязанном бечевой топориче. Когда я пробовал рубить хворостину, он, старчески скрипнув топоричем, делал лишь небольшую вмятину на палке и тяжело валился набок, норовя клюнуть меня в ногу. У курятника, на куче золотистой соломы, нежился толстый, как чурбак, рыжий, мохнатый, вислоухий пес Репей с умными коричневыми глазами. Наблюдая за моими первыми самостоятельными шагами, он поощрительно ударял по соломе хвостом. Все понимал Репей, только говорить не мог. Я добирался до него и выдирали вьезшихся ему в уши клещей, за что он в знак дружеской благодарности преданно повизгивал, готовый перевернуться на спину, поднять лапы и устроить в соломе возню. Этими и еще двумя-тремя подобными картинками до дна исчерпывается моя память о жизни на монашеском озере. Проходили тогда не раз через деревню и заглядывали в наш земляночный хутор, промышляя яйца и птицу, японские интервенты, но я знаю об этом только по рассказам старших.

Обросший, в солдатской шинели и шапке, обшарпанных сапогах, с винтовкой и тощей котомочкой за плечами вернулся отец домой вьюжной февральской ночью девятнадцатого года.

Люди боялись выходить из дому, страшились наступления темноты. Иногда заезжали на озеро с пьяными песнями на взмысленных конях, запряженных в шикарные лакированные «американки», как назывались у нас высокие двухколесные экипажи на двух седоков, вихрем носились чубатые, обвешанные оружием казаки. Местом ватажной гульбы этих заезжих беляков были постоянные дворы Федько и Панихидько, как это вскоре заметили в деревне. Их пьяный разгул и дикое катание на лошадях предшествовали обычно ночным злодействам. Каждый раз утро приносило весть о вырезанной семье, убийстве на дороге, ограблении, об аресте или расстреле кого-нибудь из вернувшихся домой фронтовиков. Потом белоказаки исчезали, и, когда снова появлялись, люди прятались по подвалам, амбарам, завешивали окна, проверяли и ладили замки и запоры.

Не прошло и недели после возвращения отца домой, как ночью к нам пожаловали непрошеные гости. Выволокли из-под кровати винтовку и подсумок с патронами, обшарили все углы. Видно, не нашли того, что искали, и тогда, должно быть, главный из них — перекрещенный ремнями и в высокой белой папахе — приказал отцу одеться. Спокойно и чуть улыбнувшись, под подгоняющие выкрики: «Давай-давай, айда! Не к теще в гости собираешься!» — отец натянул на голову обеими руками солдатскую шапку и со словами «скоро вернусь» шагнул к двери, склонился

в дверном проеме и вышел из землянки. Плачущую, убитую горем мать как могли утешали соседи: «Бог милует. Все обойдется».

И обошлось. Через три дня отец вернулся. И не один, а с каким-то чернявым веселым дядькой.

— Ну вот мы и дома! — не то нам, не то своему товарищу сказал он.

Чернявый уважительно поздоровался с повеселевшей матерью, потом с нами за руку, пощекотал Пашку и меня под подбородком, страшно выкатывая глаза, надувая щеки и шевеля жесткими усами, сделал каждому смешливую «козу», чем окончательно расположил нас к себе. Отец усадил гостя за стол и, когда мать поставила еду, пригласил ее тоже присесть. На ее вопрос, где он был, ответил:

— В каталажке сидел.

— А ну покажи свою палочку-выручалочку,— попросил чернявый.

Отец сходил в угол, где висела одежда, что-то нашарил во внутреннем кармане шинели, вернулся и бросил на стол узелок. Звякнул металл. Гость развернул грязную тряпицу.

— О, герой! Вот так герой! Гляди ты — георгиевский кавалер! Ах, едят тебя мухи! — не то иронически, не то восхищенно удивлялся чернявый, разглядывая царские награды.

— Вот, оказывается,— как бы оправдываясь, объяснял отец,— пригодились и кресты. Жалко было бросать, так вот и носил с собой. Как-никак, думаю, а заслужил.

Из рассказа выходило — просидел отец без пищи в холодной каталажке двое суток. На допросе казачий офицер интересовался, в каких боях и за какие доблести он был награжден, спросил, в какой партии состоит и кому намерен боевой фронтовик в столь трудное для России время служить, а потом кратко и сухо зачитал приказ о мобилизации всех, способных носить оружие, «в регулярную армию» Колчака. Кончилось тем, что, уверившись в тупой ограниченности солдата, на все вопросы отвечающего четкими: «Никак нет», «Так точно» и «Не могу знать, ваше благородие», офицер отпустил его «из уважения к георгиевскому кавалеру» на три дня, под расписку, чтобы устроить домашние дела.

На следующий день чернявый дядька увел отца в партизанский отряд...

Высоким, прямым и костлявым, не похожим на деревенских мужиков, с затаенной переменчивой усмешкой под небольшими усами, острым взглядом серых глаз под высоким шишковатым лбом запечатлелся впервые отец в моем детском сознании. С годами к этому прибавились особенно заметные черты характера: скупость на родительскую ласку, веселая злость, увлечение работой, прямолинейность действий и поступков, ирония и насмешливость, чаще всего по своему адресу, и (я не могу умолчать об этом) жестокость. Она у него проявлялась как взрыв ненависти, как месть за все то несправедливое и мерзкое, что нещадно хлестало его всю жизнь.

Только весной двадцатого года до неузнаваемости обросший отец окончательно вернулся домой. Обошел землянку, заглянул в коровий заkut, долго стоял на ветру на крутом берегу озера, посетил всех соседей и вечером объявил общее решение жителей землянок:

— Будем перебираться в деревню. к людям. Довольно жить на отшибе кротами.

Посреди деревни, между постоянными дворами Федько и Панихидько. отец вспахал полосу пустыря под огород и у самой реки, по левую сторону тракта, стал строить избу. На целый день всей семьей приходили мы на свой новый участок. Мать справлялась с огородом одна, а мы с братишкой помогали отцу — подать, поднести, придержать, терпеливо

переноса царапины, удары и все тому подобное. На наших глазах совершалось нечто удивительное, творцом чего был наш отец. Он выровнял площадку, разметил прямоугольник и вкопал четырехгранные угловые столбы. Из горбыля и досок сколотил двойные стены, промежутки между досками забил перемешанной с соломой и опилками глиной, вставил оконные колоды и дверные косяки. Работа продвигалась быстро. Отца обуяла жадность к работе, все у него в руках жило и ладилось. Каждый раз, заканчивая день, он досадовал, что чего-то не сделал, чего-то не предусмотрел, и возвращался домой неохотно.

Нашего старого топора просто не узнать стало. Слово сбросив шершавую коричневую кожу, он помолодел, как сбритый бороду отец, стал гладким и блестящим. Откуда взялись его деловая размашистость, острая точность удара и неутомимость? Ни одного лишнего или вялого движения! То он глубоко войдет, острый и прогонистый, в желтое тело дерева, то, дугой сверкнув на солнце, со звоном отсечет лишний кусок жердины. А как тешет-строжет шероховатое бревно! То мягко и ловко отваливает широкую и тяжелую полосу от мясистого бока лесины, и тогда над ним летают белыми птицами легкие щепы, то, нежно и тонко звеня, ровняет грубую поверхность дерева, срезая сучки, завивая в ба-рашки мелкие стружки.

Стены избы изнутри и снаружи мать и женщины-землячки, приходившие помогать нам, зарешетили тонкой сухой лозой и ровно обмазали глиной. Из-за недостатка строительных материалов южный скат крыши покрыли камышом, северный — длинной глянцевой соломой. Толстыми широкими плахами с большими темно-коричневыми сучками застлали половину хаты, другую — от порога — по украинскому обычаю утрамбовали и замазали глиной. Часто к нам со своим инструментом приходил молодой, русоволосый, в военной гимнастерке, в подвернутой краснозвездной буденовке председатель сельсовета Иван Голубцов — боевой товарищ отца по партизанскому отряду. Пока отец занимался избой, он поставил ворота, соорудил хлев для скота, обнес двор плетнем. Отец сам сложил русскую печь и плиту, вставил окна, и осенью мы перебрались в свою избу, такую высокую, большую и светлую, с сенями, чердаком, обширным подпольем и тремя огромными, как казалось тогда, окнами. Два из них обращены на юг, одно на восток. Границы нашей радости раздвинулись до бесконечности, когда отец привел во двор игривого саврасого стригунка-жеребенка.

За избой — плетень и крутой спуск в пойму реки, заросшую черемухой, колючей бояркой, дикой яблоней, тальником да кустиками волчьей ягоды.

Я открываю двери. Пожалуйста, зайдите, посмотрите, как у нас. Против двери — в противоположной стене — восточное окно, а возле него, у стены, огромный полупустой сундук с выпуклой потертой крышкой, окрашенной охрой и разуборенной волнами и завитками темно-коричневых полос. За сундуком определено место сапожному и шорному инструменту, завернутому в брезент куску вара с воткнутыми в него разными иглами да клоку свиной щетины, перевязанному мотком дратвы. От дверей в углу справа — шкафчик для посуды и продуктов, под окнами вдоль стены длинная широкая лавка. В дальнем, правом же, углу — ничем не покрытый, но до желтизны выскобленный стол, а выше — божница с тремя иконами: большой деревянной, облупленной и засиженной мухами — посредине, и двумя меньшими в рамках — по бокам. За иконами мать хранила перевязанные в пучки целебные травы, корни и разноцветные узелки с семенами овощей и цветов. В углу северной стороны у дверей громоздилась русская печка, а к ней, словно телок к матери, ступенькой лепилась плита. Дальше, упираясь высокой спинкой изголовья в восточ-

ную стенку, предмет зависти соседок, возвышалась фигуристо сделанная отцом большая деревянная кровать, возле которой на ввинченном в потолочную балку железном кольце висела люлька.

Единственным настенным украшением была цветная бумажная картинка, где во славу русского оружия изображался разгром немцев на реке Бзуре. Зимой оконные рамы зарастали мощным слоем корявого льда, от дверей дуло, в хате было сумрачно и прохладно. И тогда, забравшись на печку, раскачиваясь в такт, мы орали:

Раз-гром нем-цев на реке Бзу-ре!  
Луч-ше сидеть до-ма — хо-лод на дво-ре! —

пока нас не приструнивали.

Как это ни трудно было, но мать всегда содержала наше жилище в чистоте и порядке. Низ печи и плиты она подмазывала красной глиной и украшала орнаментальным пояском ромашек или стилизованных петушков, печатая их трафаретом-штампом, вырезанным из сырой картофелины. Японским штыком-тесаком до воскового цвета скоблила деревянную половину пола, а земляную легко и размашисто, как глазурью, чуть касаясь мягкой, связанной из осоки щеткой, смазывала жидкой охристой глиной.

В дни купаний и стирки печь топилась жарко, и тогда пар от окон и двери струился широкими шлейфами. Бородавчатый снег на окнах таял, оплывая все ниже и ниже; вода с подоконников по тряпичным жгутикам, проложенным в бороздках, стекала в подвешенные снизу бутылки, опорожнять которые входило в мои ежедневные обязанности, и когда я про них забывал, что случалось нередко, она текла по стенам, темными тяжелыми лужами медленно выползала из-под сундука и лавки. Иногда перед купаньем мать всех поголовно стригла, как в овчарне баранов, купала она нас по очереди, начиная с меньшего, в большом деревянном корыте и голыми, раскрасневшимися отправляла на горячую печку, где мы — вымытые и обласканные — сладко засыпали, еще не осознавая великого счастья иметь мать, самого незаменимого человека на земле, которую я никогда не видел спящей или просто отдыхающей. Проснувшись утром, мы едва узнавали свою одежку — выстиранную, высушенную, прокатанную вальком, в новых заплатках, пахнущую улицей и снежной водой.

Никогда не забыть мне запахов чисто вымытого пола, круглых свежеиспеченных буханок ржаного хлеба, остывающего на столе под чистой холстиной, горячего печного духа борща или жаренного на сале картофеля.

Управившись по хозяйству, наши соседи и односельчане собирались у нас коротать длинные зимние вечера и засиживались до ночи. Каждая семья приносила с собой (чтоб не «зорить» хозяев) бутылочку керосина — в те времена товара дефицитного. Женщины вышивали, вязали, шили или, отложив работу, лузгали подсолнечные и тыквенные семечки, рассказывая страшные истории о чертях, ведьмах и домовых, от которых дух захватывало, а душа уходила в пятки. Мать на натянутой на стене шпагатной основе вязала соломенные маты для парников. За столом, где мужчины играли в карты, раздавались взрывы смеха, избу заполнял табачный дым, особенно густой и удушливый на печке, под потолком. Потом все пели веселые и грустные украинские песни. Мы лежали рядом на животах головами к краю печи и жадно слушали их, размягчаясь душой или закипая удалью. Особенно я любил песню про озорного «вора-воробья» — «Ой як упадывсь вор-воробей, як я тому вору-воробью ноги перебую». Никогда после уже не слышал я эту песню в таком слаженном, многоголосом, с выразительными повторами исполнении.

Зимой наша изба с нахлобученной пышной, искрящейся на солнце белой шапкой, до окон обложенная пушистым снегом, окруженная деревьями с кружевным ажуром инея на тонких ветках и тяжелыми разлапистыми хлопьями снега походила на сказочный терем-теремок. Буйная зелень, медовый воздух, напоенный запахами цветов и трав, и густое пчелиное гудение окружали ее летом.

Возле нашего двора — пологий песчаный спуск к реке, по которому крестьяне возили на телегах в бочках воду для полива огородов да местные и приезжавшие из других деревень мужики выволакивали из реки на тележных передках бревна приплавленных плотов и скатывали их в громадные штабеля на прибрежном пустыре.

Таким было наше неказистое крестьянское гнездо, где родились мои братья и сестры, из которых троих снесли на кладбище. И несмотря на то, что беда и нужда жили с нами и никогда не выходили за порог хаты, она навсегда осталась в моем сердце до слез родным и светлым уголком.

Такое уж существо человек — его помыслы всегда устремлены в будущее, но какая-то частица сердца вечно остается в прошлом. И в старости или в тяжкие минуты одиночества он обращается к нему со вздохом невосполнимой утраты.

Наша деревня — это растянувшаяся вдоль берега многоводной Зеи и впадающей в нее тихой речушки Будуйбы трехверстная улица мазанок-землянок и изб, по которой, не умолкая ни днем, ни ночью, тарыхтел, ржал и пылил Благовещенский тракт.

Переселенцы строились просторно и каждый на свой манер. Поэтому разномастный порядок дворов, часто прерывавшийся большими, заросшими бурьяном, шиповником и густым кустарником пустырями, был неровен. В середине деревни от тракта отходила прямая аллея стройных тополей и вела к железным узорчатым воротам монастыря. Летом здесь бушевало море зелени. Только колокольня да ярко-зеленые, увенчанные золотыми крестами маковки собора возвышались над гудящими пчелами- парком, фруктовым садом и ягодниками.

Весна 1921 года выдалась ранняя и сухая. Теплые ветры быстро слизали с полей влагу, и крестьяне, горестно поглядывая на небо, бросали семена в сухую, пыльно дымящуюся землю. Был еще только май, а солнце палило, как в июне. За всю весну не выпало ни капли дождя. Трава зеленела только в оврагах, ложбинах, на болотах да по берегам и в пойме реки, жара не спадала даже ночью. Чахлые всходы на полях пожухли и засохли. Тощий скот, не насытившись на пастбище, забирался в приболотье, жадно поедая кочковую осоку в прибрежных зарослях, ощипывал листья с кустов.

Дождя не было и в июне. Высохли ручьи, болото; обмелели озера и сумно шумели сухим камышом. Женщины и дети переходили вброд через речку на острова и среди деревьев и кустарника срезали сухой прошлогодний пырей и побеги тальника, чтобы подкормить скотину. Жаркий, как дыхание раскаленной печки, ветер, свистя, срывал с мертвых полей пыль и серыми облаками гнал по голой, страдающей от зноя и жажды земле. Загорались ближние и дальние торфяники, удушливым густым дымом заволокло горизонт. Пожары никто не тушил. Тусклым масляным пятном на желто-коричневом небе маячило жаркое солнце. Ночами, когда жар спадал, мы с матерью носили из усыхающей речки воду и поливали вялые кустики и ростки овощей на огороде. А днем солнце безжалостно продолжало жечь растресканную, раскаленную, обжигающую подошвы ног землю.

Душно и смрадно... Даже веселые полосатые бурундуки попрятались, и шустрых воробьев не видно было. Куры, раскрыв клювы, смиренно

сидели под навесом, наполовину зарывшись в пыль. Печально, размеренно плыли, заливая окрестности, усиливая тоску и тревогу, надоедливо-призывные звуки большого монастырского колокола. И из деревень и селений к монастырской ограде стекались тощие, обожженные солнцем и горем люди. Серыми толпами с крестами и иконами, предводительствуемые волосатыми священниками, они медленно текли по серым полям, с непокрытыми головами падали на колени и творили молитвы.

Помню, как однажды в безветренный полдень, когда от жары, душливого воздуха и тошнотворной слабости звенело в ушах и кружилась голова, небо на востоке вдруг потемнело, из гнойно-желтого, набухшая темной, расплзаясь, опускаясь, стало переходить в зловещее грязно-коричневое, мать, прижимая к груди худые темные руки, неподвижно стояла посреди двора и, глядя на небо, шептала молитву. А мрак все сгущался. Вдруг налетел порывистый ветер, затрепал мамкиной юбкой, сорвал со двора пыль и соломинки, завил их штопором и помчал по дороге. Я видел — ноги матери подкосились, она тяжело упала коленями на окаменевшую землю, заломила руки и исторгла горестно-отчаянный вопль:

— Господи! Прости и помилуй нас, грешных! Пожалей детей — ангелов твоих непорочных и нас — рабов, тебя недостойных!

Потрясенный до глубины души, я опустился на колени рядом с матерью, крестился и тоже шептал: «Господи...», с ужасом глядя на урчащее, как зверь, небо. В сгустившихся сумерках золотым ветвистым деревом сверкнула молния, потом ухнуло, рвануло, загрохотало, что-то больно шлепнуло меня за ухом. По земле заскакали ледяные катяшки града. В тот день у нас на огороде почти все, что еще росло и радовало надеждой на урожай, было побито и поломано...

По поручению комбеда отец раза два ходил за помощью в город и каждый раз возвращался серый от пыли и злости: город сам бедствовал.

На полях и покосах давно уже были собраны сstatки соломы и жнивья. Драгоценным стал каждый клочок сена, каждая былинка. Когда были раскрыты крыши база, сарая и даже курятника, надо было решать нелегкую задачу — кого из кормильцев оставить в живых. Невзирая на наши слезы и уговоры матери, отец зарезал корову, мясо спустил в погреб и засолил в большой бочке из-под капусты, а для корма Савраске стал раскрывать соломенную половину крыши хаты. То ли от синей и скользкой солонихы, отдающей запахом квашеной капусты, то ли от затхлой, застоявшейся в ямах воды все, кроме отца, заболели кровавым поносом.

Кулак Федько в это время, отделяя старшего сына, решил ставить молодоженам по дешевке, за пшеничку, купленный в соседнем селе и перевезенный в разобранном виде пятистенный дом-махину. За три ведерные банки ржаной муки отец подрядился скатать сруб, настлать полы и потолок, поставить стропила. Почти ежедневно на стройку приходил сам Федько. Усаживался где-нибудь в тени и наблюдал, как сосед-голодранец при помощи веревок и воротов, обливаясь потом от зноя и слабости, затаскивал бревна, укладывая их венцами, возводил хоромину.

— Здорово у тебя получается, сильный, черт. Пахать на тебе можно. Иди посиди да покури, покалякаем, — приглашал он отца.

— Нет уж, кури сам. Я — сдельщик, мне недосуг, — готовый взорваться, отвечал отец.

Утрами, уходя на работу, покормив и прибрав больных, он оставлял возле каждого несколько зеленых бобошек вареной водянистой картошки, рыхлую, рассыпавшуюся отрубями лепешку да глиняную кружку с терпким и темным отваром из кореньев и целебных трав. Я лежал у сарайчика под телегой. Перед тем как свалиться, одолевающая сла-

бость и сонливость потянули меня в тень. Я принес из хаты старую одежду, разостлал под телегой, лег и не вставал больше месяца.

Помню низенькую полную женщину — жену Федько, ее дряблое доброе лицо, тихий певучий голос, теплые, пахнувшие хлебным квасом, мягкие руки. Тайком от мужа и своих взрослых детей, прячась за плетнями огородов, прикрывая фартуком краюху белого хлеба, чайник с молоком, приходила она к нам до полудня, когда отец был на работе. У телеги, под которой я лежал, опускалась на колени, сгоняла с моих глазниц и запекшихся губ жирных сине-зеленых мух, мокрой тряпицей оттирала лицо, шею, грудь и руки, перебирала подстилку, снова удобно укладывалась, потом, поддерживая на ладони мою голову, которая перекатывалась, как переспевший арбуз на засохшем хвостике-шее, поила из соски и кротко приговаривала:

— Ах боже мой, боже мой. Детки милые, крохи малые, за чьи грехи, бедолажки, навалилась хвороба на вас, окаянная! — И по ее лицу текли слезы.

Сморкалась в передник и причитала, шевеля мягкими и влажными от слез губами, гладила по голове и, уходя, говорила:

— Ну лежи, дитяtko, а я пойду в хату к твоим братишкам и маме. Бог даст — поправитесь. Только ты, сыночек, не говори своему батьке, что я, старая, прихожу к вам. Больно он лют на нас. Ну лежи, милый...

Что заставляло ее, подвергаясь риску быть жестоко избитой своим мужем, ежедневно заботиться о чужих больных и голодных детях? Кто знает? Может, она хотела добром заплатить людям за звериную жадность мужа, заставлявшего нашего отца работать на него за три банки прелой муки, в доброе время не годной даже на корм свиньям? Может, у испытавшей всего вдоволь старой женщины была душевная потребность помочь людям в беде от горькой жалости к самой себе. Кто знает?

У обглоданных коновязей постоялого двора Федько всегда было много упряжек. Одни отъезжали, другие поворачивали. Лошадиное ржанье, оклики людей, понуканье. А возле постоялого двора Панихидько подвод негусто, а то и вовсе пусто. Но ночлежников собиралось порядочно. Сам хозяин — высокий благообразный старик с коричневым иконописным лицом, козлиной бородой, большим висящим носом и птичьими глазами — сближенными, круглыми, немигающими, — целыми днями слонялся по неуютному затемненному двухъярусными нарами помещению, подсаживался к чаевникам, вздыхал, жаловался на дороговизну, осуждал новые порядки, при которых люди перестали чтить бога, хамы полезли в паны, а яйца стали учить курицу; на все лады поносил власть, возлагал надежды на гнев и милость божью, а больше на близкую границу, откуда ждал освобождения от «красной заразы». Душа старика была такой же темной, как тот сырой угол ночлежки, где постоянно мерцала лампада, тускло отражаясь в позолоте и обкладке иконных рам, и куда хозяин часто оборачивался, осеняя себя мелким крестом.

И заезжали к нему все какие-то суровые и степенные молчалыки с недоверчивым взглядом исподлобья. Панихидько каждый день, рано встав, сам отмыкал и широко распахивал огромные двустворчатые ворота, выпускал и напутствовал отъезжающих словом божьим, кладя кресты им вслед. В притулившейся к амбару в глубине двора малухе ночами старик со снохой — женой старшего сына, с шайкой бандитов сбежавшего в Маньчжурию, — варил самогон, говорят, что он и жил со снохой. Эта разбитная бабенка вела все дела на постоялом дворе, выполняя обязанности повара и кассира. Старик полностью ей доверял.

Большим хозяйством правили рослый, красивый и сильный младший его сын Григорий, бойкая веселая дочь Таисья и старый молчун — бывший монах, прижившийся у них на положении родственника и вечно то во дворе, то в огороде копавшийся, как жук в земле и навозе.

С ранней весны, как только после ледохода по реке начинали плыть длинные плоты, и до глубокой осени постоянный двор Панихидько становился пристанищем веселых и буйных лесосплавщиков. Одна партия сменялась другой, сошедшей с причаливших к нашему берегу плотов. Дни и ночи пили самогон, горланили песни, играли в карты и, потеряв человеческий облик, дико, неумно дрались, не обращая никакого внимания на угол с лампадой и постный лик хозяина, поминающего имя господне.

Все это было привычной и злой обыденностью. Но были и чудо-загадки, поражавшие мое детское воображение. Особенно загадочным и удивительным была протекавшая мимо река. Я жадно хотел знать: откуда берется и куда льется, течет столько воды? Где начало реки и где ее конец? Я представлял себе сказочного великана, выливающего из чудовищно огромной деревянной бочки поток воды. Летними утрами, соскочив с постели, я бежал на песчаный бугор, чтобы поглядеть, не кончилась ли ночью река, и всегда был радешенек видеть, что она так же, как и вчера, течет плавно и полно, глубока, широка и нескончаема. Вторым чудом была висевшая на стене берданка, которой мы с братишкой однажды пытались одновременно овладеть и испытать в действии, что привело нас к жестоко пресеченной отцом драке. Не знаю, как у братишки, а у меня долгое время даже беглый взгляд на ружье вызывал неприятное воспоминание и зуд пониже спины. Третьим чудом был колодец у ворот постоянного двора Федько. Вот это колодец! Под крутой четырехскатной узорчатой крышей на четырех точеных столбах было насажено на гладкий толстый вал большое деревянное колесо, похожее на штурвалы старинных кораблей с укрепленными вокруг по ободу фигурно точенными ручками. К резному карнизу шатра, обращенному к дороге, шурупчиками прикреплена фанерка, каракулями провозглашавшая: «Водой для проезжих на полном ходу Ивана Ивановича Федько». К концу навитой на вал цепи прикована железная ярко-зеленая бадья с широким и толстым обручем у дна. Рядом с колодезным срубом на чурбаках лежала большая долбленая, поросшая зеленым грибком и покрытая скользкой плесенью колода. Но колодец, колодец! Ах, как хотелось заглянуть в холодную глубину его четырехугольного проема, но колодец всегда плотно прикрывала окованная железными полосами-навесами тяжелая крышка.

Осенними и зимними ночами дом и ворота постоянного двора Федько освещались большими гранеными фонарями-набалдашниками, укрепленными на высоких столбах. Односельчанам эта причуда Федько казалась блажь богатых — зачем же освещать улицу? Прибитая над дверью дома широкая доска призывно, размашисто выведенными не то сажей, не то дегтем словами звала проезжих: «Повертай, бо вжэ нэ рано, чаювать пора!» И проезжающие сворачивали к коновязям. Летом и в погожие зимние дни из настезь распахнутых дверей постоянного двора валил пар, тянуло вкусными запахами шкварок и жареного лука. Вокруг огромной, обитой белой жестью огнедышащей плиты в облаках раско-смаченного пара и чада, извергаемых кастрюлями, огромными медными чайниками, шкварчачими противнями и сковородками, в фартуке и колпаке очумело метался повар Покатай, которому прислуживал расторопный молодой китаец Яшка. Покатай — это была кличка повара, на которую он охотно откликался.



Длинный высокий дом Федько был разделен на две части. Большая — с широкими нарами, крашенным светлой охрой длинным столом, плитой и водяной помпой — для проезжих, а в меньшей помещалась лавка. Там же проживал сам хозяин с сыновьями. В перегородке над прорезанным в ней окошечком, через которое сам Федько отпускал товар, была прибита картонка, по уголкам и вокруг украшенная голубыми, розовыми цветочками и голубками клюв в клюв, радующая обнадеживающими словами: «Сегодня за деньги, а завтра в долг». Федько по-коммерчески оценивал грамоту и широко пользовался ею для рекламы.

По навсегда заведенному обычаю вечером к людям выходил сам хозяин — одорукий, осанистый, богатырского сложения старик в традиционной белой украинской вышитой сорочке, широких плисовых темно-синих шароварах, заправленных в хромовые скрипучие сапоги. Пустой левый рукав заткнут за шелковый с кистями пояс. Густые седые волосы мягко переходят в роскошную волнистую бороду. Все в старике ладно, размашисто и красиво. Степенно, не спеша и упруго шагая по проходу меж нарами, он слегка кланяется в стороны, лукаво шурясь, приветственно окатывает постояльцев густым басом:

— Здравствуйте, дорогие гости, мужички-работнички! Здоровеньки булы, хохляки, золотые чубчики, наши кормильцы! Как ваше житье-здоровье?

А острые, цепкие глаза все видят, все оценивают и определяют. Большую часть проезжающих он помнит по фамилии — кто из какой деревни, хутора, села. Ко всем относится внешне уважительно, ласково, однако только с немногими здороваётся за руку, величая почтительно по имени и отчеству. Ему до тонкости известна вся переменчивая градация рыночных цен на сельскохозяйственные продукты, муку, скот и фураж в городе, и иногда он кое-кому дает советы в делах купли-продажи. Вот он садится за длинный стол, покрытый чистой клеенкой, и мягко продолжает рокотать:

— Все ли, мужички, у вас исправно? Не случилось ли у кого какая-нибудь оплошность, оказия? В дороге все может случиться, поломаться, порваться. У меня все найдется. Не стесняйтесь, берите. Дам — и денег не возьму. Или телегу, бричку помазать, — пожалуйста, голубы. Мазь во дворе, спросите — все дадут! А нужно что свое домашнее подогреть, сварить, зажарить — тоже милости просим. Отдайте поварам, они это мигом. Можете заказывать все, что вашей душе заблагорассудится. И ковбасы городские и домашние, и вареники наши хохляцкие, и горилки пивляшки всегда найдется. Требуйте, требуйте, будьте как дома! Здесь все для вас.

— Спасибо тебе, Иван Иванович! Покорно благодарим, щиро дякуем! — отвечали обычно мужики и, довольные обходительностью хозяина, раскошеливались: заказывали жаркое, на столе появлялась не одна, а несколько «пивляшек», а несостоятельные, скупые и непьющие наливались до седьмого пота бесплатным хозяйским чаем, заправленным контрабандным сахаринном.

По воскресным дням и в большие праздники из открытого окна хозяйской половины на улицу лились трубные звуки граммофона, собирая под окнами деревенскую ребятню, восхищенно, с открытыми ртами слушающую посвист, гиканье, лошадиное ржание и разухабистую песню «Ехал на ярмарку ухарь-купец». Да, знал Федько мужицкую душу и умел ударить по струнам тщеславия, многовековому инстинкту и какого ни на есть, но все же хозяина.

У безрукого рослые, красивые дети. Пять сыновей и столько же дочерей. Трех сыновей он выгодно женил и отделил, выделив им скот и

инвентарь, а трех дочерей выдал замуж в богатые семьи в другие деревни, не обидев зятьев движимым и недвижимым приданым. Молодые Федьки одевались щеголевато, богаче всех в деревне, умели лихо плясать и отчаянно ездить на самых строптивых лошадях. Их густые русые чубы, на которые они сами часто поглядывали в карманное зеркальце, курчавились у висков, крутыми волнами завивались на лакированные околыши картузов, сводя с ума деревенских красавиц. Даже женатые Федьки, хорошо зная тяжелый и неукротимый нрав отца — бывшего каторжника, уголовника, — боялись и во всем слушались старика.

Жену к делам постоянного двора Федько не допускал, считая это делом не женского ума. Старуха с дочерью жила в одной половине флигеля во дворе. Другая половина была конюховской, где на вбитых в стену штырях висела сбруя, а на жердях — седла. В этом темном помещении, пропахшем дегтем, кожей и кислой овчиной, жили батраки.

Богат Федько, богат. Крупного рогатого скота у него чуть меньше всего общественного стада. Кроме постоянных батраков, на его полях во время сенокоса и уборочной страдавали подростки, парни и девки из деревенской голытьбы, отрабатывая долг или право обмолотить свой хлеб на молотилке Федько. До поздней осени над током Федько стоял высокий столб пыли и дыма: там пыхтел, гоня бесконечный широкий ремень, вращающий трясущуюся молотилку, и пронзительно трижды в сутки свистел черный паровик — чудо техники. С поденщиками Федько в основном рассчитывался товарами из своей лавки — от спичек, соли, мыла и керосина до сатина, сарпинки, дабы, сапог и головок к бродням.

Богат Федько, но мало кто знает, как пришло к нему богатство, а если и знает, то молчит, не показывает виду. Далеко за пределы деревни выходило его влияние. Он был в курсе всех событий, происходивших в уезде, и умел незримо вмешиваться в их течение, всюду ухитрялся незаметно сунуть свою лапу.

Со старшим братом Пашкой дружба у меня не клеилась. Он был сильнее меня, командовал и часто пользовался кулаком, чтобы доказать свое превосходство. Мать часто отвлекала его от школы работой по хозяйству, его интерес к учению постепенно гас, а в ту зиму, когда отец был в тайге и рубил на постройку лес, он и вовсе бросил школу. Осенью уперся и ни в какую не хотел идти второгодником в тот же класс, а отец не проявил должной твердости. Оказавшись первым и незаменимым помощником матери, хозяином во дворе и над скотом, он стал заносчивым и гордым, ходил по двору важный и надутый, помыкая младшими. Радую мать, он вырастал рослым и сильным, лицом и статью похожим на нее, и мать уверовала, что у ее первенца есть все, все необходимое для простого и понятного ей человеческого счастья.

По мягкому характеру мне был более близок младший братишка Вася. Иногда зимой я вместе с ним делал вылазки к постоянным дворам, где, снуя меж саями и лошаадьми, разгребая палками мусор и сennую труху, мы искали разноцветные и глянцево-пустые коробки из-под сигарет, папирос и спичек нашего и китайского производства. Дома, забравшись на теплую печку, мы тщательно сортировали и делили поровну добытое. И тогда затевалась бойкая торговля. Разложив рядком товар на виду, один звонко кричал:

— Спички, таблички, махорка, бумажка!

Другой зазывно выкрикивал:

— Налетайте, разбирайте, по дешевке покупайте! Сигареты «лопато»! Разбивные! Двадцать штук и деревянный мундштук!

Потом мы с ним вместе строили из этих пустых коробок дома, ам-

бары, конюшни — целые хозяйства, располагая их на выступах печки, по обем сторонам трубы. Все, что имели Федько и Панихидько, было и у нас. Даже собаки. Мой двор охранял большой мохнатый паук — пес Микадо. Так назвал своего пса Федько, очевидно, из мести японцам за руку, оторванную в маньчжурских степях. Эта собака — всем собакам собака! Широкогрудый, медлительно-пружинистый, по-зверину статный и до бешенства злой, умный и мстительный волкодав, он был повелителем всех животных своего двора и имел привычку нападать неожиданно и исподтишка. Даже свирепый бугай Федько — разоритель плетней, землянок, гроза ребятишек и зазевавшихся женщин — боялся этого пса. У Васи бегала по «двору» черная, с коричневыми подпалинами на боках и такого же цвета пятнышками над глазами, злая и верткая, словно угорь, сука Найда — полосатый таракан.

Гордостью и утехой наших с Васей хозяйств были лошади, разведенные по коробкам-конюшням согласно своему назначению. Мохноногие, медлительные битюги-звери предназначались перевозить тяжести; шустрые, злые, длинногривые монгольские лошадки — этих куда хочется, под седло или в упряжку. Но особенно дороги и любя были нам чистокровные рысаки — только для хозяйских выездов в город, в гости, для бегов и зимних игрищ. Коробка от спичек без футляра — санки; катушка от ниток — телега; шелуха от тыквенных семечек в зависимости от условий игры — то «американка», то легкий ходок или кошевка. Один таракан, как показывал опыт, не мог тянуть сани или телегу по шершавым кирпичам печи, потому мы впрягали их тройками, что требовало большой ловкости и выдумки.

Самой любимой игрой была подготовка и проведение масленицы. Для гонок масленичных троек мы разгребали на печи тряпки, выбирали место поровнее, укладывали параллельно две рейки-дощечки и по этому коридору, как будто по замерзшему руслу реки, окруженные крикливыми, непонятливыми, но необходимыми в подобных случаях зрителями, мы, изготовившись по команде, пускали своих до того слегка зажатых в кулаке рысаков: кто из них не свернет в сторону и быстрее добежит до обозначенной черты. В пылу азарта, раззадоренный верещанием болельщиков-безлошадников и их оскорбительными репликами, проигрывающий, не стерпев позора, допускал недозволенный прием — припадал к кирпичам и дул вслед своему таракану. Тогда противная сторона для восстановления справедливости прутиком прижимала к кирпичам вынесенного вперед струей воздуха прусака. Это уже был роковой предел, за которым следовал взрыв. Игрок хватал имущество своего противника и безжалостно давил, ломал, комкал все движимое и недвижимое. Летели с печи куски коробок, катушки, ореховая скорлупа. Особо рьяным и веселым неистовством отличались зрители. Быстрыми пальчиками они проворно ловили и давили разбегавшихся тараканов или пятками ловко припечатывали их к кирпичам. Завязывалась потасовка. Визг, вопли. Кто-то кого-то таскал за волосы, хватал за уши, кусал и царапал, пинал, колотил кулаками.

Кончалось это всегда одинаково. Мать стаскивала с печи «больших лоботрясов», отвешивала по затрещине и раскидывала по углам. Потом заставляла разрезать принесенные со вчерашнего вечера из-под сарая (там их целая гора) мороженые и за ночь оттаявшие тыквы, выбирать из скользких и холодных внутренностей на печной лист семечки, а тыквы резать кусками и плотно укладывать в большие чугуны на корм корове. Это была самая неприятная работа. Приходилось сидеть на холодном полу. Стыли до покалывания в пальцах руки, а с печи на нас ехидно взирали заплаканные, но торжествующие и довольные рожицы младших «безрогих иродов».

Иногда к нам забегал повар Покатай. Его редкие посещения для нас, детей, были короткими и радостными праздниками. Старик всегда приносит разноцветные леденцы и, собрав нас вокруг себя, делил их всем поровну: по три-четыре леденца каждого цвета. При этом, чего мы с интересом ожидали, выходило всегда так, что на ладони у него оставалась только одна, чему он притворно удивлялся. а потом, резко ударив кулаком под ладонь, легко, как фокусник, выстреливал ее себе в рот. Этот удивительный трюк забавлял и до слез смешил чумазую братию. Повар был высок, худ, лыс. Его голое дряблое лицо было разлиновано сеткой глубоких и мелких морщин. Высокий голос отличался мягкой женской напевностью, речь плавна, фразы округлены и мягки, как волосяной мячик. Водянисто-голубые слезящиеся глаза струили кротость и детское лукавство. Пахло от него жареным луком, табаком, потом и водочным перегаром.

Кроме леденцов, в карманах старого бесподкладочного коричневого пальто-колокола Покатай приносил книжки с картинками, читал и рассказывал басни, бесхитростные короткие истории и стихи, из которых больше других нравились нам про глупую хвастливую ворону и хитрую лису, а также «Вот моя деревня, вот мой дом родной», и мы до тех пор надоедали Покатаю просьбами рассказывать их снова, пока сами не выучили наизусть. Этот неустроенный, одинокий человек, какими-то судьбами заброшенный в нашу деревню, на постоянный двор Федько, в ту пору напоминал мне доброго, ласкового старика из им же прочитанного стихотворения: «Дедушка, голубчик, сделай мне свисток». Прерывая на самом интересном месте затеянную игру, Покатай спохватывался, наспех прощался, выскакивал из избы и задами убежал на постоянный двор, и мы с затаенной радостью ждали следующего его прихода. Родители тоже привыкли к этому хорошему человеку и делились с ним всеми своими домашними заботами.

В самом конце аллеи тополей, рядом с входом в монастырский двор по левую руку красовался, сверкая террасой и большими окнами, бывший игуменский особняк с мезонином. У его крашеного резного крыльца лежала каменная плита, всегда до того чистая и строгая, что даже мы, босоногие ребята, не осмеливались ступить, предварительно не пошаркав ногами о траву. К особняку со двора лепилась приземистая пристройка, где, вероятно, была кухня и жила прислуга. Теперь в особняке помещалась школа, в пристройке жил учитель, а в мезонине помещался сельский Совет, председателем которого был Иван Голубцов.

Как всем подросткам нашей деревни, мне приходилось каждое лето три дня быть рассыльным при сельсовете. Нетрудно в начале дня влажной тряпкой пройтись по председателскому столу, протереть широкие подоконники, побрызгать и подмести пол, вымыть, если вздумаешь, площадку и узкую крашеную лестницу, огражденную стройными точеными баясинами. Потом принесешь из колодца свежей воды, поставишь ведро в угол на табурет — и делу конец. Хорошо, если за долгий день два раза пробежишь с папкой по деревне, а то с утра до вечера сиднем сидишь у окна, потеешь и зеваешь.

Председатель Иван Голубцов, прервав работу, иногда начнет напевать: «А я мигом через ограду...», и тотчас замолкнет. Терзаешься догадками: а что дальше? через какую ограду? куда? А он начинает песню снова и опять доводит только до ограды. Пройдет немало времени, пока услышишь: «Тенью быстрой пролечу», и опять сядешь, скучаешь.

— Иди, милоч, посиди на ступеньках, проветрись, понадобишься — шукну.

И крыльцо с гладкой каменной плитой не радует. Жара, тишина,

безлюдие. По узкому темному коридору пройду в школу. Те же три ряда парт. Левый занимали мы, средний — второй, а правый — третий класс. Пусто и гулко. Льет солнце через высокое окно, ярко освещая задние парты. Сажусь за свою, каждой трещинкой, каждым выцарапанным словом, каждой чернильной кляксой знакомую парту и откидываю крышку. Взматается облако пыли, клубится и вьется в солнечном свете. Тоску-печаль усиливает не то сердитое, не то жалобное жужжание бьющихся о стекла пчел. Подоконники густо усеяны их скорчившимися трупиками. Я распахиваю одно за другим все окна и выпускаю оставшихся в живых пчел на волю. А потом на пыльном учительском столе многократно пишу пальцем: «Итого». Это проклятое слово крепко привязалось ко мне, и я машинально пишу его где придется и чем придется. Открываю шкаф. Знакомый, на облупленной ножке, покрытый пылью скрипучий глобус, свернутые в трубки таблицы, стопка исписанных тетрадей, бутылка из-под чернил. Словом, тут есть все, что можно найти в шкафу любой бедной деревенской школы. Внизу свернутый лист картона. Я хорошо знаю, что это такое, но все же развязываю шнурок и развертываю лист по полу. В заголовке написано: «Угольная шахта в разрезе».

Как-то зимним вечером отец положил на стол принесенный откуда-то большой лист плотного серого картона и при слабом свете керосиновой лампы несколько вечеров что-то увлеченно чертил и рисовал. По всему его виду, с которым он рассматривал законченную работу, нетрудно было понять, что он очень доволен своим произведением. Позвав меня и брата к столу, он стал объяснять нам устройство шахты, изображенной им на картоне в разрезе. По обе стороны глубокого колодца шли в несколько ярусов горизонтальные штольни, в тупиках которых копошились нарисованные отцом фигурки людей. В низкой норе лежал по пояс обнаженный человечек и кайлил угольный пласт, а от него в сторону колодца полз другой и тянул груженные углем салазки. В высокой штольне понурая лошадь тащила вагонетки. В клетке, словно в бадье, спускавшейся на канате, теснились человечки, и все они на чертеже-рисунке были похожи на отца. Он объяснил нам работу лебедок, устройство шахтерской лампы, как производится сток и откачка воды, и, прикуривая от лампы свернутую сигарку, спросил:

— Ну как шахта?

В школе на уроках мы часто пели: «Вставай, проклятьем заклеименный, весь мир голодных и рабов!» И нам представлялись рабы, сгорбленные, понурые и голодные. Вероятно, поэтому мой брат и брякнул:

— А ты тоже ползал, как раб, на карачках!

Отец поперхнулся дымом, закашлялся и сердито махнул рукой:

— Пошли, балбесы, вон!

Долго сидел он нахмуренный, злой, искоса поглядывая на свое произведение, а затем большими буквами решительно вывел на картоне: «Так было».

Вскоре учитель повесил этот чертеж на классной доске. Я слышал, как, объясняя его третьеклассникам, он с большим уважением поминал имя моего отца, и не только как автора пособия.

Свернув картон и бережно положив его на место, я поплелся наверх и опять долго сидел там, тоскливо глядя в окно, пока председатель снова не сжалился надо мной.

— Сходи-ка, милоч, на протоку да наломай веник. Старый-то, видишь, весь осыпался. Заодно можешь искупаться.

У берега протоки, до самой воды густо заросшего кустарником, на тихой, почти стоячей воде были привязаны к дереву три сплотка. Я знал от отца, что эти бревна должны быть распилены на дрова для школы. У отца было два предмета, которые хранились в горбатом сундуке и к ко-

торым никто, кроме него, не имел права прикоснуться: завернутый в тряпочку двухсторонний шербатый алмаз с фигурной костяной ручкой и большая книга в глянцевом переплете под красный мрамор. Бумага книги была плотная, хрустящая. Листы пронумерованы, разлинованы красными линиями и прошиты толстым шелковым зеленым шнуром, концы которого с внутренней стороны задней обложки залиты коричневым сургучом с оттиском большой круглой печати. На левой стороне развернутого листа было напечатано «приход», на правой — «расход». Внизу страниц под жирной красной чертой значилось: «итого». Возможно, отсюда и запало в мою голову это слово.

Содержанием книги были акты, протоколы и ведомости, а между страниц ее хранились заявления, счета и прочие деловые бумажки комсода, председателем которого из года в год избирался мой отец.

Конечно, и стоящие на протоке сплотки, наверное, были уже как-то заприходованы отцом в этой бережно хранимой им книге. Как председателю комсода, ему каждое лето приходилось заниматься школьными делами — ремонтом помещения и заготовкой дров. В то лето к нам уже не раз приходили пильщики, которые должны были разделать на дрова, завезти на школьный двор и сложить в поленницы эти стоявшие на протоке сплотки, но обе стороны все еще никак не могли сойтись в цене.

Веник я наломал и связал, нес его перед собой, словно букет, но, к моему огорчению, Голубцов даже не взглянул на него.

— Вот что, милоч, — откинувшись на стуле и замыкая ящик стола, сказал он. — Пойдем-ка обедать! А после будешь хозяйствовать сам: кто придет — скажешь, что буду вечером. Если дело срочное, прибежишь за мной. Уходя, запри. Вот тебе ключ. И положишь сюда. — Он показал на щель под окном на лестничной площадке.

Пообедав, я вернулся в сельсовет, прождал председателя до вечера, но он не явился. Как потом выяснилось, он пошел вечером на протоку посмотреть на сплотки, чтобы выбрать три-четыре бревна для ремонта моста через бойкий ручей, вытекавший из нашего озера. Леса на воде не оказалось. Шагнув в воду и глянув из-за высокого кустарника вниз по течению, Голубцов увидел на светлой полосе протоки уплывающие сплотки. Побежал догонять их, пока они еще не успели выплыть на быстрое течение Зеи, догнал и бросился в воду. На заднем сплотке оказался шест. Голубцов изо всей силы уперся им во дно, но нога, содрав каблуком сапога тонкую кожицу сосны, скользнула, заклинилась между бревен и хрустнула, надломившись. Рванув из сапога ногу, он упал. После тщетных попыток подняться Голубцов дополз на коленях до края сплотки и, снова схватившись за шест, преодолевая боль, стал толкать бревна к берегу и кое-как зачалил их за куст.

Долго сидел председатель в кустах грязный, мокрый, оборванный, с опухшей ногой, все высматривая, не хоронится ли где-нибудь вражина, отвязавшая плот. Только на рассвете, опираясь на палку и хватаясь за кусты, Голубцов запрыгал к дороге, где его подобрал ехавший в город с ящиками помидоров односельчанин.

Пока председатель лежал с больной ногой в своей маленькой хатке в два окна, в сельсовете его замещал мой отец. Однако в мезонин, где помещался сельсовет, отец почти не заходил. В первый же день своего замещения он сунул в карман алмаз, линейку, кусок завернутой в мешковину замазки и пошел остеклять школьную веранду. К концу учебного года все стекла на веранде всегда были перебиты. Голубцов неоднократно предлагал заменить их фанерой, но председатель комсода упорно не соглашался.

— Все же это ведь школа, — говорил он и стеклил снова.

Покраской полов в школе он тоже занимался сам. Помню, как для

определения концентрации краски он макал в банку указательный палец и наблюдал за стекающей с него коричневой струйкой. Остаток растирал пальцами, подносил к глазам, разглядывал и даже зачем-то нюхал. Как я заприметил, с кистью он работал с особым удовольствием. У меня малярный ручник топорщился, брызгался, мазал руки, и не только руки. А у него он ходил по дереву ловко, ритмично, как ванька-встанька, наклоняясь то вперед, то назад, размашисто и деловито.

У нас была лодка. Отец сделал ее сам с большим умением и любовью, оснастил длинными легкими крыльями-веслами, покрасил голубой краской, а черной с обеих сторон у носа вывел четко: «Курьер». Красивее и быстрее «Курьера» не было лодки во всей деревне. И ее украли. Исчезли и весла, которые хранились у плетня за хатой. Выяснилось, что ночью старый монах, родственник Панихидько, выволок из хлева самого большого барана, очистил печь от буханок хлеба и скрылся, воспользовавшись нашей лодкой. Барана до реки он тянул за рога, тот упирался, пытаясь вырваться. Вот почему на берегу — там, где стоял «Курьер», — весь песок был истыкан и избороджен копытами. По предположению взрослых, старик у самой воды связал барана и только тогда затащил его в лодку. Но куда отплыл вор, вверх или вниз по реке? Нам было жаль лодки, Панихидько жалел барана и самыми богопротивными словами поносил сбежавшего «брата во Христе».

Кажется, в этот же день к нам на огород, где мы работали всей семьей, запыхавшись, прибежал секретарь комсомольской ячейки Семен Заславцев, отозвал отца, что-то возбужденно сказал ему и убежал. Не промолвив ни слова, отец ушел в хату, быстро вышел с берданкой за спиной, крикнул матери: «Сходи к Дусе Голубцовой, побудь с ней!» — и скрылся за избой в кустах. Мы всей ватагой увязались за матерью. Несмотря на сенокосную страду и еще не позднее время дня, в хатке и маленьком дворике Голубцовых народу набилось полным-полно. Посредине тесной низенькой избышки на широкой лавке ногами к двери лежал председатель сельсовета Иван Голубцов. Прильнув к нему лицом и грудью, на коленях, вся растрепанная, причитая, голосила его жена Дуся. Люди входили, несколько минут молчаливо отдавая дань покойному, и уходили, освобождая место для других. В толпе, во дворе много раз рассказывали и пересказывали историю случившегося.

А было так. Иван Голубцов с женой возвращался на лошадке, запряженной в легкие дрожки, из районного центра. Верстах в четырех от деревни, где по обе стороны дороги раскинулось поле высокой поспевающей ржи, неожиданно впереди появился бородатый человек с обрезами в руках и схватил лошадь за узду:

— Стой! Приехал, гад!

Сообразив, что значит эта встреча на дороге, по которой ни впереди, ни сзади ни души, и не имея при себе оружия, председатель сорвался с ходка и бросился, пригнувшись, в густую рожь. Бандит свистнул — и в тот же момент по ржи наперехват Голубцову выбежали еще два человека. Поняв безвыходность своего положения и, должно быть, желая отвлечь на себя внимание, чтобы спасти жену и своего будущего ребенка, Голубцов бросился обратно к дороге навстречу бородатому бандиуге, во всю мощь легких крича ошеломленной жене:

— Гони, гони шибче!

Подбежали те двое, что выскочили из ржи, и все втроем бандиты вцепились в Голубцова, сбили его с ног. Между тем легкая тележка, окутанная тучей пыли, была уже далеко. Люди, работавшие на сенокосе возле деревни, услышали истошный крик женщины, бросились к дороге и кое-как остановили бешено скакавшую лошадь.

— Спасите! Спасите! — кричала обезумевшая Дуся Голубцова. — Ивана убивают! Там!

Мужики вскочили на коней, прихватив кто литовку, кто вилы, и поскакали. Вслед за верховыми, стоя во весь рост на тележке, погнала назад свою лошадь и Дуся.

Обезображенный труп председателя нашли в ложбине, во ржи, далеко от дороги. Бандиты жестоко глумились над Голубцовым — и над живым и над мертвым. Выковыряли глаза, перерезали горло, вспороли живот, вывалили в земле внутренности и растоптали их. Розыском убийц сразу же по свежим следам занялся отряд самообороны, которым командовал мой отец. Но, зная, у бандюков были покровители и одиномышленники — поиски их на первых порах окончились ничем.

Первого председателя сельского Совета, партизана и коммуниста Ивана Голубцова хоронила вся деревня. Впервые на тихом деревенском кладбище, всполошив ворон и нарушив вечный покой усопших, троекратно прогремел ружейный залп и на холмике свежей земли был установлен не крест, а обелиск, увенчанный красной пятиконечной звездой. Обелиск был сделан отцом.

Темной августовской ночью группа отряда самообороны, которую вел отец, забрела в шалаш к сторожу бахчи. Словоохотливый дед рассказал, что два раза ночами из своего балагана он видел двух незнакомых верховых и указал, куда они оба раза направлялись. Под утро неподалеку от казачьего хутора, в землянке, спрятанной в густом орешнике, были накрыты спящими два варнака. Поодаль на поляне, привязанные на длинных веревках, паслись расседланные лошади, как потом выяснилось, ворованные. В деревне в одном из пойманных, хотя тот был уже без бороды, Дуся Голубцова сразу опознала того, кто вышел на дорогу с обрезом и остановил лошадь.

Обозленные наглými ответами, закирательством бандитов, нежеланием назвать третьего соучастника убийства и попыткой к побегу, мужики приволокли их ночью в кузницу Федько, находившуюся на задах, у самой реки, раздули горн, связали на земляном полу, а потом припечатали им к подошвам раскаленные подковы, вогнав в пятки острые граненные кузнечные гвозди. Одним из инициаторов жестокого самосуда, самым беспощадным кузнецом был наш отец. По дороге в город один бандит умер. А другой все сказал, где искать третьего. Это был тайно перешедший границу старший сын Панихидько. На далеком острове выше деревни, по Зее, во врытой в крутой берег землянке уединенно проживал старый рыбак. Им оказался сбежавший от Панихидько монах. У него-то и скрывался бандит. А нашей лодки не нашли. Как признался старик, на ней спустились к устью Зеи и ночью переправились за границу люди, которых он никогда раньше не видел и не знает, кто они есть такие.

На дворе сыро, ветрено и прохладно. Осень как осень, со всеми ее капризами. Который уже день надоедливо моросит дождь. Тятка с утра во дворе под навесом у своего плотницкого верстака, мать шинкует и укладывает в бочку сочную, хрустящую в жменях капусту, а мы, вооружившись самодельными ножиками, острагиваем толстые волокнистые кочерыжки и лакомимся сладкой сердцевинкой их. Пахнет чесноком и укропом. Каждый увлечен своим делом, и в избе тихо.

Вдруг открывается дверь и на пороге появляется давно не забегавший к нам Покатай. Почти следом за ним вошел отец. Только что севший на лавку повар хотел подняться навстречу хозяину, как тот отстранил протянутую для приветствия руку, твердо нажал ладонью на плечо и усадил старика на лавку.



— Сиди, сиди, голуба! Ну, а теперь Расскажи, жалкий холуй, зачем пришел, что поручили тебе выведать, узнать?

Покатай бессмысленно улыбается, переливчато двигает морщинами лица, ерзает по лавке.

— Да вот до ветру пошел и дай, думаю, забегу, давно ребяенок не видел. Все недосуг, суета проклятая, — кротко и занскиваяще улыбаясь, щебечет повар. — Ты, Федосей, все в отсутствии, а мне, знаешь, неудобно как-то: все же мужчина я, а люди — всегда люди и язык, сам знаешь, без костей, наплетут всякого...

Не дослушав, отец тяжким ударом в ухо свалил его на пол. Повар пронзительно заверещал, дружно, разноголосым хором взревели мы. Тятка крикнул матери:

— Убери детей!

И она поспешно повыталкивала нас за двери. Глазами, полными слез от жалости к своему другу и дикой ненависти к отцу, через заляпанные дождем окна мы видели, как тятка отодрал от дверной ручки пытавшегося выскочить из избы Покатай и швырнул в угол на кучу вилков капусты. Повар кое-как утвердился на коленях и пятках среди раскатившихся кочанов и, обхватив голову, вопил:

— За что убиваешь невинного человека?

— Верно! — прохрипел отец. — Зачем об тебя, гадина, руки пачкать!

Широко шагнул, сорвал со стены берданку, вогнал в ствол патрон, щелкнул затвором. Еще пронзительнее, качаясь из стороны в сторону и нелепо размахивая руками, закричал повар:

— Федосеюшка, милый! Не убивай старика хилого! Прости, дорогой Федосеюшка! Не бери грех на душу! Не...

Мать с каменным лицом и опущенными руками сперва неподвижно стояла у печки. Потом кинулась, на какой-то миг успела опередить и подбить ружье. Навалившись всем телом, вырвала ружье у отца и сунула под печку. Пуля угодила в угол под потолком и пробила среднюю икону.

Бледный, трясущийся от ярости отец опустился на лавку, оперся руками о колени, тяжело дышал. Скользя коленями по грязным капустным листьям и хлюпая окровавленным носом, Покатай жалобно скулил и голый, одутловатой, похожей на тыкву головой тыкался в ноги отцу. Отец отшвырнул его, встал и цыкнул, как на собаку:

— Пошел вон!

Сгорбившись и трясясь всем телом, Покатай поднялся и боком, закрывая воротом пальто-колокола нижнюю часть лица, медленно шаркал к двери и не вышел, а быстро вывильнул из хаты... Потом до нас доходили слухи, что повар к своим обязанностям стал относиться спустя рукава, перекладывал всю работу на молодого китаец, постоянно был пьян, опустился, стал грязен и вонюч, ко всему безразличен и груб с хозяином. И, как этого следовало ожидать, Федько его выгнал. Холодным ветреным осенним вечером Покатай с узелком под мышкой, направляясь в город, вышел за деревню, но не прошел и версты, как продрог и свернул с дороги к скирде соломы, где, укрывшись от ветра, решил согреться глотком из заветной фляжки. Не удержавшись, он перебрал лишку и тут же заснул.

А ночью огромным факелом запылала скирда. Черный и скрюченный труп распространял запах горелого человеческого мяса. Надо было предать его земле, но мужики не хотели не только прикасаться, но даже близко подходить к нему. Отец, уложив в сколоченный им маленький ящик-гробик то, что вчера еще было человеком и носило прозвище Покатай, отvez и похоронил — не за оградой, как рьяно настаивали верующие, а на кладбище. Так закончилась жизнь человека без фамилии и имени. Высказывалось подозрение, что Покатай не сам себя сжег, засыпая, об-

ронив сигарку, а был кем-то убит. На эту мысль наталкивала разбитая голова старика.

За что же все-таки тогда отец избил и даже чуть не застрелил повара? Это мне открылось много позже. Я узнал, что старик, подружившийся с нашей семьей и войдя в доверие к отцу, выведывал у него и передавал Федько планы и решения актива деревенской бедноты. Как-то в беседе с поваром отец вскользь упомянул о поездке Голубцова в район. И эта обмолвка оказала хорошую услугу бандитам. Вина перед другом и его семьей тяжким камнем легла на душу отца.

Той же осенью, когда ударили сильные заморозки, через три дня после расформирования отряда самообороны и сдачи оружия прибывшему из города уполномоченному, ночью к нам пожаловали «гости». Из сеней злобно, не переставая грохать в дверь так, что ходуном ходила изба и дребезжали окна, кричали:

— Отворяй!

В окна, через клочковатые разрывы низких, быстро несущихся облаков выныривал холодный лунный диск, вырывал из темноты фигуры людей у окон и снова прятался. Отец вскочил с кровати, босиком неслышно подкрался и затаился у двери. Слышно было, как ходили за избой и по потолку. Не зажигая света, мать откинула дверной крючок. Дверь резко распахнулась, подул холодной сыростью, запахами прелых листьев и ненастной ночью поздней осени. Из сеней приказали:

— Зажигай свет!

Мать шарила на шестке и в печурке, чиркала спичками. Как только, стоя спиной к двери, она зажгла лампу, в избу ввалились злые люди. И в тот же миг в сенях всплеснулся резкий и короткий вопль. Не предсмертный ли крик отца?

Бандиты, убедившись, что в избе того, за кем они пришли, нет, бросились наружу. Один вернулся и с порога открытой настежь двери, злобно тряся огромным кулаком, прорычал:

— Ну, гады, доберусь я до вас! Не только подкую на все четыре, но и душу вытрясу!

Он выплюнул длинную матерщину и убежал. Нет, видно, не отец кричал, сообразили мы. Он вернулся, приведя с собой товарищей, через несколько минут, но бандитов, как говорят, и след простыл.

Долго я не мог понять, как удалось отцу выскользнуть из безвыходной ловушки. И только три года спустя заехавшему нас навестить дяде Самуилу — своему старшему брату — он, посмеиваясь, рассказал про это.

Когда постучались, отец понял, что пришли за ним. Он нашарил под печкой японский штык-тесак, которым мать скребла пол, и присел на корточки возле стены у двери. Надежда уйти из лап бандитов, окруживших избу, была ничтожная и таилась разве только в беспредельно-отчаянном желании отца во что бы то ни стало вырваться. И это желание напрягло всю его волю, внимание, расчетливую решимость. Как только непрошенные гости перевалили через порог, он ужом проскользнул меж ними в сени, с маху пырнул штыком в живот растопырившегося в дверях сеней бандита и перемахнул через плетень в кусты.

— Если бы сцапали меня возле двери в хате или в сенцах, — говорил отец, — была бы мне крышка, хотя туда попал бы и кой-кто из сволочей. Им в тесноте попробуй разберись, кто свой, а для меня — все гады. Только коли и не промахивайся, — закончил он, сердито прижимая носком сапога брошенный на землю окурок.

Постепенно к крестьянам приходил достаток, а вместе с ним — честолюбивые планы. Нэп взбудрил кулаков, снова дал им пошатнувшуюся

было веру в свое могущество и возможность потянуть за собой крестьян, жаждущих богатства. Вчерашние просто справные, старательные и бережливые мужики становились зажиточными, от успехов самодовольными и стремились породниться с потомственными богатеями. Делились семьи. Деревня быстро разрасталась, пустыри застраивались новыми, добротными дворами. Всю осень и зиму ликующе захлебывались церковные колокола: справлялась свадьба за свадьбой, а то и несколько в ряд, одна богаче другой — в приданом, в длительности кутежей, количестве гостей, выпитого самогона и контрабандного спирта, съеденной пищи.

Сытые тройки обряжали в щегольские, сверкающие медными бляхами сбруи с низко свешивающимися через гнутые оглобли кистями и унизанные бубенчиками, впрягали в легкие кошевки, расписные резные сани, украшали разноцветными, вплетенными в хвосты и гривы лентами. Под дугами, перевитыми ярким шелком, подвешивали заливчатые колокольцы. Тройки бешено носили по деревне шумные пьяные компании мужиков и баб, парней и девок, пугая проезжающих измазанными сажей, орущими черт знает что рожами, вывернутыми наизнанку шубами, диким визгом и ревом охрипших гармошек.

В пьяной одуре мужики предавались диким забавам и развлечениям. Садились, например, парами на пол и, натужно раскорячась, набухая жилами и зверски выкатив глаза, тянулись на кочергах и ухватах. В мутном сознании ядовитой накипью всплывали старые обиды и унижения, вспыхивали ссоры. Дрекольем, топорами, ножами — всем, что попадет под руку, сводили кровавые счеты.

Отец и сын Рудометовы — трезвые мужики, степенные и работающие, — отравленные зеленым змием, для честной компании, потехи ради, каждый раз проделывали варварский фокус. Старик обнажал буйно поросшую спутанными волосами голову и ставил себе на темя круглую чурку, а сын поднимался на крыльцо, высоко взмахивал топором и, утробно ухнув, разрубал чурбан надвое, и половинки его, сделав одновременно сальто в воздухе, красиво падали по обе стороны на землю. Как-то раз, демонстрируя свой номер, будучи больше обыкновенного пьяным, Рудометов-отец водрузил на голову, может быть, не без злого умысла кем-то подсунутый сырой сосновый кругляш. Рудометов-сын взметнул острую тяжелую секиру и рубанул. Мерзлая чурка легко, как стекло, раскололась, и топор, не потеряв страшной силы, по самый обух вошел в голову старика...

Бурьяном и чертополохом разрастались древние инстинкты эгоизма и жадности. Федько приказал своим работникам сделать в протоке реки запруду, поставил к ней сторожа с дробовиком, который запрещал даже ребятишкам не только ловить удочкой рыбу, но и купаться и плавать на лодке.

Многие жители деревни, особенно в зимнюю пору, занимались контрабандой, чему способствовали близкая, слабо охраняемая граница и дешевизна заграничных товаров. Как только Амур затягивался пленкой льда, способной выдержать человека, контрабандисты — взрослые мужчины, подростки и даже женщины — темными ночами переползали на китайскую сторону, где их всегда радушно встречали хозяева лавочек и притонов. Обратное они приносили ткани, галантерейные товары, из которых самыми ходовыми были шелковые шарфы, чулки, платки и шали. Особым спросом пользовались разлитый в плоские жестяные бачки спирт и сигареты. Поэтому контрабандистов чаще называли спиртоносами.

Переход границы производился партиями не более пятнадцати человек, предводительствуемые опытными, отважными, хорошо знающими каждый бугорок и впадину берега, каждую сопку и падь у границы

вожаками-спиртоносами, которым за удачный переход туда и обратно выделялась определенная мзда. Иногда спиртоносам приходилось бегать от пограничников, долго блуждать в сопках, в метель и пургу терять верное направление, выбиваться из сил, сильно обмораживаться, а то и вовсе замерзать. Одежка походная не ахти теплая: ичиги, короткий пиджак — и то жарко.

Но самыми лютыми врагами контрабандистов были не пограничники, которые несли свою службу и поступали согласно закону, и значит справедливо, а так называемые стопорщики — вооруженные бандиты, которые под видом пограничников выслеживали и встречали спиртоносов на обратном пути, верстах в двух от границы. В белых капюшонах они неожиданно выскакивали из кустов и приказывали остановиться, щелкая затворами, чем обычно и обращали бросающих котомки контрабандистов в бегство. Если последние догадывались, с кем имеют дело, и мешкали, не желая расставаться со своим добром, стопорщики стреляли, и не всегда мимо. Бывало, что они договаривались с жожаками-спиртоносами и те сами приводили свою партию к месту засады.

Кое-кому из приближенных Федыко было ведомо, что этот старый волк, выведав у продававшего проводника место и время перехсда границы особенно крупной партии спиртоносов, созывал сыновей и давал команду: «А ну, сыны, седлайте коней да гайда!» — и сообщал им план ночной операции. Молодые волки доставали из тайников оружие и скакали к границе, а к утру возвращались домой с богатым кушем.

Бывало и так, что, рыская в отдалении от границы в поисках спиртоносов-котомщиков, сталкивались стопорщики разных пограничных деревень, но всегда согласно «этике» зверей-хищников и бандитов мирно расходились. Знали ли спиртоносы своих грабителей, на которых при своем противозаконном занятии не могли найти управы? Ночь темная, маскировочные халаты-балахоны, как снег, белые. Попробуй отгадай, кто это? Но если случалось, что какая-либо партия спиртоносов с одним и тем же жожаком два-три раза натыкалась на стопорщиков, то эти жожаки вдруг куда-то бесследно исчезали. А весной Амур, взломав лед, выносил их разбухшие, изуродованные трупы.

Были контрабандисты, которые действовали с большим коммерческим размахом. Проскакивая границу на подводах, они сбывали за рубежом оружие, ворованных лошадей, николаевской чеканки деньги, опиум и даже деревенских доверчивых дев. Таких маститых, вооруженных до зубов спиртоносов стопорщики не трогали, боялись.

Спиртоносов легко можно было узнать по одежде. Зимой они носили широкие шаровары с напуском на дважды подвернутые ичиги или валенки, короткий бушлат да лихо сдвинутую на выпущенный чуб финскую шапку. И еще кушак. Кушак спиртоноса — это своеобразный знак отличия, свидетельствующий, так сказать, о его ранге. Если кушак шелковый, яркой окраски и длины в девять—двенадцать метров — спиртонос высшего класса, своего рода ас. У торботников и прочей шушеры кушаки были хотя и яркие, но сатиновые, значительно короче и шириной только в полполосы ткани. Завязывался кушак по традиции после несчетных оборотов выше бедер плоским узлом впереди, метровые концы отводились к бокам, пропускались под навернутую ткань и свободными концами спускались до колен. Когда такой ухарь шел — концы кушака в такт танцующей походке мотались по сторонам, ударяясь и отскакивая от колен. Это считалось шиком и отвечало известному: «Не идет, а пишет».

Мать тоже скоро поддалась соблазну легкой наживы, и в зиму, когда отец был далеко от дома, в тайге, Пашка не без ее ведома ходил на ту сторону. С тех пор он стал тайно курить и пить водку, хотя сам был еще не велик в перышках — всего одиннадцать годков.

После Голубцова председателем сельсовета стал Мальцев — человек саженого роста, тоже бывший приамурский партизан, тот самый чернявый дядька, который когда-то увел отца в свой отряд. Иногда, обычно по вечерам, он приходил к отцу под навес, где тот плотничал и столярничал, и они часто спорили, кричали, ругались, чуть не берясь за грудки. Отец обвинял председателя в мягкотелости, в попустительстве кулакам, боязни пустить против них власть острой стороной лезвия, как он говорил, и, возмущаясь разоружением отряда самообороны, при котором ему пришлось сдать свой наган, называл некоторых районных руководителей не иначе как изменниками делу революции. Мальцев же, урезонивая отца, обвинял его в том, что он хочет идти вразрез с новой экономической политикой.

Как известно, не было такой старой деревни, где не жил бы свой дурак.

Первым дураком в нашей деревне считался бессменный пастух общественного стада старик Дудуду. Его именем, ставшим нарицательным, пугали детей. Ни одного прощелыгу не унижали так, как этого чудака-неудачника. Когда-то деревенские парни-зубоскалы просто так, для потехи, начинили козью ножку вместо табака порохом и любезно предложили проходившему по улице вечером со стадом охочему до чужого курева пастуху. Не успел тот, поощренный редким доброжелательством, молча и сосредоточенно затянуться, чтобы дать оценку качества курева, как сигарка в его губах взорвалась, пламя охватило лицо, запалило бороду и усы. Насмерть перепуганный пастух волчком вертелся на месте, мотал головой и, сбивая руками пламя, что-то невнятно кричал, дул, и выходило бессмысленное «ду-ду-ду», а парни, довольные удавшейся шуткой, покатывались со смеху. С тех пор даже для сопливых шкетов пастух стал придурком Дудуду. На самом деле это был доверчивый, мягкий в обращении даже с малыми детьми старик, вся «дурость» которого выражалась в непроходящей любви к певчим птицам, природе и музыке, что считалось среди крестьян верным признаком умственной неполноценности.

Каждое утро сквозь сладкий полусон-полуявь мне слышалась переливчато-печальная мелодия его рожка, созывающего скот в стадо. Это значило, что мать уже подоила корову и сейчас станет будить меня, чтобы гнать буренку со двора в общий гурт... Зимой Дудуду мастерил и продавал молодежи звонкие балалайки. Мастерски, неподражаемо играл он не только на разных народных инструментах, но удивлял и приводил в восторг бесподобной игрой и на таких предметах, как ложки и бутылки. Любимым инструментом все же у него была балалайка. Чего только она у него в руках не выделявала! Разговаривала, пела, не переставая звучать, вертелась вокруг головы, проскальзывала меж ногами, тренькала под мышкой и за спиной, а он приплясывал в такт, прищелкивал языком и выделявал удивительные коленца.

Жил старик Дудуду со своей старухой и взрослым молчальником сыном, прозванным людьми Полмонахом, в ветхой избушке на краю деревни. До закрытия монастыря Полмонаха жил там, выполняя обязанности скотника, а кроме того, по собственной просьбе и разрешению игумена стажировался на колокольне у звонаря-пьяницы, перезвон которого, примитивный и надоедливо однообразный, мальчишки копировали скороговоркой «Штаны-драны-полотняны».

Полмонаха, как и его отец, имел душу музыканта, и если на первых порах его звон был подражательным, то потом, освободившись от манеры своего незадачливого учителя, он стал разыгрывать на колоколах сложные вариации, где основная мелодия разнообразилась колокола-

ми — подголосками и басами. Раздавались первые удары благовеста, и крестьяне, за какой бы работой ни находились, оставляли ее, наклонив голову, прислушивались и узнавали по звону, кто находится на колокольне. Вот средний колокол надоедливо, навязчиво и упрямо требует: «Отдай долг! Отдай долг!» А маленькие, захлебываясь в подхалимском трезвоне, как стая шавок, набрасываются, пугают, предупреждают: «Живы будем — не забудем, живы будем — не забудем». Самый же большой размеренно бухал, урезонивая гудел: «Да будет вам, за-чем болтать! Да будет вам, и так отдаст!» Под праздничный звон Полмонаха можно было плясать, однако он не выдержал испытаний на звонаря. Слишком в его звоне много было веселого, мирского.

С ранней весны и до глубокой осени Полмонаха ходил босиком, с непокрытой головой, в заплатанных холщовых штанах и длинной рубашке навыпуск. Деревенская ребятня, завидев его через плетень во дворе, на огороде или в поле, не пропускала случая подразнить: «Полмонах в рваных штанах!» — на что тот не обращал никакого внимания...

В аккуратной, крытой соломой и ровно подстриженной веселой хатке, летом утопавшей в зелени садика, цветах и трудовом пчелином гудении, бездетно проживал с женой украинкой Демьян Колесов — мужчина средних лет и среднего же роста, плечистый и крепко сбитый, со смуглым лицом и черной цыганской бородой. Жил он ни бедно, ни богато, но все у него было добротное, лучшего качества — две одинаковые, как близнецы, крепкие саврасые лошадки, свой пароконный железный плуг, телеги и весь инвентарь — ладные, покрашенные. Ехать с Демьяном — удовольствие, душа поет и сердце радуется. Да и со стороны смотреть красиво. Лошадка идет шустро, едва покачивает широкой, чуть наклоненной вперед дугой, тяжи тросиковые, как струны, натянутые, задние колеса след в след катятся за передними и слегка на неровностях дороги поклацывают втулочными тарелками.

Двор у Демьяна чистый, ровный. Он первый в деревне вырастил небольшой фруктовый сад и ягодник, завел пасеку. Из всех крестьян деревни он один выписывал журнал по сельскому хозяйству и пчеловодству, а с огорода, значительно меньшего, чем у других, собирал небывалый урожай овощей. И все же, по общему мнению, он тоже был чудилой, потому что все делал не так, как другие.

В пургу и метель он растаскивал и ставил в разные положения секции разборного забора, и глядишь — за зиму на его огороде наметет, надует огромный курган снега. В сухую весну у соседей комьями ложится из-под лемеха земля, ударь носком сапога земляной ком — и он разлетится облачком пыли. А у Демьяна влажная, жирная земля вздувается под плугом волной и рассыпается зернистой кашей. Люди ставили на огороды устрашающие птиц размахивающие рукавами пугала, а Демьян, наоборот, утыкал весь двор шестью со скворечниками.

Наш покос был рядом с покосом Демьяна Колесова. Когда надвигающаяся туча угрожала проливным дождем, мы помогли ему копнуть собранное в валки сено или завершить зарод. В подобных же случаях и он с женой прибежал к нам. Отец относился к нему с уважением, особенно после того, как Колесов первый отвез в фонд голодающих два воза зерна, картофель, сушеных фруктов и меда, и все же недолюбливал его за то, что на своих лошадках он мог помочь безлошадному, но чтобы хоть на час дать кому-нибудь лошадей — боже сохрани!

Как-то обвалилась под крышей глина на углу нашей хаты и обнажились обитые лозой доски. И случилось так, что прокарауленный кем-то рой пчел облепил как раз этот угол хаты, через щели проник внутрь и начал там свою трудовую жизнь. Отец решил переселить пчел в улей,

смастерил его, купил соты и для переселения пригласил Демьяна. Я издалека наблюдал, как Колесов, надев волосяную маску и окропив венником жужжащий рой пчел, сгребал их в сито и переносил улей. Когда начались заморозки, отец отвез улей к Колесову в подвал, Колесов определил, что корма пчелам хватит до весны. Конечно, он проверял пчелиные семьи и должен был заглянуть в наш улей, но, видимо, не сделал этого, боясь, что отец попросит у него меда, чтобы дотянуть до весны. Когда же отец поинтересовался пчелами, они уже были мертвы. Слова не сказав Колесову, он повернулся и пошел со двора. Колесов бежал следом, ругал себя за недосмотр, предлагал свой улей. Отец только рукой махнул:

— Ладно! Как пришло, так и ушло.

При всей своей хозяйственности Колесов был большой любитель всяческих озорных забав. Бывало, после первых холодов и снегопадов с оравой ребят он очищал от снега на реке большой круг льда, вырубал в нем лунку, вмораживал вертикальный гладкий кол, насаживал колесо, укреплял на нем жердяную крестовину, и «чертово колесо» — веселая потеха не только малышей, но по воскресным дням и молодежи — вертелось всю зиму.

Такие забавы особенно роняли его в глазах степенных мужиков.

И стар и мал в деревне звали его просто Демьяном, а так как Демьянов в деревне было несколько, к имени обычно прибавлялась кличка — Демьян «Собачий Дразнила». Эту кличку он заслужил своей странной привычкой собирать вокруг себя и злить собак. Обычно, выйдя из своих ворот, Демьян диким кошачьим мяуканьем выманывал к себе из соседнего двора собаку. Другие уже сами выбегали из дворов с нейстовым лаем. Так, окруженный живым кольцом все увеличивающейся стаи разномастных и разновеликих псов, Демьян передвигался по улице, цыкая, улюлюкая и рыча. И что удивительно: ни одна собака не осмеливалась броситься на него, все ограничивались остервенелым лаем.

Мужики объясняли это колдовством Демьяна. Иногда действительно было похоже, что он прибегает к гипнозу. Укрощая злую, строптивую лошадь, Демьян решительно подходил к ней спереди, не дойдя нескольких шагов, страшно гаркал, от этого крика лошадь начинала бить мелкая дрожь, голова ее опускалась, уши свисали, и тогда с ней он мог делать что угодно.

Немало перетерпел издевок от своих односельчан и огородник Ильюша Рузин, живший со своей большой семьей по соседству с Колесовым, в приземистой избе, с низко нахлобученной на маленькие окна, словно обшарпанный малахай, соломенной крышей. Сам «голова семьи», как он любил себя величать, был очень подвижный, точнее сказать, суетливый и не в меру крикливый маленький, шупленький рыжий человек с характером бойцового петуха. Как только ни смиряла его жизнь, все оборачивалось так, что, куда бы и как бы он ни «кинул», неизменно получался «клин».

Несчастья подстерегали Рузина на каждом шагу. Когда в деревню пришли японские оккупанты, Ильюша спрятался в погребе, хотя никто и не думал искать его, а когда подвальное холодное и темное одиночество надоело ему и он решил вернуться в хату, случилось, что как раз в это время к его ограде подходили японские солдаты. Не надеясь добежать до погреба, он шуганул в привезенный накануне женой и сваленный посреди двора воз сена. А японские солдаты как раз пришли за сеном. Накладывая сено из кучи на веревки, один из них воткнул вилы в бедро Рузину. Тот по-заячьи закричал, японцы выволокли его на свет и так крутанули правую ногу, что бедняк от боли лишился чувств. Потом

его избили да еще заставили с вывернутой ногой волочить свое же сено на постоялый двор к Федыко. Оккупантов прогнали. Нога зажила. Но с тех пор он стал косолап и хром, ходил с креном на правый бок, походкой, известной под названием «рупь двадцать».

Ехал однажды Рузин с ящиками помидоров ночью к перевозу, чтобы поспеть утром в числе первых в город на базар. Верстах в трех от деревни дорога шла у крутого берега реки. Уснувшая лошадь едва плелась, правые колеса телеги выписывали кренделя по самой кромке обрыва. А Рузин сам сладко дремал, привалившись спиной к ящикам в правом углу телеги. Заднее колесо вильнуло, обрушило кромку берега, телега накренилась и загромыхала с обрыва в реку, увлекая за собой лошадь. Рузин кое-как выбрался на берег, а лошадь, скованная упряжью, утонула. Председатель сельсовета Мальцев вместе с пострадавшим ходил к командиру воинской части, находившейся недалеко от деревни, и рассказал о несчастье Рузина. Обрато они вернулись с доброй лошадью, «выбракованной», зная, по этому случаю.

Но и эта лошадь недолго продержалась у Ильюши. Им владела необъяснимая страсть менять лошадей. Каких только у него их не перебывало!

Была у него присказка, употребляемая по любому поводу, то нежно и ласково, то кратко и грубо, как тяжкое ругательство: «Коты его ба». Когда-то она произносилась: «Коты б его батьку съели», но потом сократилась. Едет Рузин — телега каждой своей дощечкой дребезжит, сбруя веревочная, в узлах и сшивных рубцах. Лошадь плетется кое-как, запряженная косо, отчего сама идет по дороге, а телега выделяет «кордебалеты» по обочине. Смотреть тошно. Низкая, как коромысло, дуга склонилась назад и почти лежит на седелке, веревочные тужи провисли и болтаются. А хозяин непрерывно вертит пропеллером вожжи, цокает и погоняет: «Но! Но! Но! Да но же, коты его ба!» — и снова через секунду: «Но! Но! Но! Да но же, коты его ба!»

Привыкнув к этому назойливо-однообразному понуканию, самые резвые и уносливые кони начинали едва переставлять ноги.

Петушинный характер Рузина выражался главным образом в частушках или злых рифмованных дразнилках, которыми он откликался на все деревенские события и которые его ребятня моментально разносила по всей улице. Богатый, угрюмый и нелюдимый мужик Пидтока открыл как-то лавку мелких хозяйственных и скобяных товаров, посадил для охраны свирепого пса, но не сумел устоять в конкуренции с владельцами постоялых дворов, свернул коммерцию, и вскоре в каждом доме знали рузинскую дразнилку:

Пидтока-сорока заскочил высоко,  
Пидтоци в лавке докука-морока,  
В трубу пролетел Пидтока до срока.  
Где была Пидтокина лавка —  
Там теперь тики собака гавка.

Полной противоположностью Рузину была его жена Анна — женщина огромного роста, богатырского телосложения и силы. Как большинство физически сильных людей, она была флегматично-медлительна и молчалива, терпеливо переносила все несчастья бедняцкой жизни, билась в нужде, как рыба об лед. Рано обремененная оравой детей, замордованная тяжелой работой, она очерствела, стала угрюмой и депотичной. Да к тому же надо было иметь глаз да глаз, чтобы еще уследить, как бы муж где-нибудь не напился и не ввязался в драку, и всегда на свою голову. Когда это случалось (а случалось нередко), Анна являлась к месту драки, расшвыривала собутыльников и, вызволив



основательно побитого Рузина, волокла его домой. Чтобы окончательно урезонить распалившегося куражливого муженька, она одним ударом кулака валила его на пол. В тот же момент, как грачи, налетали на него дети, стаскивали обувь, сдергивали одежонку. Анна хватала раздетого мужа, словно щенка с пола, и швыряла на кровать. Ребятишки забрасывали побитого отца одеждой, а он, замусоленный размазанными пьяными слезами, жаловался на свою несчастную «планиду», находя горькое успокоение в финальной фразе: «Як ты Ганна, то ты гарна, а я, бидный Рузин, никому не нужен», — предельно выражающей житейскую покорность судьбе, жене, обстоятельствам...

Как все одноулочные деревни, наша имела два порядка дворов, за которыми тянулись огороды. Только в самой середине деревни, где улица крутой дугой изгибалась к реке, был один порядок дворов — в сторону реки, а огороды лежали через дорогу, занимая место второго порядка.

Несколько раз на сходках крестьяне выносили решение отвести дворы от берега на новый порядок, чтобы можно было застроить вторую линию улицы. Но этому постановлению два года, ссылаясь на занятость на полях, и нехватку рабочих рук, и большие расходы, оказывали яростное сопротивление Федько и Панихидько, дворы которых стояли на изгибе берега. Наша хата тоже стояла на изгибе, и для нас переселение на новое место представлялось делом не менее трудным, но отец, одержимый ненавистью к соседям-кулакам, первый требовал выровнять улицу и оказывал все свое влияние на Мальцева и деревенский актив, чтобы не тянуть дальше, а к следующей осени переселиться.

Вместе с другими мужиками, которым предстояло переселяться, отец взял у государства ссуду и выхлопотал ордер на рубку в тайге строевого леса. Перетаскивать на новое место нам все равно было нечего: халупа, в свое время сколоченная и слепленная из горбыля, досок, соломы и глины, при прикосновении лома и топора рассыпалась бы. И родители решили, что если уж строить, то не ка-нибудь, а основательно, из хорошего материала и надолго, для детей и внуков, пока еще не стары и позволяет здоровье...

Санним путем отправились мужики вверх по замерзшей Зее в тайгу.

Наступили лютые холода. Днями улица дымилась свирепым морозом, а по ночам трещали деревья, гулко и раскатисто ухал на реке лед. Зима осатанела, как будто решила убить, заледенить все живое. Углы избы промерзли, обметались снегом. Окна и двери больше обычного обросли шишковатым льдом и густо парили. Утрами и вечерами Пашка вводил в избу съезжившуюся, закурчавившуюся инеем корову, и та от двери сразу жадно набрасывалась на теплое пойло из вареного картофеля, тыквы и жидко разведенных отрубей, поставленное посреди хаты в большой лохани. А я с пустым старым ведром занимал сторожевое место и внимательно следил за движением ее хвоста, чтобы не прозевать момента и вовремя подставить посудину, когда корова, освоившись и разогревшись, поведет себя недостойно. Пока корова ела, мать успевала ее подоить, насухо вытереть, смазать гусиным салом соски, и затем Пашка снова вводил ее в холодный баз.

В январскую стужу из тайги за продуктами, овсом и каким-то снаряжением для вывоза леса вернулся отец. На следующий день должен он был отправиться обратно. Наступил вечер, один из тех зимних вечеров, о которых остается память на всю жизнь. На стене горит лампа, жарко топится плита, на печке тепло и уютно, а на улице темнота и стужа. На душе довольство, умиротворение. Тятка ушел к Мальцевым, мать чистит картошку у плиты. Почему-то отец быстро вернулся, молча

снял со вбитого в стенку у двери костыля сбрую и вышел на улицу. Уж не задумал ли он ехать на ночь глядя? Тут же он вернулся, не раздеваясь, сел на лавку и обратился к матери:

— Собери, мать, детей. Пойдем в школу. Пашка, наверное, уж запряг Голубка.

— Тю! Да ты шо, сказался, чи шо? Такой мороз! Да и зачем? — удивилась мать.

— Очень надо, мать, надо,— и еще добавил тихо и серьезно что-то, чего из-за шумной поросычьей радости мелюзги я не расслышал.

Мать без слов отодвинула горшок, вытерла руки, сдернула с печи подстилки и вместе с отцом стала завертывать малышей — сестренку и братишку. Крест-накрест перевязали их полотенцами, вынесли на улицу, уложили в сани на разостланный поперек сена тулуп, запахнули полами, еще раз перекрестили длинными и широкими рукавами, закрыли козырьком большого воротника.

Ребятишки, переживая неизведанное, вели себя смирно, радостно поблескивая глазенками. Еще бы! Не каждому в их возрасте выпадает счастье ехать на лошади, да еще зимним вечером, вместе с родными. Придя в дикий восторг, я проявил необычную расторопность. Мигом натянул ичиги, влез в пиджак, нахлобучил шапку, выскочил во двор, несколько раз обежал вокруг саней и лошади, прицеливаясь, где бы выбрать самое удобное место, и наконец забрался в сани. На темно-синем звездном небе ярко светила луна. Холодно. Мороз щипал за щеки и ноздри, в носу щекотало. Ехали быстро. Из-под саней стремительно бежали назад, мерцая серебром, узкие ленты следов от полозьев. Пахло лошадиным потом, лежалым сеном и морозной пылью.

Во дворе школы стояло уже несколько подвод. В классной комнате, показавшейся мне очень большой и чем-то необычной, на длинных скамьях, тесно установленных вместо парт, спинами к входу, в верхней одежде сидели мужики и женщины, а напротив, у стены, стоял покрытый кумачом стол учителя, на котором горела десятилинейная лампа. Нас усадили на первую скамью. Только тогда мелькнула у меня мысль: «Зачем мы приехали в школу и эти люди тоже?» И я легко нашел ответ: «Конечно, на собрание похоже, по ликбезу, потому что много женщин».

Часто хлопает дверь, вздрагивает и мечется в лампе пламя, по стенам движутся, перебрасываясь на потолок и непомерно увеличиваясь, ломаные несуразные тени. Скоро мне надоело сидеть. Я встал, повернулся и стал разглядывать сидящих и входящих людей, среди которых нашел своих дружков-одноклассников, и едва сдержался, чтобы не загорланить: «Айда сюда!» Но вовремя спохватился, так как почти рядом, возле окна, сидела, согнувшись, зажав между коленями ладони и низко опустив голову, наша учительница Любовь Егоровна — высокая, русая, коротко стриженная, с узкими плечами и тонкой шеей девушка.

Люди входят, рассаживаются у стен на полу. Комнату заполняет глухой многоголосый говор и дым крепчайшего самосада.

Наконец за столом появляется председатель сельсовета, и шум медленно затихает. Лицо Мальцева необычно, на нем усталость и страдание. Воротник гимнастерки распахнут, волосы взъерошены. На скулах перекатываются желваки, под щетинистой кожей поршнем ходит кадык.

— Товарищи! Крестьяне и крестьянки! — откашлявшись, сказал он и, бросив взгляд на переднюю скамью, добавил: — И дети...

Взрослым я неоднократно вспоминал и по-новому переживал подробности того далекого январского вечера, навечно запечатленного цепкой детской памятью. Тогда меня вначале удивляло поведение Мальцева, и я, пытаясь его как-то объяснить, вопросительно глядел на мать.

Она вся выпрямилась, плотно сжала губы, в напряженном лице и широко открытых глазах — мучительное ожидание... В тишину обширного класса после длительной паузы сокрушительным обвалом падают на головы людей слова:

— Умер Ленин... Владимир Ильич...

Опромной тяжестью придавившая всех весть, как из единой груди, выталкивает не то стон, не то сдавленный крик. Из полузакрытых глаз по скуластому лицу Мальцева текут слезы. Люди поднялись и плотной стеной стоят, склонив непокрытые головы, сурово сдвинув брови, недвижные, как каменные изваяния. Умер Ленин... Голова учительницы еще ниже склонилась к коленям, ее худые плечи дергаются от беззвучных рыданий.

— Ленина нет с нами...

Примостившийся на подоконнике Демьян отвернулся и смотрит через окно в темень, как будто там что-то хочет разглядеть и для этого протирает глаза.

— ..Отдал жизнь за рабочих и крестьян, за всех трудящихся, чтобы не забитой и темной, а свободной и светлой была их жизнь на земле, чтоб дети наши не голодали, не мерли, а были здоровыми, счастливыми и все учились... — бередил душу Мальцев.

И тогда из темного переднего угла шагнул к столу прямой и суровый избач Семен Заславцев и громким прерывающимся голосом зашел: «Вставай, проклятьем заклейменный!..» Сразу же к нему присоединилось несколько молодых голосов, а еще через секунду — только чтоб успеть глубоко вдохнуть — мощным шквалом грянуло: «Весь мир голодных и рабов».

Кожа на голове немела, по спине пробежали мурашки, перехватывало дух.

Много лет прошло, много событий совершилось в мире после того январского вечера, но то, что я видел, слышал и переживал в классной комнате сельской школы, буду помнить до последних дней своих. И спасибо отцу, что пренебрег детской несмышленостью, привез нас в тот холодный вечер в школу и какой-то, пусть малой, частицей нашей жизни приобщил к огромному общечеловеческому горю. Мы видели горячие слезы бородатых людей, которые плакали, может быть, впервые в жизни.

С той поры отец все чаще и настойчивее стал заводить разговоры о переезде в город и работе на заводе. Мать же, напуганная двадцать первым годом, всеми силами противилась намерению и доводам отца, упирая на то, что жизнь в деревне налаживается и потому, она утверждала, от хорошего нечего искать хорошее.

С детских лет приученная к крестьянскому труду, к уходу за скотом, птицей и всем, что связано с двором, пашней и огородом, она не мыслила жизни без поля, без хозяйства. Что ей делать в городе, к чему приложить руки? На какие средства прокормить ораву детей? Даже горсти семечек не будет своих. Все надо купить на базаре. А в деревне все свое. Такова была ее несокрушимая логика. Но больше всего, мне кажется, она боялась, что с переездом в город она лишится привычного труда и привычных обычаев деревенской жизни. И еще радости, понятной только крестьянам, — взять полную горсть вспаханной, распаренной весенним солнцем сырой черной земли, размять в ладонях. Ощутить ее терпкий запах, погостовать, оберегать зеленые ростки, любоваться на их гудящее пчелами цветение, а позже, как близкий итог своего труда, осторожно подставить ладони и ощутить тяжесть и прохладу созревающего плода...

Весной, пока отец был в тайге на заготовке леса для новой избы, члены ТОЗа — товарищества по обработке земли — вспахали и засеяли наше поле. Огород тоже вспахали, у самого двора перегородили жердями дорожку. Плуг только слегка поцарапал ее твердую, как камень, уграмбованную поверхность. Мы ждали, часто бегали на берег протоки — вот-вот должен приплыть с товарищами отец.

Заколов десятипудового борова (о чем было широко оповещено по всей деревне), Панихидько несколько раз организовывал себе «помогу», щедро угощая участников «мирского дела» сытной едой, а вечером — по горло самогоном, чтобы каждый, выходя из-за стола, доставал ухом землю. Так, почти задаром, он перебрался на новый порядок.

Федько же, наперекор всему, оставался на старом месте и оказался с обеих сторон отрезанным от дороги. Попасть к нему теперь можно было только вдоль его же огорода. Проезжие останавливались у Панихидько, отчего у Федько не стало сна. Всем было ясно, что безрукий долго не вытерпит блокады и выкинет какой-нибудь фортель. Так и случилось.

Весной бог весть откуда в деревне появился огромного роста корявый матрос и прижился на постоялом дворе у Федько. Вечерами с Данилкой Федько и его дружками, раскачиваясь и путаясь в широких штанинах клеша, он бродил по деревне, распугивая собравшиеся где-нибудь у плетня на бревнышках стайки девчат, задирая парней и, проходя по деревне впереди всей компании, расхлестывал улицу непристойными песнями. Его мясистому языку за широкими желтыми зубами было тесно, матрос ворочал им тяжело и медленно, выдавливая из сипящей глотки мерзкую ругань и похабщину. Вылив залпом себе в рот стакан неразведенного спирта, шумно выдохнув и крикнув, он произносил всегда одну и ту же фразу: «Чужим спиртком всех угощаю, кому я должен — всем прощаю», что неизменно вызывало у его свиты ропот подбострастного восхищения.

Как-то вечером матрос вышел на старую дорогу, рыча и сквернословя, разрушил преграждавшую ее жердяную загородку, расшвырял жерди и доски и стал через наш огород гнать всех проезжающих к постоялому двору Федько.

Наскоро сбитую Пашкой вечером загородку рано утром матрос снова разрушил и выпустил подводы. Вечером повторилось то же. Мать со двора криком ругала, совестила и грозила найти на него управу, но матрос молча сотворил свое дело и проковылял к Федько.

А на третий день в полдень в протоку вошел и прибил к берегу долгожданный плот. Первым делом мы рассказали отцу о событиях последних дней, а потом нетерпеливо ожидали вечера и боялись, что матрос вдруг не придет. Но вечером матрос, выписывая замысловатые вензеля, снова направился к нашей злосчастной загородке. Мы стремглав вбежали в избу и наперебой закричали:

— Идет матрос, идет! Вон уже подходит!

Отец приказал нам не орать и уходить прочь, а сам вышел во двор и, навалившись на плетень, стал наблюдать за пьяным. Тот, видать, заметил во дворе мужчину, на секунду остановился, потом, нагнувшись, боком пошел к ограде и так саданул ногой в верхнюю жердину, что та, вертясь и жужжа, далеко отлетела и шлепнулась на огуречные грядки.

— Что делаешь, негодяй! — закричал отец, перепрыгнув плетень и приближаясь к буяну.

Пьяный матрос широко расставил ноги, прищурил заплывшие глаза, скривил рот и прошипел:

— Алле-ша, ша! Держи полтона ниже! — И крикнув: — По-лундра! — выбросил руку с растопыренными вилкой пальцами в глаза батьке.

Дальше все произошло невероятно быстро и ошеломляюще. Отшатнувшись назад и вправо, отец сцепил обе руки и обрушил на матроса усиленный движением всего корпуса страшный удар. Верзила в клеше тяжело рухнул на землю, стал было подыматься, но новый удар, такой, что у него сильно лязгнули зубы, опять опрокинул матроса. Налившись яростью, он перевалился набок, скрючился, выдернул из-за пояса финский нож, встал на колено и сжался уже для молниеносного прыжка, но ударом ноги отец выбил из его руки нож и опять уложил на землю. Отец был уже невменяем. Он бил матроса ожесточенно и молча, хищно оскалив зубы, тяжело дыша.

Опомнившись или просто устав, последний раз пнул его ногой:  
— Вставай, подлюга! Умел ломать, умеи и загораживать!

Страшный и жалкий сидел матрос на земле, широко разведя ноги, и вытирал рукавом бушлата окровавленное лицо. Больше в нашем переулке он не показывался.

Однажды в конце августа я со своими друзьями Ванькой Заславцевым и Андрюхой Мельниковым в прибрежных зарослях лазали по диким яблоням и лакомились их кисло-сладкими плодами. Вдоволь наевшись и набив оскомины, довольные, мы возвращались домой. Вдруг Ванька рванулся вперед и с криком: «Чур на одного!» — схватил пустую водочную бутылку. Подфартило дружку. Посудину Ванька, конечно, обменяет в лавке на настоящие рыболовные крючки и будет перед нами задаваться. Чуть только тронулись дальше, как Андрюха кинулся в сторону и схватил новенькую, с красной этикеткой консервную банку. И ему повезло. Если к баночке приделает проволочную дужку, получится хорошая червячница. Меня распирала зависть, хотелось тоже что-либо найти, и — о счастье! — из травы на полянке подмигнул мне звездный солнечный зайчик, скользнувший, несомненно, по бутылке. Не спуская глаз с места, где спрятался зайчик, я что есть мочи рванулся к нему. Увидел бутылку, победоносно заорал о находке и с налета ударился головой обо что-то тяжелое.

На ремешке, привязанном к высокой развилке яблони, раскачивалось огромное тело матроса. Склоненная к плечу голова дразнила толстым синим языком. Босые синие ноги с квадратными выпуклыми желтыми ногтями на пальцах высывались из раструбов клеша, низко проплывая надо мной. Внизу, у ствола яблони, лежала сложенная верхняя одежда матроса, с бескозыркой и широким ремнем наверху. Вокруг — остатки пиши, клочки бумаги...

Никогда в жизни не бегал я так легко и стремительно, как в тот раз. Сила ужаса вихрем подхватила и понесла меня сквозь колючие кусты, кочки, рывины и ямы, перешвыривала через плетни и заборы. Я летел, не касаясь земли, не чувствуя ног. Ворвавшись в хату, упал на лавку и долго не мог выдать из себя ни слова, ни звука. Перепуганная мать достала из подполья хорошо известную мне большую черную бутылку со святой водой, набрала в рот, трижды окропила и положила меня в угол под иконы.

...Матрос — для большинства жителей деревни человек без имени — оставил людям записку, накарябанную огрызком химического карандаша на клочке серой оберточной бумаги и наколотую на сухую веточку яблони: «Прощайте, братцы, я умираю, кому я должен — всем прощаю». И только в приписке сквозь пьяную браваду пробился полный тоски короткий крик живой души: «Арина, прости и прощай». Арина — это старшая из незамужних дочерей Федько...

Всюду новая жизнь пробивала себе дорогу, разрушая и сметая старое, отжившее, и властно входила в каждую семью, живо касалась каж-

дой души, у одних — вызывая радость и пробуждая веками затаптывавшееся в грязь человеческое достоинство, у других — поднимая лютую ненависть и злобу.

Еще прочно удерживались религиозные обычаи, обряды и празднества, но в кирпичных трехэтажных зданиях монастыря поселились веселые ребята — студенты сельскохозяйственного техникума, и каждое лето там звенел, трубил пионерский лагерь. Молодежь распевала новые песни про дела мужественных и решительных людей, отлично знающих, как построить лучшую жизнь. Церковь была переоборудована под клуб, не реже двух раз в месяц в деревню приезжала кинопередвижка и показывала картины. В школе по вечерам занимался ликбез, а через стенку работала изба-читальня. Зимняя пора разнообразилась спектаклями, антирелигиозными вечерами. И всем делам комсомольцев запевалой был разворотливый парень-избач Семен Заславцев. Демьян Колесов выгреб из сундуков старомодные наряды — приданое жены, отдал их под реквизит и сам стал активным участником спектаклей, сатирически изображая старорежимных купцов, толстопузых фабрикантов, жадных кулаков, баев и попов. И, наверное, не одним любопытством объяснялось, что большое гулкое здание бывшей церкви до отказа заполнялось не только молодежью, но и пожилыми и даже старыми людьми.

Пьесы ставили остросюжетные, короткие, по две-три за вечер, большей частью о событиях гражданской войны с непременно участием боевого партизана-разведчика, попавшего в лапы врага, и освободившей его смелой дивчины, трусливого и коварного попа, кулака-мироеда да зверем рыкающего в бессильной злобе офицера-золотопогонника.

Под оркестр народных инструментов, руководимый старым Дудуду, устраивались пляски. Тогда бывало шумно, весело, говорливо. А со стен и сводов укоризненно-печально взирали запыленные лики святых, до которых во время побелки не достали щетки самодеятельных маляров.

Однажды вечером мать надела свое единственное, сберегаемое ею только для посещения церкви праздничное платье, взяла у меня чистую тетрадь, карандаш и ушла с забежавшей за ней соседкой в школу для взрослых. Странно было видеть, как она урывками, в свободные минуты, садилась за стол и одолевала первые страницы букваря. По слогам, как первоклассница, прочитает слово, вопросительно взглянет на меня, а когда получит подтверждение, что все правильно, удивится и затаенно улыбнется, просветлеет от радости. К весне она уже без моего контроля умела немного читать, писать и очень огорчалась, что буквы получались корявые, растянутые и не такие ровные, округлые, как у меня.

С некоторых пор, если позволяла погода, мужики после трудового дня сходились к крыльцу нового здания сельсовета, усаживались на ступеньках, неторопливо вытаскивали замусоленные кисеты, закуривали и говорили о погоде, делах на полях и огородах, об урожае. Приходившие позже занимали длинную скамью у забора, рядом с крыльцом. Кто-нибудь из грамотных читал газету, и все сообща обсуждали события в стране и мире.

Любил щеголять перед мужиками своим знанием заграничных дел Федот Режепа — коренастый, кривоногий, небольшого роста мужик, угрюмый, мстительный и по-бабьи сварливый. Самым понятным в его косноязычном бубнении были названия государств: «Англия» и «Хванция», к которым он иногда присовокуплял «Туркцию» и этим, как ему думалось, производил оглушающее впечатление на мужиков. Как все спесивые люди, Режепа был глуп и тщеславен. Он появлялся у крыльца, когда народ уже собирался тут, и в зависимости от того, как встречали его люди, или бросал что-то вроде «Здоровы были» или, вовсе ничего не

говоря, важно и молча усаживался, бесцеремонно рвал газету из рук читающего, отставлял лист на вытянутую руку и, широко раскрывая черный, обросший серо-желтыми клочьями шерсти рот, гнусавил: «Э, га-зета, дай нам хлеба» или еще что-нибудь подобное.

Грамоту Федот знал. До закрытия монастыря он ревностно исполнял службу церковного старосты, а потом зимними вечерами у себя дома собирал верующих, гнусаво нараспев читал евангелие и тут же, упершись узловатым пальцем в строку, туманно комментировал его. Святое писание его устами вещало о скорой войне коня белого с конем красным, о железных птицах, и выходило, что надо молиться, строго блюсти православную веру и дедовские обычаи, не давать поблажки продам — посланникам дьявола, иначе антихрист скоро всем людям от мала до велика вырежет на лбу кровавые звезды, после чего быть концу света.

Второй сын Режепы — Ленька — был мой ровесник и дружок. Он родился во время войны, когда отец был на фронте, и поэтому Режепа не считал его своим сыном и не любил. Как-то трехлетнему Леньке попалась в восемнадцатом году засаленная николаевская рублевка, и мальш порвал ее на глазах отца. В диком приступе ярости Режепа схватил топор, подтащил сынишку к лавке и отсек ему четыре пальца правой руки. Подросши, Ленька возненавидел своего отца. Это он сперва мне, а потом и моим родителям рассказал, как, ставя на ночь закидушки, увидел своего отца, отвязывавшего сплотки школьного леса.

Свою многочисленную семью Режепа изводил изнурительными постами, молитвами, держал в страхе и рабском повиновении. В обед восемь его отпрысков, вооружившись деревянными ложками, заранее занимали за столом свои места и нетерпеливо ждали еды. Жена, женщина тощая, забитая и во всем покорная мужу, вынимала из сундука холщовый мешок с хлебом, передавала хозяину, который клал его себе на колени под стол, засовывал руку и отрезал от буханки ломти хлеба, выдавая каждому из своих вечно голодных чад в строгой очередности пайку размером, зависящим от послушания и сделанной работы, после чего мешок сворачивался и снова запирался в кованный сундук, а ключ возвращался в глубокий карман хозяина. Такой порядок преследовал две цели: чтобы не рассыпать крошек, а больше для того, чтобы «аспиды» не знали, сколько хлеба дома. И «аспиды», не раз испытывшие увесистые удары отцовской ложки по лбу, не решались просить добавки.

Режепа был наделен недюжинной физической силой, и поэтому крестьяне терпели его выходки. А отец однажды не стерпел.

Это случилось, когда мы с ним поехали в город. Какое счастье было, если он пообещает вечером взять меня с собой в Благовещенск. Хотя знаешь, что не обманет, а все-таки ляжешь пораньше, чтобы не проспать. Ночью часто вскакиваешь, зато как сладко спишь всю дорогу на пахучем сене под мерное раскачивание телеги и фырканье Голубка. К устью Зеи подъезжали при восходе солнца. На другой стороне широкой реки — город. Высокие кирпичные трубы винокуренного завода, дома и пристани отражаются в воде. Белый шустрый пароход с баржей курсирует с одного берега на другой.

На баржу вмещалось около ста подвод, стоящих ступица в ступицу. Речники, чтобы добраться до носа или кормовой рубки, ходили по широкой доске высокого борта. Наша телега оказалась у борта рядом с телегой Режепы, который вез на базар мешки с ранней картошкой. Наш Голубко вырвал клоч сена из-под его мешков. Режепа наотмашь ударил его по морде плетью, отчего он отпрянул назад, вспятив заднюю лошаадь, та — следующую. Отец крикнул:

— Зачем бьешь животное?

— А ты держи! Не для твоего коня корм.

Взяв с телеги пук сена, отец положил его перед лошадью Режепы, но тот черенком кнута отбросил его. Голубко снова смыкнул и снова получил по морде. Мужики с соседних телег стали совестить Режепу, другие, наоборот, оправдывали его. Ни слова не говоря, отец встал на телегу, шагнул на борт, прошел вперед, стал одной ногой на мешки, схватил за шиворот сидящего спиной к борту Режепу и раскорякой выбросил его в реку.

— Там будет свободнее.

На рубке зазвенел колокол. Пароход остановился и вертел колеса, чтобы только не снесло. Спустили шлюпку и нахлебавшегося воды жадюгу вытащили из реки. За задержку рейса отцу пришлось платить штраф.

Обошлось ли этим все — не знаю, но вскоре после этого Режепа был окончательно посрамлен на глазах всех собравшихся вечером у сельсовета мужиков. Какая-то корова из недавно прошедшего стада, не сообразуясь с местом и приличиями, украсила край скамейки большой темно-зеленой лепехой. Подошедший Демьян покосился на нее и сел рядом на единственное свободное место. Как же он оживился, когда увидел приближающуюся к крыльцу кривоногую фигуру Режепы!

Широко, будто петух крыльями, Демьян взмахнул руками и изогнулся в низком поклоне.

— А, дорогая Федотушка! Милости просим к нашей честной компании! Давно тебя поджидаем и уже подумали было, что не придешь. Садись, растолкуй, поясни, умная голова, нам, дуракам, что в газете пишут и как разуметь. Без тебя загвоздка вышла!

Важный, как индюк, не обращая внимания на суетящегося перед ним Демьяна, Режепа оттопырил нижнюю губу, напыжился и гаркнул:

— Здравия желаю, православные!

Бесом завертелся Демьян вокруг размягченного лестью и высоким вниманием мужика, залопотал что-то о боге, который знал, кому дать понятие и рассудительность, схватил Режепу сзади за хлястик куртки, потянул к лавке, ласково приговаривая: «Да присаживайся, Федот Батькович, будь ласка!» — и посадил его на коровью лепеху. Почувствовав что-то неладное, Режепа вскочил, цапнул себя за зад и обалдел. Такого подвоха он не мог ожидать. Мужики грохнули. Звонче и залиvistее всех, запрокинув цыганскую бороду и обнажив белые мелкие зубы, хохотал Демьян.

Все настороженно ждали от Режепы дикой выходки, но, к всеобщему удивлению, ничего не произошло. Несколько придя в себя, Режепа по самые глаза натянул картуз и, не проронив ни слова, ушел во двор сельсовета.

К осени на новый порядок улицы были перенесены все дворы, кроме нашего. Федько к своему главному зданию отгрохал новую пристройку. Шатер «Водопоая для проезжих» и наземную часть сруба снес, колодец завалил навозом, а на новом месте вырыл другой. У нас же дела продвигались медленно. Отец успел к зиме только обнести двор тесовым забором, построить жердяной остов скотника, оплести стены тальником, покрыть крышу соломой и срубить несколько венцов избы. Зимовать пришлось на старом месте.

С отцом что-то происходило. Он стал вялым, молчаливо-угрюмым. Быстро взрывался и даже по пустякам выходил из себя, раздражался тяжелой бранью. Ничего не сказав, уходил на постоялый двор Панихидько, возвращался домой поздно и почти всегда пьяным, куражливым и злым. Случалось, колотил мать, корившую его за то, что у нас все не так, как у людей. А в другие дни с утра до вечера строгал, долбил,



вязал оконные рамы и косяки, подолгу курил или просто сидел, обхватив руками колени, вполголоса напевая нерадостные шахтерские песни.

Много выпало горького на его долю. Жизнь корежила, душила, уродовала. Немецкая пуля в империалистическую войну прошла мякотью левой руки выше локтя, прошла у самого сердца, при вылете страшно разворотила правее позвоночника спину. Простреленное легкое не зарубцевалось. И, может быть, от неумеренного курения и злоупотребления горькой у него постепенно развился туберкулез.

Собирая щепки у плотницкого верстака, я однажды случайно обратил внимание, что тятка как-то неестественно, с вывертом придерживает левой рукой фуганок. Приглядевшись, я впервые заметил поперечный, во всю ширину руки шрам-рубец и, понятно, заинтересовался.

— Отчего это у тебя рука кочергой скрючена?

Отец перестал строгать, поднял перевернутый фуганок на высоту глаз, прищурясь, посмотрел, подбил железку, отложил инструмент в сторону, неохотно ответил:

— Это, сынок, получилось нечаянно, топором то есть.— И, видимо, для большей убедительности добавил:— Вышло вот как. Колол дрова, левой рукой придерживал полено. Только размахнулся топором, а тут сзади бычок, бодучий, паршивец, был, толкнул в бок и под локоть. Рука, значит, и попала прямо под топор. Зажила, но вот, видишь, срослась криво, как ты говоришь, кочергой.— Подмигнул и назидательно сказал:— Не играй с топором и с ножом тоже...

Позже я узнал, что «боднувшим бычком» был белогвардеец-казак, рубанувший шашкой отца во время атаки партизан на один железнодорожный разъезд.

Перед ненастьем у отца всегда болела грудь. Это, как он говорил, давала о себе знать японская пуля, заклинившаяся между ребрами. Помню, еще маленькими, когда отец бывал очень добр, мы поочередно засовывали в распахнутый ворот рубашки руки и пальчиками нащупывали на груди твердый шарик, через который эластично перекачивалась кожа. И то, что шарик этот — пуля, нас, глупышей, приводило в восторг, наполняло наивной детской гордостью за отца, которого, как поется в веселой солдатской песне, «и сабля не рубит, и пуля не берет».

Март — самый капризный, своенравный и непостоянный месяц года. То вьет пургой и дует холодом, то распушит лужи, пригреет солнышком. В ненастную, ветреную ночь проснулся я от долгого надсадного кашля отца. Мать спала с нами на печке. В трубе дико завывал ветер. Я слышал, как отец, не переставая кашлять, поднялся с кровати, зажег лампу, закурил.

Потом я услышал громыхание отодвигаемого сундука. Потихоньку, чтобы не разбудить мать и братьев, повернулся головой к краю печки и исподтишка стал наблюдать за батькой.

Он вытащил шорный инструмент, брусок, снял со стола лампу, перенес ее на сундук и сел рядом на перевернутую боком табуретку. В черном прямоугольнике окна, как в зеркале, отчетливо отражалась лампа, разложенный на выуклой крышке сундука инструмент и сидящий в нижней рубахе отец. Поплевав на брусок, он начал точить косою сапожный нож, пробуя остроту лезвия прикосновением большого пальца. Мне подумалось, что батька решил заняться починкой обуви. Наши старенькие валенки и ичиги окончатительно прохудились, да и сбруя, чего никогда не бывало, узлами связана и перевязана, как у Ильюшки Рузина. Мне с печи все видно. Вот он оглядывается назад, проверяет, спит ли. О-го! А это зачем? Рывком стащил через голову рубаху и комом положил на сундук. Что он задумал? Взял сапожный нож, наклонил голову так, что подбородок уперся в грудь, левой рукой нащупал пулевой шрам.

Догадавшись, в чем дело, я заревел во всю мочь, нет, мне только показалось, что я кричу. Я закричал уже после того, как отец полоснул себя ножом и кровь широкой темно-красной лентой хлынула и потекла по его животу.

Мать соскочила с печи, бросилась к отцу.

— Не лезь! Уйми детей! — крикнул он, при этом страшно зыркнул глазами и выругался. То ли нож был недостаточно острым, то ли рука у отца дрогнула, только первый разрез был недостаточно глубок, и, стараясь углубить его, отец водил ножом рядом, ожесточенно кромсая тело. В раздвинутую пальцами рану он воткнул жало граненой швейки, орудуя ею, как щупом. На какое-то время рука его задержалась, напруглась и стальным инструментом выковырнула из кровавого месива что-то ударившееся о стену. Это был тусклый кусочек свинца — японская пуля.

До сих пор мне не ясно, что побудило отца решиться на такую дикость. Врачи давно предлагали ему вынуть сидевшую между ребер пулю, но он упорно не соглашался.

Наш новый дом так и остался недостроенным: после своей варварской операции у отца уже не было сил достраивать его, да и охоты не было. Он всегда считал себя не столько крестьянином, сколько рабочим человеком, хотел жить в городе. И как только поправился, мы перебрались на постоянное жительство в Благовещенск, где отец устроился на работу плотником в артель инвалидов «Восток». Через два года жестокая болезнь доконала его.

Помню весенний вечер тридцатого года. Мы с братом были в кино-театре с таинственным для нас названием «Мираж». Перед началом сеанса к экрану вышел молодой человек и взволнованно сообщил переполненному залу: «Вчера на своей квартире покончил с жизнью самоубийством замечательный поэт и человек Владимир Владимирович Маяковский. Прошу, товарищи, память о нем почтить вставанием».

Придя домой, я рассказал об этом отцу.

— А кто такой Маяковский? — спросил он.

— Замечательный поэт. Ну, значит, писатель, — ответил я.

— Зря застрелился... если замечательный.

Минуту спустя отец жестоко закашлялся и крикнул, чтобы зажгли свет. Я бросился за перегордку, где он лежал, и при свете луны увидел его, склонившегося у стены над тазиком. У него уже не раз бывали кровотечения горлом. Надо было скорее набрать еще кое-где державшегося на дворе снега, чтобы положить холод на горло и лоб, но когда я вернулся, снег уже не нужен был. Керосиновая лампа скудно освещала с низкого подоконника распростертого на полу отца и окаменевших возле него в горе мать и брата. Снег таял в моих руках и струйками лился на пол.

В юношеские годы мне приходилось встречаться с самыми разными людьми, знавшими моего отца. И никто из них не оставался равнодушным или безразличным к его памяти. Это сказывалось и на мне. Одни, радуясь встрече с сыном своего товарища, старались мне всемерно помочь, а другие, напротив, как только я заговаривал об отце, становились подозрительными и злыми. Я догадывался, что отец этим недоброжелателям когда-то густо насолил, и не упускал случая доказать, что яблоко от яблони далеко не откатывается.



---

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

★

## МОИ РОДИТЕЛИ

Ах, родные мои, как вы жили,  
Если три революции были,  
Если столько лет с голодовками,  
Если столько зим с холодовками.  
Ах, родные, когда вы любили,  
Если вечно заняты были,  
Если нежность — совсем не в моде,  
Если вся судьба на народе.  
Да еще забота родительская,  
Да еще работа учительская,  
Да болезни большой страны  
От войны до другой войны.  
Вы и отдыха не ценили.  
...А потом отца хоронили.  
Вперед несли ордена  
По дороге, что так длинна.  
Над могилой, такой глубокой,  
Речь казалась такой высокой.  
А потом оградку поставили,  
Три бумажных венка оставили.  
...Ходит мама моя несмелая  
По своей земле,  
А у мамы волосы белые  
И мое письмо на столе.



---

---

В. БОГАТЫРЕВ

★

## КАМЕНСКИЕ ОЧЕРКИ

### МИШУХА-ПОЧТАРЬ

**М**ы возвращаемся душным июльским полднем из города. На тачанке нас трое: сам Михаил Андреич, слепой Суровцев и я. Михаил Андреич Лавров, а по-деревенски Мишуха-почтарь, находится при исполнении своих служебных обязанностей, а Суровцев здесь — по пути из Орла, где, наверное, набрал переложений для баяна и книг для слепых — со шрифтом, пупырчатым, как кожа ошипанного старого гусака, и выдавленным на желтом вторичном полукартоне.

Попасть в Каменку, отстоящую от города километрах в двенадцати, можно по-всякому: как сейчас — с почтой или на колхозной машине, отвозившей в город пеньку и сало, а обратно груженной углем для сельсоветской или школьной печки, на чужих «попутных», а чаще всего пешком, тремя путями: через Онегино, Гнилуши или Князеваново. Любым путем дать крюка невозможно, но семь километров до Гнилуш идут почти голой степью, лишь справа и слева окаймленной дальними островками осиновых лесов да недавно посаженной лесополосой из березок у самой дороги. А к Онегину пешеходный путь бежит все больше сосняком, возле карасинога пруда, забросанного ярко-зелеными блюдцами листьев водяных лилий и пронизанного сверху вниз нервами ряски, мимо братского обелиска по ту сторону воды, мимо овсов и гречихи, если дело летом. И само название поселка хорошее.

Приходилось мне ходить и зимой, когда все в округе вымерзло на десяток верст и далеко видно и слышно — встанет ли в небо хвостом дикой кошки сизоватый в морозных сумерках дым в деревне за лесом или там же скрипнет по натеренному полотну большака санный полоз; и летом, в страду, когда тетка Аксютка машет тебе с огорода рукой и улыбается и плачет обветрелыми щеками; и весной обходить затопленные половодьем мосты и канавки и оставлять в черноземе пашни калоши; и осенью дуть пехом по мерзлым зеленым, чтобы скорстать расстояние, и вспугнуть русака, да так неожиданно, что сразу и не сообразишь, что это за непонятное двуногое: дрофа? — откуда!.. перепел? — поздно им, на дворе осень и зазимки, а потом придет радостная ясность — это ж русак! — и где-то пробьется древняя грусть: жаль, нет ружья, а заяц далеко, пропадает медленной точкой, как самолет, и вот скрылся совсем...

\* \* \*

Дорога под уклон топорщит и корежит хомут, ставит дыбом дугу, бьет оглоблями по бабкам умного и выносливого Мишухина меринка, но конь, отъевшись на дармовых сельсоветских харчах, знает свое дело,

ступает осторожно, дает зада легкой почтовой тачанке, и мы благополучно съезжаем на мост, снова поднимаемся вверх в духотищу и обходим весь бугор по обочине. Дорожные мастера (пожилые, усатые и молодежь сорокового года рождения — подсобники) в неимоверно изодранных майках красиво и точно подгоняют булыжник к булыжнику так, что иголки не подсунешь, строят «каменку», разобрав возведенную еще малоархангельскими купцами. Жара. Влажный, с темной сердцевиной карьерский песок, сваленный с подвод, сохнет тут же на глазах и осыпается.

— Дорога пройдет,— говорит Мишуха,— невядалеке от нашей деревни.

Полдничать будем в Онегине, а пока все ждут, разморенные звенящим зноем и дремотой, кто же первый наберется сил начать разговор. Мишуха односложно перебрехивается с меринком, где надо — посвистит ему, одобряя облегчиться на ходу, где приструнит: «Но-о-э, ми-и-лай!»

— Знаешь, Сергей,— начинаю,— изобрели аппарат вроде минонскателя, с помощью которого можно видеть. Цвета обращает в звуки разной высоты. Очень точный. Одна девушка выкрикнула: «Я думала, что хлеб черный, а он, оказывается, коричневый!»

Суровцев медлительно поворачивает лицо с синими пороховыми веснушками на лбу и щеках: не верит, а хочется. Михаил перестал поучать мерина и всей спиной участвует в разговоре. Ему тоже хочется говорить с нами, но о своем (из таких собеседники плохи). Это по всему видно: и как суетливо хлопочет, пытаюсь поставить по местам сбившиеся на одну сторону вожжины, и как зло огрел безвинного мерина кнутом, выхваченным откуда-то сбоку.

...Рассказывает Мишуха — сын-то его, Шурок, прислал письмо и пишет: в Рубцовске он секретарь райкома. Нет, Мишуха не разбирается, первый там или второй, главное — секретарь. Врет Мишуха, безнадежно и горько врет, с живыми подробностями, изобретательно и долго. Не то что его Шурок не был в Рубцовске. Был, работал на какой-то дикой стройке. За что-то уж девчата невзлюбили его. Может быть, что он, как и они, подтаскивал раствор каменщикам, а сам писал стихи, подумывал о другом и вслух говорил об этом. Девки облили его с лесов. Он полез в драку. Загорелые и сильные — хоть и сидели на одних серых батонах с кипятком из титана,— те избили его сообща, тут же. Видно, ему было обиднее, чем больно. Случай разбирал прораб. Он согласился с девчатами и спровадил его в психлечебницу — сначала до медпункта (нарочито участливо утешая дрожащего Шурка), а оттуда — больничным этапом в краевой центр.

Прошлым летом я встретил Шурка в пассажирском поезде между Мценском и Понырями; стоял он в тамбуре, и на него было жалко смотреть: выпуклости лица покрывал нездоровый атласный загар — много суток жил неумойкой, на ногах сапоги с вытертой до белизны на сломках кирзой и плоскими, как блины, рыжими головками.

В смутном этом человеке я с трудом узнал друга моего детства — мечтателя и проказника. Одногодки, мы и в школе учились в одном классе, отыскивали на карте имена городов и мест, загаданные поочередно; мастерили карманные ножи с пружиной и лезвием из стали касок и ручкой из латунных гильз и потом месяцами оттачивали на зернистых валунах; зимой рубили сухие сучья дубков на десятиметровой высоте от земли, а летом лазили в Старшинов и Антонов сады. Было все, что может быть в деревенском детстве.

Шурка в школе любили. Сельские учителя простодушны, легковверны и честолобивы — им очень хочется, чтобы Есенин вышел из их школы. И семилетку он закончил не как-нибудь. Учиться дальше — ехать в город, но Мишуха не потянул бы расходы на два стола. Шурок ушел из дерев-

ни к тетке в Павлов Посад, а потом, когда умерла мать, еще дальше; раза два приезжал в Каменку «зайцем», поругается с отцом, переберется на жительство к соседям, попасет телят, скопит на дорогу, на прощанье еще раз скажет отцу: «Не уберег мать!» — и уедет в белый свет.

\* \* \*

Не везло Михаилу в жизни. Родился в самой неумелой и слабосильной семье деревни, ростом не удался: серая гимнастерка на вершок сползает с его плеч.

На прошлой войне по слабости здоровья трудился в обозе, заработал язву желудка и получил два ранения; кожа на его невыбриваемом лице сморщилась больше прежнего и пожелтела, но сын, повзрослев, к слову попрекал его кухней и обозом. Года два как пристроился он к сельсовету, тем и жив.

И женился не совсем удачно: баба попалась малость с придурью, говорила — больно она красива, и все в роду у них красивые, и зря вышла за «Кокоренка», так по-уличному кликали Мишуху. А красивого в ней ничего не было, баба как баба — такая, как уродил ее господь и уломала жизнь: рыжеватый нос расселся на лице картофелиной, лицо пятнами от ветра и солнца, будто ходит напоследях, руки — клешни от сахарной свеклы, носкони и стирания у проруби. Костлявая, места живого нет.

Нет, это не володимирские бабы: лица у тех маленькие и белые-пребелые, руки мягонькие и голосок на ять, певучий, как северные реки. Повяжется, спеленает платком не низкий не высокий святорусский лоб свой по самые брови и станет что княгиня на картинке в белоснежных ихних церквах!

Такой уж, видно, невезучий Мишуха: проводят ли в Каменке радио — каждый хозяин ставит столб у своей хаты, а он так и не нашел березы или осины-пятиметровки, остался без музыки в доме (зато газет у него вволю: прочтет при выкрученной лампе в сырой горнице и пустит на самокрутки — у почтаря неведомо откуда всегда остается их две-три лишние); караулит ли ребята под Петров день солнце, — как играть будет! — пустят тачанку с бугра в ручей или заташат на трубу хаты так, что утром придет пожарник с лестницей снимать по колесу. Летом — одни неприятности, но зимой становится Мишуха богом: и походка солиднее, и сам будто шире в плече, и не со всяким мужиком (что говорить о бабах) остановится закурить и разговориться.

Зимой переметут зыбучие сугробы большак от Каменки до города и не станет для колхозных «газонов» ни прямоезда, ни обхода. Всякий, кому необходимо попасть в город, чуть забрезжит сумеречный декабрьский рассвет, в негнущихся новых валенках ковыляет к дому Мишухи, какого Мишухи — Михаила Андренча! Откажет он алощекой на морозе Прасковье, а она — к сельсовету, руки в рукава, бьет ногой об ногу, ждет, когда покажется из-за угла парная и древле заиндевелая морда Мишухина мерина.

Вот и уложена под сено почтовая кладь, подтянута последняя постройка, брошена в снег сигарка с расплывшимся на мундштуке текстом, откинут тулуп в кузове подрезных санок. Торжественно заносит Мишуха ногу в латанном цветными кусками валенке, чтоб плюхнуться в санки и сказать: «Но-о-э, милай!» — и потом угреть местечко под собой, как сходит с крылечка председатель в одной гимнастерке и кричит: «Ты уж клею-то не забудь, Михаил, клею!» Прасковья тут как тут. «Не могу помочь, — наотрез ответит председатель, перетянутый в тонковатом поясе армейским ремнем с бляхой, — не могу,» — вскочит на скрипнувшие ступеньки деревянного крыльца и скроется в избе.

Мишуха доволен. Даже сам «пред» ничего не может тут поделывать. Злорадствует, но в себе, он не мстителен. Прасковья плетется с кошелками по блестящим лезвиям следов от Мишухиных санок. Наконец он смиростивливается и бормочет грубо и снисходительно: «Ну, садись, што ль, Прасковья», — и она рада до смерти, и наверняка знает, что в городе побежит в лавку ему за четверкой ледяной «зеленой». И он знает — иначе чем бы ему преться на обратном пути. Отечественным хлопком по донышку пузырька он вышибет бумажную пробку, вытащит из-под себя граненый полторный стакан с круглым ободком поверху, несгибаемым указательным пальцем вытащит приставшее к его стенкам сено, нальет, с гримасой отвращения вспомнит про язву, выпьет, крикнет, отдышится одним разом и положит запотевший стакан на место. Дорога побежит быстрее, черные ракиты по обочинам станут приветливее и веселее — и короток путь. Через голое пространство въедет он в прозрачный и гулкий затишок каменского леса, а тут полверсты до домов деревни, до огненного борща и чая, заваренного малиновыми прутьями.

...За невеселой по своей сути трепотней Мишухи, которая сводилась в конце концов к тому, что у всех сыны и дочки учатся кто где и у него Щурок не лыком шит, не лаптем щи хлебает, — мы подъехали к Онегину.

В онегинском ельнике громче обнаружился стук наших колес, от распаренной хвои и прошлогодних иголок пахло больничными коридорами. Стали в тени одинокой груши, обтрепанной злыми ветрами севера и востока. Из-под разбрякшего дерна земляного взлома солнечным живчиком бил родник. На его затопленных бережках плясали смутные пятна светотени и слабо колыхалась та самая изумрудная травка, которая в сказках зовется муравой. Прочные крупницы чернозема и пыли клубились у дна. Мы пили воду из пригоршней, она убежала сквозь пальцы, и пришлось долго кланяться, пока утолили жажду, кажется, до конца. Пили так, что заломило во лбу. Растянулись под ветвистой, но разорванной тенью многострадальной груши. Вдали до белых изб поселка бежало серое русло тропы. Разбитые жарой и долгим сиденьем, пестрые от пыли — она подымалась и волочилась за колесами, оседая на наших лицах, ее было бесполезно стряхивать, — мы только тут разглядели, какими стали.

Хорош полуденный отдых, но только не такой. Отдых дома, в саду, когда пообедавшему человеку мир представляется веселей, круглей и полновесней, когда впереди часа два твои и ничто тебя не трясет, не волнует, не ждет — только послеобеденная неременная работа, ясная, привычная и потому дорогая.

\* \* \*

Подъехали к Гнилушам. Мишуха, ни слова не говоря, остановил лошадь у крайней хаты, бросил вожжи нам на колени и через пяток минут вернулся так же молчком, застенчиво вытер губы рукавом гимнастерки, уселся на место и лишь тогда невнятно промолвил: «Хорош квасок-то» (через полгода, на мясоед, малорослая хозяйка крайней хаты перебралась в Каменку, к Мишухе).

На затяжном подъеме, который занимает полдороги от Гнилуш до Каменки, лошадь шла медленно, задумчиво переставляя мохнатые ноги и угнув голову. Мы, кроме Суровцева, слезли с повозки и шли рядом, придерживаясь дощатого корытца кузова. Тут нас и нагнала колхозная машина. Народу в машине — до первого милиционера, и все молодежь: песни, смех, крики, толкучка. Когда машина поравнялась с нами, незнакомая мне колхозная чубатая рожа свесилась чуть ли не до самых колес и, ослабившись на всю гармошку молодых и здоровых зубов, прокричала что-то неразборчивое в самое ухо Михаилу. Ясно, что это была

острота, шутка, коли наверху все грохнуло, а может быть, подковырка, таящая в себе смертельный подвох. Мишуха вздрогнул. Я заглянул в его глаза: там стояло белое поле зимы, следы от полозьев его летучих санок бегут из заката — желтого, пронзительного, волчьего. Он мчит, а позади жалко мельтешит, вопя о пощаде, черная фигурка замерзающего чубатого!

Но почтарь забыл одно: от Беленького вперед и вперед тянут дорожные мастера каменную нить дороги и к осени все будет кончено. Может быть, это и кричал чубатый?

### СУРОВЕЦ

— Што он у тебя на шее сидит, гляди, не маненький! Сам понимать должен, небось сямнадцать уж,— с хмельной резонностью рассудил Андрей Иванович, младший брат дяди Коли Алешина, сидя в хате Суровцевых.

Сергеева мать неловко съежилась, маленькой стала в плечах, как всегда от таких слов. Жить со слепым бедно. Она и сама понимала, что сухорукий Андрей отчасти прав.

— Да куды ж я его дену, хоть и слепого... Вот и мучаюсь. В поле некого послать, кормочку коровенке привезть. Сам видишь.

Младший Алешин — сам он, представляясь, говорит о себе: Андрей Иваныч или Кере-Мере — работает объездчиком в колхозе, лошадь всегда при нем, и он не погнушается за пол-литра самогона слабой семье подвезти сена или там соломы на своем же ходу, как, к примеру, сегодня. «Кере-Мере» — его любимая приговорка, вставшая в прозвище ему. Она универсальна, годится на все случаи жизни, но чаще всего выражает предчувствие скорой выпивки и намек, что если его будут приглашать, то отказываться он ни в коем разе не станет.

Стоящую перед ним темную бутылку самогонки он почти прикончил, а посему гнев его был справедлив и горяч:

— А ты сама куда глядишь, дура! Пусть на паперть идет, вон в Архарово. Все копейку принесет, а она в хозяйстве — дай сюда!

Мать, вся серая, подумала-подумала, не сказала: ну что вы, Андрей Иваныч, а залилась слезами.

А Суровец был за перегородкой, вдыхал горячий и сытный запах щей, сготовленных специально с курицей для Андрея Ивановича, и его мучил голод. Он явственно слышал, как на ручье под горой пахнет молодым холодом первый ледок, слышал гомон деревенских ребятишек, катавшихся в наступающих сумерках на коньках, видел — по воспоминаниям — их согнутые черные расплывчатые фигурки на серой глади льда, хаты деревни и огороды на той стороне, запорошенные редким снегом, и от всего этого есть хотелось почему-то еще сильнее. Наверное, потому, что с ручья он всегда приходил в деревню промерзший и голодный, как волк из поля.

Наконец мать позвала его ужинать: Андрей ушел, расплакавшись напоследок.

— Ты, сыночек, прости его, сухорукого. Наболтал он тут бознать что.

Суровец не сказал ничего.

О чем он думал?

Может, видел он сейчас белоснежный мир в тот последний ясный свой миг? Еще мальчишкой, ожидая, пока поспеет на сковородке у матери следующий оладушек, выскочил в одной рубашке на задворки и принялся выламывать штыком вмерзший в землю ящик с немецкими запалами, и вспышка, ослепительнее солнца, навсегда накрыла его темнотой. Много в деревне было таких историй в войну и долго после.



А следующим утром Сергей с пустым мешком за плечами заданн вышел из деревни, остановился в каменском лесу, прислушиваясь краем уха то ли к стрекоту сорок, то ли к свежему треску тракторного пускача, долетавшему из Каменки, на продувном большаке за Александровкой плюхнулся в попутные розвальни, в Малоархангельской пересел на автобус до станции и к обеду стучал коваными немецкими бутсами по привокзальной площади Орла. Тут его проводили к трамваю и посадили на заледенелую подножку.

У Суровцева, с тех пор как он ослеп, обострились слух и обоняние. Оно стало цветным, что ли, и объемным. Всякая местность имела свой особый запах. Не полынь и чабрец, преобладающие в округе, — пахли люди с их лицами и характерами. Каменка для него пахла а н т о н о в к о й.

В промерзшем трамвае тоже царили запахи. Сергей мог наверняка сказать, что в мешке у старухи рядом — яблоки: вендерка и немножко штрифеля, и лопнуло крутое яйцо, а мешок сам из-под муки. На Сенной он попросил вывести его из вагона, и эта бабка молча проводила его до дверей общества слепых. Она крепко взяла его за руку своей суховатой ладошкой и держалась от него на расстоянии, как если бы он был прокаженным.

Сергей открыл одни заиндевевшие двери, потом вторые, обитые старым ватником, и оказался в тесной камерке. Тут с мертвенным стуком сыпал «ундервуд» и шибануло в нос печным угаром и тонким запахом хлеба с маслом. На подоконнике в прохладе действительно лежал обед — бутерброд во весь торец хлебной буханки с проявившимися на масляных местах линейками исписанной ученической тетради. По изможденному ранней слепотой лицу Суровцева блуждал розовый луч робкого декабрьского солнца.

— Проходи, коль вошел, — с грубой и приветливой фальшью в голосе сказал однорукий председатель.

Сергей присел на пододвинутый чьей-то заботливой рукой стул и изложил председателю суть дела.

— Поступай на работу, записывайся в кружок. Так сразу учить тебя на баяне у нас средств нету. Финансы поют романсы, — хохотнул председатель. Он был человек с юмором.

Суровцев поселился в Орле на частной квартире. Хозяйка оказалась одной из тех простецких русских душ, которые дотошно выспрашивают человека о постигшей его беде, горюют, соболезнают, не отказываются выпить рюмку-другую за твое здоровье, ухаживают и ругают врачей и завком, если ты приболел, даже плачут над твоей постелью, но там, где дело касается их корысти, отбрасывают всяческие сантименты в сторону и проявляют стойкость.

Эта рябая приземистая женщина, живущая без мужа с дочкой в просторной квадратной комнате коммунального дома, положила платить Сергею за квартиру со столом тридцать пять рублей, не считая особой платы за стирку. Ему ответили койку у двери, напротив печки, за ситцевой ширмой. Но прошел месяц, хозяйка стала все чаще жаловаться, что на базаре все дорого, а в магазинах ничего нет, жаловалась изо дня в день и поздно вечером, когда Сергей приходил разбитый; он добавил ей пять еще, став посылать матери по десятке только через месяц. То она отказалась стирать (Сергей платил ей по гривеннику за вещь, считая и рубаху, и носовой платок), то опять взялась, прикинув, что за месяц-два набегают порядочно, потом стала просить покупать керосин самому, накинула три копейки на мыло, говоря, что оно на его рубахах так и горит, так и горит, и кажется, оставалось только спички ей помянуть да

воздух, которым он дышит, да клен под окном. Но за воздух если брать, то неизвестно сколько, чтоб было по честности, а за клен неудобно как-то, он же слепой — соседи засмеют. Она чувствовала себя хозяйкой, и ей было мучительно видеть, что на кухне набрызгал он, а не она. Квартирант был ей в тягость: ей хотелось и денежки бы брать, и не пускать никого.

Сергей задыхался, чувствуя, как нужда железной хваткой берет его за горло. Не хватало на марки для письма и трамвай.

Получал он за работу пятьдесят восемь рублей, четыре вычитали сразу за бездетность и подоходный, плюс шестнадцать рублей тридцать семь копеек пенсии. Из них он платил пятнадцать за курсы, десятку откладывал на баян ежемесячно твердо, зло. Ему самому было временами удивительно, как он ухитрялся из оставшихся денег посылать матери (считай, по пять рублей на месяц), платить за стирку и так далее. Правда, он подумывал стирать самому, но боялся обидеть хозяйку.

Харчила она скучно, все больше картошкой и кислой, завявшей в коридорном тепле капустой, редко — мясное. Сергей знал, что столовая ему обошлась бы дешевле и получалось бы вкуснее, но делать было нечего.

Только бы не заболеть, изредка пугался он, — на больничном платят пятьдесят процентов, но такие мысли редко приходили в голову и больше в порядке опасения и предположения.

Раз он зашел по пути с работы в булочную — хозяйке решил угодить, принести свежего хлеба. Когда ему отвесили хлеб, он долго копался в стареньком, из крокодилейей кожи кошельке, чтобы расплатиться. При выходе из магазина его кто-то бережно взял под руку, сводя с высоких ступенек на тротуар.

— Осторожнее, смотри под ногами, — участливо заговорил некто.

«Кому бы это быть?» — сразу настороженно подумал Сергей, хоть такие заботы были ему не в новинку.

Второй как бы нечаянно терся слева, у кармана, где кошелек. Сергей постарался прижать буханку к боку, чтобы второй прилипла не пролез в карман. Это получилось.

Шпана увидела, что кошелек подобру-поздорову от хозяина им не увести. Они заговорили. По голосам Сергей понял, что это пацаны лет пятнадцати—семнадцати. Один из них, первый, дал ему пощупать холодную сталь финки, приставил ее к Суровцевой груди, остановив его на мосту Орлика лицом к перилам, и сказал: «Давай гроши, мужик, и ни слова!..» Сергей знал, что он смахнет их с рук вместе, как кутят. Каким-то ощущением, известным только слепым, чувствовал, как по тротуару моста за спиной мелькали тени прохожих, разбегаясь и сходясь под фонарями, но понял, что крикнуть в другой раз ему не дадут. Он попрекнул их, что они пристают к незрячему, и сказал, что денег у него восемь рублей и нечего есть.

— Давай, — заговорщицким свистящим шепотом прошипел тот.

— Ну чо ты, Витьк, — разочарованно протянул второй, но тот повторил:

— Давай. И жди нас у кинотеатра «Форум». Через десять минут вернем, — сказал он, зажимая в ладонь мягкую бумажку и бесшумно растворяясь в стороне.

Сергей прошел мост, остановился у кинотеатра. Здесь густо сновали люди, было теплее от их дыхания и голосов, по верху здания мельтешными огнями бежали строки газосветной рекламы. Он слышал о великодушии и своеобразной честности воров к тем, кто их выручил в трудную

минуту. Но эти не появились ни через десять минут, ни через двадцать. «Известно, шпана», — самому себе ответил он и понуро, обманутый дважды, пошел домой, разоренный до следующей получки.

А назавтра солдаты, строящие город, веселые, шутливые ребята, подвезли его на «студебеккере» с работы до самой квартиры, подобрав уже затемно в поле у обочины, и неприятное впечатление от города стерлось, побледнело. Но гулкий мост через Орлик Сергей не любил, особенно вечерами.

Неожиданно он начал примечать, что всегда грубо-ласковая хозяйка стала к нему резче, суше, злей, реже сочувствовала ему, чаще вымогала, а однажды вскользь заметила ему поискать другую квартиру.

«В чем дело?» — гадал озадаченный Сергей.

Кто-то посоветовал Сергею: если он хочет накопить денег, надо неукоснительно, с каждой получки, откладывать на сберкнижку пусть три рубля, пусть пять, иначе утекут все по мелочам. Сначала он пропустил тот совет мимо ушей, но, задумав купить баян, вспомнил и с благодарностью воспользовался им. Действовал медленно, утомительно, брал по пять рублей со всякой получки, не обращая внимания на голодное урчание в животе, шел в кассу, просил заполнить синенький приходный бланк, расписывался под палец кассирше и прятал книжку в нутряной карман пиджака, а дома клал на самое дно чемодана, под газету, чтоб не вызнала хозяйка.

Зато вскорости наступил срок пойти за баяном: тогда и дома он сможет в любой вечер тренироваться в игре.

К тем, что сберег, приложил деньги с очередной зарплаты и вот получил в руки баян — хрустящий, вкусно пахнущий дерматином и клеем, тульской фабрики, правда не лучший, за восемьдесят. Пуговицы ходили туго, одной даже не хватало, и баян был последним за эту цену.

Появился баян — и Сергею радость, и хозяйке удовлетворение. Теперь нет-нет да и пошпыняет она его за шум в доме, хоть играл он изредка, для удовольствия, тихо, будто неуверенно и будто торопливо, раньше времени отпуская соскальзывающий с гладких кончиков пальцев перламутр пуговиц.

Завелась у Сергея и любовь, хозяйкина дочь. Соня была — как это часто бывает — прямой противоположностью собственной мамаше. Прямая и жесткая практичность Лукерьи обернулась тут полнейшим безволием и удивительной нежностью души. Мать не давала ей шагу ступить самостоятельно, одергивала советами и упреками, дочь и выросла бессловесной и мягкосердой.

— Дитё не в меня, — коротко и жестко говорила мать, — как-то ей, бедной, беспрокой жить на свете. Да пока жива я...

Ей казалось, что, пока она жива, дочке ни о чем не надо беспокоиться, ни думать, ни горевать. Зато и счастье она ей может и должна дать по своему, Лукерьиному, усмотрению.

Лукерья работала в ночь, и частенько Сергей и Соня засиживались до последних петухов за его ситцевой перегородкой, и им бывало хорошо среди тусклого обихода нищенской кухонной половины: среди оловянных чашек и ложек, водяного гриба в банке под марлей, деревянных, с черными кляксами выработки табуреток, сработанных негнущейся рукой плотника-сукобая, стола, всевозможных полочек и залохматившейся нежности байкового одеяла Суровца. Сергей по-своему глядел ее лицо, перебегая быстрыми пальцами со лба через брови на веки и переносицу, по желобку под носом к губам и подбородку, а она неизменно плакала.

Так их однажды и застала Лукерья, пришедшая с поста за куском хлеба с луком да глудкой сахара...

А началось у них тоже не сразу. Много дней, почитай полгода, придя из цеха прядильного комбината, от пронзительного свиста нитей и веретен, прислушивалась девушка к неторопливой возне слепого за занавеской, к его расчетливым движениям и тихим напевам. Хотелось ей самой увидеть, чем живет, что делает теперь их темный жилец. А он читал пальцами, тихо шурша не страницами, а рукой по бумаге, и вполголоса еле-еле наигрывал на баяне.

...Однажды она не утерпела и заглянула за занавеску. Склонив голову, словно к чему-то прислушиваясь, Сергей бросил писать и неуверенно спросил: «Это ты, Сось?» — и попросил надписать адрес на конверте письма домой, в Каменку. Она крупным неуверенным детским почерком — точечным нажимом в середине каждой буквы и каждую букву четко — написала, потом осталась и уже не помнит, как он стал рассказывать про деревню: она ли его попросила или он сам. Рассказ же ей понравился, все было как перед глазами. После, наверное, месяц он почти каждый вечер рассказывал ей и рассказывал, а Каменка не кончалась.

\* \* \*

Вот она какая, Ка-а-менка! Надо сесть в рабочий поезд Орел—Поныри, купив, конечно, билет или не покупая, если хочешь. Билет стоит пятьдесят восемь копеек — это до Малоархангельской, до Глазуновки сорок три — это за остановку до Малоархангельской, но зато на пояс меньше, потому так сразу дешевле. Тут уж и билетов не проверяют, а если побайваешься, то можно сойти и на Глазуновке, тут до Каменки восемнадцать километров, но большака нет, попутных тоже — только пешком. А лучше всего брать до Куракина, сэкономить половину. Поезд отходит утром в шесть, как только придет второй рабочий, с другой стороны: Скуратов—Орел. Сядешь в поезд с быстрыми бабками и шубными и в котлах дедами, которые едут с плетухами, кошелками и мешками, говорят на «о» и сапоги зовут «саподи». Возвращаются из города по своим хатам, от сынов и дочерей и так, с покупками. Орел еще нет-нет да и назовут «губернией». Говорить с ними не надо, интересного все равно ничего не услышишь, а лучше смотри в окно. За Орлом пройдет каждый вагон поочередно в сумраке под мостом, промелькнет станционное здание с аршинными буквами по всему фризу: «СТАНОВОЙ КОЛОДЕЗЬ», или «ЗМИЕВКА», или «СТИШЬ».

В непогоду мелькают за окошком темные мокрые погосты, скользкие овражки и зеленые поляны у хат с нахохлившимися гусынями; повернется щетинистой спинкой осинка в припутьном перелеске осенью, наклонятся летом к вагону зеленые хлеба, полные перепелов и жаворонков, и забелеется гречиха с аловатым отливом.

На Глазуновке поезд станет рано. Гравий в росе — прыгая, не поскользнься, не отпускаяй поручней. Испуганно крикнув, уйдет состав, сразу пустынно станет на станции. От вокзала надо пройти назад по путям до будки, перейти на ту сторону, взять чуть наискосок, влево, и в двух километрах замаячит лесхоз. Места перед лесхозом похожи на те, что у Каменки, если подходить к ней из города, от леса. Точь-в-точь всегда думается — за деревьями Каменка, а не до нее еще шестнадцать или пятнадцать верст.

Бревенчатые постройки стоят в вырубленном обочь дороги сосняке, а смолянистые срубы вновь строящихся хат — в бру. Воздух тягучий и

звонкий, особенно в мороз и зной. Высоко вверх убегают красные, с бурыми и черными разводами стволы, прямехонькие, дальше вверх — меньше сухих сучьев, а сверху, по воздуху, разметалась упрямая зелень. Стволам тесно, как спичкам в коробке, оттого они такие все строевые. Сергей раз считал: на маленьком пяточке нашел больше ста, потом сбился со счета — давно это было. И гудят. Отчего сосны гудят? Ты не знаешь? И я не знаю... Это земля в них гудит.

За речкой — уже прямая дорога через Жолудки (или Панскую, как хочешь) в Каменку. Столбов тут нет, но не собьешься, идя по траншее. Пересечешь дубовый редкий перелесок, он сам выходит на дорогу — еще большой пустынный кусок. Ни души.

Иди меж двух слобод поселка Жолудки, иди полем за поселком. Подойдет время, ступишь на неприметное идущему взгорье и увидишь Каменку — она будет поперек, растянулась перед глазами версты на четыре: сама Каменка, через мост — Петровка, по другой слободе — две другие деревни. Видишь только по нитке: хаты, ракиты у хат перебьются ветряком, опять хаты с ракетами. Пятистенные, кирпичные, стены в шашку — из-за вкраплений «железняка», пережига. Право слово, Каменка. Раньше тут сами кирпич жгли — глины есть и мастера были хорошие. Теперь если кому надо хату ложить, кирпичный лом берут с развалюх, зовут каменщика со стороны. Свои старики перемерли, перебиты, а молодые на шахты поушли.

Стоит она по обе стороны ручья, что в реку Сосну впадает. До этого нет по округе такого хорошего оврага, есть другие, но такого нет. Весь — в ракатках у хат и в лозе — к воде близко. А за деревней еще овраг, Двубрательником зовут; тут крупнигу собирают, скотину пасут, сено косят. Траву скосят в валки, чтоб она подсыхала, потом сгребут в кучки: накосил девять в колхоз, десятая — те-е-бе! Кучки собираются в копны, копны — в небольшие стога или скирды. Эти — как прямоугольные четырехэтажные дома, что строят теперь, разве чуть поменьше.

...Интересно говорит Сергей, и вправду кажется — нет на свете деревни лучше Каменки. Видит ее, как тогда в детстве. Приглашал и ее в деревню, согласилась. Сказал — в субботу с вечерним поездом выедем, а с утренним в понедельник будем в Орле.

Она украдкой от матери слушала Сергея, сидела с ним, но выходить вдвоем на улицу боялась, а и зачем: стирала ему что по мелочи — опять же, чтоб не знала мать, и постиранное высыхало до ее прихода.

Когда Лукерья застала их вместе, она теперь уже прямо вытурила Сергея на улицу, а дочь на другой день за волосы потащила к врачу — не беременна ли. Ходила и к председателю общества. Тот все наталкивал ее, выпытывая какие-то интересные ему подробности, будучи твердо уверенным в том, что они есть, но оставшись ни с чем, рассудил по-своему. Вывод его звучал мудро, коротко и просто: не пойман — не вор. Все кончилось.

\* \* \*

Каждый день Сергей ходил на работу километра за три с напарником (который видел хорошо — пять процентов зрения), а вечерами учился баяну в кружке при обществе. Работали на железной свалке, прямили проволоку для гвоздей.

И ему не ахти как хотелось идти на работу, а он шел и бил плоским молотком по страшно изогнутой проволоке до тех пор, пока прут не выгибался от напряжения и звенел, глотал ржавую окалину, которая вьедалась в кожу, надолго сжесточая ладони и нутро. И так изо дня в

день, в осеннюю сопливую изморось и весеннюю распутицу, из месяца в месяц — год, два, три...

Чтобы потом вернуться в Каменку, сидеть на теплых камнях и поигрывать деревенским парням и девкам торопливый фокстрот «Старушка не спеша...», чтобы просвечивали от заката в суставах его длинные, поминутно вздрагивающие пальцы и молодые пары с простеньким подламыванием в поясе, с короткими пробежками взад-вперед, раскачивая далеко откинутыми и крепко сцепленными руками, танцевали сегодня так же, как вчера и всегда. Да быть желанным и званым на все вечерки и свадьбы в Каменке и еще играть самодеятельности в клубе и слышать радостное и доброе: «Суровец пришел — с баяном!..»

### ПАРНОЕ МОЛОКО

Помню, как первый раз подходил к теткиной хате, на которую мне указали, когда поравнялся с ней, остановился в нерешительности: передо мной было что-то необычайное. Дубовая, вросшая в землю хата была схвачена в середине на плахе бронзовыми болтами, чтобы бревна не расплылись. Крытая серой от старости соломой, она смотрела на меня двумя тусклыми окошками, переплетенными брусьями рам и оттого казавшимися еще меньше и жальче... Я растерялся, вылетело приготовленное: «Тетька, дай напиток, я знаю твоих сестер Анискиных из-под Тулы», — и еще что-нибудь, а потом признаться, кто я такой на самом деле, рассмешишь и обрадовав тетку шутками, придуманными мной дома вместе с матерью.

У входа в хату меня встречала женщина, несмотря на июль обутая в стеганные ватные бурки с калошами. Она что-то жевала, прислонясь плечом к углой древесине дверного косяка, и шурилась, казалось, от чиресчур яркого солнца. Я увидел ее толстокожие и жесткие в кистях руки с большими ладонями на пестрой, намертво вылинявшей кофте и щеки, пронизанные кровавыми красными прожилками, как на солнечном боку яблока-боровинки.

Подложив ладонь под ляжку заплечного мешка, я вздохнул и спросил у этой женщины, отделенной от меня тремя шагами травы, здесь ли живут Алешины. Женщина перестала жевать, секунду смотрела на меня и сказала:

— А ты чей будешь?

Я назвал.

Тетка Аксютка — так значит, это она! — слабо хохотнула и пошла на меня, собирая в морщинки обветренные губы и делая серьезное лицо.

— Значит, Аленкин сын. Здоровый вытянулся. Ну, давай поцалуемся, племянничек, — сказала она тише, улыбаясь.

В хате было полутемно и от этого вроде бы сыровато.

И мне, хоть я и не был избалован городскими удобствами, показалось невероятным, что в такой хате я проживу все летние каникулы: широкие скамейки из толстых досок, такие широкие, что на них можно расположиться на ночлег, вдоль трех открытых стен; окна с дубовыми подоконниками и покоробленными рамами. А больше всего меня смутили земляной пол и необхватная матица с железными крючьями для зыбки и ткацкого станка.

В хате, надменно переговариваясь, прогуливались куры. На стенках плакаты сельхозпропаганды — тоже куры, но не такие наглые, дородные, и птичница в халате показательной белизны, кабы не мухи.

Тетка показалась мне не такой, какой хотелось бы,— чересчур горбоносой и подобранной, не в нашу породу, и встретив ее где-нибудь на улице в толпе, никогда бы не предположил: вот идет родная сестра моей матери.

Сидя напротив, она смотрела на меня пристально своими зелеными глазами, потом вытащила из печки румяную пшеничную кашу на молоке, подвинула ко мне черный казанок с топленным молоком, покрытым шоколадной пенкой, простоквашу («кислушка», назвала ее тетка) и принесла из погреба холодное молоко в махотке с облитыми серо-бутылочной глазурью краями.

Я попросил молока, но она сказала:

— Э-е, милай, молоко будет к темноте, как Дунька придет из стада.

В сенцах сухо гроыхнула дубовая дверь, и в хату через высокий порог перевалил верзила лет шестнадцати в полувоенной, председательской, с козырьком и высокой тульей фуражке, подпоясанный трофейным ремнем с алюминиевой бляхой. Он вместе с тетрадью бросил фуражку на кровать у глухой стены и лег рядом.

— Ну что, сдал? — недовольно спросила мать и, не дожидаясь ответа, добавила: — Хоть бы к столу подошел, брат вот приехал, Аленин сын.

Тот подошел к столу, поздоровался со мной за руку, что-то пробурчал и, по-кошачьи спрятав глаза в брови, смущенно вернулся на свое место.

Как-то сразу сговорились пойти на прудку. Ее недавно сделали на другом краю деревни, перегородив земляной плотиной приток реки Сосны, ручей, который запросто переплунуть. По словам Ивана, прудка как из сказки какой: хаты по ту сторону ручья так надежно упрятались в приусадебные ракушки, что, не зная, будешь думать, будто там густой лес с ягодами, грибами и лисьими норами, а не вторая слобода деревни; что именно там, за этим зеленым лесом,— степная деревня Панская.

Пока мы неторопливо продвигались к прудке, к нам приставали все новые и новые попутчики, здоровались со мной за руку и уже вместе с нами продолжали путь на край села, кто встречать стадо, а кто от нечего делать. Так я перезнакомился с ребятами из соседних дворов, а с Шурком Лавровым даже померялись силами, положив друг друга попеременно на лопатки. Стоявшие рядом подзадоривали нас.

Наконец овраг под самое небо перегородила глиняная плотина, нестерпимо желтая рядом с зелеными склонами берегов. Голубое зеркало воды резко пряталось за поворот и доходило до моста на выходе из деревни, где ребята поджидают стадо, бросая камушки в застоявшуюся там воду. Зато здесь вода была свежей, подернутой на середине смутной сеткой ряби. Она перебрасывалась по сифону на ту сторону плотины, и ручей под Лавровыми и Алешиными не пересыхал. Запруда затопила ближние к ней сады, и яблони стояли на четверть в воде, медленно чернея и умирая.

Долго день, если он начат ранним утром, как у меня сегодня. Но тягучую бессолнечную атмосферу этого летнего дня скрашивало и приподымало какое-то праздничное ощущение, мысль о чем-то тревожно-светлом, что еще ждет меня впереди. Минутами, мучительно стараясь не забыть смысл этого важного и главного, я вдруг вспоминал слова:

— ...парного молока?

— ...как Дунька придет из стада.

Когда я вернулся к Аксюткиной хате, деревня как бы перевернулась для меня. Так в поезде утром покажется, что состав ночью изменил на-

правление и пошел в прямо противоположную сторону. В этом была виновата и Панская, которая — как мне растолковали — оказалась в совершенно другой стороне, чем думал я раньше.

Солнце краснело и расплывалось, зацепив нижним краем своим за лес, когда мы пришли домой. Деревенская улица запылила вдали, донеслись рев и бляенье, крики ребятишек и хозяек и топот множества копыт. Шло стадо. Коровы и телки спешили домой, овцы и бараны шарахались в чужие сады и закуты. Ребятишки с плачем и матюками выворачивали их на дорогу.

Теткина рыжая корова Дунька торопливо и важно свернула с пыльной дороги и, мотнув головой в сторону хаты, стала как вкопанная шагах в пяти от окон. Вероломно и нетерпеливо выждав минуту, она разразилась оглушительным, жалостливым и негодующим ревом, будто ее собирались резать, и замолчала, распутив до земли жвачные слюни и выпучив дремучие глаза. Тетка выскочила из сенцев с ведром поила и подойником и побежала к ракитке.

Смешно и нестройно раскидывая в стороны задние ноги с разбитыми копытами, Дунька пошла за ней в тень дерева. Послышался звон молока о подойник и теплый его запах. Потом, стоя тут же с кружкой пенистого и воздушного молока, я окунал в него губы и тянул его тепло. Оно пригарчивало полынным травостоем и от этого было более настоящим и правдашним. Дунька смотрела на меня забывчиво, раздувая от знакомого запаха ноздри, и трудно вздыхала.

— Вот, племенничек, любишь молоко хлебать, гони Дуньку к больнице. Пусть еще чуток погуляет, — сказала тетка и дала мне в руки влажный от росы повод, привязанный к рогам коровы.

У больницы пряно пахло коноплями, сырым туманом, незрелым зельем яблок. Яблоки, еще покрытые пухом, смутно белели на прямых ветках сада. Конский щавель и ивняк в мокрой ложбине отливали блестящим и неживым лунным светом. Где-то рядом бродила и вздыхала Дунька. Охрипло кричал коростель. За деревней, вверху, гудел трактор и, ударяясь по облакам, блуждали огни его фонарей.

...Месяц спустя я трясся на колхозной машине, отправившейся до солнца из Каменки в Орел. Прошли мост и прямо вышли на степную дорогу, которая вела по местам совершенно безлесным. И весь путь я думал о том, что в городе не будет больше парного молока, когда оно еще не процежено, с рыжими ресницами Дуньки и травным запахом милых теткинских рук, когда не слито еще оно в холодные, с вечера прожаренные на солнце и ветру махотки.

### БАФАНЧУК

Из окна Аксюткиной хаты видно, как Бафанчук, беззвучно матерясь, наезжает лошадью на председателя Кузнецова, широкой грудью коня теснит его по белой стенке к сельповскому крылечку. Когда председатель пятками нащупал ступеньки и взошел по ним, он думал, наверное, что уже вне опасности. Но и Бафанчук соображал. Решив, что последний момент для нападения настал, он хлестнул «преда» витой, береженной им плеткой, повернул коня на дыбках возле самого лица обидчика и выправил на дорогу мимо раки. Но потом передумал: обогнув ракитки по дороге, свернул в Устимычев проулок и низом поскакал к своей хате. Оттуда послышался крик, из дома без платка на голове выбежала Лёнка, а следом за ней — трое ребятишек. Лёнка остановилась среди выгона, вернулась, подхватила на одну руку девчонку, утерла ей нос и слезы, сво-



бодной взяла меньшого Бафанчука, а третий поплелся следом. Сначала выгоном, потом через Кукушкин овраг она направилась к Федотовым, к отцу.

Отец встретил ее, проходя из кладовки в хату. Он все понял.

— Зачем пришла?

Лёнка кинулась в хату и возле матери запричитала в голос.

— Говорил тебе, не выходи за него. Не послушалась! Давно говорил: возвращайся в дом. Все говорил. Нет, не послушалась, а теперь насается по деревне с ребяташками, глаза людям мозолит.

— Бать, так ведь как же — их трое...

— Дура, батька вас вырастил и их босыми в школу не отправит...  
Мать, где ты там? Дай перо и чернила.

Он взял с подоконника очки в стальной оправе, нашел на сундуке кирзовую полевую сумку, с которой ходит по деревне в бригаду учить вать горячее — она красуется у него на правом боку со времен последней войны, — выдрал из клеенчатой тетради разлинованный лист бумаги, стряхнул с кончика пера муху на земляной пол прихожей и принялся строчить и про Лёнку, и про «преда», и даже от себя — словом, все; неровно оторвав второй чистый лист, озленно выругался, перегнул вчетверо исписанное и рассудительно напутствовал Лёнку:

— На! Дуй к Конову, да побыстрее.

Лёнка страдальчески оглядела прихожую, детей, отца, мать и опроремью выскочила на улицу.

Всю деревню она прошла спеша, боясь оглянуться, как будто делала какое-то дело, позорящее ее в глазах односельчан. В овраге за Старшинным садом стало легче — воздух ли свежее, одна ли часть пути сделана. От стоящих по ту сторону конопелей дуло терпкой мятной смолкой. Мокро пах луг. У воды, непонятно где, кричал коростель. По Ракитовой дороге она прибавила шагу, но все хотелось повернуть назад, а кто-то сидящий внутри Лёнки голосом отца, но с ее наплывающей злостью твердил, подзуживая, распаляя: «Иди, дура! Проучи, проучи, проучи, чтоб знал». И Лёнка шла, спотыкаясь, бежала, чтоб не застыть, знакомо твердя: «Иди, дура! Проучи...»

Вот и Бурчага, по каменским преданиям — место, полное чертей и волков, а вообще-то так себе, мелкий дубнячок да воронки от войны, в июне заваленные земляникой. Лёнка в последний раз оглянулась, пропустила бегущую в город автомашину, вдохнула пыли с дороги и побегала в Александровку, к Конову.

Тот сидел за деревянным столом, выскобленным до блеска ножом в расторопных хозяйкиных руках, ел картофельную похлебку, забеленную для сладости сливками. Пистолет и синие штаны с кантами висели на спинке кровати. Как прочел бумагу, так и кинулся в горницу переодеться и нацеплять пистолет. Вышел решительный, на ощупь застегивая последнюю пуговицу диагональных брюк.

Конов нагнал пешую Лёнку и верхами первый прискакал в Каменку вечером. Увидел растворенную дверь хаты Бафанова. Темно, слышно равномерное посапывание. Конов решил взять Михаила на испуг и с порога крикнул:

— Все, Бафанчук, отгулялся на воле!

Тишина. Посапывание.

Участковый нащупал дверь горницы, чиркнул спичкой, прошел на цыпочках, откинул полог кровати — никого, обшарил глазами стены

(будто Бафанчук со своими-то грехами мог превратиться в икону), потом посмотрел под ноги.

На новеньком, из досок-сороковок полу, привалясь в святой угол, блаженно спал Михаил Бафанов и видел райские сны. Он полусидел, скривив и без того не совсем прямые и изуродованные огромными мешками брюк-галифе ноги. Его длинноватое туловище было равно округло что сбоку, что спереди.

Неробкий и прочный, как всякий тамошний житель, Конов, вздрогнув, однако незло и, кажется, не без зависти сплюнул: «Порядошно выжрал, сволочь». И отправился на ночлег к шурину-счетоводу.

Конов дал отдохнуть Михаилу еще половину следующего дня, а под вечер по красной от заката улице повез Бафанчука на колхозной подводе в райцентр. Мишуха был пьян, как новобранец, поминутно свешивал ноги с подводы и порывался запеть. Конов энергично пресекал эти его действия: «Бафанов, не фулигань! Люди смотрят. Выйдем на большак, пой, сколько влезет, и мне веселее будет».

Тот его слушался. Из окон, конечно, никто не глядел: так, сквозь занавесочку... Добро бы со свадьбой ехали — там смотреть просто положено.

Непонятно отчего расхудилась крыша, оторвалась ручка на двери, а прибить никак не соберешься, наливаются яблоки в саду — надо ж кому-то их сшибать, да и девка хнычет все чаще: «Где па-а-пка?» Надоело обманывать: на работе, щас придет. А сыны уж и не верят.

...Неделя, как пришла Лёнка в пустую хату, а вот уж одной и кусок в глотку не лезет. Был мужик, пусть непутевый, и вот нет мужика. «Сама, сука, похоронила, сама и отпела», — ругала Лёнка себя.

На второй пятidineвке отнесла ему передачу, но свидания просить не стала: то ли постеснялась сама, то ли побоялась, что ругать будет, но — не стала. Потом как-то, принеся новый узляк с харчами, попросила. Муж встретил ее неожиданно ласков, звал по-особенному, по-новому Лё-о-нкой, расспрашивал о детях: как Танька? а Олексей? а меньшей? Справлялся о доме, об ней, говорил, чтоб сад укутала соломой на зиму, а то косые обгложут.

По второму снегу, не отписав и в открытке, вернулся совсем.

Ступил в хату бритый, помолодевший, с узелком в руке. Она глянула и обмерла. С руками в тесте кинулась ему на плечи и запричитала в голос, как тогда, возле матери. Он утешал ее: «Ну что ты, Лёнка».

Через неделю назначили его бригадиром — в Каменке недолго помят человеку старые его грехи, — и стал он, выражаясь его же словами, мужик депутатный!

Тетка пришла румяная с мороза, светло распутала шалинку с головы, радостно сказала:

— Бафанов вернулся. Справный и веселый, хоть под венец. Да и Лёнка раскраснелась при мужике. Тоже небось не старуха... А тогда я гляжу: матушки мои, топчет он конем нашего председателя: он ему объезчицьи трудни срезал.

И по-бабски злясь, не всерьез заворчала про себя:

— Не пойму я ее: то мужика посадила, то носила ему передачи, а то встречает — как маков цвет. Вот она, наша бабья душа! А вам, зверям, только бы выжрать — отчего голова болит, а об доме вы не думаете.— (Это ко всем мужикам в хате.) — У, хамоидол, что зенки-то вытарачил?— (Это ко мне.)

И принялась сбивать масло: гоняет палку с крестовиной на конце в круглом высоченном бочонке, дремлет, медленно клоня голову, когда же клониться станет больше некуда, вздрогнет, уронив голову, обведет всех удивленными глазами и светло рассмеется сама себе и для нас радостно протянет: «О-ё-й, дремлется»,— и снова качает, засыпает, проснется и потом расскажет, что ей приснилось в этот миг.

### ЧАЙНЫЙ ГОЛОД

Когда все вернутся с дневных работ, наступает в деревне великое затишье. По деревне никто не ходит, разве только те, кому невтерпёж надо что-то сделать. Школьники второй смены, с криками и посвечивая фонариками, еще не проходили домой.

Над лесом доживают последние следы желтой зари.

Деревья на белом фоне пространства, лежащего за ними, черны, голы и безжизненны.

Дорога в город пустынна и тиха посреди неглубоких снегов первозимка. Несильный ветер срывает у бурьянов в поле слабый снег.

Молчат воробьи по застрехам, и молчит накормленный скот в пристройках. Слышно, как за двадцать верст, на Глазуновке, вскрикнул маневровый паровоз.

В хатах затапливаются группки, голанки, разжигаются керогазы и реже — русские печи. Наступает пора чаепития. И в домах, где семья полная — с внучатами и стариками,— и в хате бобылки Аксютки строго блюдетсся этот час. Вот она вбежала в хату с улицы, согнувшись, подрагивая и улыбаясь от холода, вытащила руки из рукавов — и сразу в печь за чаем, согреться чтобы.

Чай у тетки не обычный, грузинский или китайский — дорогой, а заваренный грушей-дичком. Первый день варки — чай с легкой закатной розовостью в стакане. Во второй, если с этой же самой не вынутой грушей — краснее. А на третий день — алый, как кровь или кумач. Таким он будет вариться дня два-три. Потом станет выцветать, пока не сойдет на нет. Получается, что однажды засыпанную грушу можно выкипячивать целую неделю, а чай вкуснее и живописнее день ото дня.

Тетка, не раздеваясь, наливает в граненый стакан полыхающий рубином чай и пьет молча, неслышно подувая на край посуды, стакан, два, три чаю, прикусывая от голубоватого кусочка сахара-рафинада, комкового, пересохшего, теплого, из печурки.

Знаю, Аксютку одолевает чайный голод.

Это когда после первого стакана хочется выпить второй залпом, без хлеба, лишь слегка приламывая зубами сахар, а после этого кажется, что еще ничего и не пил, а четвертый и пятый катятся, как в прорву, а после уж не утолить жажды, выпей хоть самовар. Как если хватать разгоряченным ртом снег — сухой, воздушный и пустой.

Чайным голодом страдают люди после большого труда на морозе да еще алкаши в похмелье. Ну, пьяницы — это понятно: нутро, сжавшееся от голода и обожженное сивухой, требует влаги и влаги, а те наломаются за день по снежным степным дорогам за возом, и ничего им на свете так не мило, как чай. Он им и хлеб, и вода, и сказка, и отдых...

Тетка пьет долго, медленно, до скуки, скупко расходуя сахарную глудку. Того сахара, что я положу в стакан за раз, ей хватит на две недели, а то и месяц.

И пьет она так не от скаредности, а из расчета скорее и прочнее утолить чайный голод. Сахар — он вызывает лишнюю и ничем не победимую жажду, как селедка.

Так пить чай — искусство.

Пиленый сахар тут не идет — скоро сыплется.

Надо, чтоб вода лишь омывала сахар, касаясь, а не растворяя его. И еще — уметь сделать два-три глотка из стакана уже после того, как последняя капелюха сладости утекла из-под языка, так сказать, по сладким ее следам. Не соблазняясь сахаром, который на столе!

Если все так, то можно считать, что ты одолел азы борьбы с чайным голодом: вскорости он уходит сам собой и только хочется есть да есть.

Глухо постучавшись в обитую дверь, пришел наш сосед — Ряднов дед Володя. Тетка приглашает:

— Дядь Володь, садись с нами вечерять. — Он отказывается, открыв пустые десны.

Ряднов недавно вернулся в деревню. Горький дым Севера еще слезит его глаза. Он не любит рассказывать о старом, хмурится и молчит. Разве если встретится с таким же, как сам, — тогда разговору нет конца. А вообще он дед словоохотливый.

— Слыхала, дед-то Бафанов по-о-мер. Отмучился. Желудок у него ничего не принимал. Он последние три недели только кипятком и жив был. Сын с невесткой думают: кончился отец, а загремят вечером заслонкой, так он с печки высохшую руку тянет, и внучок ему горячую кружку подает. Жалко ему деда — глазенки так и бегают. Ить правду сказать, взрослым он надоел — горшки из-под него таскать, — они и посылают меньшого, а дети всегда добродушнее и лучше нас.

..В его голове — куча начальных, но удивительно интересных и точных знаний из истории, географии, и все в деталях, и диву даешься крепости его ума. Вот спрашивает у меня:

— Ты «Фрегат «Палладу» читал?

— Нет, — смущенно признаюсь. — А что, книжка интересная?

— Интересная. Ироническая.

Стыдно мне у деда переспрашивать, что он хотел сказать этим, да он, может быть, и сам не объяснит: ироническая, и все тут. Если человек тебя выспрашивает и ты не знаешь, что ему ответить, ты начинаешь замечать в нем то, чего раньше не видел, — малюсенькую ли родинку на щеке или, к своему удивлению, веснушки, а то вдруг узнаешь, что цвет его глаз вовсе противоположный тому, что казалось тебе. Вот и теперь — нос его из-под вислоусатых щек видится таким маленьким, что думается: не было у деда Володи носа совсем, он пришел к нему со стороны в гости, да так и прижился, но до сих пор чувствует себя тут чужим и робким.

Дед долгим взглядом смотрит на тетку, с глазами, ушедшими далеко-далеко, и обращается уже к ней:

— Ехала б ты, Аксютка, к сестрам, в Тулу. Что ты тут одна мотаешься? Отработаешь семь часов — и-и, к тебе никто и ты ни к кому не касаешься. Не как тут — от зари до зари. А к старости тебе еще и пенсия! Что не откликаешься?

— Шай пью, — отозвалась тетка с полным ртом.

— Точно, — поддакиваю и я деду.

— Молчи уж, — гневно окоротила меня тетка, а деду ответила: — Думаю, дядя Володя. И девки кличут. Да погожу до весны...

— До весны — тожать верно, — вежливым голосом откликается он, весь укутанный в дым от новой затяжки самосадам.

— Ну, я пошел, а то старуха ворчать будет. Скушно, зашел — вижу, у вас свет ярко горит. До свиданья, Аксютк. И ты, чиферила полуношная!..

Тетка, оставив стакан к стороне, идет на печь, разгребает барахло, чтоб на горячих кирпичках попарить тело, наломавшееся за день. Она,

ворочаясь, наверное, думает о том, что весной будет собираться в город, к девкам. И тут же пугается: а куда им приехать летом на отдых, а как я продам корову...

Так она и засыпает.

Засыпает и Каменка при сером свете накрепко прикрученных ламп и видит во сне сена вволю, богатый трудодень, сады по деревне, а может быть, еще что. Кто знает?

---

Богатырев Владимир Григорьевич родился в 1937 году, окончил Московский государственный библиотечный институт. После института работал в Министерстве культуры Калмыцкой АССР, Дмитровском сельскохозяйственном техникуме, Государственном Доме-музее П. И. Чайковского. В настоящее время В. Богатырев — директор Рузского районного Дома культуры.

Печатал рассказы в газете «Советская Калмыкия» и в альманахе «Свет в степи». В «Новом мире» печатается впервые.



---

ЮРИЙ ГОРДИЕНКО

★

## ИЗ КНИГИ О ДЕТСТВЕ

### БОСАЯ ВЛАСТЬ

Когда-нибудь даже в глубинке,  
В райцентрах-то наверняка,  
Мы будем рождаться в пробирке —  
Искусственный синтез белка!

Наш путь будет ясен и легок.  
Ведь только подумать, сейчас  
Мужи от науки с пеленок  
Уже программируют нас!

Но в давние, в прошлые годы,  
Куда — ни тропинок, ни вех,  
Зависело все от природы,  
В особенности — человек.

В то время, невестам потрафя,  
Приняв по закону венцы,  
Как правило, всех биографий  
Причиной являлись отцы.

И, красную вспомнив Россию  
И разное, что не вернуть,  
Тут мне как не блудному сыну  
Не грех и отца помянуть.

...Селом в комитет свой уездный —  
Тогда говорили: в уком —  
С портфелем походкой железной  
Ходил мой отец босиком.

Боролись два мира, два стана.  
И даже будь он при деньгах,  
Ему ль, коммунару, пристало  
Печалиться о сапогах!

Крестьянские ноги босые  
Купая в дорожной пыли,

Он думал о судьбах России,  
Он был Гражданином Земли.

Шагал он, одним озабочен:  
Когда же забьет барабан —  
Навстречу к венгерским рабочим!  
На помощь к индийским рабам!

Планету в огне революций  
Он видел, рожденной в бою,  
Когда все народы сольются  
В единый Союз и Семью,  
Когда все народы сольются  
И всех созовут на совет...

Лабазники, дую на блюда,  
Глядели насмешливо вслед.

Едой подбородки засаля,  
За чаем хихикали всласть:  
— Уйдешь далеко ли, босая,  
Босая советская власть!

Босая...  
И темные слухи  
Из уст кочевали в уста:  
— Недолго ей править в округе!  
Не божья она — без креста!

Босая...  
Тут лайся не лайся —  
Вон топает без башмаков...  
И это сторонников власти  
Смущало, простых мужиков.

Решив за кисетом махорки,  
Что пятиться им не к лицу,  
В уком улалинцы со сходки  
Ввалились толпою к отцу.

— Мы вроде бы... как делегаты!  
И вот в чем тут, стало быть, соль:  
Смеются, вишь, гидры и гады,  
Де наш председатель — босой!

И эдак и так мы рядили...  
За слово прямое прости,  
Коль в званье тебя учредили,  
Ты званье обязан блюсти!

Вопрос это важный, не мелкий.  
Ты сам это ведаешь, чай!  
Бушуев, сыми с него мерку,  
Товару добудь и тачай!

Неделя прошла.  
А в субботу,

Хватив с полугару винца,  
Сапожник с готовой работой  
Стоял в «кабинете» отца.

Холщовые крепкие ушки,  
Окованные каблуки...  
— Цена какова?  
— Ни полушки!  
В ответе за всё мужики.

— Шутник же ты!  
Властью Совета,  
Мне данной судить и карать,  
Да я тебя, знаешь, за это —  
За подкуп — велю расстрелять!

Сапожника тронув за лацкан,  
Аж, грешного, бросило в жар,  
И пряча в усища хохлацких  
Улыбку,  
Отец продолжал:  
— Не может народ без кумира!  
— Да это — со сходки, от мира...  
— Спасибо! А деньги — держи!  
Теперь сапоги покажи!

Примерили. В самую пору  
Они оказались отцу.  
И мастер, поднявшийся с полу,  
Спускаясь уже по крыльцу,  
Сказал, уважая присловья,  
Душа, зная, в нем отозвалась:  
— Ну вот, и ходи на здоровье,  
Рабоче-Крестьянская Власть!

Ходи!  
И пошла.  
И немели,  
Ту поступь заслыша, враги.  
И, Русь поднимая, гремели  
В походах ее сапоги,  
Летели тачанки и кони...

И в этой-то шумной стране  
В недетское время такое  
Родиться приспичило мне.

### МОТЬКИН ПИХТАЧ

На землю придя новоселом  
И видя — у многих родня,  
Я с думой ходил невеселой:  
Как мало ее у меня!  
Зато не тужил я о бабках —  
Имел, как положено, двух,



В стряпне тароватых, в побасках,  
Характером разных старух.

На кухне обмолвятся словом,—  
Как тошно ее принимать,  
Я знал уже: будет отцова  
Характером строгая мать.  
Ее, приезжавшую летом  
У нас погостить в Улале,  
Всегда называли Еленой  
Степановной  
Люди в селе.

Упрямство слегка заломило  
Одну из красивых бровей.  
Крутая, сама поженила  
Она шестерых сыновей.  
От выгод, от свадьбы сивушной  
Отрекся, бунтуя, седьмой,  
Единственный сын непослушный —  
Отец-бессеребренник мой.

Злорадно судачили бабы  
В тот день, полоская белье:  
— И черта сосватать могла бы,  
Да Петька-то, видно, в нее!  
Быть может, не это, но что-то  
Я все же подслушать успел,  
Когда задвигались ворота  
И флюгер на крыше скрипел,

Когда непогода слепая  
С подворья ломилась в окно,  
Когда я лежал, засыпая,  
И было тепло и темно.  
Из кухни душком керосина  
От лампы несло, со стены.  
И шлепало, шлепало сито,  
К утру обещая блины...

А утром гремела калитка,  
Скрипели шаги по крыльцу,  
Дымилась блины, и наливка  
Уже подходила к концу.  
Умывшись из ковшика горстью,  
Бежал я на кухню, к столу.  
Елена Степановна — гостья —  
Сидела в переднем углу.

— Буян был,— шутила про сына,  
Про нашего, значит, отца.  
— Когда еще, помню, носила  
В утробе его, стервеца!  
И нынче все ратуешь, воин?  
Получишь, гляди, по крестцу! —

Но видели все, что доволен,  
Что пѣ сердцу шутка отцу.  
И все же она понимала,  
Что кровля не та и столбы...  
— Пойдем-ка мы, старый да малый,  
На волю с тобой, по грибы!

И шли мы.  
Струился от зноя,  
Был воздух долины горяч,  
Когда мы вступали в лесное  
Урочище — в Мотькин Пихтач.  
Чу, птица! Пропела и смолкла.  
Уж полдень стоит на часах.  
...Как пахла топленая смолка  
В те годы в пихтовых лесах!

В тех далях — за четвертью века,  
Устав меж деревьев плутать,  
Я слышал от бабушки:  
— Эка  
Во здешних борах благодать!  
Боярки душистая кипень,  
Черемух задумчивый вид...  
Но я, как щенок, любопытен  
И, как муравей, деловит.

В том не было бабке задачи.  
Пожившей, ей было вдомек,  
Что легок мой сон и прозрачен,  
Как вставший над лесом дымок,  
Что я лишь собой становился —  
Меня еще, собственно, нет,—  
Что я и случайно явился  
И мог не явиться на свет,  
Что мерою лет пустяковой  
От этой земли отделен  
И цвет моих глаз васильковый,  
И легких волосиков лен.  
И старую, темную руку,  
Помявшую льнов на веку,  
На лен тот — на голову внука,—  
Вздыхнув, опускала старуха,  
Со мной выходя к роднику.

А я задавал сокрушенно,  
Рубахи подол теребя,  
Вопрос, до сих пор не решенный:  
— За что же не любят тебя?



---

## ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ ИТАЛИИ\*

УМБЕРТО САБА

★

### *Счастье*

О трудностях мечтающая молодость  
с готовностью им подставляет плечи  
и, не выдерживая, плачет горько.

Поэзия, бродяжничество — сколько  
изведано! И — сумерки. А в сумерки  
теряет воздух плотность. И шагается  
легко и споро.  
Сегодня — лучше, чем вчера, коль скоро  
еще о полном счастье думать рано.

Однажды нам предстанет без обмана  
его лицо, и каждый, как от дыма,  
от бесполезной боли отмахнется.

ДЖОРДЖО ВИГОЛО

\* \* \*

Рассеянный и счастливый,  
по переулкам старым  
я брел под открытым небом,  
близким к дождю. Я ступал  
легко по легкой земле,  
и улица у меня из-под ног  
рекой облаков уходила.

На зеркало мостовых  
среди загорелых домов  
опускался сладостный вечер,  
и даже у людей, застывших  
в обманчивой мгле подъездов, на лицах  
лежали перламутровые тени.

---

\* В этой подборке представлены поэты разных поколений.

Виа Монсеррато, виа дель Пеллегрино...  
И вот уже я на Кампо ди Фьори,  
охваченном пламенем дынь и арбузов  
в сером вечере неосвященном.  
Но дождь погасил это пламя —  
теплый накрапывающий дождик, —  
и улицы черными стали.

### СЕРДЖО СОЛЬМИ

★

#### *Подсолнух*

Подобный солнцу, ты смотрел на солнце.  
Теперь ты постепенно увядаешь  
в стакане. Но и в эти дни, когда  
упорно уходить не хочет лето  
и комарами все еще кишит,  
и держится жара,  
и змеи сбрасывают кожу,  
и моль дома пустые наполняет,  
я знаю, помню, как на майском стебле  
ты поворачивался к солнцу,  
которое, и умерев, сегодня  
не покидает неба.

### ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ

★

#### *Граппа<sup>1</sup> в сентябре*

Над рекой плывут в предрассветном тумане  
пустынные, чистые утра, и зелень  
над водою темнеет в ожидании солнца.  
Табак, продающийся в крайнем доме  
еще не просохшим, у выхода в поле,  
сочно пахнет, курясь дымком синеватым.  
Там держат также прозрачную граппу.

Настала пора, когда все замирает  
и зреет. Деревья вдали неподвижно  
темнеют, скрывая плоды, готовые рухнуть  
при первой же встряске. Зрелые формы  
у облаков разрозненных. В улицах дальних  
зреют дома под теплым небом.

В этот час только женщин увидишь. Не пьют они и не курят,  
только и знают, что замереть на солнце  
и вбирать его, теплое, — они у плодов научились.

---

<sup>1</sup> Виноградная водка.

Воздух, крутой от тумана, пьется глотками,  
 точно граппа, в нем все благоухает.  
 И речная вода выпила берег  
 и на дно опустила — в небо. Дороги,  
 как женщины, неподвижно зреют.  
 В этот час должен каждый остановиться  
 на дороге и смотреть, как все созревает.  
 Ветерок и тот облака не колышет,  
 лишь дымком синеватым управляет, не смея  
 его разорвать, и новый слышится запах:  
 это табак, приправленный граппой. И значит,  
 не только женщинам предстоит прочувствовать утро.

### ВИТТОРИО СЕРЕНИ

★

#### *Эти играющие дети*

однажды простят нас,  
 если мы своевременно уберемся.  
 Простят. Однажды.  
 А вот искажения времени,  
 течения жизни, направленного в ложные русла,  
 кровотоечения дней  
 с перевала перелицованной цели —  
 этого нет, они не простят.  
 Женщине не прощается лживая любовь,  
 милый взору пейзаж, состоящий из листьев и вод,  
 который рвется, являя  
 гнилые корни, черную жижу.  
 «В любви не может быть грехопаденья,—  
 неистовствовал поэт на склоне лет,—  
 бывают лишь грехи против любви».  
 Вот их как раз они и не простят.

### ФРАНКО ФОРТИНИ

★

#### *Первый*

Старых черных штыков  
 холод вдоль щек солдатских,  
 жир, со дна котелков  
 выскобленный горстью  
 листьев,

металл, возвращенный земле,  
 годы,  
 когда мы юными были  
 на долгой войне.

Чужие судьбы,  
 кто может узнать вас?

Так случилось: Дзаги Аугусто,  
солдат, убитый на стрельбах,  
вата в носу, распростертый  
среди шуршащих ботинок,— первый.

Потом погибли и мы.

И теперь с изумленьем смотрим,  
сколько войны остается.

## НЕЛО РИЗИ

★

### *Единая семья*

Рабочий откармливает станок,  
станок откармливает хозяина.  
Оба по вечерам выходят  
на балкон с видом на фабрику.  
«Наша фабрика»,— говорит хозяин.  
Рабочий предпочитает молчать.

## ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ

★

### *Новая фирма*

Не измениться тебе, так смени хотя бы фирму,—  
место работы (напрасно ты споришь со мной)  
это почти половина твоей души,—  
и столь многое для тебя изменится.

Утром — новые лица и новые улицы,  
как будто из одного города ты переехал в другой  
и вся жизнь впереди. Ты усвоишь  
новый жаргон среди новых консервов,

став месяца на два счастливец из счастливцев.  
К тому же — новые хозяева, новые области  
твоих нервов,  
открытые с помощью новых сослуживцев,  
новая продукция, новая мерка

для добра и для зла, и наконец ты сам,  
о котором все будут говорить: «Я вам скажу,  
не узнать человека...» Ты поделишься новостью  
с непосвященными:  
«Я пишу тебе, чтоб сообщить, что теперь я служу...»

## ДЖОВАННИ АРПИНО

★

*Апрель в Турине*

Хлынул дождь, и стемнело в кафе, где сидел я  
 в то время, как врач убивал моего сына.  
 Было не больше трех пополудни —  
 и столько уже сигарет и выпитой дряни.  
 У стены теснились каменщики,  
 которые спрятались от дождя, чтоб заодно и выпить.  
 Ты лежала на третьем этаже  
 и тихонечко пела, усыпленная уколом.  
 Этот город знает, как мы с тобой  
 над рекой и под портиками бродили в обнимку.  
 Я и раньше чувствовал, что смыкается круг,  
 в котором живем, и мне представлялась  
 сетка для ловли беспризорных дворняжек.  
 Но это были лишь абстрактные мысли,  
 переулки и тени сердца,  
 а не врач, принимающий деньги,  
 и не твоя безжизненная улыбка  
 на фоне мокрых бульваров,  
 по которым мы едем с тобой в такси.

## ЭДОАРДО САНГВИНЕТИ

\* \* \*

Ну поплачь, поплачь — я куплю тебе синюю пластмассовую саблю,  
холодильник  
 «бош» в миниатюре, терракотовую копилку, тетрадку  
 с тринадцатью линейками, акцию «Монтекатини»<sup>1</sup>;  
 ну поплачь, поплачь — я куплю тебе  
 маленький противогаз, пузырек тонизирующей микстуры,  
 робота, катехизис с цветными картинками, географическую карту  
 с победными флажками;  
 ну поплачь, поплачь — я куплю тебе большущего кашалота  
 из губчатой резины, рождественское дерево, пирата с деревянной  
 ногой, складной нож, красивый осколок красивой  
 ручной гранаты;  
 ну поплачь, поплачь — я куплю тебе столько марок  
 Алжира, столько фруктового сока, столько деревянных голов,  
 столько голов мавров, столько голов мертвых;  
 смейся, смейся — я куплю тебе  
 братика, чтобы ты называл его по имени, чтобы ты называл его  
Микеле.

*Перевел Евгений Солоновч.*

<sup>1</sup> Крупнейший в Италии химический концерн.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

И. КОН,

*доктор философских наук*



## ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДРАССУДКА

*(О социально-психологических корнях  
этнических предубеждений)*

**К**огда рыцарь Ланцелот прибыл в город, поработанный жестоким Драконом, он, к своему удивлению, услышал о доброте Дракона. Во-первых, во время эпидемии холеры Дракон, дохнув на озеро, вскипятил в нем воду. Во-вторых, он избавил город от цыган. «Но цыгане — очень милые люди», — удивился Ланцелот. «Что вы! Какой ужас! — воскликнул архивариус Шарлемань. — Я, правда, в жизни своей не видал ни одного цыгана. Но я еще в школе проходил, что это люди страшные. Это бродяги по природе, по крови. Они — враги любой государственной системы, иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы туда-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи разрушительны. Они воруют детей. Они проникают всюду». Обратите внимание: Шарлемань сам не видел цыган, но их плохие качества не вызывают у него никаких сомнений. Даже реальный Дракон лучше мифических цыган. Кстати, источником информации о «цыганской угрозе» был не кто иной, как сам господин Дракон...

Антифашистская сказка Е. Шварца очень точно фиксирует связь между политическим деспотизмом и расовой дискриминацией. Предубеждения против «чужаков», укоренившиеся в обществе, превратившиеся в норму общественного поведения, разделяют людей, отвлекают их внимание от коренных социальных проблем и тем самым помогают господствующим классам удерживать свою власть над людьми.

Какова же природа этнических предубеждений? Коренятся они в особенностях индивидуальной психологии или же в структуре общественного сознания? Каким образом передаются они из поколения в поколение? Каковы пути и условия их преодоления?

Вопросы эти очень сложны, и мы не претендуем ни на полноту их охвата, ни на окончательность выводов. В качестве главного объекта мы возьмем Соединенные Штаты Америки. Во-первых, это ведущая капиталистическая страна. Во-вторых, в ней расовая и национальная проблемы стоят особенно остро. В-третьих, прогрессивные ученые США уже давно и основательно исследуют эти проблемы, и (хотя, как мы увидим дальше, многие концепции буржуазных социологов, психологов и этнографов односторонни или ложны) накопленный ими материал, если рассматривать его с марксистских позиций, имеет большую научную ценность.

Разумеется, в разных странах проблемы эти носят различный характер. Американские авторы больше всего интересуются негритянским и еврейским вопросами. Но то, что достоверно установлено в данном случае, может, с соответствующими коррективами, способствовать пониманию и более общих проблем.



## ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ, УСТАНОВКА, СТЕРЕОТИП

Начнем с совершенно элементарных вещей. Люди обыкновенно думают, что их восприятия и представления о вещах совпадают, и если два человека воспринимают один и тот же предмет по-разному, то один из них определенно ошибается. Однако психологическая наука отвергает это предположение. Восприятие даже простейшего объекта — не изолированный акт, а часть сложного процесса. Оно зависит прежде всего от той системы, в которой предмет рассматривается, а также от предшествующего опыта, интересов и практических целей субъекта. Там, где профан видит просто металлическую конструкцию, инженер видит вполне определенную деталь известной ему машины. Одна и та же книга совершенно по-разному воспринимается читателем, книгопродавцем и человеком, коллекционирующим переплеты.

Любому акту познания, общения и труда предшествует то, что психологи называют «установкой», что означает — определенное направление личности, состояние готовности, тенденция к определенной деятельности, способной удовлетворить какие-то потребности человека. В нашей стране теория установки детально разработана выдающимся грузинским психологом Д. Н. Уznaдзе. В отличие от мотива, то есть сознательного побуждения, установка произвольна и не осознается самим субъектом. Но именно она определяет его отношение к объекту и самый способ его восприятия. Человек, коллекционирующий переплеты, видит в книге прежде всего этот ее аспект и лишь потом все остальное. Читатель, обрадованный встречей с любимым автором, может вообще не обратить внимание на оформление книги. В системе установок, незаметно для самого человека, аккумулируется его предшествующий жизненный опыт, настроения его социальной среды.

Установки такого рода существуют и в общественной психологии, в сфере человеческих взаимоотношений. Сталкиваясь с человеком, принадлежащим к определенному классу, профессии, нации, возрастной группе, мы заранее ожидаем от него определенного поведения и оцениваем конкретного человека по тому, насколько он соответствует (или не соответствует) этому эталону. Скажем, принято считать, что юности свойствен романтизм; поэтому, встречая в молодом человеке это качество, мы считаем его естественным, а если оно отсутствует, это кажется странным. Ученым, по общему мнению, свойственна рассеянность; вероятно, это качество не универсально, но когда мы видим организованного, собранного ученого, мы считаем его исключением, зато профессор, постоянно все забывающий, — «подтверждает правило». Предвзятое, то есть не основанное на свежей, непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений психологи называют стереотипом. Иначе говоря, стереотипизирование состоит в том, что сложное индивидуальное явление механически подводится под простую общую формулу или образ, характеризующие (правильно или ложно) класс таких явлений. Например: «Толстяки обыкновенно добродушны, Иванов — толстяк, следовательно, он должен быть добродушным».

Стереотипы — неотъемлемый элемент обыденного сознания. Ни один человек не в состоянии самостоятельно, творчески реагировать на все встречающиеся ему в жизни ситуации. Стереотип, аккумулирующий некий стандартизованный коллективный опыт и внушенный индивиду в процессе обучения и общения с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и определенным образом направляет его поведение. Стереотип может быть истинным и ложным. Он может вызывать и положительные эмоции, и отрицательные. Его суть в том, что он выражает отношение, установку данной социальной группы к определенному явлению. Так, образы попа, купца или работника из народных сказок четко выражают отношение трудящихся к этим социальным типам. Естественно, что у враждебных классов стереотипы одного и того же явления совершенно разные.

И в национальной психологии существуют такого рода стереотипы. Каждая этническая группа (племя, народность, нация, любая группа людей, связанная общностью происхождения и отличающаяся определенными чертами от других человеческих групп) обладает своим групповым самосознанием, которое фиксирует ее — действительные и

воображаемые — специфические черты. Любая нация интуитивно ассоциируется с тем или иным образом. Часто говорят: «Японцам свойственны такие-то и такие-то черты» — и оценивают одни из них положительно, другие отрицательно. Студенты Принстонского колледжа дважды (в 1933 и 1951 годах) должны были охарактеризовать несколько разных этнических групп при помощи восьмидесяти четырех слов-характеристик («умный», «смелый», «хитрый» и т. п.) и затем выбрать из этих характеристик пять черт, которые кажутся им наиболее типичными для данной группы. Получилась следующая картина<sup>1</sup>: американцы — предприимчивы, способны, материалистичны, честолюбивы, прогрессивны; англичане — спортивные, способны, соблюдают условности, любят традиции, консервативны; евреи — умны, корыстолюбивы, предприимчивы, скупы, способны; итальянцы — артистичны, импульсивны, страстны, вспыльчивы, музыкальны; ирландцы — драчливы, вспыльчивы, остроумны, честны, очень религиозны и т. д. Уже в этом простом перечне приписываемых той или иной группе черт явно сквозит определенный эмоциональный тон, проступает отношение к оцениваемой группе. Но достоверны ли эти черты, почему выбраны именно эти, а не другие? В целом этот опрос, конечно, дает представление лишь о стереотипе, существующем у принстонских студентов.

Еще труднее оценить и в а т ь национальные обычаи и нравы. Оценка их всегда зависит от того, кто оценивает и с какой точки зрения. Здесь требуется особая осторожность. У народов, как и у отдельных индивидуумов, недостатки — суть продолжение достоинств. Это те же самые качества, только взятые в иной пропорции или в другом отношении. Хотя те же люди или нет, они неизбежно воспринимают и оценивают чужие обычаи, традиции, формы поведения прежде всего сквозь призму своих собственных обычаев, тех традиций, в которых они сами воспитаны. Такая склонность рассматривать явления и факты чужой культуры, чужого народа сквозь призму культурных традиций и ценностей своего собственного народа и есть то, что на языке социальной психологии называется этноцентризмом.

То, что каждому человеку обычаи, нравы и формы поведения, в которых он воспитан и к которым привык, ближе, чем другие, — вполне нормально и естественно. Темпераментному итальянцу медлительный финн может казаться вялым и холодным, а тому в свою очередь может не нравиться южная горячность. Чужие обычаи иногда кажутся не только странными, нелепыми, но и неприемлемыми. Это так же естественно, как естественны сами различия между этническими группами и их культурами, формировавшимися в самых разных исторических и природных условиях.

Проблема возникает лишь тогда, когда эти действительные или воображаемые различия возводятся в главное качество и превращаются во враждебную психологическую установку по отношению к какой-то этнической группе, установку, которая разобщает народы и психологически, а затем и теоретически, обосновывает политику дискриминации. Это и есть этническое предубеждение.

Разные авторы по-разному определяют это понятие. В справочном пособии Б. Берельсона и Г. Стейнера «Человеческое поведение. Сводка научных данных» предубеждение определяется как «враждебная установка по отношению к этнической группе или ее членам как таковым»<sup>2</sup>. В учебнике социальной психологии Д. Креча, Р. Крачфилда и Э. Баллачи предубеждение определяется как «неблагоприятная установка к объекту, которая имеет тенденцию быть крайне стереотипизированной, эмоционально заряженной и нелегко поддается изменению под влиянием противоположной информации»<sup>3</sup>. В новейшем «Словаре по общественным наукам», выпущенном ЮНЕСКО, читаем: «Предубеждение — это негативная, неблагоприятная установка к группе или ее индивидуальным членам; она характеризуется стереотипными убеждениями; установка вытека-

<sup>1</sup> См. P. F. Secord and C. W. Backman, *Social Psychology*. N. Y. 1964, p. 69.

<sup>2</sup> B. Berelson and G. A. Steiner, *Human Behavior. An inventory of scientific findings* N. Y. 1964, p. 495.

<sup>3</sup> D. Krech, R. S. Crutchfield and E. L. Ballachey, *Individual in society*. N. Y. 1962, p. 214.

ет больше из внутренних процессов своего носителя, чем из фактической проверки свойств группы, о которой идет речь»<sup>1</sup>.

Итак, отсюда следует, видимо, что речь идет об обобщенной установке, ориентирующей на враждебное отношение ко всем членам определенной этнической группы, независимо от их индивидуальности; эта установка имеет характер стереотипа, стандартного эмоционально окрашенного образа — это подчеркивается самой этимологией слов *предвзвудок*, *предубеждение*, то есть нечто, предшествующее рассудку и сознательному убеждению; наконец эта установка обладает большой устойчивостью и очень плохо поддается изменению под влиянием рациональных доводов.

Некоторые авторы, например, известный американский социолог Робин М. Уильямс-младший, дополняют это определение тем, что предубеждение — это такая установка, которая противоречит некоторым важным нормам или ценностям, номинально принятым данной культурой. С этим трудно согласиться. Известны общества, в которых этнические предубеждения имели характер официально принятых социальных норм, например, антисемитизм в фашистской Германии, — но это не мешало им оставаться предубеждениями, хотя фашисты и не считали их таковыми. С другой стороны, некоторые психологи (Гордон Олпорт) подчеркивают, что предубеждение возникает лишь там, где враждебная установка «покоится на ложном и негибком обобщении»<sup>2</sup>. Психологически это верно. Но это предполагает, что может существовать, так сказать, обоснованная враждебная установка. А это уже принципиально невозможно. В принципе можно, например, индуктивно, на основе наблюдений, утверждать, что данная этническая группа не обладает в достаточной мере каким-то качеством, необходимым для достижения той или иной цели; ну, скажем, что народность X в силу исторических условий не выработала достаточно навыков трудовой дисциплины, и это будет отрицательно сказываться на ее самостоятельном развитии. Но такое суждение — истинно оно или ложно — вовсе не тождественно установке. Прежде всего оно не претендует на универсальную оценку всех членов данной этнической группы; кроме того, формулируя частный момент, оно тем самым ограничено своим объемом, тогда как во враждебной установке конкретные черты подчинены общему эмоционально-враждебному тону. И наконец рассмотрение этнической характеристики как исторической предполагает возможность ее изменения. Суждение о том, что данная группа не готова к усвоению каких-либо конкретных социально-политических отношений, если оно не просто часть враждебного стереотипа (чаще всего тезис о «незрелости» того или иного народа лишь прикрывает колониалистскую идеологию), вовсе не означает отрицательную оценку этой группы вообще и признание ее «неспособной» к высшим социальным формам. Речь идет лишь о том, что темпы и формы социально-экономического развития должны соотноситься с местными условиями, в том числе с психологическими особенностями населения. В противоположность этническому стереотипу, оперирующему готовыми и некритически усвоенными клише, такое суждение предполагает научное исследование конкретной этнопсихологии, кстати сказать, едва ли не самой отсталой области современного обществоведения.

Как можно исследовать сами предубеждения?

Существуют два пути исследования.

Первый: у предубеждения как психологического феномена есть свои конкретные носители. Поэтому, чтобы понять истоки и механизм предубеждения, нужно исследовать психику предубежденных людей.

И второй: предубеждение — это социальный факт, общественное явление. Отдельный индивид усваивает свои этнические взгляды из общественного сознания. Следовательно, чтобы понять природу этнических предубеждений, нужно изучать не столько предубежденного человека, сколько порождающее его общество. Первым путем идет психиатрия и отчасти психология. Второй путь — путь социологии, и он нам кажется более плодотворным. Но, чтобы убедиться в этом, необходимо рассмотреть и первый подход, тем более что он тоже дает небезыңтересные данные.

<sup>1</sup> «Dictionary of the social sciences». N. Y. 1964, p. 527—528.

<sup>2</sup> G. W. Allport. The nature of prejudice. Cambr., Mass. 1954, p. 9.

### ВНУТРЕННИЙ МИР РАСИСТА

Итак, что представляет собой внутренний мир наиболее предубежденных людей,— для краткости будем именовать их расистами, хотя многие из них вовсе не разделяют расовой теории в общепринятом смысле этого слова?

Что и говорить, разбираться в психологии линчевателей, погромщиков, фашистских головорезов — работа не из приятных. Но, по меткому замечанию одного литератора, микробы не становятся опаснее от того, что микроскоп их увеличивает. В сознании человека, воспитанного в духе интернационализма, не укладывается, как можно ненавидеть другого за цвет его кожи, форму носа или разрез глаз. Когда вспоминаешь ужасы Освенцима или кровавый антинегритянский террор американских расистов, невольно думаешь: этого не может быть, люди не способны на такие вещи, это какая-то патология! И, однако, это было и есть. И не в порядке исключения, а как массовое явление.

В своей пьесе, посвященной Освенциму, Петер Вейс пишет:

...И палачи и узники  
обычными были людьми:  
масса людей доставлялась  
в лагерь,  
масса людей доставляла в лагерь —  
одни доставляли других,  
но и эти и те были люди.  
Многие из тех,  
которые были предназначены  
играть роль узников,  
выросли в том же мире,  
что и те, кто попал на роль палачей.  
Кто знает,  
многие, если бы их не назначила судьба  
на роль узников,  
могли бы стать палачами...

Нет, это, конечно, поэтическое преувеличение! Люди не марионетки, и не каждый годится на роль палача. Но как же все-таки нормальный человек становится пусть не палачом, но его соучастником? Художественная литература уже не раз раскрывала в самых разных аспектах этот процесс. Посмотрим, как выглядит он в свете психологии, причем рассмотрим отнюдь не «крайние» случаи, не тех, кто совершает чудовищные зверства, а «простого», «обычного» расиста, на совести которого лет никаких преступлений. Он просто не любит негров, или евреев, или японцев, или ирландцев, или всех их вместе взятых. Почему? Как он сам понимает это? И чего он не понимает?

Обычно люди, предубежденные против какой-то этнической группы, не сознают своей предвзятости. Они уверены, что их враждебное отношение к этой группе — вполне естественно, так как вызвано ее дурными качествами или плохим поведением. Свои рассуждения они нередко подкрепляют фактами из личного общения с людьми определенной национальности: «Знаю я этих мексиканцев! Был у нас один такой, никакого сладу с ним!..»

Конечно, рассуждение это лишено логики: каким бы неприятным ни был знакомый мексиканец, нет никакого основания думать, что все остальные — такие же. Но, несмотря на абсурдность подобного рассуждения, оно кажется понятным — люди часто делают необоснованные обобщения и не только в сфере этнических отношений. Поэтому некоторые буржуазные социологи утверждают, что этнические предубеждения вырастают прежде всего из неблагоприятных личных контактов между индивидами, принадлежащими к различным группам. Хотя эта теория отвергнута наукой, она имеет широкое хождение в обыденном сознании.

Обычно дело представляется так. В процессе общения между людьми часто происходят разные конфликты и возникают отрицательные эмоции. Когда конфликтующие индивиды принадлежат к одной и той же этнической группе, конфликт остается частным. Но если эти люди принадлежат к разным национальностям, конфликтная ситуа-

ция легко обобщается — отрицательная оценка одного индивида другим превращается в отрицательный стереотип этнической группы: все мексиканцы такие, все японцы такие.

Спору нет — неблагоприятные личные контакты действительно играют определенную роль в том, что предубеждения возникают и закрепляются. Они могут объяснить, почему это предубеждение у одного человека проявляется в большей, а у другого в меньшей степени. Однако они не объясняют происхождение предубеждения как такового. Дети, воспитанные в расистских семьях, обнаруживают высокую степень предубеждения против негров, даже если они никогда в жизни негра не встречали.

Несостоятельность индивидуально-психологического объяснения предубеждений была доказана опытом американского социолога Ю. Хартли. Он опросил большую группу средних американцев — людей не особенно высокого культурного уровня — насчет того, что они думают о моральных и прочих качествах различных народов. Среди перечисленных им народностей были названы три, которые вообще никогда не существовали. Ни у кого не было никогда никаких личных неприятных столкновений с данирейцами. Не было и бабушкиных сказок или учебников истории, которые бы рассказывали, что три века назад была война с данирейцами, во время которой те очень зверствовали, и что вообще данирейцы люди плохие. Ничего этого не было. И тем не менее мнение об этих выдуманных группах оказалось резко отрицательным. О них ничего не известно, но то, что они люди нехорошие, сомнений не вызывает.

Личный опыт индивида отнюдь не причина предубежденности. Как правило, этому опыту предшествует и во многом предопределяет его — стереотип. Общаясь с другими людьми, человек воспринимает и оценивает их в свете уже имеющихся у него установок. Поэтому он склонен одни вещи замечать, а другие не замечать. Эту мысль хорошо иллюстрирует наблюдение знаменитого русского лингвиста Бодуэна де Куртене — М. Горький цитирует его слова в «Жизни Клима Самгина»: «Когда русский украдет, говорят: «Украл вор», а когда украдет еврей, говорят: «Украл еврей». Почему? Потому что в соответствии со стереотипом (еврей-жулики) внимание фиксируется не столько на факте воровства, сколько на национальности вора.

Коль скоро человек сам отбирает свои впечатления, предубежденному не составляет труда найти примеры, подтверждающие его точку зрения. Когда же его личный опыт противоречит стереотипу, например, человек, убежденный в интеллектуальной неполноценности негров, знакомится с негром-профессором, он воспринимает такой факт как исключение. Известны случаи, когда ярые антисемиты имели друзей среди евреев; логика здесь очень простая: положительная оценка отдельного лица лишь подчеркивает отрицательное отношение к этнической группе в целому.

Иррациональность предубеждения состоит не только в том, что оно может существовать независимо от личного опыта — никогда не видел цыган, но знаю, что они плохие, — оно даже противоречит ему. Не менее важно и то, что установка как целое фактически независима от тех специфических черт, обобщением которых она претендует быть. Что это значит? Когда люди объясняют свое враждебное отношение к какой-либо этнической группе, ее обычаям и т. д., они обыкновенно называют какие-то конкретные отрицательные черты, свойственные, по их мнению, данной группе. Однако те же самые черты, взятые безотносительно к данной группе, вовсе не вызывают отрицательной оценки или оцениваются гораздо мягче. «Линкольн работал до глубокой ночи? Это доказывает его трудолюбие, настойчивость, упорство и желание до конца использовать свои способности. То же самое делают «чужаки» — еврей или японцы? Это свидетельствует только об их эксплуататорском духе, нечестной конкуренции и о том, что они злобно подрывают американские нормы»<sup>1</sup>.

Социологи Сэнгер и Флауэрмэн отобрали несколько черт из обычного стереотипа, «объясняющего» плохое отношение к евреям, и стали опрашивать предубежденных людей, что они думают об этих чертах — корыстолюбии, материализме, агрессивности как таковых. Оказалось, что, когда речь идет о евреях, эти черты вызывают резко отрицательное отношение. Когда же речь идет не о евреях, те же самые черты оцениваются иначе. Например, такую черту, как корыстолюбие, у евреев положительно оценили 18 про-

<sup>1</sup> R. Merton. Social theory and social research. N. Y. 1957, p. 428.

центов, нейтрально — 22, отрицательно — 60 процентов опрошенных. Та же черта «у себя» (то есть у американцев) вызвала 23 процента положительных, 32 нейтральных и 45 процентов отрицательных оценок. Агрессивность у евреев одобрили 38 процентов. Та же черта применительно к собственной группе дала 54 процента одобрительных оценок. Дело, следовательно, вовсе не в отдельных свойствах, приписываемых этнической группе, а в общей отрицательной установке к ней. Объяснения враждебности могут меняться и даже противоречить одно другому, а враждебность тем не менее остается. Легче всего это показать на примере того же антисемитизма. В средние века основным «аргументом» против евреев было то, что они распяли Христа, который сам был евреем, и, следовательно, речь идет не о национальной, а о религиозной вражде; многие верили, что евреи имеют хвосты, кроме того, они считались нечистыми в физическом смысле. Сегодня мало кто утверждает, что евреи нечистоплотны. Потеряла значение для большинства людей и религиозная рознь. А предубеждение осталось. Гитлеровская пропаганда, чтобы натравить на евреев простых людей, говорила о «еврейском капитале», ставя знак равенства между евреями и «международными банкирами»; американские маккартисты обвиняли евреев в «антиамериканизме», связи с «коммунистическим заговором» и т. п.

Кстати сказать, в силу многообразия индивидов, составляющих любую нацию, и противоречивости любой национальной культуры — достаточно вспомнить указание Ленина о классовом характере культуры, о «двух культурах» в каждой национальной культуре — любая черта этнического стереотипа может быть одинаково легко и «доказана» и «опровергнута».

Однако стереотипизированное мышление не вникает в противоречия и «тонкости». Оно берет одну, первую попавшуюся черту и через нее оценивает целое. Как оценивает? Это зависит от установки. Для сиониста еврей — воплощение всяческих достоинств, для антисемита — воплощение всевозможных пороков. Один и тот же по формальным, внешним признакам антисемитский стереотип может символизировать самые разнообразные социальные установки — мелкобуржуазную оппозицию крупному капиталу («еврейский капитал»), враждебность господствующего класса социальным переменам («вечные смутьяны») и специально — антикоммунизм, воинствующий антиинтеллектуализм (еврей символизирует интеллигента вообще). Во всех этих случаях враждебная установка — вовсе не обобщение эмпирических фактов, последние призваны лишь подкреплять ее, придавая ей видимость обоснованности. И так обстоит дело с любой этнической группой, с любыми этническим стереотипом.

Против любого национального меньшинства, любой группы, которая вызывает предубеждение, всегда выдвигается одно и то же стандартное обвинение — «эти люди» обнаруживают слишком высокую степень групповой солидарности, они всегда поддерживают друг друга, поэтому их надо опасаться. Так говорится о любом национальном меньшинстве. Что реально стоит за таким обвинением?

Малые этнические группы, и в особенности дискриминируемые, вообще обнаруживают более высокую степень сплоченности, чем большие нации. Сама дискриминация служит фактором, способствующим такому сплочению. Предубеждение большинства создает у членов такой группы острое ощущение своей исключительности, своего отличия от остальных людей. И это, естественно, сближает их, заставляет больше держаться друг за друга. Ни с какими специфическими психическими или расовыми особенностями это не связано.

Недаром ведь кто-то из писателей сказал, что если бы завтра начали преследовать рыжих, то послезавтра все рыжие стали бы симпатизировать и поддерживать друг друга. С течением времени это чувство солидарности войдет в привычку и будет передаваться из поколения в поколение. И цементировалась бы эта солидарность не цветом волос, а враждебным отношением со стороны остального общества. В этом смысле этнические предубеждения и любые формы дискриминации активно способствуют сохранению национальной обособленности и формированию крайних форм национализма у малых народов.

Столкнувшись с фактом иррациональности этнических предубеждений, многие буржуазные ученые пытались объяснить их чисто психологически, особенностями индивидуальной психологии, неспособностью человека рационально осмыслить собственную жизнь. Такова, например, знаменитая теория «козла отпущения», или, выражаясь науч-

ным языком, теория фрустрации и агрессии. Психологическая сторона ее очень проста. Когда какое-то стремление человека не получает удовлетворения, блокируется, это создается в человеческой психике состояние напряженности, раздражения — фрустрации. Фрустрация ищет какой-то разрядки и часто находит ее в акте агрессии, причем объектом этой агрессии может быть практически любой объект, вовсе не связанный с источником самой напряженности. Чаще всего это кто-то слабый, не могущий постоять за себя. Речь идет об общеизвестном механизме вымещения вроде того, как раздражение, возникающее на почве служебных неприятностей, нередко вымещается на собственных детях. Наглядной иллюстрацией его может служить одна из карикатур Бидструпа: босс распекает своего подчиненного, подчиненный, не смея ответить начальству, в свою очередь орет на кого-то нижестоящего, тот дает подзатыльник мальчишке-рассыльному, мальчишка пинает собаку, и, когда босс выходит из офиса, разъяренная собака кусает его. Круг замкнулся, каждый выместил свою неудачу и свое раздражение на каком-то догруппном ему объекте.

Такой же механизм, говорят нам, существует и в общественной психологии. Когда у народа, общества в целом возникают какие-то непреодолимые трудности, люди бессознательно ищут, на ком их выместить. Чаще всего таким козлом отпущения оказывается какая-то расовая или национальная группа. Недаром, как свидетельствует история, проблемы, связанные с национальными меньшинствами, особенно обостряются в периоды, когда общество переживает кризис.

Теория вымещения подтверждается как повседневным опытом, так и специальными экспериментами. Социальные психологи Миллер и Бугельский провели, например, следующий опыт. Группу подростков, в которой было несколько японцев и мексиканцев, вывели в летний лагерь. Затем руководство лагеря сознательно создало ряд трудностей, вызвавших у ребят состояние фрустрации (напряженности). Японцы и мексиканцы не имели к этим трудностям никакого отношения, тем не менее враждебность против них выросла, товарищи вымещали на них свое раздражение.

Однако теория вымещения весьма односторонняя. Во-первых, фрустрация не всегда ведет к агрессии, она может также вызвать состояние подавленности, или гнев против самого себя, или наконец борьбу с действительным источником трудностей. Во-вторых, эта теория не отвечает на вопрос, почему берется один, а не другой козел отпущения. В частности, опыт Миллера и Бугельского доказывает лишь то, что конфликтная ситуация обостряет национальную рознь, которая вызвана была ранее существовавшей враждебной установкой. Другие исследования, в частности работа Д. Уизерли, показывают, что люди выбирают в качестве козла отпущения не первый попавшийся объект, а тех, к кому они и раньше были настроены наиболее враждебно. Следовательно, механизм вымещения объясняет лишь некоторые стороны действия предубеждения, но не его происхождение. Чтобы ответить на последний вопрос, нужно исследовать не столько психику предубежденного человека, сколько социальную среду, продуктом которой он является.

Эти замечания касаются и попыток психоаналитического объяснения этнических предубеждений, в частности теории проекции.

По Фрейду, в психике индивидуума существуют определенные бессознательные импульсы и стремления («Оно»), которые противоречат его сознательному Я и усвоенным им моральным нормам (Сверх-Я). Конфликт между Оно, Я и Сверх-Я создает напряженность, беспокойство в человеческой психике, для ослабления которых существует несколько бессознательных защитных механизмов, при помощи которых нежелательная информация вытесняется из сознания. Одним из таких механизмов и служит проекция: свои собственные стремления и импульсы, противоречащие его самосознанию и моральным установкам, индивид бессознательно проецирует, приписывает другим.

Здесь не место для обсуждения теории Фрейда в целом. Его общая концепция бессознательного представляется мне, как и многим другим, теоретически ошибочной. Но это не отменяет того, что Фрейд поставил ряд важных проблем и сделал немало ценных наблюдений. К числу таких рациональных моментов я отношу и учение о защитных механизмах, которые используют сегодня психологи и психиатры самых различных направлений, в том числе и те, кто, в общем, отрицательно относится к фрейдизму.

Классический пример проекции — психология старой девы, которая не смеет признаться себе в том, что испытывает половое влечение, считает, что половая жизнь — нечто грязное, низменное и т. д. Свои подавленные сексуальные импульсы она бессознательно проецирует на других, и ей кажется, что у всех окружающих грязные мысли. Таким образом, она получает возможность смаковать чужое плохое поведение, не понимая, что в действительности речь идет о ее собственных проблемах. Механизм этот отчасти помогает понять психологию и такого распространенного явления, как ханжество. Люди, которые особенно бдительно следят за чужой нравственностью, подозревая всех остальных в чем-то плохом, часто лишь приписывают другим то, что они сами хотели бы сделать, но не смеют в этом признаться.

Можно ли использовать этот механизм для объяснения этнических предубеждений? Американские социологи и психоаналитики (Беттельхейм, Яновиц, Петтигру и другие) констатируют, что враждебные этнические стереотипы в США распадаются на две группы. Один стереотип включает такие черты, как хитрость, честолюбие, корыстолюбие, агрессивность, групповой дух. Другой стереотип подчеркивает такие качества, как суеверие, лень, беззаботность, невежество, нечистоплотность, безответственность и сексуальную невоздержанность. В первом случае символизируются те качества, которые присущи сознательному Я американца, но осуждаются его моральным сознанием. Во втором случае символизируются его бессознательные стремления, его Оно. Проецируя одни свои грехи на еврея, другие — на негра, «чистокровный» американец обретает желанное душевное равновесие.

Этот взгляд отчасти подтверждается данными психиатрии. Общеизвестно, какое большое значение в психологии американских расистов имеет тезис о сексуальной распущенности негров и той угрозе, которую это создает для белых женщин. Изнасилование белой женщины — стандартный предлог для расправы над негром. На самом деле подобные факты более чем редки. Расправы же над неграми, как правило, носят садистский характер, причем не в переносном, а в буквальном смысле этого слова — кастрирование жертв, всевозможные надругательства над ними. Эти факты в сочетании с клиническим исследованием пациентов-расистов приводят некоторых психиатров к выводу, что здесь действительно налицо проекция: расовая ненависть служит социально приемлемым каналом выражения болезненной и противоречащей общественной морали сексуальности; психологически — в приписывании собственных стремлений неграм, физически — в садистских расправах над ними.

Кстати, американские расисты всегда утверждали, что негры добиваются в первую очередь равенства в сфере сексуальных отношений, и оправдывали расовую дискриминацию заботой о своих женах и дочерях. На самом же деле все выглядит иначе. Как показал известный шведский социолог Густав Мюрдаль, автор книги «Американская дилемма» (1944) — крупнейшего исследования расовой проблемы в США, — для негров на первом месте по значению стояла экономическая дискриминация, затем — правовая, дальше — политическая, потом стремление к равенству в сфере общественного обслуживания, к равному праву на вежливость и уважение, и лишь на шестом месте — равенство в половых отношениях.

После войны в связи с подъемом негритянского движения на первое место выдвинулась проблема правовой, а на второе — политической дискриминации. Равенство же сексуальное по-прежнему остается на последнем месте.

Таким образом, подобно теории вымещения, теория проекции ограничивается выяснением того, какую роль играет предубеждение в балансе психических механизмов личности. Социальная природа этнических стереотипов и реальные взаимоотношения этнических групп остаются при этом в тени. Предубеждение оказывается чем-то внеисторическим и едва ли вообще преодолимым: если конфликт сознания и бессознательного неустраним и человек вынужден на кого-то проецировать подавленные стремления, изменить это невозможно.

Слабость психологического подхода к проблеме этнических предубеждений наиболее ясно выступает в теории так называемой «авторитарной личности». Авторы опубликованной в 1950 году одноименной работы — Т. Адорно, Н. Санфорд, Э. Френкель-



Брунsvик и Д. Левинсон — стремились исследовать, так сказать, психологические корни фашизма. Они исходили из предположения, что политические, экономические и социальные убеждения индивида образуют цельный и последовательный характер и что характер этот есть выражение глубинных черт его личности. В центре внимания был потенциально фашистский индивид, тот, кто в силу психологических особенностей своей личности наиболее восприимчив к антидемократической пропаганде. Поскольку фашизм всегда характеризуется крайним шовинизмом, одним из главных показателей авторитарности стала степень этнической предрасположенности.

Авторы начали с антисемитизма. Из антисемитской литературы были отобраны типичные высказывания, и каждый опрошиваемый должен был выразить степень своего согласия от +3 (полностью согласен) до —3 (решительно не согласен) с ними. Сумма ответов каждого затем превращалась в специальную шкалу. С ее помощью был выяснен вопрос: случайны ли и разрозненны ли стереотипные представления о евреях или же они, при всей своей противоречивости, образуют последовательную установку? Подтвердилось второе предположение: антисемитизм — это последовательная установочная система у данной группы.

Затем был поставлен вопрос: является ли антисемитизм изолированной установкой или же элементом более общей враждебности по отношению ко всем национальным меньшинствам? Измерив по специальной «шкале этноцентризма» отношение опрошиваемого к неграм, другим национальным группам и к интернациональной роли Соединенных Штатов как целого, было вполне определено доказано, что антисемитизм — не изолированное явление, а часть более общей националистической психологии. Люди, предрасположенные против одной этнической группы, обнаруживают тенденцию враждебности и к остальным «чужакам», хотя и в разной степени.

Затем таким же путем были выяснены антидемократические склонности («шкала фашизма»); испытуемым предлагали высказать согласие или несогласие с определенными политическими высказываниями. Выяснилось, что и здесь есть совпадение: высокой степени этноцентризм во многих случаях сочетается с антидемократизмом.

Наконец восемьдесят человек, из которых сорок пять показали максимальный, а тридцать пять — минимальный коэффициент антисемитизма, подверглись тщательному интервьюированию, которое должно было выявить особые черты их личности. При этом учитывались профессиональные стремления людей и их отношение к труду, религиозные установки, семейные условия, отношения между родителями и детьми, сексуальное поведение, образовательные интересы и т. д. Оказалось, что эти две крайние группы существенно отличаются друг от друга своими чисто личными особенностями и своими детскими переживаниями. В свете теории Фрейда, из которой исходили Адорно и его сотрудники, детские переживания имеют решающее значение в формировании личности. Наиболее предрасположенные индивиды, как показал Адорно, обычно обнаруживают высокую степень конформизма по отношению к социальным нормам и властям и одновременно подавленную враждебность к ним; подавленную и неосознаваемую враждебность к родителям; они — сторонники суровых наказаний, преклонения перед могуществом и силой; не уверены в своем социальном положении и престиже; им свойственны скованность и догматизм мышления; недоверие к другим людям, подавленная сексуальность; они склонны рассматривать мир как злой и опасный. Эти проявления получили обобщенное название «авторитарной личности», или «авторитарного синдрома».

Этническая предрасположенность, расизм предстают, таким образом, как частные проявления глубинных черт личности, сформировавшихся в раннем детстве. Что можно сказать об этой концепции? Адорно и его сотрудники, несомненно, подметили ряд существенных моментов. Они показали, что частное этническое предрасположение — антисемитизм — нельзя рассматривать изолированно: оно связано с общей враждебной установкой к национальным меньшинствам и — шире — с антидемократическим стилем мышления. Несомненно и связь этнической предрасположенности с догматизмом: склонность мыслить жесткими стереотипами говорит о неумении самостоятельно сопоставлять факты, творчески подходить к конкретной ситуации. Враждебность к националь-

ным меньшинствам может быть связана и с внутренним невротизмом человека, который проецирует свое внутреннее беспокойство вовне.

Но, несмотря на справедливость этих частных выводов, теория авторитарной личности в целом представляется нам научно несостоятельной. Истоки национальных предубеждений переносятся здесь из мира общественных отношений в субъективный мир личности, становятся симптомом некоей психологической неполноценности. А это уже совершенно неправомерно. Разумеется, неудовлетворительное воспитание в детстве может искалечить человека, вызвать у него враждебное отношение к миру. Но чтобы эта враждебность направлялась против каких-то национальных меньшинств, нужно, чтобы соответствующий стереотип уже был дан в общественном сознании. В свете теории Адорно и других американских психологов расист — прежде всего невротик, а то и просто психопат. Такая ситуация возможна, но совершенно не обязательна. Население штата Миссисипи, указывали, например, американские критики этой концепции, обнаруживает гораздо более высокую степень предубежденности против негров, чем население штата Миннесота, вовсе не потому, что в Миссисипи больше невротиков, а потому, что соответствующий стереотип составляет здесь неотъемлемую часть общественной психологии, что в свою очередь объясняется социальными, а не индивидуально-психологическими причинами. Необходимо также, определяя степень «терпимости» и «авторитаризма», учитывать такой социальный фактор, как образование. Хотя само по себе оно не освобождает человека от распространенных в обществе предрассудков, но оно расширяет кругозор, делает мышление человека более гибким и, следовательно, менее стереотипным. В этом смысле рост культуры — одно из необходимых условий для преодоления этнических предубеждений.

Как ни существенны индивидуально-психологические процессы, ключ к пониманию природы этнических предубеждений лежит не в них, а в истории общества и структуре общественного сознания. Предубеждения иррациональны не в том смысле, что их носители психически ненормальны, а в том, что выраженные в этнических стереотипах групповые интересы и пристрастия не имеют и не могут иметь всеобщего значения. Расшифровка их — дело истории и социологии.

### ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ

Человек не может сформировать свое собственное Я иначе как через отношение к другим людям, в процессе общения с ними. Как писал Маркс, чтобы выработать самосознание, «человек сначала смотрит в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к себе как к человеку»<sup>1</sup>. Это верно и для группового самосознания, содержание которого целиком определяется практикой общения, природой общественных отношений.

В первобытном обществе сфера общения между людьми была ограничена рамками своего рода и племени. Человек — это только соплеменник. Люди из других племен, когда с ними приходилось встречаться, воспринимались как чуждая, враждебная сила, как разновидность чертей, демонов. Иначе и не могло быть: ведь такая встреча сулила гибель одной из сторон. Чужой — значит враг.

Расширение межплеменных связей, появление обмена и тому подобное обогатили представления человека о самом себе. Осознать специфику своей собственной этнической группы люди могли только через сопоставление и противопоставление ее другим. Это было не созерцательное сопоставление качеств, а живой процесс общения, напряженный и конфликтный. Групповое самосознание закрепляло и цементировало единство племени, племенного союза, позже — народности, перед лицом всех окружающих. Этноцентризм как чувство принадлежности к определенной человеческой группе с самого начала содержал в себе сознание превосходства своей группы над остальными. Идея превосходства своих обычаев, нравов, богов над чужими красной нитью проходит через любой народный эпос, сказания, легенды. Вспомним хотя бы

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 62.

отношение греков к варварам. Только в эпоху эллинизма, когда античное общество уже переживало глубокий кризис, появляется идея единства человеческого рода и варвар впервые воспринимается как человек, пусть даже и не похожий на грека.

Но хотя любой этнической группе на заре цивилизации было свойственно ставить себя выше других, отношения между разными народностями были неодинаковы, и это отражалось в различных стереотипах. Интересную попытку классификации таких стереотипов делают американские социальные психологи Т. Шибутани и К. М. Кван в своей недавно вышедшей книге «Этническая стратификация. Сравнительный подход». Образ чужой этнической группы в сознании народа определяется прежде всего характером его собственных исторических взаимоотношений с этой группой. Там, где между двумя этническими группами складывались отношения сотрудничества и кооперации, они вырабатывали в основном положительную установку друг к другу, предполагающую терпимое отношение к существующим различиям. Там, где отношения между группами были далекими, не затрагивающими жизненных интересов, люди склонны относиться друг к другу без враждебности, но и без особой симпатии. Их установка окрашивается главным образом чувством любопытства: смотри, мол, какие интересные (в смысле «не похожие на нас») люди бывают! Враждебности здесь нет. Иное дело там, где этнические группы долгое время находились в состоянии конфликта и вражды.

Представитель господствующей нации (группы) воспринимает зависимую народность прежде всего сквозь призму своего главенствующего положения. Порабощенные народы рассматриваются как низшие, неполноценные, нуждающиеся в опеке и руководстве. Пока они довольствуются подчиненным положением, колонизаторы готовы признавать за ними даже целый ряд достоинств — непосредственность, жизнерадостность, отзывчивость. Но это добродетели, так сказать, низшего порядка. Индеец, африканец или американский негр предстают в «фольклоре» империализма чаще всего в образе детей, они могут иметь хорошие или дурные задатки, но главное — они не взрослые, ими необходимо руководить. Сколько раз звучал этот мотив не только в книгах, но и на международных политических конференциях, в Организации Объединенных Наций, всюду, где заходила речь о политическом равенстве и праве наций на самоопределение! Им и сегодня козыряют родезийские и южноафриканские расисты, доказывая, что они действуют прежде всего в интересах африканцев. Этот «отеческий» тон очень удобен — внешне благожелателен и в то же время позволяет сохранить свое господство. Но истинное лицо этой «благожелательности» обнаруживается, как только угнетенная группа отказывает в послушании и восстает против «цветного барьера». Африканец или американский негр, который только что был неплохим, в сущности, хотя и взбалмошным парнем, сразу же становится «смутьяном», «агрессором», «демагогом»... Отношение к национальному меньшинству (меньшинство здесь имеет не количественный — в Южно-Африканской Республике африканцы составляют подавляющее большинство населения, — а качественный, символический смысл, обозначая зависимую часть населения) как к «детям» существует лишь до тех пор, пока это меньшинство не пытается выступить как самостоятельная сила.

Иной стереотип складывается там, где меньшинство предстает как соперник и конкурент в экономической и социальной областях. Чем опаснее конкурент — тем большую враждебность он вызывает. Если порабощенная и пассивная группа наделяется чертами наивности, интеллектуальной неполноценности и моральной безответственности, то стереотип группы-конкурента наделяется такими качествами, как агрессивность, безжалостность, эгоизм, жестокость, хитрость, лицемерие, бесчеловечность, алчность. Ей не отказывают в умственных способностях, наоборот, эти способности часто преувеличивают — страх перед конкурентом побуждает переоценивать его опасность, — но говорят, что они «плохо направлены».

Если «неполноценность» пассивно-подчиненной группы усматривается преимущественно в сфере интеллекта, то группа-конкурент осуждается и, соответственно, признается «низшей» в моральном отношении. Типичные стереотипы негра и еврея, которые психоаналитики истолковывают как проекцию отрицательных черт в первом случае — бессознательного Оно, во втором — сознательного Я американца, с точки зрения

социальной психологии представляются лишь проявлением разных типов отношений — к подчиненной группе и к группе-конкуренту.

Не случайно наиболее устойчивые и сильные предубеждения существуют к тем этническим группам, которые в силу особенностей исторического развития были в определенные периоды наиболее опасными экономическими конкурентами. Особенно характерно в этом смысле отношение к евреям. На протяжении длительного периода европейской истории евреи олицетворяли товарно-денежные отношения в недрах натурального хозяйства.

Развитие товарно-денежных отношений было объективной закономерностью, которая не зависела от чьей-либо злой и доброй воли. Но процесс этот был весьма болезненным. Задолженность и разорение легко ассоциировались в отсталом сознании с образом еврея-ростовщика или еврея-торговца, который становился, таким образом, символом всяческих неприятностей. Церковь и феодалы умело играли на этих настроениях. Им было выгодно развивать торговлю и ремесло, поэтому они поощряли создание еврейского гетто, получая за это хорошую мзду. Когда требовалось дать выход массовому недовольству, его легко можно было направить против евреев. Львиная доля разграбленного еврейского имущества попадала в руки самого феодала, а затем он получал еще деньги и от еврейской общины за спасение от будущих погромов.

Так продолжалось долгие столетия. Все это способствовало относительной изоляции евреев от окружающего населения. Как писал академик А. И. Тюменев, «неприязнь по отношению к чужеземцам обуславливалась прежде всего опасением возможной с их стороны конкуренции на поприще торговой и ремесленной деятельности, и естественно, что вытекавшее из подобных оснований неприязненное чувство должно было быть особенно сильным именно в отношении евреев, поколениями развивавших в себе склонности к разного рода специально городским профессиям. Это же самое обстоятельство, отдалявшее евреев от массы остального городского населения, в то же время немало способствовало их взаимному сближению и единению между собою... Чужие среди чужих, ненавидимые и в лучшем случае только терпимые евреи диаспоры, естественно, держались особняком и с течением времени все более и более замыкались в своей среде»<sup>1</sup>.

Равнины и верхушка еврейской общины использовали это обстоятельство, чтобы закрепить свое господство над еврейской беднотой, которую они держали в тяжелой экономической и социальной зависимости.

Капитализм распространил законы товарного производства на все общество, усилил социальную мобильность, ослабил влияние религиозной идеологии. В XIX веке многим казалось, что это будет означать конец антисемитизма. С одной стороны, принцип товарного производства стал всеобщим; с другой стороны, оказалась подорванной замкнутость еврейской общины. Но экономическая конкуренция наполнила новым содержанием старые предрассудки. Эту сторону дела отлично объяснял М. И. Калинин: «Всякая интеллигентская еврейская семья, с большим трудом выбившаяся из черты оседлости, вполне естественно делается более способной к борьбе за существование, чем окружающие русские интеллигентские семьи, получившие свое право не с бою, а как бы по праву первородства. То же самое относится и к купцам. Прежде чем еврей вышел на широкую дорогу капиталистической эксплуатации, он должен был пройти суровую школу в борьбе за существование. Из запертых в черте оседлости, где тысячи мелких торговцев, ремесленников и кустарей борются друг с другом на торговой арене, перехватывая покупателя и продавца из деревни, мог выскочить лишь такой еврей, который особенно проявил свои способности к наживе и к использованию честным или нечестным путем окружающих условий. Конечно, когда такой еврей получал право купца первой гильдии... ясно, что такой еврей на целую голову стоял выше аналогичных русских купцов, не прошедших столь тяжелой предварительной школы. Поэтому как интеллигенции, так и торговцам, да и вообще буржуа-

<sup>1</sup> А. И. Тюменев. Евреи в древности и в средние века. М. 1922, стр. 218—219.

зии крупной и мелкой всех других национальностей евреи казались страшно опасными конкурентами»<sup>1</sup>. Конкуренция рождает страх, страх — недоверие и ненависть.

Интересно отметить, что те же отрицательные черты, которые в Европе и Америке приписываются евреям, в других частях света ассоциируются с совершенно другими этническими группами, которые символизировались в качестве торговцев. В Закавказье это относилось к армянам, во многих странах Юго-Восточной Азии — к китайцам, которых король Таиланда Рама VI прямо назвал «евреями Востока». Но ведь народы эти столь различны по своей культуре и обычаям. Пример этот лишний раз доказывает, что этнический стереотип — не обобщение действительных черт той или иной нации, а продукт и симптом соответствующей социальной ситуации.

Зависимость этнического стереотипа от конкретных экономических условий убедительно показывает В. Шрике на примере судьбы китайцев в Калифорнии.

Когда китайцы прибыли в Калифорнию в прошлом веке, там ощущалась нехватка рабочей силы. Дешевая рабочая сила пришлась всем по вкусу. Китайцы тогда имели превосходную прессу. О них писали как о «наших достойнейших новых гражданах», отмечались их трудолюбие, трезвость, безобидность, благонамеренность. Затем условия изменились. Появилась безработица, возникла конкуренция между китайским мелким предпринимателем и американским буржуа, между китайским рабочим и американским рабочим. И сразу же китайцы стали «лживыми», «опасными», «неискренними»...

Когда появляется такая конкуренция, фактическое поведение той группы, в отношении которой существует предубеждение, ничего уже не меняет. Если китаец, накопив деньги, возвращается на родину, это доказывает, что он нехороший человек, так как он приехал только за тем, чтобы ограбить бедную Америку. Он не ассимилируется, он чужеродное тело. Если он не уезжает домой — тоже плохо: нет чтобы подработать и отправиться восвояси. Он постоянно хочет конкурировать с американцами.

Предвззудки, рожденные экономической конкуренцией или унаследованные от прошлых эпох, сознательно используют реакционные классы. В. И. Ленин прямо говорил, что политическая суть антисемитизма в том, чтобы «засорить глаза рабочего, чтобы отвлечь их взоры от настоящего врага трудящихся — от капитала»<sup>2</sup>.

Сегодня антисемитизм теснее всего связан с антиинтеллектуализмом. Буржуазия и созданная ею бюрократия нуждаются в интеллигенции, покупают ее услуги и готовы щедро платить за них. Но внутренне они враждебны интеллекту, их пугает присущая ему критическая тенденция, его способность к неожиданным выводам. В мире бизнеса «интеллигент» всегда был сомнительной фигурой, вызывающей презрение или снисходительное похлопывание по плечу со стороны «практичного», «здоровомыслящего» дельца или чиновника. Для фашизма интеллигент — это «хлюпик», подрывающий духовное здоровье нации и потому не менее опасный, чем внешний враг. Образ еврея-интеллигента воплощает в себе всю ненависть, которую питает темное сознание к тому, что выходит за пределы его понимания. Слово «оевреившиеся» фашистская пропаганда применяла не только к тем, кто дружил или общался с евреями, но и ко всем инакомыслящим. Особенно часто бросалось это обвинение интеллигентам, которые не могли и не хотели принимать пропагандистские мифы истеричного фюрера за божественное откровение. Таким образом, стереотип из характеристики определенной этнической группы становится характеристикой сложного социального явления, далеко выходящего за рамки этой группы.

Существенно, в каких социальных слоях сильнее всего расовые и национальные предубеждения. Исследования американских социологов не дают на этот вопрос однозначного ответа. По данным одного исследования, антисемитов среди богачей и представителей «среднего класса» больше, чем среди бедняков и особенно среди негров<sup>3</sup>. Предубеждения против негров также сильнее у состоятельных людей. В то же время многочисленные данные говорят о том, что наибольшая расовая нетерпимость наблюдается в тех слоях общества, чье социальное положение неустойчиво, кто терпит не-

<sup>1</sup> М. И. Калинин. Евреи-земледельцы в союзе народов СССР. М. 1927, стр. 26—27.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 227.

<sup>3</sup> См. «Public Opinion Quarterly», vol. XIX, № 4, p. 654.

удачи и боится конкуренции. Беттельхейм и Яновиц сопоставили степень антисемитизма у трех групп американцев: первая — социальное положение которых ухудшается; вторая — социальное положение которых остается неизменным; третья — социальное положение которых улучшается. В первой группе оказалось 11 процентов терпимо настроенных, 17 предубежденных и 72 процента — открыто и сильно предубежденных; во второй группе — это соотношение: 37, 38 и 25; в третьей — 50, 18 и 32. Иначе говоря, неустойчивость собственного социального положения американца усиливает его антисемитизм. То же самое наблюдается и в отношении к неграм на Юге США. Абстрактно рассуждая, белые бедняки должны были бы лучше относиться к неграм — ведь они сами живут почти в таких же, а подчас — экономически — даже худших условиях. Но в действительности так бывает далеко не всегда. И это понятно. Во-первых, они менее образованны, и это делает их более восприимчивыми к идеологическим клише. Во-вторых, у них, как выразилась американская писательница Карсон Маккаллерс, нет никакого достоинства, кроме цвета их кожи. Они стоят в самом низу социальной лестницы, их достоинство непрерывно ущемлено. Поэтому возможность смотреть сверху вниз на кого-то другого для них особенно важна. На этом и играют реакционные круги, дирижирующие общественными настроениями.

И это отнюдь не специфически американское явление. Маркс и Ленин не раз отмечали, что мещанские, мелкобуржуазные слои населения — носители наиболее оголтелого шовинизма. Неустойчивость социального положения этих слоев, постоянная неуверенность в завтрашнем дне заставляют их всюду видеть своих потенциальных врагов и конкурентов. Добавьте к этому стереотипность мышления, обусловленную низким уровнем культуры, и вы поймете, почему именно в этих слоях германский фашизм находил наиболее фанатичных приверженцев. Однако однозначную связь между имущественным положением и степенью этнической предубежденности установить нельзя. Тут многое зависит от конкретных условий. Этнические предубеждения, когда их рассматривают с точки зрения логики, кажутся, и так оно есть на самом деле, совершенно абсурдными, иррациональными. Поэтому-то и возникает тенденция видеть в них некую психическую патологию. Но в том-то и состоит сложность вопроса, что предубеждения эти так же органически входят в состав культуры классового общества, как и все прочие его нормы. Каким бы путем ни сложились те или иные этнические стереотипы, они с течением времени приобретают характер нормы, передающейся из поколения в поколение как нечто бесспорное, само собой разумеющееся. Тут сказывается и историческая традиция, воплощенная в исторических сочинениях, литературе, обычаях, и консерватизм системы воспитания. Особенно велико значение воспитания. Многочисленные исследования показывают, что большинство людей усваивает предубеждения в детстве, до того, как получает возможность критически осмыслить получаемую информацию. По данным Ф. Уэсти<sup>1</sup>, дошкольники и даже младшие школьники в большинстве своем остаются непредубежденными и вообще не имеют сколько-нибудь определенных стереотипов. Однако под влиянием взрослых у них уже вырабатываются известные эмоциональные предпочтения. Позже — от девяти лет и старше — под влиянием взрослых эти предпочтения складываются в соответствующие стереотипы, и изменить их становится уже трудно. Чтобы отказаться от них, отдельному индивиду требуется не только смелость мысли, но и гражданское мужество — ведь это означает разрыв с «заветами отцов» и вызов консервативному общественному мнению.

Нелепо думать, что все белое население американского Юга — убежденные расисты. Большинство просто принимает расовое неравенство как нечто естественное, не задумываясь над его устоями. А те, кто понимает нетерпимость положения, часто не смеют сказать об этом — ведь белый, выступающий в защиту негров, вызывает у расистов дикую ненависть, сама жизнь его подвергается опасности. Чтобы разрушить укоренившийся стереотип, необходимы сдвиги в общественном сознании, которые могут быть результатом только социального движения.

Такие сдвиги действительно происходят, но очень медленно. На вопрос Нацио-

<sup>1</sup> F. R. Westie. Race and ethnic relations, in: R.E.L. Paris (ed.). Handbook of modern sociology. Chicago. 1964.

нального центра по исследованию общественного мнения: «Думаете ли вы, что негры обладают таким же интеллектом, как белые,— то есть что они могут учиться так же хорошо, если дать им такое же воспитание и обучение?» — в 1942 году утвердительно ответили лишь 42 процента белого населения, к 1946 году эта цифра выросла до 52 процентов (влияние совместной жизни в армии), а к 1956 году — до 77 процентов. В 1963 году она оставалась на том же уровне. Однако в том же 1963 году 66 процентов белых американцев все еще продолжали считать, что у негров отсутствует честолюбие, 55 процентов — что у них «распущенные нравы», 41 процент — что они «хотят жить подавляемыми»<sup>1</sup>. Даже в группе, которая ранее имела контакты с неграми и в целом относилась к ним благоприятно, 80 процентов возражают против того, чтобы их дочь встречалась с негром, и 70 процентов — против того, чтобы их ближайший друг или родственник женился на негритянке. Следовательно, «социальное расстояние» старательно поддерживается. Тут нужно иметь в виду еще и то, что по мере роста негритянского движения за гражданские права ослабевает традиционный стереотип негра-раба, но зато усиливается воздействие стереотипа, типичного для группы-конкурента (агрессивность и т. п.).

Пока мы рассматривали этнические предрассудки преимущественно на уровне неорганизованной общественной психологии. Но ведь психология современного человека, в том числе и его этнические установки, формируется не сама по себе, а под влиянием господствующей идеологии, выраженной в пропаганде, искусстве, могущественных средствах массовой коммуникации (радио, телевидение, пресса и т. п.). Расизм — не только психология, но идеология, которую реакционная буржуазия использует для поддержания своего господства. Невозможно понять распространенность в США различных этнических предрассудков (по мнению некоторых исследователей, только 20—25 процентов взрослых американцев полностью свободно от каких бы то ни было стереотипов этого рода<sup>2</sup>), если не учитывать того потока дезинформации и клеветы, который ежедневно и ежечасно внедряют в сознание масс многочисленные расистские организации типа ку-клукс-клана, «Дочерей американской революции» и т. д. Предрассудки находят свое практическое выражение в бесчисленных формах дискриминации национальных меньшинств (отказ в приеме на работу, недопущение в те или иные организации и клубы, сегрегация в жилищном строительстве и т. п.). А это, в свою очередь ухудшая социальное положение дискриминируемой группы, закрепляет представление о ее социальной и человеческой неполноценности.

### МОЖНО ЛИ ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ?

Этнические предрассудки оказывают самое губительное влияние и на их жертвы, и на их носителей.

Прежде всего этнические предрассудки ограничивают сферу общения между представителями разных этнических групп, вызывают настороженность с обеих сторон, мешают установлению более близких, интимных человеческих отношений. Отчужденность же в свою очередь затрудняет контакты и порождает новые недоразумения.

При высокой степени предрассудочности этническая принадлежность национального меньшинства становится решающим психологическим фактором и для самого меньшинства, и для большинства. Внимание обращают прежде всего на национальную или расовую принадлежность человека, все остальные качества кажутся второстепенными по сравнению с этим. Другими словами — индивидуальные качества личности заслоняются общим и заведомо односторонним стереотипом.

У меньшинства, подвергающегося дискриминации, вырабатывается точно такой же искаженный, иррациональный, враждебный стереотип большинства, с которым оно

<sup>1</sup> T. F. Pettigrew. Complexity and change in American racial patterns: a social psychological view. „Daedalus”. Fall. 1965, pp. 979, 998.

<sup>2</sup> Berelson and Steiner, op. cit., p. 501.

имеет дело. Для националистически настроенного еврея все человечество делится на евреев и антисемитов плюс некоторая «промежуточная» группа.

Дискриминация даже в сравнительно «мягких» формах отрицательно влияет на психическое состояние и личные качества подвергающихся ей меньшинств. По данным американских психиатров, среди таких людей выше процент невротических реакций. Сознание того, что они бессильны изменить свое неравноправное положение, вызывает у одних повышенную раздражительность и агрессивность, у других — пониженную самооценку, чувство собственной неполноценности, готовность довольствоваться низким положением. А это в свою очередь закрепляет ходячее предубеждение. Негр не учится потому, что, во-первых, не имеет для того материальной возможности и, во-вторых, его к этому психологически не поощряют («знай свое место!»); образованному человеку еще труднее сносить дискриминацию. А потом низкий образовательный уровень, «невежество» негритянского населения используются для «доказательства» его интеллектуальной неполноценности (между прочим, многочисленные специальные сравнительные исследования умственных способностей белых и негров не обнаружили никаких врожденных или генетических различий в интеллекте между расами).

Выступая в защиту угнетаемых национальных меньшинств, не следует в то же время идеализировать их. Наивно, например, думать, будто тот, кто сам подвергается национальному гнету, в силу этого автоматически становится интернационалистом. Социологические исследования показывают, что дискриминируемое меньшинство усваивает в целом систему этнических представлений окружающего большинства, в том числе его предубеждения в отношении других меньшинств. Так, американский еврей может быть противником гражданского равноправия негров, а негр — принимать за чистую монету утверждения антисемитской пропаганды. Все это показывает, сколь трудно преодолевать вековые предрассудки.

Американские социологи тщательно исследовали влияние различных воспитательных средств и убедились в их весьма ограниченной эффективности. Массовая пропаганда, радиопередачи доброй воли в защиту дискриминируемых меньшинств и т. д. сравнительно мало действенны, потому что их в основном слушает то меньшинство, о котором проявляется забота. Что же касается людей предубежденных, то они либо вовсе не слушают таких программ, либо считают, что это происки их врагов. Лучшие результаты давали индивидуальные беседы, разъяснительная работа в небольших группах с привлечением жизненных материалов, непосредственно знакомых людям, но не осмысленных или ложно символизированных ими. Но и это достаточно прочных и глубоких результатов не дает, не говоря уже о том, что индивидуальная работа — дело чрезвычайно длительное и трудное.

Большую роль в смягчении и преодолении враждебных установок играют неформальные личные контакты между представителями разных этнических групп. Совместный труд и непосредственное общение ослабляют стереотипную установку, в принципе позволяя увидеть в человеке другой расы или национальности не частный случай «этнического типа», а конкретного человека.

Однако и это бывает далеко не всегда. Известный психолог Гордон Оллпорт, обобщая большой материал наблюдений и специальных экспериментов, говорит, что межгрупповой контакт способствует ослаблению предубеждения, если обе группы обладают равным статусом, стремятся к общим целям, положительно сотрудничают и взаимозависят друг от друга и если наконец их взаимодействие пользуется активной поддержкой властей, законов или обычая. Если таких условий нет, контакты не дают положительных результатов, а то даже и усиливают старые предрассудки.

Но как можно реализовать все эти условия в буржуазном обществе с его глубоко укоренившейся расовой и прочей сегрегацией? О каком социальном равенстве может идти речь, если негр уже по своей расовой принадлежности занимает подчиненное социальное положение? Общность целей, возможная в конкретном коллективе (например, смешанная — в расовом отношении — футбольная команда), систематически подбивается принципом конкуренции, заложенным в самих устоях капиталистического общества. Наконец огромное влияние оказывает общий идеологический и социальный климат.



Так, например, по данным одного эксперимента<sup>1</sup>, домашние хозяйки, поселенные там, где в одном доме или микрорайоне живут и белые и негры, обнаружили существенный сдвиг в своем отношении к неграм. В Каултауне 59 процентов опрошенных женщин признали благоприятные изменения, 38 процентов — никаких изменений, 3 процента — неблагоприятные изменения. В Соктауне это соотношение выразилось в числах 62, 31 и 7. В районах, где существует расовая сегрегация, положение иное. В Бейкервилле лишь 27 процентов домохозяек признали, что в их отношении к неграм произошли благоприятные перемены, у 66 процентов никаких изменений не произошло, а у 7 процентов установка изменилась к худшему. Таким образом, более интенсивные личные контакты сыграли свою положительную роль. Но характерно, что улучшение отношений к неграм-соседям оказалось значительно большим, чем к неграм вообще. Это подтверждается и другими исследованиями. Например, белые шахтеры, работающие вместе с неграми, сравнительно легко, если не возникает конфликтов, вырабатывают благоприятную установку к совместной работе с неграми. Но те же самые рабочие считают нежелательным жить в одном доме с неграми. Их положительный личный опыт не вписывается в существующий в общественном сознании отрицательный стереотип. Поэтому личные контакты сами по себе проблемы межнациональных отношений не решают.

Я отнюдь не отрицаю благородство целей и практическую полезность просветительской деятельности, которую ведут прогрессивные организации США, борющиеся против расизма. Но именно потому, что речь идет об общественном явлении, одного просвещения недостаточно. Прежде всего нужно решительно отказаться от подхода к угнетенным меньшинствам как к объектам благотворительности и заботы. Такой подход не только оскорбителен, но и научно несостоятелен. Современный американский негр — это не старый, покорный дядя Том, мечтающий только о добром отношении хозяина. Он требует не снисходительности, а действительного равноправия.

Острота национального вопроса в современном мире обусловлена двумя причинами; обе они могут быть объяснены, исходя из ленинской теории о двух тенденциях в национальном вопросе. С одной стороны, форсированными темпами, особенно в развитых странах, идет процесс сближения и, не нужно бояться этого слова, ассимиляции наций, ломающий традиционную национальную ограниченность и связанные с нею формы этнического самосознания. «Тот не марксист, тот даже не демократ, — писал В. И. Ленин, — кто не признает и не отстаивает равноправия наций и языков, не борется со всяким национальным гнетом или неравноправием. Это несомненно. Но так же несомненно, что тот якобы-марксист, который на чем свет стоит ругает марксиста иной нации за «ассимиляторство», на деле представляет из себя просто *националистического мещанина*... Кто не погряз в националистических предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе ассимиляции наций капитализмом величайшего исторического прогресса, разрушения национальной заскорузлости различных медвежьих углов — особенно в отсталых странах вроде России»<sup>2</sup>.

Это сложный и противоречивый процесс. Он включает в себя множество разнообразных компонентов: сближение, а то и полное слияние культур, усвоение национальными меньшинствами общего языка, широкое распространение смешанных (межнациональных) браков, преодоление традиционной обособленности и расширение сферы общения людей независимо от их этнической принадлежности, коренные сдвиги в этническом самосознании и т. д. Все это делает социально непригодными старые этнические стереотипы как «большинства», так и «меньшинства».

Одновременно, особенно в слаборазвитых странах, происходит консолидация новых наций. Ранее поработенные группы, достигнув известной ступени развития, встают против рамок, установленных для них «цветным барьером», и освящают его установок. В классово-антагонистическом обществе этот процесс не может совершаться безболезненно. Цепляясь за свои ускользающие привилегии, буржуазия господствующая

<sup>1</sup> M. Deutsch and M. E. Collins. Interracial housing: a psychological evaluation of a social experiment. Univ. of Minnesota Press, 1951.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 12, 13.

щих наций пытается силой задержать исторический процесс; чем очевиднее несостоятельность представлений о неравенстве рас и наций, тем яростнее они защищаются. Реакционные круги новых наций, со своей стороны, желая обеспечить себе монопольную эксплуатацию своих (и не только своих) народов, проповедают, так сказать, расизм наизнанку, подчеркивая исключительность собственных черт и традиций. Европоцентризму противопоставляются «азио-» или «афроцентризм», «белому» расизму — «желтый» или «черный» расизм.

Все это делает национальную проблему весьма острой. Этнические предрассудки часто выступают как реакция на подъем ранее дискриминированных меньшинств, которые не хотят больше мириться с таким положением. Предрассудки-чувства превращаются в реакционные идеологические системы, призванные оправдать «исторические» отношения. Немаловажное значение имеет кризис многих старых идеологических символов и ценностей (людям все труднее верить в то, что капитализм — это «свободный мир», где царствуют «равенство» и «демократия»), который обнажает ниже лежащие, более древние структуры общественного сознания и благоприятствует усилению иррациональных элементов общественной психологии. В век безличного гнета — ни монополистический капитал, ни всемогущая бюрократия не отливаются в определенный персонализированный образ «конкретного виновника» зла, — «зримый враг» в лице «чужака» вызывает наиболее сильную эмоциональную реакцию. Наконец сказываются инстинкты и пристрастия «правящей черни», которая, обладая полнотой экономической и политической власти, остается духовно и интеллектуально низменной, разделяет самые дикие предрассудки «толпы». Животная ненависть к «чужаку» — это едва ли не единственная форма общности техасского магната или арканзасского губернатора с мелким лавочником. С той, однако, разницей, что мелкого буржуа эта ненависть ослепляет, мешает ему понять действительные истоки собственных бед, а губернатору она помогает делать свою «демократическую» карьеру: он же «свой парень», ему не нужно притворяться, он и вправду думает так же, как его избиратели!

Сохраняя верность своей интернационалистской программе, коммунисты всегда помнят замечательные слова В. И. Ленина: «...Мы — партия, *ведущая* массы к *социализму*, а вовсе не идущая за всяким поворотом настроения или упадком настроения масс. Все с.-д. партии переживали временами апатию масс или увлечение их какой-нибудь ошибкой, какой-нибудь модой (шовинизмом, антисемитизмом, анархизмом, буланжизмом и т. п.), но никогда выдержанные революционные с.-д. не поддаются любому повороту настроения масс»<sup>1</sup>.

В совместной борьбе с империализмом выковывается дружба народов, интернациональная солидарность трудящихся всего мира. Победа социализма устраняет объективные экономические корни национальной вражды, создает необходимые условия для свободного и равноправного сотрудничества наций, взаимопомощь которых позволяет отставшим народам в исторически кратчайшие сроки достичь уровня передовых. Это не гипотеза, а бесспорный научный факт, живая реальность социалистического сотрудничества наций. Однако, как указывал В. И. Ленин, именно в сфере национальных отношений пережитки прошлого особенно живучи. Исторические традиции межнациональных конфликтов и порожденные ими предрассудки не сразу выветриваются из общественной психологии. Кажется, совсем уже исчезли и забылись — ан нет, на крутом повороте истории, когда возникают определенные трудности, они снова дают себя знать, увлекая за собой отсталые слои населения. Вот почему планомерное, систематическое интернациональное воспитание трудящихся составляет одну из важнейших идеологических задач марксистско-ленинских партий, необходимое условие построения коммунизма.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 269.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛЕБЕДЕВА

★

## НЕРАЗДЕЛИМЫЕ КОНТРАСТЫ

*Не отступать от зовов мира...*

Д. Кугультинов.

**М**аленькие повести Чингиза Айтматова читаются у нас очень широко. Писатель этот быстро приобрел известность и стал одним из тех, за чьим творчеством следят внимательно и придирчиво, от кого многого ждут и требуют. Он и пишет немало, но если спросить любого из его читателей, с каким произведением прежде всего соединяет он имя Айтматова, ответ — я убеждена в этом — будет один: «Джамиля». Тут, конечно, играет роль и то обстоятельство, что с «Джамили» началась известность Айтматова, и то, что об этой повести много писали у нас и за рубежом, и главным образом то, что в авторе «Джамили» «вдруг» увидели самостоятельного художника, обладающего большим обаянием и нашедшего свой стиль. Но надо иметь в виду еще вот что. После «Джамили» Айтматов написал не одно произведение, большинство из них не менее глубоко и не менее интересно, чем «Джамиля», а все же повесть эта до сих пор объективно выделяется в прозе Айтматова. «Выделяется» в данном случае совсем не значит «стоит особняком», она выделяется скорее всего необыкновенно ярким средоточием тех мыслей и чувств, которые руководят Айтматовым как художником, определяют его отношение к миру, к обществу, к отдельному человеку.

Те, кто писал о «Джамиле», непременно отмечали, что героиня повести в своих поисках счастья прерывает с патриархальным бытом, переступает его тысячелетние писанные и неписанные законы. Это верно, потому что Джамиля живет именно в патриархальной да еще мусульманской семье, где

привыкли смотреть на личные человеческие отношения иначе, чем смотрим мы с вами. И, уходя из дома с любимым человеком, Джамиле приходится переступить каноны традиционного быта. Но если бы повесть Айтматова написана была главным образом и в основном об этом, он, наверно, не прибавил бы ничего нового к тому, что уже написано на эту тему в нашей литературе.

Все знают, что произведений разного жанра, посвященных борьбе женщин Востока за элементарные человеческие права, у нас много, — это естественно. Но, увлеченные благородной и животрепещущей гражданской задачей, авторы, как правило, представляли читателю тот быт, против которого велась борьба, как нечто из ряда вон выходящее, беспросветно отрицательное. Насчет отрицательности главных черт такого быта спорить не приходится. Но исключительности не было. Привычный, извечный и для многих людей нормальный уклад. Советское строительство нанесло этому укладу немало сокрушающих ударов, прежде всего уничтожив его как уклад узаконенный, юридически и вообще всячески освященный, но в области этических представлений, бытовых отношений в семье старое держится. И, кстати сказать, его не всегда просто распознать, разглядеть.

Вряд ли кто станет утверждать, что Айтматову не свойствен романтизм, — достаточно даже бегло полистать страницы его книг, чтобы увидеть бурно романтические описания и природы, и человеческих чувств «на взлете», «на взрыве». Но сила его писательского обаяния заключается в том, что он никогда не «рвет страсть в клочки», не по-

вышает голоса там, где нет для этого оснований. Так и с патриархальным бытом в «Джамиле»: ведя рассказ от лица одного из героев, Айтматов без всякого нажима, очень простыми и спокойными словами говорит о Большом и Малом домах семьи, созданной на основе левирата. Возглавляет эту семью фактически женщина — «старшая мать», и никто ни в чем не оспаривает ее авторитета, ее права решать все вопросы, ее власти над домочадцами. «Согласием и достатком в доме наше большое семейство обязано моей матери, — рассказывает юноша Сеит. — Она полновластная хозяйка обоих дворов, хранительница семейного очага. Совсем молодой вошла она в семью наших дедов-кочевников и потом свято чтит их память, управляет семьями по всей справедливости. В аиле с ней считались как с самой почтенной, совестливой и умудренной опытом хозяйкой».

Казалось бы, откуда в такой вот налаженной, спокойной, обеспеченной семье вырасти бунту, протесту, отрицанию? И Джамиле, молоденькая красивая жена одного из сыновей, ушедшего на войну вскоре после свадьбы, пользуется любовью в семье — главное, ее любит «старшая мать». Любит как свою будущую преемницу и прощает Джамиле ее самостоятельность, а иногда и дерзость — слава богу, невестка не размазня, не пустое место.

Не случайно «старшая мать», когда Джамиле уходит из семьи с Данияром, говорит с тяжелым вздохом: «...Пропадет Джамиле... Эх, какой хозяйкой была бы она в семье! Ушла... Отреклась... А зачем ушла? Или худо ей было у нас?»

В самом деле, чем же худо ей было?

В повести нет ни одной строчки прямого авторского обвинения патриархальщине — и нет ни одного «общего места», примелькавшегося определения. Все детали точны, правдивы, необходимы: даже человек, совершенно незнакомый с бытом киргизского айла, поверит Айтматову и увидит то, о чем он написал. Но если уж говорить о том, против чего обращена мысль автора, то это не только патриархальщина в данном, конкретном выражении. Это обывательский мир в самом широком смысле слова, обывательские, торгашеские, тупо собственнические отношения между людьми, это насилие над свободой личности.

Айтматов откровенно любит человека с достоинством Джамиле, ее порывом к

свободе, так гармонирующими с ее дерзкой красотой, с ее уверенной статью, со всем ритмом ее движений: «...в этом гомоне, толкотне, в этой базарной сутолоке двора, среди мятущихся, охрипших людей Джамиле бросалась в глаза своими уверенными, точными движениями, легкой походкой, словно бы все это происходило на просторе».

Образ простора, свободы, волюности проходит через всю повесть. Об этом говорит нам и проплывающее «в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков», и несущиеся «по гудящей земле с топотом и ржанием табуны», и разворачивающиеся «спокойной лавой» отары овец — вся природа в повести дана так вот, будь то описание мирного вечера, тревожно-прекрасной грозовой ночи или радостного утра, когда солнце, смеясь, выкатывается из-за гор. И кажется таким естественным; таким необходимым присутствие здесь Джамиле и Данияра с их день ото дня разгорающейся все более сильным и жарким огнем любовью, с теми страстными песнями, что поет для своей любимой невзрачный, суровый на вид бывший солдат.

Чингиз Айтматов — художник контрастов. Даже сами по себе некоторые из его произведений как бы противопоставлены одно другому. Но и в одной повести, в одном рассказе он, если так можно выразиться, любит очень резкие противопоставления. Так и в «Джамиле». В аиле Куркуреу, что «раскинулся по берегу реки на склоне Великих Гор», в селении, которое окружает дикая и вольная красота и горных среднеазиатских хребтов, и полынной степи, живет немало людей. Они почти все «родичи», но не все родные по духу. Муж Джамиле Садык — тоже фронтовик, как и Данияр, тоже испытал тяготы войны, но он принадлежит к тем людям, что прохсдят по жизни с убогим кодексом раз и навсегда сложившихся представлений о том, «как надо» и «как не надо». Они страшны в своем благоразумии и в своей пошлости. И рубцы войны, и морщины лет остаются у них лишь на коже, а житейский опыт их почти инстинктивен. И при этом они, как правило, еще и убеждены в извечной правоте своей позиции.

Садык «по обычаю» в письмах своих с фронта прилет жене передает в последнюю очередь; вернувшись в аил и узнав о ее уходе, он горюет (в меру своих возможностей), но говорит о своем несчастье так: «Ушла — туда ей и дорога. Подохнет где-нибудь.

А на наш век баб хватит...» И это звучит в полном соответствии с той точкой зрения, которую выражают Садыковы «братья и сестры по духу»: «Дура она! Ушла из такой семьи, растоптала счастье свое... Ведь у него добра только шинелишка да дырявые сапоги!.. А чем Садык не муж, чем не хозяин?.. А свекровь? Такую свекровь не каждому бог дает!»

Свекровь-то, пожалуй, одна из всех «патриархалов» ясно понимает, что уход Джамили — не бегство, а победа, и когда Сеит, для которого любовь Джамили и Данияра на всю жизнь стала высоким образцом человечности и правды, сообщает матери о своем желании уехать учиться, стать художником, та отвечает, внутренне обращаясь не только к нему, но и к ушедшей Джамиле: «Поезжай... Оперились вы и по-своему крыльями машете... Да откуда нам знать, высоко ли взлетите? Может, и ваша правда...»

Да, откуда им знать о высоте, на которую может подняться человек! «Эх, какой хозяйкой была бы она в семье!» — твердит свекровь. А ведь была бы! Была бы, наверное, такой же, как свекровь — и умной, и хитрой, и властной, — начини она семейную жизнь в те годы, когда начинала свекровь. Могла бы быть. Или могла погибнуть, если попыталась бы идти той дорогой, которой пошла сейчас.

Писатель точен в деталях, и мы многое узнаем о жизни аила, о жизни, которая идет под грозный гул войны. Война определила все основные ситуации повести, их конкретность. И то, что опаленный войной Данияр не опустошен, душевно не ограблен ею, что он, несмотря на возникшие в его жизни большие сложности — моральные и чисто житейские, — находит свое место и, больше того, находит свое счастье, — это одна из очень серьезных «внутренних тем» повести. Казалось бы, автор мог поместить здесь героев в любые обстоятельства, история их отношений могла складываться и на ином фоне. Но то, что Айтматов избрал для «Джамили» именно это время действия, закономерно.

Чингиз Айтматов родился в 1928 году — стало быть, он принадлежит к тому поколению, чье детство закончилось с началом войны. Отрочество и юность, когда человек складывается как самостоятельная, сознательная личность, пришлось на войну. Будущий писатель не знал фронта, не видел

военных действий, — он и не пишет непосредственно обо всем этом. Но жизнь людей во время войны и после войны со всем огромным разнообразием судеб, сложных моральных, психологических и иных проблем он узнал, понял и воспринял очень глубоко, воспринял чутким, внимательным и сострадающим сердцем человека и художника. и это нашло многостороннее отражение в его творчестве

Главные герои «Джамили» выходят победителями в нравственном поединке с разрушительным началом, которое неизбежно приносит война и в жизнь всего народа, и в жизнь каждого отдельного человека. Победа эта изображена романтически-приподнято, жизнеутверждающе; в яростном, страстном, самозабвенном, свободном от всякой узости, от всякой скованности жизнеутверждении и заключен пафос повести.

Но если обратиться к другим произведениям Айтматова, к тем из них, в которых жизнь героев так или иначе связана с войной или ее последствиями, перечитать «Материнское поле», «Лицом к лицу», «Тополек мой в красной косынке» или наконец совсем недавно опубликованную повесть «Прощай, Гульсары!», можно увидеть, как широк диапазон размышлений писателя о судьбах человеческих, взметенных вихрем военных лет. Ну конечно, Айтматов не «баталист», но именно в этой теме — война и ее последствия — главным образом складывались и определялись особенности писательского стиля (в широком понимании слова) Чингиза Айтматова, именно здесь и зарождалось то, что выше уже было названо контрастностью письма, стремлением к резким противопоставлениям образов, художественных решений, сюжетов.

Я сознательно не обращаюсь здесь к первым рассказам Айтматова. Написанные робко и неуверенно, «не своими словами», они мало известны, не переиздаются и лишь иногда бегло упоминаются в статьях как факт историко-литературный. Но об одной его повести, которая написана была до «Джамили» и в сборники входила, кажется, лишь дважды (последний раз — в книгу, вышедшую в издательстве «Художественная литература» в 1965 году), хочется сказать.

Это «Лицом к лицу» — повесть, действие которой происходит тоже во время войны и тоже далеко от фронта. «Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошел длинный состав с пропыленными вагонами. В приот-

крытой топке паровоза на миг сверкнуло огненно-красное пламя, лязгнув буферами, вагоны остановились. Никто не сошел на полустанке, никто не крикнул: «Какая это станция?» Люди, истомленные дальней дорогой, спали в вагонах...» Да, никто не должен был сойти на полустанке, но один все же сошел — тайком. Солдат вернулся домой раньше своих товарищей, вернулся невредимый, живой, но нравственно, духовно мертвый.

Сумасшедшая радость вспыхивает в сердце жены солдата, когда она видит, что ее Исмаил, с которым так мало пришлось ей быть вместе, с которым так жестоко разлучила ее война, переступил порог родного дома. Но радость гаснет так же быстро, как вспыхивает. Черная тень легла с этой ночи на всю семью — и на вынужденного прятаться Исмаила, и на его преданную, верную, любящую жену Сейде, и на их маленького сына, родившегося, когда отец был в армии.

Как не похоже все в этой повести на то, что происходит в «Джамиле»! Образно говоря, если в «Джамиле» все события разворачиваются на просторе, под широким бескрайним степным небом, то герои «Лицом к лицу» загнаны в душную, темную пещеру, где тяжкие глыбы земли нависли над самой головой и вот-вот обрушатся и погребут под собою всех, кто пытается найти под ними убежище.

Да, все контрастно, все противоположно, начиная от самого основного. Вернувшийся с фронта из-за ранения одинокий Данияр — неотделимая частица человеческого общества, он всеми сторонами души своей соприкасается с жизнью этого общества. Дерзгировавший из армии Исмаил, казалось бы, бежал к людям — родным, близким. Но на деле он бежал от людей и забежал так далеко, что ему уже не вернуться. Исмаил поставлен вне общества, выключен из сферы социальных связей. Освобожден — и скован. Для него нет будущего и нет возможности оставаться человеком в настоящем. Он может только звереть день ото дня. Преданность и жертвенность его жены Сейде не может ни облагородить душу Исмаила, ни даже просто сохранить в ней что-то живое. Сейде постепенно начинает понимать это. Понимает она и другое — что сама теряет человеческий облик. Это ли не трагедия? Трагично и решение создавшейся ситуации — последняя встреча Сейде с мужем,

когда женщина, держа на руках грудного ребенка, идет к тайнику Исмаила, рискуя быть застреленной им: ведь за нею следуют солдаты, которые должны арестовать его. Как это произошло? Как решилась на это Сейде, в преданном и любовном отношении которой к мужу нет сомнений?

Исмаила все труднее накормить досыта, мысли его все больше сосредоточены на еде. Ему хочется мяса. И вот ночью он сводит единственную корову со двора многодетной соседки Тотой, потерявшей на войне мужа. Целый мешок мяса приносит он жене, и та сразу догадывается, откуда оно.

И Сейде думает о муже: «Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом! Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы уберечь!»

Горькое признание, что и говорить!.. Сейде уходит из дому. «Ты уходишь к своим?» — спрашивает ее мать мужа. «Ухожу», — отвечает женщина коротко. Как не похож этот уход на уход Джамили, хотя в самих ситуациях и есть нечто формально общее. А не формально? Похож ли муж Джамили Садык в чем-то на Исмаила? Рискованно делать подобные сопоставления, но можно сказать одно: выросли оба эти человека в такой среде (я имею в виду не общество в широком смысле, а непосредственное окружение), которая воспитала в них собственников, эгоистов с примитивно-потребительским отношением к жизни и к людям.

Кажется, Тургенев сказал, что существуют три типа эгоистов: первые сами живут и дают жить другим, вторые сами живут, но другим не дают, а третьи и сами не живут и другим не дают. Ирония в данном случае прикрывает констатацию довольно-таки жутковатого и справедливого положения о том, что человек-эгоист должен, как правило, кого-то попирать, уродовать чью-то судьбу.

Джамила не дала попирать себя, она начала новую жизнь. А жизнь Сейде искалечена навсегда. Она осталась среди людей, но какой чудовищно дорогой ценой заплатила она за это!

Несмотря на противоположность ситуаций, характеров, решений, «Джамиле» и «Лицом к лицу» внутренне связаны между собою. Я говорю в данном случае не о той связи, которая естественно существует между произведениями одного автора, — единстве стиля, общей позиции и т. д. Обе пове-

сти связаны прежде всего самим конфликтом, противопоставлением и тем, что лежит в основе этого противопоставления. А в основе его лежит мысль о высвобождении истинно человеческого в человеке. Путь к такому высвобождению всегда сложен, порою трагичен и совсем не обязательно совпадает с наличием у человека гражданской свободы.

Эта тема возникла в творчестве Чингиза Айтматова рано. Но, скажем, в ставшем известным благодаря радиопостановке рассказе «На реке Байдамтал» решение ее несколько прямолинейно. Молодой тракторист Нурбек, парень, которому свойственны нравственный анархизм и эгоцентрическое своеволие, в конце рассказа переживает духовную ломку, делает шаг к правильному пониманию сущности человеческих отношений. Но в основе произведения, к сожалению, лежат умозрительные тезисы автора, в нем ощутимо проглядывают острые дидактические углы.

В «Джамиле» и в «Лицом к лицу» проблема мнимой и действительной свободы человеческого духа решается с необходимой в искусстве правдой эмоций, художнически смело и умно и с той сердечной заинтересованностью, которая составляет одну из самых привлекательных черт писателя. Вся повесть «Лицом к лицу» пронизана такой острой, такой идущей от сердца болью за жизнь человеческую, за жизнь, обокраденную страхом, что хочется порой крикнуть героям: «Да чего же вы боитесь, за что цепляетесь? Зачем так бережете убожество своего бытия?» И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что именно это «крикнута» им Джамиля.

Айтматов, очевидно, внутренне и сам «отталкивается» от умозрительности, чувствуя, насколько она противопоставлена при собственной ему манере непосредственного проникновения во внутренний мир героев; противопоставлены ему и хотя бы относительно пространственные авторские рассуждения, столь естественные и органичные для многих и многих писателей. Не случайно Айтматов так долго не отказывался от принципа изложения событий самим героем или даже героями (повесть «Тополек мой в красной косынке» состоит из двух таких «рассказов от первого лица»); только в «Прощай, Гульсары!» автор нарушил верность местоимению «я». Забегая вперед, ибо об этой повести я дальше буду говорить подробно, хочу до-

бавить, что «измены» органической для писателя манере при этом не произошло.

Лучшим повестям Ч. Айтматова в высокой степени свойственно качество, без которого немислима настоящая литература: то, что рассказано в сюжете (часто не очень много), как бы «продолжается» и за рамками произведения, уводя за собою мысль читателя, создавая у него цельное представление о судьбах героев. Представление это в достаточной степени определено. Я не могу согласиться, например, с Г. Гачевым, который пишет в послесловии к изданным в 1965 году «Молодой гвардией» повестям Айтматова, сопоставляя «Джамилю» и «Тополек мой в красной косынке»: «Если представить себе возможную последующую жизнь Данияра и Джамили после их бегства из аила, то мы можем получить ситуацию Ильяса и Асели — героев повести «Тополек мой в красной косынке». В рассказе о том, как шофер умыкнул невесту накануне свадьбы, как бы вкратце повторяется история любви и бегства Данияра и Джамили. Но дается она почти скороговоркой: в повести это не главный сюжет, не история, а предыстория. Автора и нас уже интересует: а что же дальше может случиться с людьми, которые только что вырвали себе право самим быть кузнецами своего счастья...»

Я не стану напоминать здесь сюжет «Тополька» — в данном случае это не существенно. Важно иное. Несмотря на внешнюю схожесть некоторых ситуаций, повести эти внутренне очень разные, и никак нельзя сопоставлять их таким образом. Нельзя — даже условно — видеть продолжение истории Данияра и Джамили в истории крушения любви Ильяса и Асели. Не можем мы «получить ситуацию» такого рода, ибо по иным причинам пришли к своему решению Данияр и Джамиля, нежели Ильяс и Асель, и их история продолжится, конечно, иначе — исходя из их характеров, совершенно иных, чем у героев «Тополька».

Вспоминается в этой связи фраза Марка Твена из его «Рассказов о великодушных поступках»: «Берегитесь книг. Они рассказывают только половину истории». Он, естественно, имел в виду слащаво-«святочную» беллетристику, предлагающую читателю традиционный счастливый «свадебный» конец, никак не связанный с содержанием. В произведении, созданном истинным художником, характер и жизнь героя воплощены

так, что додумывать их произвольно нельзя.

Сходство в сюжетных ситуациях «Джамили» и «Тополька» определено самой жизнью, из которой эти ситуации почерпнуты, и тот же источник породил противоположное по существу решение конфликтов. Противоречивое, контрастное соседствует в жизни не так уж редко, порою оно неразделимо, и Айтматов очень тонко чувствует и передает эту нераздельность противоречий. Она, по-видимому, близка ему как художнику; это и имелось в виду выше, когда шла речь о склонности писателя к контрастам — и в одном произведении и в разных.

В повестях Айтматова, написанных в последние годы, все четче определяются поиски нового направления, нового сюжетного наполнения — при том, что писатель остается верен и своей позиции, и своему стилю, и, если можно так выразиться, излюбленным приемам и решениям. Впервые это проявилось в «Материнском поле», но, как мне кажется, не нашло еще до конца удачного воплощения. Героиня повести, старая женщина, потерявшая во время войны мужа и сыновей, рассказывает историю своей жизни. Это повесть-монолог, исповедь матери-женщины матери-земле, итог честно и нелегко прожитой жизни, закат которой омрачен тяжелыми сомнениями. Старая Толгонай растит сына своей невестки Алиман, умершей во время родов. Отцом ребенка мог бы быть сын Толгонай, если бы не погиб он на войне задолго до его рождения. Отец — другой человек, не пришедший в семью. Рано овдовевшая солдатка пыталась второй раз обрести свое счастье, свою женскую долю, но так и не нашла.

Толгонай мучается: как объяснить все это приемному внуку, ставшему для нее родным? Как сказать ему правду, «чтобы не повернулся он к жизни спиной»? Ситуация, конечно, не очень простая и не очень веселая, но чем дальше разворачивается перед нами жизнь Толгонай, тем больше мы ощущаем, что ситуация эта не исчерпывает всего рассказанного нам старой матерью. Естественно, что Толгонай постоянно думает о судьбе внука, но перед ее исповедью куда-то далеко отступает вопрос о том, «как сказать ему правду». Отступает и становится в повести совсем не основной, не решающей частью монолога матери — главного содержания «Материнского поля». Вместе с тем

мы чувствуем, что и сама история Алиман могла бы стать основой самостоятельного произведения — она как бы искусственно подчиненная целому часть основного сюжета — и оттого нарушается цельность восприятия повести. Это, пожалуй, усугубляется некоторой сентиментальностью изложения, большим, чем стоило бы, «нажимом» в передаче эмоций.

Правда, и задача, впервые принятая на себя писателем в «Материнском поле», очень сложна: вместить в ограниченный рамки самого жанра объем повести целую жизнь человека в ее связях со временем. Именно о поисках подобного рода и сказано было выше; очевидно, такая задача и привлекает теперь Айтматова; это показывают и две другие повести последних лет: «Первый учитель» и «Прощай, Гульсары!». Вторая — в особенности.

В «Прощай, Гульсары!» снова возникает та атмосфера свободы, волюности, простора, которая пронизывала «Джамилу». Да, это именно так, хотя начинается повесть как будто бы совершенно в ином ключе: «На старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым...» Конь не довез на этот раз хозяина до дому, хозяину пришлось помогать коню. И все равно остались они ночевать на краю оврага; здесь и вздохнул в последний раз иноходец Гульсары. А хозяин его Танабай шел потом по степи, нес перекинутую через плечо уздечку и плакал. «То были слезы по иноходцу Гульсары». Только ли по нему? Наверное, нет: ведь пока шли они вдвоем до края оврага, вспомнилась Танабаю вся его жизнь и жизнь коня, что умирал с ним рядом. И вспомнилось больше горького, чем веселого, — и ошибки, свои и чужие, и несчастья, и неудачи, и трудности...

О том, каким неукротимо страстным, горячим, порывистым человеком был в молодости Танабай, прямо сказано в начале повести словами его друга: «Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки и тот тебе невмоготу. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся...».

О том, каким конем был Гульсары, говорится в повести много, и когда читаешь эти



страницы, буквально дух захватывает — так великолепно, так точно, сдержанно и вместе напряженно написаны они. «Огненным духом бега» исполнен Гульсары, и доверчиво открыта миру лошадиная его душа, как открыта вольному степному ветру его широкая грудь скакуна.

Человек вырастил коня и направил его дикую волю, научил его чувствовать настроение всадника, но не научил и не может, конечно, научить пониманию того, как и почему совершаются людьми те или иные поступки.

И все же «у коня и всадника одна душа». Есть на Востоке такая поговорка, и сложилась она не случайно: ведь жизнь степняка или горца так тесно связана с конем — товарищем в долгом пути, работником.

Танабай и Гульсары встретились (у Айтматова так и сказано: «встретились») после войны. Гульсары был молодым, еще необъезженным, не знающим над собой власти человека жеребчиком, когда Танабай впервые увидел его в табуне. Вся жизнь коня прошла на глазах у Танабая — ведь она намного короче человеческой. Но и перед Гульсары, рядом с Гульсары, прошел большой кусок жизни Танабая, и об этом времени, полном напряженной работы, а порою тяжелой усталости, неумной, освобождающей радости, а порою долгих и мучительных размышлений, больше всего вспоминает Танабай, когда они вдвоём — старый человек и старый конь — бредут к тому месту, где отойдет Гульсары «в иной мир, в табуны небесные».

Танабай вернулся с войны в зрелом возрасте, вернулся не так, как одинокий Данияр, — он пришел к своему очагу, в свою семью, где ждала жена, где подрастал и готовился пойти в школу сын. Но «тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается... Ехал с таким ощущением, точно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представилось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, потому что все прошлое как бы отдано в залог того, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, в которой все время стремились, ради которой побегдали и умирала на войне».

Да, прошлое и Танабая и его друга — председателя, а потом парторга колхоза Чоро отдано было в залог будущего. Оба они, каждый по-своему, в соответствии со своим характером, верили в это, и вера давала им силу принимать решения и одолевать сомнения. Но прошлое нельзя сбросить со счета; если порывистый, иногда чересчур сосредоточенный на своих переживаниях, своих мыслях Танабай не сразу понимает это, то более терпеливый, более умудренный и целиком отдавший себя другим людям Чоро хорошо знает, сколько может весить опыт прошлого в настоящем. Танабай и Чоро — люди сильные духом, и у таких, как они, жизнь всегда бывает настоящей — только по-иному, наверно, это это толковать, чем делал это Танабай... Настоящая — во всей неумолимой сложности своих противоречий; настоящая — когда почти каждый шаг дается с трудом; настоящая — когда сто раз ошибешься и сто тысяч раз подумаешь, почему ошибся; настоящая — когда твой путь и твои дела неразрывно связаны с делами других людей, тебя окружающих, и в связях этих нелегко и не всегда можно разобраться, как в простой арифметической задаче.

В первые послевоенные годы Танабай полон сил и энергии. Полон сил и конь его Гульсары, послушно и радостно несущий хозяина на себе. Это воля к жизни, к движению, к счастью, и она не менее сильна и прекрасна, чем у главных героев «Джампли», которых невольно вспоминаешь, читая «Прощай, Гульсары!». Но если в «Джампеле» сложность действительности как бы отступает на второй план перед силой чувства, перед всепобеждающей красотой любви, то в «Прощай, Гульсары!» она становится главной и определяющей в судьбах героев повести — прежде всего Танабая.

Прочтите страницы, посвященные описанию скачек в степи. Они принадлежат к числу лучших в повести, в них то сочетание страстного темперамента и безошибочной точности слов и деталей, которое рождается истинным вдохновением. Танабай и Гульсары — герои этих двух дней, полных бега, погони, азарта. «В воздухе клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь, но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать...»

«В игре никто не в ответе...» Сказанная будто бы вскользь, эта фраза звучит подчеркнуто контрастно по отношению к тому в повести, что происходит не «в игре».

Танабай принадлежит к тем людям, которым приходится идти путем преодолений. Самоограничение, отказ от того, как хочется поступить (а может, и нужно было бы!), неумение относиться легко к тому, что, казалось бы, от тебя не зависит, но с чем ты не можешь, не вправе согласиться,— вот из чего складывается психологический смысл этого сложного, пожалуй, самого сложного в творчестве Айтматова образа.

Танабай — табунщик, потом чабан; он никогда не занимал никаких высоких должностей, но он из тех, на которых, как говорится, держится мир... Это человек-гражданин, человек, лишенный какого бы то ни было своекорыстия по отношению к обществу. За то, что он делал, и делал иногда, мучаясь сомнениями (взять хотя бы историю с несправедливым раскулачиванием брата — в этом Танабай принял активное и прямое участие), он не боялся быть в ответе. Но оказалось, что и чувство ответственности, и умение работать не покладая рук, забывая о себе и о семье, далеко не всегда залог хотя бы относительного успеха того дела, которое ты делаешь. Горечь этого положения вещей Танабай с избытком познал в трудные послевоенные годы. Большая отара овец, начавших ягниться в злитых холодными весенними дождями кошарах, гибнет у него на глазах вместе с новорожденными ягнятами, а он и его надрывающиеся от непосильной работы помощники ничего не могут сделать.

Надо было случиться так, чтобы именно в этот момент усталости и отчаяния Танабай столкнулся с одним из тех, кто руководит людьми, не имея на то никакого права, с бюрократом и глупцом, имеющим, к сожалению, возможность влиять на человеческие судьбы. И Танабай лишился партбилета, а для него это тяжело, потому что он — один из тех, чьими руками с первых послеоктябрьских лет создавалось новое общество. С тех же лет дружил Танабай с Чоро — и вот они разошлись. По чьей вине? Танабая? Чоро? «Сшибка» этих двух характеров играет в сюжете немалую роль, но на такой вопрос невозможно ответить, как невозможно односложно ответить на него и в других случаях, где Танабай несет потери, а случаев этих немало.

Танабай, семейный, женатый человек, любил другую женщину, вдову фронтовика, хорошую женщину с глазами, «сияющими, как камни в быстром солнечном водоеме». И она любит его. Чувство их чисто и сильно, нежно и бескорыстно, но вправе ли они поступить так, как поступили Джамия и Данияр? Если бы мог судить об этом единственный свидетель их встреч — Гульсары, — он, наверное, ответил бы: «Да!» Но если бы люди могли при всех обстоятельствах бездумно поддаваться пусть самым прекрасным своим порывам, поддаваться, не считаясь с тем, как это может сказаться на близких и на них самих, не многим больше стало бы на свете счастья. И оттого, что Танабай и его любимая встречались тайно, пока это было возможно, но не соединили перед всеми, открыто, свои жизни, мы не станем считать неправыми Джамия и Данияра. Оба решения возможны и оправданы, если, принимая их, люди были честны, не эгоистичны, не своекорыстны. Там мы испытали радость, здесь — горечь, сострадание, усугубленные еще и тем, что Танабай и Бюбюжан люди не менее цельные, не менее богатые душевно, чем Данияр и Джамия. Но не понять неизбежность происшедшего нельзя. Всю непосредственность сострадания к героям мы ощущаем в одном эпизоде, где действует Гульсары.

Иноходец, выигравший скачки, увидел в толпе, встречавшей победителя, женщину, которую видел и до этого не раз. «Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потерела гриву, погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой во лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону, а иноходец все крутился и порывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить?..»

Рассказывая об иноходце, Айтматов нигде не переходит границ реалистического повествования, не «очеловечивает» коня, но Гульсары, конечно, несет в повести большую психологическую нагрузку, выражая дух порыва, безудержного стремления вперед, если хотите — вечного движения. «Исчезла юность быстротечно, владычица чудес. О если бы ее догнал бег летящих взпуски коней!» — сказал много лет назад арабский поэт. И не

случайно в повести момент, когда Танабай вынужденно расстается с Гульсары, совпадает в жизни этого человека с началом времени трудного, приносящего много неудач и разочарований, и с началом старости.

Вряд ли верным было бы, мне кажется, говоря о повести «Прощай, Гульсары!», пытаться в первую очередь определить, почему, по каким внутренним, психологическим причинам выпало так много тяжелых испытаний на долю Танабая или его друга Чоро, — потому что вины их в этом не было. Не так уж трудно назвать ошибки Нурбека («На реке Байдамтал»), Ильяса («Тополек мой в красной косынке»), Исмаила («Лицом к лицу»), понять, что в характерах этих людей обусловило постигшие их крушения. Но Танабай и Чоро правы перед жизнью. А она перед ними? На этот вопрос нельзя дать один, общий ответ. Можно лишь сказать, что вот в том-то или в этом случае с ними обошлись несправедливо. Они горели вместе со временем, и пламя иногда обжигало их. Но они оставались самими собой и не пытались пригреться возле огня, как это делали, скажем, сменивший Чоро на посту председателя колхоза Алданов или уполномоченный райкома Сегизбаев.

О представителях этой весьма еще многочисленной категории любителей тепла, умеющих при помощи демагогии внушать кому нужно и когда нужно, что только благодаря им и горит огонь, Айтматов непосредственно говорит не так много. Но их обвиняет вся повесть, ибо это они разносят мутное равнодушие к делу и к людям, они паразитируют на теле общества и в невежественном высокомерии полагают, будто они-то и есть соль земли и основа будущего. Полагают они также, что все эти Танабай, Чоро, Дюйшены (Дюйшен — герой повести «Первый учитель») должны смиренно подставлять им свою спину в качестве ступеньки, ведущей повыше.

Готовя расправу с Танабаем, Сегизбаев не желает и думать о существовании дела, ему это не надо. Когда умирает Чоро, а Танабай по его завещанию привозит в райком партбилет умершего друга, секретарь райкома Кашкатаев (ведь это его голос решил, быть Танабаю в партии или нет!) даже не принимает старика. Зачем?..

Но означает ли все это устойчивую победу сегизбаевых? Как смотрит на это, как отвечает на этот вопрос Айтматов — ведь

совершенно ясно, что социально его занимает именно этот вопрос.

Вспомните Дюйшена из повести «Первый учитель». На своих руках — в буквальном и переносном смысле слова — нес он неграмотных, полуголодных ребят ко всему тому светлomu и добромu, что открылось ему с революцией. Трудно переоценить сделанное им тогда, в молодости, сделанное колоссальной силой любви и веры в человека, в прекрасное грядущее человечества.

Дюйшен создал в аиле первую школу. А через много лет, уже после войны, празднуют в том же аиле открытие новой, современной школы, и на празднике чествуют одну из учениц Дюйшена, ставшую известным ученым. О Дюйшене на празднике забыли, он теперь работает простым почтальоном.

Бывшая ученица Дюйшена Алтынай говорит с горечью: «...не мне надо было сидеть на почетном месте при открытии новой школы. Такое право имел прежде всего наш первый учитель, первый коммунист нашего аила — старый Дюйшен. А получилось наоборот... Ведь это не единственный случай. Я не раз это наблюдала. И потому я задаюсь таким вопросом: когда мы утратили способность по-настоящему уважать простого человека, как уважал его Ленин?.. И слава богу, что мы говорим теперь о подобных вещах без ханжества и лицемерия...»

Алтынай, конечно, права. Но есть здесь и другая правда. Сегизбаевым и алдановым ни к чему помнить о том, что сделали Дюйшен или Чоро. А Дюйшен, Танабай, Чоро не нуждаются в их памяти и не ради вознаграждения и почета живут. Их жизнь объективно нужна истории, и духовное наследие их остается людям — вот в чем их сила, их правда и жизненная непреодолимость, вот в чем основа их победы над сегизбаевыми.

В «Первом учителе» есть строки о забытых родниках: «...проляжет новая дорога, тропа к ним забывается, все реже заворачивают туда путники напиться воды, и родники понемногу зарастают мятой да ежевикой... Придет человек, разыщет то заглушенное место, раздвинет заросли и тихо ахнет: давно никем не замутненная, прохладная вода необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике и себя, и солнце, и небо, и горы... И подумает тот человек, что грех не знать такие места, надо и

товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза.

Вот так иной раз и в жизни бывает...»

Бывает. Но родники остаются. И поят своей чистой водой все, что растет и тянется к свету, ибо они — основа жизни на земле.

У Айтматова есть одна особенность: он смело сводит в одну точку на первый взгляд не сопоставимые явления и открывает читателю то, что он как будто продумал, и почувствовал вместе с ним. Между ним и его героями нет дистанции. Герои очень близки автору. Эта писательская позиция легко может увести и к сентиментальности, и к мелодраматическому пафосу, и как следствие — к «облегчению» ситуаций. Некоторым повестям Айтматова — «Топольку», «Верблюжьему глазу» — это не чуждо. Но в лучших своих произведениях он этого счастливо избежал, а «Прощай, Гульсары!» — свидетельство новых постижений, новых открытий.

Как и «Джамиля», повесть о Танабае Бакасове написана «на одном дыхании», она цельна и сюжетно, и по образному строю своему по-человечески глубока. Есть что-то необычайно привлекательное в сочетании присущей этому произведению динамичности, стремительности и широты, спокойной правдивости, обстоятельности рассказа о судьбе личности в наше время. Некоторые из читателей «Прощай, Гульсары!» — мне приходилось это слышать — говорили о моментах излишней «мажорности» конца, не

вытекающей из самого содержания повести. Думается, сторонники этой точки зрения не правы. Правда характера главного героя автором не нарушена, и Танабай, упорно и неуступчиво спорящий с жизнью там, где это, по его представлениям, необходимо, должен спорить с нею до конца. Он не строит иллюзий и знает, что «дни его на исходе», но он хочет «умереть на лету», и кто откажет ему в законности такого желания?

Когда Танабай возвращался с войны, он думал о будущем, которое, как ему казалось, уже наступило. Но, добавляет автор, «спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы». Он их отдал, как отдают миллионы людей, отдал будущему — и настоящему. Горечь утраты и нестремимость надежд соседствуют в жизни, и, наверное, об этом поется в той песне о верблюдице, потерявшей черноглазого верблюжонка, которую так часто вспоминает Танабай. Он не утратил веры в людей — и не мог утратить, потому что этим он жил и этим он жив.

Связанная со всем творчеством Айтматова неразрывную нитью, повесть «Прощай, Гульсары!» вместе с тем сложнее, и шире, и многостороннее многого из того, что было написано им раньше. И если можно — пусть очень условно — считать, что то или иное произведение на определенный срок оказывается неким «центром тяжести» в творчестве писателя, то для Айтматова сейчас таким центром становится «Прощай, Гульсары!». Надолго ли — покажет время.



---

М. ТУРОВСКАЯ

★

## И. О. ГЕРОЯ — ДЖЕЙМС БОНД

В этом безумии есть своя система.

*Шекспир, «Гамлет».*

**Я** думаю, что нашему читателю имя Джеймса Бонда знакомо разве что понаслышке. На Западе его знают все, хотя это не космонавт, не центр нападения, не лауреат Нобелевской премии, не премьер-министр, а персонаж вымышленный — плод фантазии писателя Иэна Флеминга и капиталовложений кинопродюсеров Зальцмана и Брокколи.

Иэн Флеминг, бывший офицер морской службы, написавший больше десяти романов о похождениях супершпиона по имени Джеймс Бонд, оказался достаточно удачлив. Но продюсеры Зальцман и Брокколи, отснявшие по мотивам его романов четыре суперфильма, оказались удачливее: их персонаж стал нарицательным. Джеймс Бонд, секретный агент за номером 007 на службе ее величества королевы Великобритании, — один из примечательных современных апокрифов. Впрочем, апокрифы, как это обычно бывает, выражают, трансформируя их, вполне реальные отношения, вполне реальную политику.

Но прежде чем перейти к рассуждениям, я хочу познакомить читателя хотя бы с одним из широко разрекламированных, широкоэкранных и цветных подвигов этого неотразимого шпиона: например, «Агент 007 против доктора Но».

В изложении я постараюсь придерживаться фактов и стиля, принятого на этот случай.

*«Убивать людей было частью его профессии. Ему никогда это не нравилось, но когда надо было, он убивал как можно лучше и выкидывал это из головы. Как секретный*

*агент, носящий номер с двумя нулями — разрешение убивать на секретной службе, — он знал, что его долг быть хладнокровным в виду смерти, как хирург. Если это случилось — это случалось. Сожалеть было бы непрофессионально».*

*(Иэн Флеминг, «Голдфингер»)*

Итак, после головокружительных титров (к ним я еще вернусь впоследствии) и первого знакомства со зрителем за игорным столом агент 007, не сменив лондонского пиджака, является перед удивленными взорами туземцев Ямайки, где ему надлежит расследовать ни более ни менее как помехи, мешающие запуску ракет с мыса Канаверал!

Не удивительно, что столь «секретному» агенту с ходу подсовывают подставную машину. Проявив чудеса храбрости, рассыпав каскад всяких там аппер... опер... или! суперкотов, он обнаруживает себя... в дружественной американской разведке.

Установив в столь динамической манере контакт с американским коллегой и так и не сняв мягкой шляпы, Бонд энергично берется за дело. Здесь возникает, естественно, прекрасная незнакомка с непроницаемым восточным лицом. (Замечу в скобках, что это уже третья по счету красавица с начала ленты. Первая появлялась в фехтовальном зале в короткой тунике, чтобы продемонстрировать обнаженные ноги и неприкрытую благосклонность к Бонду. К сюжету касательства не имела. Вторая была еще ближе Бонду, как его секретарша, но, увы, не ближе к делу.) Третьей даме Бонд назначает любовное свидание в целях шпио-

нажа. Но красотка отвечает коварством на коварство, и, таким образом, донжуан за номером 007, чудом избегнув уготованной ему автомобильной катастрофы, вступает в рукопашную с противницей... в ее постели Разгромив врага, так сказать, на его собственной территории и едва застегнув немнущиеся лондонские брюки, наш бравый агент передает неудачливую обольстительницу в руки американской разведки.

Впрочем, все это присказка, а сказка впереди. Я опускаю попутные подвиги Бонда в барах и гостиничных номерах экзотической Ямайки и перехожу прямо к сказке. Она выдержана отчасти в современном духе — хотя в то же время и в русле традиций, — и в ней есть злодей с пластмассовыми руками, атомный «таинственный остров», огнедышащий дракон и молчаливая гвардия туземцев — все старые романтические аксессуары, перелицованные на новый лад. Вслед за красавицей злодей немедля подсылает к Бонду убийцу, вооруженного ядовитым пауком. Паук долго ползает по постели, где, обливаясь холодным потом, ждет своей гибели недреманный агент 007. Глупый паук, впрочем, терпит фиаско, и Бонд в сопровождении туземца храбро отправляется прямо в пасть дракона, на таинственный остров доктора Но.

Легендарный дракон оказывается на поверку танком, вооруженным огнеметом. Но Бонд делает на острове более волнующее открытие: подобно сказочной Венере, из волн морских на радиоактивный берег выходит белокурая красавица в соблазнительном бикини. У очаровательной незнакомки опять-таки красивые длинные ноги, и авторы фильма в дальнейшей снабжают ее только блузкой. Красотка дает нашему герою нужные сведения об острове и отдается под его покровительство. Теперь Бонд экипирован для самых отчаянных приключений. И тут-то с девицей вместе он попадает в пластмассовые лапы доктора Но...

Надо сказать, что для шпионских методов неустрашимого агента 007 все это чрезвычайно типично. Ум и пронизательность не его оружие. У него своя тактика — вполне новаторская. В этом смысле схема Флеминга довольно постоянна:

Бонд преследует ужасного демонического противника;

Бонд предпринимает разные несущественные для дела, зато дерзкие акции (частич-

но по отношению к врагу, но чаще по отношению к особам женского пола);

Бонд терпит серьезное поражение.

Однако его тактика, если следовать ей с должной методичностью, приносит свои плоды. какая-нибудь из красоток каким-нибудь образом в конце концов да выручит. Тут уж и Бонд, проявив чудеса храбрости и высокий спортивный класс, расстраивает козни злодея, демонтирует его технику на грани фантастики и обнимает благодарную красавицу...

Так случается и на этот раз.

На острове, оборудованном по последнему слову атомной техники, Бонд как раз оказывается в фазе свершения чудес храбрости. Он расшвыривает, как котят, молчаливых туземцев в одинаковых комбинезонах. Он проходит огонь, воду и медные трубы не в фигуральном, а в самом буквальном смысле слова, попав в какие-то лабиринты вентиляционной системы острова. По дороге, напялив комбинезон очередного туземца, Бонд случайно оказывается как раз в том зале и как раз в ту секунду, когда злокозненный доктор Но (помесь немца и китайца с непроницаемым восточным лицом) как раз собирается отклонить ракету, запущенную к Луне.

Но не тут-то было. Шустрый Бонд, пользуясь комбинезоном, кидается прямо к главному пульту, хватается за самый главный рычаг, дергает его, в начавшейся потасовке приканчивает доктора (пластмассовые руки подвели!), в процессе взрыва разыскивает красотку, прикованную к чему-то железному, отковытывает ее и отплывает с ней от рушащегося в дыму и атомном пламени острова на углой лодчонке без мотора...

В последнем кадре понятливый американский коллега отпускает буксирный трос, и бравый Бонд, на которого не произвел впечатления даже атомный взрыв, опрокидывает красотку на дно лодки...

И это Джеймс Бонд?!

Да, это и есть Джеймс Бонд.

Я пересказала бегло «Доктора Но», но, право же, «Из России с любовью», «Голдфингер» да, думаю, и «Громовой удар» — последний из боевиков с агентом 007 — мало что меняют в характере героя. Съемки становятся все грандиознее — сюжеты все невероятнее.

Увы, некогда романтическая фигура разочарованного чудака, одиночки, бросающего вызов обществу (кто из нас не увлекался

в детстве меланхолическим Шерлоком Холмсом?), претерпев множество метаморфоз, превратилась в фигуру охранителя устоев, вполне официального, хотя и секретного агента политической полиции и клубмена с претензией на фешенебельность...

Но почему же столь заурядный шпион в столь глупых обстоятельствах стал фигурой столь легендарной?

*«Шикарный парижанин нынче спит в штанах 007, надевает рубашку «Джеймс Бонд» с Иэном Флемингом слева, засовывает в кармашек платок, увенчанный золотым пальцем<sup>1</sup>, добывает черный саквояж и плащ и полагает, что он экипирован для убийства. Или по крайней мере для права убивать.*

*Прошли те времена, когда французский портной в грош не ставил мешковатый английский тренкот и котелок: в наши дни он скорее следует за, нежели идет впереди, и вместе с «Голдфингером», сделавшим 105% сбора в парижских кинотеатрах, Бонд-стрип, бесспорно, берет реванш.*

*Американцы тоже попались на эту удочку: Джеймс Бонд и вся 007-продукция делает ежегодно 14-миллионный бизнес. Один винный фабрикант создал водку 007, а фирма пижам выпустила специальную партию для детей под названием 003<sup>1</sup>/<sub>2</sub>...»*

*(Иэн Джонсон, «Films and filming», 1965, октябрь)*

Можно сколько угодно иронизировать над иррационально глупыми приключениями бравого Бонда и негодовать по поводу «снобизма, секса и садизма» Иэна Флеминга, но простая статистика свидетельствует, что фильмы с Бондом вот уже несколько лет лидируют на мировом экране. Что до самого Бонда, то он далеко вышел за пределы того или иного сюжета. Его известность универсальна; агент 007 стал более чем модой — он стал мифом современного кино.

Не стоит ли в таком случае разобраться в природе этого мифа? Ведь речь идет и о тех, кто смотрит фильм о Бонде, обеспечивая колоссальные сборы.

Критика охотно делит искусство на «высокое» и «низкое»: литературу — на «прозу» и «беллетристику», кинематограф — на

«проблемный» и «коммерческий», забывая, что «низкое» искусство не просто «опиум для народа». Оно выражает распространенные воззрения и предрассудки в наиболее упрощенном, но зато и в наиболее обобщенном виде.

Современный западный кинематограф — это поиски таких художников, как Феллини и Антониони, как Бергман и Аллен Ренэ, высказавшие на экране все смятение и отчаяние, «бездны» и надежды своего зрителя. Но Джеймс Бонд — это его фольклор.

Хотя титры «Доктора Но» или «Голдфингера» занимают немалый метраж и немалое экранное время, хотя в них обозначены имена продюсеров (Зальцман и Брокколи), хотя указан литературный первоисточник (одноименные романы Иэна Флеминга), хотя значатся фамилии режиссеров (Теренса Юнга в одном случае и Гая Гамильтона в другом), хотя артист Шон Коннери получает баснословные гонорары за образцовые поцелуи и шикарные драки, — Бонд нечто большее, чем простая сумма, получаемая от сложения их индивидуальных усилий. Она возведена в квадрат зрительским восприятием. Ибо Бонд — создание своего зрителя, а не только своих создателей. Он тень, отброшенная на экран из зала, цветная широкоэкранный проекция тайных помыслов и явных соблазнов...

Ну, конечно, далеко не все, заплатившие за билет, выходят из зала поклонниками Бонда. Механика его не столь уж хитра, чтобы ее нельзя было раскусить. Бонда презирают. Над Бондом смеются. Бонда разоблачают. Даже буржуазная пресса в связи с его именем употребляет слово «фашизм» (сошлюсь для примера на статью в № 10 журнала «Films and filming» за 1965 год), что же говорить о печати коммунистической. Английские студенты высмеяли его в остроумной и ядовитой пародии, получившей широкое хождение. Книжка с достаточно раздетой звездой на обложке энергично предупреждает: «Только для любителей Бонда!» Только... Смешно было бы думать, что эпидемия охватила всех.

Все это так, но все это не снимает «проблемы Бонда», если употреблять его имя как нарицательное. А проблема эта шире, чем успех четырех даже широко разрекламированных боевиков. Фильмы сходят с экрана — проблема остается.

В Лондоне в окне лавчонки я видела водку «007» с привязанным к горлышку писто-

<sup>1</sup> «Goldfinger» — название популярного фильма с Бондом по одноименному роману Флеминга — означает «золотой палец».

летом. Но одновременно видела на прилавке почтенного книжного магазина литературоведческий труд «Досье секретного агента 007». Обложка книги «Только для любителей Бонда» рекламирует шестнадцать страниц фотографий его оружия и девочек. Но в то же время серьезные киножурналы посвящают ему серьезные статьи.

Отнюдь не только так называемый «средний зритель» (стыдливый синоним обывателя), но и так называемая «элита» (синоним интеллектуального сноба) отдает дань Бонду. Ошибаются те, кто думает, что Бонд — это просто попавший «в случай» фаворит киномоды: Бонд — это тип времени и знание времени.

*«Все чаще на смену детективному роману приходит роман преступлений. То, что в Америке называется «gabblers», — не что иное, как серия эпизодов насилия. Я нахожу это очень скучным!»*

*(Агата Кристи, «Литературная газета», 10 марта 1966)*

Кажется, во все времена детективный жанр был самым читаемым, а его герой — популярным. Наше время в этом смысле не составляет исключения. На фоне довольно очевидного охлаждения читающей публики к художественным вымыслам и явно возросшего интереса ко всякого рода документальности и науке детектив сохраняет свои позиции и расширяет свою аудиторию. Даже «серьезный» читатель на Западе ныне охотно отдает дань этому «несерьезному» жанру. Статистические данные — даже если сделать скидку на рекламу — можно почерпнуть с пестрой обложки любого детектива.

Микки Спилэйна, «Мой пистолет не ждет».

«Продано 3 500 000 экземпляров!»

«Отличное чтение для миллионов!»

«Романы этого автора разошлись тиражом в 25 миллионов только в издании «Sighnet!»

Иэн Флеминг, «Из России с любовью!».

«Около 2 000 000 экземпляров продано только издательством «Рип!»

Красноречивую эту статистику можно с полным правом счесть показателем однообразия и скуки жизни, литературным замещением сильных страстей и смелых дел — так сказать, компенсацией обывательского комплекса неполноценности.

Тот, кто видел шедший у нас несколько лет назад реалистический фильм Педди Чаевского и Манкевича «Марти», может вспомнить, как «средние американцы» в свободное время опьяняются романами вышеупомянутого Микки Спилэйна в вышеупомянутом дешевом издании «Sighnet». Оказывается, это средство более возбуждающее, нежели виски, традиционно разбавленное содовой, в дешевых барах и более удовлетворяющее, чем потная толкотня в дешевых дансингах. Мелкие лавочники, средние служащие, в меру трусливые и в меру развязные, упиваются бесшабашной жестокостью знаменитого сыщика Майка Хаммера, завидуют легкости, с какой враги падают под его пулями, а женщины — ему на шею. Поглощая страницу за страницей, они переживают восторг и сладкий ужас ночных погонь, отчаянных перестрелок, запретных объятий, которые им в их унылой и однообразной жизни не дано пережить.

Тема Микки Спилэйна проходит лейтмотивом через всю картину «Марти» — правдивую картину повседневности — как символ обывательского томления, и мясник Марти, невосприимчивый к наркотическому действию микки-спилэйновских соблазнов, — несчастный человек, белая ворона среди своих товарищей.

Впрочем, «пользующийся наибольшим спросом уголовный писатель» сам учитывает свою роль торговца наркотиками и даже выступает в роли «философа» жанра.

С некоторой бравадой один из своих романов он начинает так: «Когда вы сидите перед огнем, в удобном кресле — думаете ли вы когда-нибудь о том, что происходит снаружи? Едва ли. Вы покупаете книжку и читаете о разных там материях, получая пинки, предназначенные другому, от людей и обстоятельств, которые вовсе не существуют».

...Вы читаете о жизни снаружи, думая, как было бы занятно, если бы все это случилось с вами, или, на худой конец, как было бы занятно хотя бы взглянуть на это. Так, между прочим, поступали древние римляне — они приправляли свою жизнь действием, когда, сидя в Колизее и любуясь, как дикие звери терзают людей, упивались зрелищем крови и ужаса.

...О, конечно, тут есть на что поглазеть. Жизнь через замочную скважину!

Завтра вечером вы отыщете другую книгу, забыв, что было в предыдущей, и снова



будете жить только воображением. Но помните: снаружи кое-что случается. Каждый день и каждую ночь; и по сравнению с этим развлечения римлян кажутся школьным пикником. Это случается под носом у вас, но вы об этом никогда не узнаете.

...Но я не вы, и следить за всем этим — моя работа. Это не так уж приятно, ибо видишь людей такими, каковы они есть. И никакого Колизея — ведь город куда большая и более многолюдная арена...

И нужно быть быстрым и мочь — иначе будешь побежден, и если можешь убить первым — неважно кого и как, — тогда только уцелеешь и вернешься в удобное кресло к уютному сгню. Но надо быть быстрым. И мочь. Иначе смерть. »

Какая разница, что у англичанина Флеминга все выглядит изысканнее и изящнее, чем, допустим, у американца Спилзйна<sup>1</sup>; какая разница, что Джеймс Бонд не частный сыщик Майк Хаммер, большей частью имеющий дело с подонками, утешающий всяких ладших и заблудших бабенок и охотящийся за заурядными бандитами в джунглях большого города, а агент «на секретной службе ее величества», игрок и спортсмен, чьи похождения разворачиваются в фешенебельных казино и ресторанах, а дамы попадают даже из самого высшего общества?

Чем более буржуазное общество обезличивает личность, тем более жанр детектива из ребуса — развлечения для ума — становится наркотиком для чувств; тем более от интеллектуального жанра расследования продвигается он в сторону «gabbler», «shaker», «thriller» — романа, так сказать, «бросающего в дрожь», бьющего по нервам; тем более из романа тайны он превращается в роман травмы.

И хотя Агата Кристи — ветеран и классик детектива — по-прежнему поставляет на читательский рынок свои романы-ребусы и ее хитроумный Эркуль Пуаро по-прежнему распутывает хитросплетения немножко старомодных тайн, можно понять ее грусть: жанр очевидно меняет свое лицо. Он спешит гибко приспособиться к требованиям времени.

<sup>1</sup> Кажется, это два автора с наиболее широкой и устойчивой популярностью и потому наиболее показательные, хотя и Агата Кристи, и Сименон, и Чендлер, и Ле-Карре, и другие тоже не обижены вниманием читателей.

*«Бонд принадлежит к тому сорту мужчин, о котором втайне мечтает каждая девица, и он ведет жизнь, которую хотел бы вести каждый мужчина, если бы смел... А разве любой из нас не предпочел бы отлично есть, останавливаться в отличных отелях и водить отличные машины?»*

*(Иэн Флеминг, «007 и я» в книге «Только для любителей Бонда»)*

Когда-то Чуковский писал о Шерлоке Холмсе, что это самый интеллектуальный из любимых юношеством героев. Интеллектуальный процесс — разгадка тайны, традиционно считавшейся нервом детектива не только у Конан-Дойля и Агаты Кристи, но и у Сименона, — странным образом у Флеминга исчезает вовсе. Если Майк Хаммер еще кое-как ведет расследование — пусть с помощью кулаков вместо логики и интуиции, — то Бонд вообще этим не занимается. Враг умнее? Тем хуже для него!

«Светские» романы Флеминга еще ближе к типу «thriller», чем грубая порнография Микки Спилзйна. Бонд не рассуждает, не сопоставляет, не умозаключает — он борется. Он — персонаж действия.

Там, где есть борьба, должен быть и противник. А Бонд ведь не частный детектив — как-никак он агент «Интеллидженс сервис».

Агент 007 стартовал, когда в повестке дня еще стояла борьба с нацизмом. Но когда обозначилась ситуация «холодной войны», в романах Флеминга «врагом № 1» стали русские.

Доктор Но во всеоружии атомной техники отклоняет ракеты, запускаемые с мыса Канаверал.

Злокозненный Голдфингер с помощью атомной бомбы местного значения тщится ограбить национальную сокровищницу Штатов — форт Нокс.

Злонамеренный Эрнст Старво Блофельд с помощью новейших теорий гипноза и гипнопедии, применяемых якобы в лечебных целях к невинным английским поселенкам, объявляет Британии бактериологическую войну.

Все это инспирировано таинственной организацией СМЕРШ.

И даже сам Бонд как воплощение «британизма» становится однажды, наряду с казной и ракетами, жертвой происков советской разведки. Его собираются убить просто так, чтобы поддержать междуна-родный престиж.

Впрочем, когда Флемингу задали вопрос, как он относится к русскому, он ответил, что терпимо; тем более что в климате «холодной войны» на данное число наметилось «потепление». Тогда-то вместо СМЕРШа, снова сменив ориентацию, преуспевающий уголовный писатель сочинил СПЕКТР — некое кошмарное гангстерское сообщество, на этот раз лишенное определенной государственной принадлежности.

Все это больше демонстрирует колебания западного политического курса, нежели «принципы» автора. Но при всем том, что СПЕКТР — организация мифическая и международная, в ней по-прежнему мелькают некие анонимные Борисы и Иваны, всякие западные славяне и загадочные восточные персонажи, придавая похождениям Бонда неизменный ореол борьбы с «красной опасностью».

В рецептуре современного детектива атмосфера «холодной войны» учтена и заприходована как дополнительная сенсация. Но ведь и детективный роман учитывается и приходуется в стратегии и тактике «холодной войны». Надобно помнить об астрономических цифрах его читателей! И о том, к чему они привыкают...

Впрочем, Флеминг не ограничивается политической злобой дня. Точно так же учтен и заприходован интерес к сенсации научной. Романы этого автора часто делают крен в сторону другого популярного жанра — фантастики. Остров доктора Но скорее может привести на память капитана Немо или инженера Гарина, нежели профессора Морнери — вечного противника Шерлока Холмса.

Однако и эта возможность расшевелить читателя учтена и заприходована в коммерческих целях. На самом деле автора меньше всего интересуют фантастические возможности техники и те проблемы, которые они порождают в человеческом обществе. Угроза авторитарных, выпущенных на волю сил, волнующая столь многих писателей Запада, сведена к угрозе рождественской индейке (падеж этой птицы и спровоцирован с помощью гипнопедии).

Что до пресловутой сексуальности Бонда («он знает столько же приемов любви, сколько джиу-джитсу»), то она, по правде, сильно преувеличена рекламой. Флеминг не «живописует» подробности любви с тем истинным азартом и знанием дела, с каким он описывает подробности, допустим, рулетки

и гольфа. Секс гоже учтен и заприходован как тактика и методика Бонда, как пикантная приправа действия — не более.

В чем Флеминг действительно великий специалист, это в передаче всякого рода азарта — от картежного до спортивного. Вы найдете у него детальнейшее и квалифицированное изображение гольфа, бриджа, баккара, рулетки, бобслея, слалома, подводного плавания и прочая и прочая.

Учтен наконец чрезвычайно развившийся интерес ко всякого рода информации. Романы Флеминга не только украшены знаменитыми именами от Пикассо до Юрия Гагарина и модными проблемами, включая аллергию, гипнопедию, золотой запас, геральдику и многое другое, — они содержат множество описаний и фактических сведений, дающих пищу читательскому любопытству.

Вы найдете у него сведения об английских гербах и попутный экскурс в историю Бонд-стрит, а также квалифицированные рассуждения о сравнительных качествах различных систем револьверов — от «беретты» до «вальтера» — и вполне авторитетную оценку разных марок машин. И подробное меню всех завтраков, обедов и ужинов, которые когда-либо поглотил Бонд в фешенебельных ресторанах всех стран, а также упоминания их фирменных блюд. И дотошнейшие перечисления всех предметов мужского туалета, употребляемых Бондом, с аккуратным указанием фирм.

В интервью «007 и я» автор уточняет: «Он одевается на Сэвил-роу, я на Корк-стрит. Это несколько дешевле». Все это стяжало Флемингу насмешки, но не помешало, как мы видели, Бонду стать законодателем моды даже для французов; и ныне пушкинские строки «как денди лондонский одет» остается лишь чуть-чуть перефразировать.

Наконец вы найдете в романах Флеминга достойные старого Бедекера описания отелей, баров, пляжей и снежных трасс шикарнейших курортов мира от Майами-бич до высокогорных швейцарских санаториев, куда заботливая судьба то и дело забрасывает Бонда в поисках противника. В этом отношении Флеминг доподлинно документален, и искатели «красивой жизни» могут пользоваться им почти как путеводителем и справочником.

Столь характерная для современной литературы тяга ко всяческой документальности тоже учтена и заприходована, как и многое другое!

Но если в жестоком документализме таких антифашистских лент, как «Майн кампф», таких пьес, как «Дневник Анны Франк», таких повестей, как «Дело Оппенгеймера», очевидна тяга к правде и отталкивание от лжи, то своеобразный «документализм» «бондианы» обнаруживает другую, гораздо менее очевидную сторону явления: бессилие перед разрозненными и самодовлеющими фактами, неспособность к обобщению, своего рода «антифилософию». В реестровости романов Флеминга дает себя знать обывательский прагматизм.

...Итак, детектив Флеминга оперативен; он легко включает в себя элементы всяческих сенсаций — политической акции реакционного толка и thriller'a, фантастики и рекламного проспекта, модного журнала и сексуального фильма с «ню».

Таков вкратце рецепт популярности жанра в его современном виде, и Флеминга в частности. И все-таки, не выйдя он со страниц романов на экран, Бонд так и остался бы одним из многих героев современной «шпионистики», не более. Мифом его сделало кино.

*«Бонд стал символом и знаменем времени вместе с Биттлами и Счастливицом Джимом, с «рассерженными» молодыми людьми и Элизабет Тэйлор, и вместе со всеми прочими безбожно разрекламированными рысаками и жокеями на карусели популярности».*

(Пенелопа Хастон, «Sight and Sound», 1964—1965, зима)

...Жерло огромной трубы, глядящее с экрана. В сечении трубы появляется фигурка в шляпе, с пистолетом в руке. Бах-бах! — человек стреляет прямо в зал...

...На волнах безмятежно покачивается чайка. Внезапно она всплывает и оказывается украшением на шлеме человека в комбинезоне. Человек закладывает заряд у подножия огромного сооружения из металла и бетона и ныряет в море. Выйдя на берег, фигура сбрасывает комбинезон на молниях. Из комбинезона, как бабочка из куколочки, выпархивает Бонд в элегантном вечернем костюме. Через минуту с очаровательной светской улыбкой он является в аристократическом клубе. Бум! — раздается взрыв.

Это даже еще не из фильмов о Бонде — это из заставок, идущих, как теперь приня-

то, перед титрами. Так бравурно и эксцентрично с первых кадров предъявляет агент 007 зрителю свою «визитную карточку» человека действия с лицензией на убийство в кармане безукоризненного смокинга.

Среди всяческих «негероев» современной литературы и кино Джеймс Бонд со своей белозубой улыбкой, стальными мускулами и официальным правом убивать явился как противовес всему рефлектирующему, брюзжащему, рассерженному.

Искусство имеет с жизнью не только простейшие формы прямой связи, но и всякого рода обратную связь. Кто знает, почему природа вдруг прекращает массовое производство классических носов и подбородков и сдает на конвейер широкий рот и тупой короткий нос Би-Би, как фамильярно называют Брижитт Бардо?

Долго отработывался на глянцевого обложках детективов этот тип англосакса с твердым ртом, волевым квадратным подбородком и холодными серыми глазами, пока Шон Коннери не воплотил его с идеальным соответствием прототипу и столь же идеальным отсутствием индивидуальности. Экран знал и до него эти волевые мужественные лица. Но он сумел не внести в типаж ничего личного, своего, особенного, он просто воплотил его, так сказать, «вочеловечил» вымышленный и неправдоподобный литературный персонаж. Теперь он снова вернулся на обложку как эталон, как система отсчета для будущих суперменов с волевыми подбородками.

Достаточно сопоставить идеальную «обложечность» Шона Коннери с нелепой, разболтанной долговязостью Жан-Поля Бельмондо (появившегося на нашем экране в качестве «человека из Рио») или «угрюмством», приданным себе Ричардом Харрисом в «Спортивной жизни», — этих звезд современного экрана, — чтобы понять, какую желанную для своего зрителя ноту принес с собой в кино Джеймс Бонд.

Ибо его баснословная популярность отнюдь не безотносительна к фону, на котором он появился: в первую очередь, естественно, к английскому, а затем и к общеевропейскому.

Конечно, западный кинематограф ежегодно выбрасывает на кинорынок огромную и разную продукцию. Но надо помнить, что вот уж десяток лет сенсацией и подлинным «героном» литературы, сцены и экрана был «рассерженный» молодой человек во

всех его житейских ипостасях и национальных вариантах.

Я беру слово «герой» в кавычки, ибо в действительности этот молодой человек демонстративно отвернулся от всякой общепринятой нормативности: духовной, физической, нравственной, бытовой.

Тот же номер английского журнала «Films and filming», который отдает свои страницы Бонду, отмечает десятилетие трагической гибели всемирно знаменитого, несмотря на свои три роли и 21 год, американского актера Джеймса Дина — прообраза всех «рассерженных». Сейчас уже трудно вспомнить, аккумулялировал ли Джеймс Дин в себе смутное недовольство молодого поколения или, подобно катализатору, вызвал его к жизни, дав ему самознание и лицо — свое странное, как будто начатое и не доконченное природой лицо, отразившееся потом в десятках непохожих, но по-своему тоже странных лиц. Кого ни возьми из новейших звезд — в их портретах одинаково бросается в глаза эта странность, это отклонение от норматива, иногда обаятельное, иногда некрасивое, а подчас даже вызывающе уродливое, но всегда резко индивидуальное.

В жизни, в литературе и на экране на смену героическому буржуа (вспомним Лоуренса Оливье) вместе с ними пришел бунтарь, восставший против всего буржуазного — против буржуазной морали, этики, эстетики и заодно против героизма.

«Мятежный негерой пятидесятых годов» — метко окрестил этого молодого человека один из английских критиков. «Бунт без причин» — так и назывался первый и самый шумевший фильм с Джеймсом Дином.

Это был странный бунт — озлобленный и пассивный, безморальный и совсем не героический. Это была «итальянская забастовка» молодежи, противопоставившей себя конформистской, лицемерной, деловитой морали, но не противопоставившей этой морали ничего, кроме себя. Это был личный отказ действовать, следуя рутине, который в своем бездействии сам со временем стал вырождаться в рутину.

Джеймс Бонд с его идеальной экранной нормативностью, с идеальной нерассуждающей действенностью заряженного револьвера, с идеальным и безотказным успехом у женщин, в костюме, сшитом у лучшего лондонского портного, и с официальным разрешением убивать в кармане (как

часто эти молодые люди стреляли — нелепо, ненужно, не в того, кого следует, и просто в себя!) — Джеймс Бонд явился на экране сенсационной и почти пародийной реакцией на изживаемую уже тему «рассерженного» молодого человека.

Еще недавно этот молодой человек иронизировал над мнимой буржуазной «сложностью» — теперь сам он оказался слишком сложен; он бравировал своею безморальностью — теперь он казался уже почти что моралистом; он плевал на разные там проблемы — теперь сам он стал проблемой...

Ошибаются те, кто называет Бонда героем современного зарубежного экрана, хотя бы и в кавычках. На самом деле он лишь и. о. героя, он явился как «отрицание отрицания» на смену томительной и безысходной проблеме «негероя», явился как попытка снять жизненное противоречие, коли его не удастся разрешить...

Наконец-то люди, запутавшиеся в своих проблемах — психологических, моральных, политических, — уставшие от «проклятых вопросов», могли передохнуть, глядя, как Бонд, не рассуждая — бац-бац! — расправляется с противником; как он, не раздумывая — раз-два! — обнимает мало знакомую красотку; как он — ура! — побеждает всех и вся во имя Британии. И, главное, все это не как-нибудь, не в утомительном разладе, а в полном согласии с самим собой и с властями.

В этом супершпионе обыватель мог пережить и приобщение к «high life» — шикарной жизни на шикарных курортах, — и обладание шикарными женщинами, и удовлетворение тайных соблазнов, где национальное чванство польщено, насилие — узаконено, а победа не столько завоевана, сколько предопределена.

Джеймс Бонд явился на европейском экране как пошлая интермедия в серьезной драме, как некая вульгарная утопия, как удешевленная иллюзия, когда надежды нет.

Ведь возможен и более глубокий взгляд на роль детективной литературы, высказанный еще Антонио Грамши, не чуждавшимся проблем массового искусства.

Разделяя точку зрения на детектив как на духовный наркотик, Грамши в то же время замечал: «...принудительная рационализация существования, принимающая неслыханные размеры, все в большей степени затрагивает средние классы и интеллигенцию; но даже и в этом случае речь идет не

об «упадке» авантюристического духа, а о слишком большой авантюристичности обыденной жизни, то есть о чрезмерной ненадежности существования, в сочетании с убеждением, что бороться с этой ненадежностью один человек не в состоянии».

Таким образом, возможна точка зрения на детективный жанр, при которой его авантурные мотивы оказываются не только пленительным вымыслом скучной обыденности, но и выражением ее собственных черт — ее скрытой и тем более страшной угрозы частному человеческому существованию...

Иначе говоря, при всей сочиненности Бонда, в его историях зритель находит и нечто от себя самого, своей повседневной реальности.

*«Чего хотят кинозрители? — спрашивает Гриффит. — Оружие и женщину». Идя навстречу их пожеланиям, я сделал, а «Колумбия»<sup>1</sup> взялась представить фильм «Вне банды» — верняк, который будет иметь отличной сбыт».*

*(Жан-Люк Годар, «Sight and Sound», 1964, осень)*

Если миф Бонда — плод усталости от проблем «рассерженных», то повышенную событийность его приключений тоже нужно признать обывательской реакцией на «авангардизм», на ослабление сюжетности, декларируемое современным западным кинематографом.

Это так. Но между тем вышеприведенные слова со ссылкой на одного из «отцов» кинематографа Гриффита принадлежат не продюсеру Бонда, не поставщику на кинорынок серийной продукции, а Годару — авангардистки настроенному молодому режиссеру, одному из тех, кого еще не так давно приветствовали как представителя французской «новой волны».

Ну конечно, Жан-Люк Годар сказал это не без иронии и не без яда. Ну конечно, принимая вызов обывательского вкуса, он «остранил» его сразу и резко.

Но он действительно сделал «верняк» «Вне банды» и плюс к этому уголовные фильмы «Маленький солдат» или «Жить своей жизнью», так же как Франсуа Трюфо — другой зачинатель «новой волны» — поставил иронический детектив «Стреляйте

в пианиста», а почтенный и даже католический писатель Грэм Грин постоянно пользуется формой авантурного и детективного романа в своей прозе.

Серьезные писатели еще задолго до кино занимались перелицовкой авантурных мотивов. Это было естественное желание серьезных людей иметь для своих серьезных идей как можно более широко аудиторию.

Но дело, конечно, не столько в этом и даже не только в индивидуальном складе дарования, который побуждает одного крупного современного кинорежиссера — скажем, Микеланджело Антониони — подобно драматургу Беккету, прибегать к так называемой «дедраматизации», в то время как другой талантливый режиссер, скажем Жан-Люк Годар, подобно драматургу Тенесси Уильямсу, предпочитает ей «мелодраматизацию».

Дело в том, что «дедраматизация» Беккета или Антониони, так же как «мелодраматизация» Тенесси Уильямса или Годара, выражает одни и те же существенные черты действительности, одну и ту же психологию духовного кризиса.

Буржуазное общество все менее может предложить общезначимых духовных ценностей своим членам и все более распадается на отдельных, предоставленных самим себе индивидуумов с их личной моралью и случайными — деловыми, любовными и прочими — связями.

Недаром «бездейственный» Антониони назвал свой первый «антониониевский» фильм «L'Avventura» (у нас переводят это заглавие как «приключение», но оно имеет еще и оттенок «авантюры»). Недаром его «скучным историям» так часто сопутствуют мотивы прямой уголовщины...

В самом деле, ведь распад привычной драматургической «интриги», где причины неумолимо рожают следствия, чтобы в свою очередь стать причинами, — распад, вызвавший к жизни пресловутое словечко «дедраматизация», вовсе не выдуман был в кино Антониони оригинальности ради.

Странная бездейственность его героев, немотивированность их внезапных и нелогичных поступков, бесплодная эротика случайных связей, заменяющая или скорее замещающая для них любовь, — все это выражает распад реальных жизненных связей, падение градуса общественной морали, исчерпанность идеалов и усталость чувств, чреватые, с одной стороны, «некоммуника-

<sup>1</sup> Американская кинокомпания, финансирующая европейский кинематограф.

бельностью» (еще модное словечко!), а с другой — внезапными эксцессами темных страстей.

При этом Беккета или Антониони больше занимает современная болезнь «коммуникабельности», а Тенесси Уильямса или Годара — психология эксцесса. И вот почему авангардистский кинематограф, так же как литература и театр, охотно прибегает к вульгарной уголовщине

Герой картины Годара «На последнем дыхании» (роль, которая сделала в свое время Жан-Поля Бельмондо эталоном современного молодого человека) ведет странное полуправильное существование — угон машин для него столько же развлечение, сколько бизнес — и случайно убивает полицейского. Девчонка американка, которую он встречает так же случайно, спит с ним — но для нее это тоже больше развлечение, чем любовь. Она делит с ним постель и положение «вне закона» и выдает его полиции не потому, что не хочет быть «вне закона», а оттого, что больше не хочет быть с ним. Пуля полицейского настигает его, и он долго-долго бежит по освещенной солнцем улице, чтобы в конце концов упасть лицом на теплые камни мостовой и умереть без вины и без искупления...

Сыщицким кредо Эркюля Пуаро — героя Агаты Кристи — по сей день остается причинность — традиционное кредо традиционного детектива. Преступление можно раскрыть, если понять, кому и зачем оно выгодно или какова его причина.

В фильме Годара есть все гри «g», положенные по законам жанра: — «gangster», «girl» (девушка) и «gun» (оружие); опущено лишь одно: причинные связи. Они опущены автором фильма: вынесены за скобки, за экран, за пределы сюжета. Но еще до этого они опущены в самой жизни.

Когда в польском фильме «Пепел и алмаз» Мацек (один из первых молодых героев послевоенного экрана) надевал темные очки, это было вызвано болезнью глаз — следствием участия в Варшавском восстании. Герой Бельмондо носит темные окуляры просто так, без причины, как знак своей отдельности от всех прочих.

Структура «классического» уголовного сюжета разрушается изнутри. Жизнеподобное течение фильмов Годара (он снимает их обычно на натуре, при естественном освещении) взрывается уголовщиной.

Как и безрадостные «приключения» героев Антониони, она выражает самодержавную власть случайности в современном буржуазном обществе, где так много законов и так мало внутренней закономерности...

Причинность исчезла...

Никто не станет всерьез сравнивать лихие похождения Бонда с кинематографом Антониони или драмой Тенесси Уильямса в сфере искусства. Но речь ведь идет не об искусстве, а только о его мотивах. И тогда оказывается, что в вульгарном зеркале «бондианы» отражаются те же жизненные процессы.

И в «бондиане» извечная детективная причинность нарушена, взаимосвязь и взаимозависимость событий обозначены чисто внешне, как простая временная последовательность, а логика — будь то дисциплинированная логика Шерлока Холмса или парадоксальная психологическая логика знаменитого патера Брауна, созданного прихотливой фантазией Честертона, — урезана в своих правах.

Я уже говорила, что в романах Флеминга нет «тайны», в них ничто ни из чего не вытекает и сногшибательные приключения просто следуют друг за другом.

Уголовный сюжет в «бондиане» на своем расхожем уровне «модернизируется», переживает тот же процесс «дедраматизации», который до этого пережит был авангардистским искусством, будь то кино или литература.

Бонд меньше всего герой расследования, которое всегда есть процесс, он в лучшем случае герой приключения, которое есть эксцесс.

При переходе на экран нарушается даже та чисто внешняя последовательность событий, даже та чисто внешняя, житейская достоверность, которой придерживается Флеминг в описаниях блюд, брюк и драк. Тут уж сюжет вовсе мчится кувырком, концы не сходятся с концами, а антураж действия окончательно принимает вид некоей вульгарной фантастики.

Но Годар стремится поднять «черный» жанр до степени искусства, чтобы показать вульгарную авантюристку самой действительности. Но вульгарная авантюристка «бондианы» разоблачает ее нечаянно. Ибо не существует искусства достаточно «низкого» или достаточно «высокого», чтобы вовсе не отразить в себе жизнь.

*«Прошли те времена, когда наш герой был и чист и хорош, а враг дурен. Хотя, если быть честными, разве даже тогда не обожали мы втайне негодяев? Разница лишь в том, что теперь мы уж вовсе не различаем, где добро и где зло».*

*(Иэн Джонсон, «Films and filming», 1965, октябрь)*

Детектив, призванный раскрывать истину,— персонаж по самой сути своей идеальный, как бывает идеален герой фольклора. Он «фольклорен» еще и потому, что, подобно герою народной сказки, должен восстанавливать справедливость, защищать сирых и слабых от сильных мира сего, оправдывать невиновных и карать виновных.

Говорят иногда, что детективный жанр — жанр аморальный, так как речь в нем идет о преступлениях, убийствах, жестокостях, крови. На самом деле это жанр не только моральный, но даже морализаторский, ибо он основан на незыблемости категорий добра и зла.

Может быть, самое знаменательное в мифе о Бонде — это преобразование идеального героя в циника.

Дело не только в том, что герой детектива перестает быть интеллектуальным героем. Дело не только в том, что в похождениях Бонда преобладают победы над женщинами, а потом уже над врагом. Дело даже не в том, что победы над врагом чаще всего — следствие побед над женщинами, а победы над женщинами чаще всего — путь к победе над врагом.

Дело в том, что в романах Флеминга существенно изменилась самая система отсчета. Категории моральные в них откровенно заменены категориями политическими, терминами «холодной войны». Происходит неудержимая политизация всех, самых исконных, представлений о добре и зле.

В них воцаряется своя собственная система понятий, циничская даже с точки зрения нормальной буржуазной морали и берущая начало все в той же идее «cold war».

Даже буржуазные английские критики говорят о шовинизме, возрожденном Флемингом, о его англо-саксонском чванстве: действительно, «цветные», к примеру, всегда выполняют у него роль молчаливых телохранителей злодея или жестоких нерассуждающих карателей. Впрочем, тут легко рас-

познать не только британское высокомерие автора, но и преемственность традиций бульварной литературы с ее загадочным «Востоком» — всех этих темнокожих немых слуг с отрезанными языками, посланцев таинственных индусских сект, мстителей и молчаливых, непроницаемых китайцев, не оставляющих следов преступления...

Но у Флеминга даже эта «романтическая» традиция беззащитна и недвусмысленно политизирована. «Низшие нации» (а низшие у него, кажется, все, исключая британцев, конечно, американцев, отчасти французов и, пожалуй, швейцарцев) делятся в свою очередь по принципу «наших» и «не наших».

Поэтому болгары, например, всегда выступают в роли отчаянных террористов, а турки — те же «черномазые разбойники» по его номенклатуре — в роли «антитеррористов», «наших»; поэтому сербы, хорваты и прочие югославы в его романах — международные гангстеры, а корсиканцы — те же гангстеры, но «наши», и Бонд даже решает породниться с одним из них! (Тут Флеминг допускает даже известное «свободомыслие» в национальном вопросе, да и сам Бонд не какой-нибудь чистый англосакс, а демократическая помесь шотландца и швейцарца!)

Национальный состав демонических злодеев и отрицательных персонажей подобран четко по политическому признаку: это странный интернационал русских, евреев, китайцев, немцев, корейцев, негров и прочих, что с точки зрения ортодоксального расизма совершенно аморально! (Доктор Но, как я уже упоминала, — многозначительная помесь немца и китайца.) Так что даже англосаксонский шовинизм автора цинично подправлен политикой.

То же самое относится ко всем сторонам бондовского мифа. Я уже говорила, что, с каким бы демоническим противником он ни встретился и какой бы немислимый коктейль наций этот злодей ни представлял, большей частью оказывается, что агент 007 борется с «красной опасностью». Именно ореол борца с «красной опасностью» обеспечивает индугенцию бондовскому аморализму. Не только традиционный идеализм детектива вырождается в нем до цинизма. Точно так же прозаический героизм британского «Томми», воспетый некогда Киплингом, и героический империализм разведчика Кима вырождается в вульгарный и прагматический шовинизм. Подвижничество «строи-

телей империи» заменяется беспардонной философией «коммандос».

И тут уж дозволено все — и то, что считалось добром, и то, что традиционно считалось злом и против чего боролись поколения детективов — рыцарей справедливости: убийство, предательство, обман, прелюбодеяние...

Так моралист становится циником и герой некогда демократический превращается в героя насилия.

Стоит отметить, что и Майк Хаммер — недавно еще вполне аполитичный герой Микки Спилэйна — в какой-то момент подравнялся в затылок Бонду и включился в сенсационную борьбу с «русской опасностью», оправдывая свою полулегальную страсть «поиграть оружием» все той же политикой...

Я уж не говорю о множестве подражателей, появившихся на экране после неслыханного коммерческого успеха агента 007.

Надо сказать, что авторы «кинобондианы», экранизируя Флеминга, постарались — из соображений ли коммерческих или каких других — смягчить чересчур тенденциозную антисоветскую направленность его романов. Даже в фильме, сохранившем заглавие «Из России с любовью!», самый зловещий из агентов СМЕРШа Роза Клебб оказывается на поверку агентом мифического СПЕКТРа, который стремится вбить клин между Англией и СССР. Кстати сказать, это вполне материальное выражение непопулярности подобной политики.

Но «политика» ампутирована, а цинизм остался. И в этом большая политика бондовской мифологии, ибо Бонд — не беспардонная выдумка романиста: агент 007 аккумулировал цинизм, накопившийся в недрах усталого общества, он продемонстрировал опасные соблазны, вызревающие на почве цинической безыдеальности: «sex, slobbery and sadism» — секс, снобизм и садизм.

Итак, миф Джеймса Бонда соткан из безудержной обывательской мечты и из той поправки на реальность, без которой она ничего не скажет сердцу рядового зрителя.

Ну, а элита? Что находит для себя извлеченный вкус в похождениях этого супершпиона?

*«На самом деле, я думаю, Бонд не мог бы уцелеть больше двенадцати месяцев».*

*(Рэймонд Чендлер, уголовный писатель, в интервью о романах Флеминга в книге «Только для любителей Бонда»)*

*«Если бы Бонд в качестве шпиона существовал реально, он был бы ликвидирован в течение двенадцати секунд».*

*(Гарри Зальцман, продюсер фильмов о Бонде, «Films and filming», 1965, октябрь)*

Стоит задуматься над тягой высокообразованных людей к «низким» жанрам в известные моменты истории.

Слово «снобизм» многое суммирует, но мало что объясняет.

Между тем звезды авангардистского экрана — Жан-Поль Бельмондо, Моника Витти и прочие — охотно выступают в детективах. Едва ли дело здесь в одной только коммерции. И повальная мода на агента 007 вовсе не явилась исключением, а скорее подвела итог.

Почему, в самом деле, шикарно одетый парижанин считает хорошим тоном надеть рубашку а ла Джеймс Бонд?

Почему среди европейских студентов — наиболее интеллектуальной части общества — возникает вдруг эпидемическая мода на комиксы?

Почему серьезные люди развлекают себя чтением пустых детективов (вспомним, что большая фортуна Флеминга началась с интервью Кеннеди, между делом сообщившего репортеру, что любит его романы)?

В самом деле, почему?

Здесь можно найти, конечно, нотку пренебрежения «технического» века «пустячностью» изящных искусств: знайте, мол, свое место, ваше дело дать отдых серьезным людям от серьезных мыслей.

Здесь есть и горькая бравада от мучительной неразрешимости «проклятых» вопросов: к черту сложности, даешь примитив!

Здесь есть и не изжитый даже самыми заядлыми скептиками атавистический романтизм юности: прежде читали «Трех мушкетеров», нынче ходят смотреть агента 007.

Но есть и закономерность истории. Заметим, что интерес к искусству «для народа» пробуждается сильнее всего в двух и притом прямо противоположных исторических ситуациях. Он дает себя знать особенно остро в моменты революционной ломки, когда жизнь сама обнажает свою героин-



ческую необычайность, с одной стороны, а с другой — всерьез встает проблема искусства для всех. Иначе говоря, когда человек становится суверенным вершителем своей собственной и исторической судьбы.

И он возникает на выдохе, когда прежние идеалы и даже энергия протеста против этих идеалов иссякли; когда надежд на реальное переустройство нет и общество распадается на отдельных индивидуумов. Когда реальному герою — или хотя бы «антигерою» — уже больше неоткуда взяться, а между тем место его остается вакантным и требует замещения.

Тогда из «низкого» жанра берется взаимы его извечный герой, но не всерьез, конечно, а лишь как «отрицание отрицания», как циничское, пародийное замещение пустующего места героя.

Когда Флеминга обвиняли в жестокости его романов, он отвечал, что на последней войне погибло тридцать миллионов человек.

Но именно оттого, что опыт «разрешения» на массовое убийство еще не совсем выветрился (хотя выветрился больше, чем человечество может себе позволить), попытка представить Бонда героем всерьез, этакой «демонической личностью» едва ли могла рассчитывать на успех у всех.

С другой стороны, традиционная мораль с традиционным ее гуманизмом, оказавшаяся позорно бессильной перед массовым убийством, была публично и яростно подвергнута сомнению тем самым «рассерженным» молодым человеком, которого на экране сменил Бонд.

У создателей фильмов хватило «интуиции», чтобы уловить эту странную межумочность момента и не очень всерьез относиться к им же извлеченному на свет юпитеров герою бульварных романов. Я не знаю, сделали ли они это случайно или с заранее обдуманном намерением. Может быть, Гарри Зальцман, один из продюсеров серии Бонда, недаром начинал вместе с первыми «рассерженными» — Джоном Осборном и Тони Ричардсоном. А может быть, так получилось само собой.

Так или иначе, но «поправка на иронию» оказалась столь же существенна в бондовском мифе, как «поправка на реальность». Надо сказать, что ирония тоже спустилась ныне в «низкие» жанры и стала расхожей модой западного экрана. Только очень предвзятый взгляд может не обратить внимания на то, что в этой суперпродукции с супер-

героем все качества настолько «супер», что приведены уже на грань пародии.

Антониони в «Красной пустыне» — картине, где цвет имеет символическое значение, — противопоставляет яркие, лишённые оттенков тона пластика прихотливым и изменчивым краскам природы. В джеймс-бондовских фильмах эти яркие, локальные тона — эстетика, они осознаны как эстетика (в скольких фильмах бездушный и грубый цвет, увы, просто признак плохого качества пленки!). Это эстетика торжествующего техницизма, шикарного модерна, это поэтика великолепных вещей и небывалых, созданных химией цветов.

Если, к примеру, Бонд появляется на острове доктора Но в сопровождении туземца и длинноногой красотки в бикини, то художник одевает его в ярко-синее, туземца — в ярко-красное, а красотку — в ярко-белое. Это шикарно. Это так шикарно, что не бывает.

Как не бывает красавиц, мгновенно выкрашенных в золотую краску для сластолюбивого Голдфингера, не бывает «таинственного острова» доктора Но с бесшумными атомными механизмами и гигантским оконлиной в океан, не бывает умного и сообразительного авто, выданного Бонду на службе для погони за Голдфингером, которое само следит за противником, само спасается от преследователей (к примеру, поливает маслом дорогу или прокалывает шины), само катапультирует седока в случае надобности и, кажется, даже само стреляет! Кстати, из всех несметных смертей в «Голдфингере» больше всего поражает гибель под прессом авто — новенького, с иголки, красавца. В другом фильме в жертву, быть может, выбрали бы что-нибудь поплоче, но не в «бондиане»!

Всего этого не бывает, но все это остроумно, забавно и, главное, упомогачительно шикарно! Превосходный декоратор Кен Адам позволил себе размахнуться и сделал джеймс-бондовские фильмы чем-то вроде грандиозных красочных фантазий на технические темы.

Экстра-супер-модерн, богатое воображение художника и отличное качество съемки в джеймс-бондовских фильмах приложены, однако, к столь явно дурацким ситуациям, что это рождает неожиданный пародийный эффект.

При этом авторы, как я уже говорила, и не стараются свести концы с концами или

внести какую-то логику в происходящее на экране, скорее наоборот.

Когда пресловутый Голдфингер намеревается ограбить форт Нокс и собирает самых выдающихся гангстеров вокруг огромного механизированного макета этой сокровищницы Штатов, то Джеймс Бонд — конечно, совершенно случайно! — забирается как раз в этот момент как раз в этот макет, подслушивает весь план и, будучи обнаружен затаенной в черную кожу командиршей личной женской эскадрильи злодея Пусси Галлор, в драке опрокидывает грозную амазонку... Ну, а дальше все известно.

Авторы фильма не скрывают своей усмешки ни в изображении бравой и кокетливой женской эскадрильи, которая должна газами усыпить гарнизон форта Нокс, ни в сценах, когда якобы усыпленные солдаты (Пусси, естественно, подменила баллоны с газом из любви к Бонду) пачками валятся на землю. Нужды нет, что согласно сюжету солдаты ничего не знают о плане международного бандита, а согласно здравому смыслу проще было схватить его сразу, а не разыгрывать массовую комедию.

Но в таком случае как удалось бы приковать бравого командира Бонда прямо к портативной атомной бомбочке, которую он в конце концов и обезвреживает голыми руками?

Это лишь маленький эпизод из многообразных приключений агента 007 на протяжении почти двух часов, и авторы с цинической откровенностью не стараются придать ему ни логики, ни сколько-нибудь правдоподобной психологии. Но в том-то и дело, что сама бездумность, немотивированность, «индeterminированность», как принято теперь говорить по-ученому, само отсутствие всякой программы воспринимается зрителем как некая программность.

Если Джеймс Бонд явился на западном экране как «отрицание отрицания», то свое отрицание он содержит в самом себе. Даже такого «героя» общество не способно уже принять сколько-нибудь всерьез. Без этой ноты иронии — довольно безнадежной — миф Бонда не стяжал бы, наверное, такой популярности.

*«Бондовская лихорадка... бондисты... бондомания... теперь уже и у нас...»*

*(«Neuer Filmkurier», № 7, Австрия)*

Я позволила себе рассмотреть миф Бонда с разных сторон не потому, что он этого заслуживает, а потому, что астрономическая цифра зрителей во всех странах Европы, просмотревших его похождения, этого требует. Проблема популярного искусства — это проблема потребителя, иначе говоря, вопрос социологии. Объяснить столь примечательный успех только глупостью публики было бы близоруко, игнорировать его — недальновидно. Эта статья посвящена столько же «любителям» Бонда, сколько ему самому.

Итак, надо признать, что на этот раз кинематографу — как известно, самому массовому из искусств — удалось открыть формулу и парадокс момента и воплотить его в этом странном мифе в безукоризненном пиджаке, с верной «береттой» под мышкой и с разрешением убивать в кармане, мифе, именуемом Джеймс Бонд — секретный агент № 007 на службе ее величества.

В этом эрзац-герое, занимающем давно уже пустующее место, слились воедино мечта обывателя о том, чего не бывает, и поправка на то, что, увы, есть, и поправка к этой поправке — на тему, что все это вместе черт знает что!

Циничное отношение к мешанским мечтаниям в нем помножилось на циничное отношение к самому цинизму.

Как далеко все это может зайти и кто следующий заменит этого супершпиона на экранах западных кинотеатров и в сердцах зрителей?

P. S. Когда статья была уже набрана, в № 5 «Иностранной литературы» появилась небольшая повесть Фридриха Дюрренматта с знаменательным подзаголовком: «Отходная детективному жанру». Философия случая, которая стихийно дала себя знать в «бондиане», на этот раз осмыслена серьезным писателем, хотя и в свойственной ему парадоксальной манере.

Но я хочу вспомнить по этому поводу другой рассказ того же писателя, написанный в столь же парадоксальной манере и проливающий свет на механику бондовского мифа.

Речь идет о повести «Авария», где преуспевающий делец Трапс, задержавшись в дороге, соглашается принять участие в игре в правосудие в качестве обвиняемого, и вот к концу этой странной игры оказывается,

что благонамеренный и заурядный обыватель вырастает в великого преступника и убийцу. При этом прокурор в своей обвинительной речи ничего не меняет в подлинной и обыкновенной биографии коммивояжера: он только ставит факты в определенную последовательность, придает им видимость идеи и окружает зловещим и волнующим ореолом аморализма. Он ничего не придумывает — он лишь героизирует непригляд-

ную прозу буржуазного существования. Речь, таким образом, идет о создании мифа.

Не то же ли произошло с Бондом — «криминальный роман» и кино сыграли при этом роль дюрренматтовского прокурора. Но ведь реальный Трапс был всего лишь обывателем, заурядным порождением «западной цивилизации», и даже в преступлении он не был ни велик, ни героичен...



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

За последние годы многое сделано для собирания и изучения творческого наследия выдающегося деятеля советской культуры Анатолия Васильевича Луначарского. Завершается издание восьмитомного собрания его сочинений. И все-таки значительная часть наследия Луначарского еще ждет своего читателя и исследователя, оставаясь в архивах и труднодоступных изданиях.

Публикуемые ниже статьи Луначарского относятся к первой половине двадцатых годов и представляют исторический и теоретический интерес. Пусть отдельные положения в них не пережили своего времени, а с некоторыми можно и иногда нужно спорить, но — вне всякого сомнения — они углубляют и расширяют наше представление о литературной деятельности и общественно-эстетических взглядах критика.

Главной проблемой в теоретической и практической деятельности Луначарского после революции, отразившейся и в публикуемых здесь статьях, была проблема взаимоотношений партии, государства и искусства.

Создание принципиально нового общественного строя, превращение коммунистической партии в правящую, решаемые впервые в истории задачи социалистического строительства потребовали от коммунистов выработать основы политики в области культуры и искусства. Трудно переоценить в этом отношении роль первого наркома просвещения, работавшего в тесном контакте с В. И. Лениным и постоянно советовавшего с ним.

Как нарком и как критик Анатолий Васильевич всегда выступал за партийное и государственное руководство искусством и литературой, стремился сделать искусство реальным союзником в борьбе за построение нового общества и коммунистическое воспитание трудящихся. Советское государство заинтересовано в расцвете социалистического искусства, поэтому, считал Луначарский, оно не может придерживаться принципа невмешательства в художественную жизнь и занимать в вопросах искусства нейтральную позицию. Вместе с тем Луначарский последовательно проводил мысль, что государство должно помнить «границы художественного руководства», что в своей художественной практике ему «надо все же быть скромным и помнить, что всякому государству (нашему тоже, об этом прямо говорил Ленин) могут грозить известные бюрократические ошибки...» (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 133, л. 78).

Важно подчеркнуть еще один принцип, которого придерживался Луначарский с первых дней строительства социалистической культуры: не давать возможности торжествовать личному вкусу в руководстве искусством, ибо это может привести к отрицательным последствиям «Если вместо меня наркомом стал бы Сосновский.— говорил он на одном из диспутов по вопросам театральной политики,— если бы он стал действовать согласно своему вкусу, то он должен был бы разгромить окончательно левый фронт; если же вместо меня был Мейерхольд, то он моментально разгромил бы правый фронт. Если бы после Луначарского был Сосновский, а потом Мейерхольд, то произошел бы погром налево и направо. Нельзя, [чтобы] при существовании разных мнений вкус

данного наркома оказался законодательным в стране, какого бы вкуса [он] ни придерживался» (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 391, л. 40).

В публикуемых здесь статьях рассматриваются с марксистских позиций такие важнейшие вопросы, как партийность и свобода гворчества, познавательная роль искусства в период социализма, свобода творчества и цензура, талант и мастерство художника.

Еще в 1905 году в статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин мечтал о литературе, которая оплодотворяла бы «последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата». В письме М. Горькому в 1908 году В. И. Ленин развивает эту мысль, подчеркивая необходимость связать литературную работу с партийной, «с систематическим, непрерывным воздействием на партию», «с руководством партией» (Подчеркнуто мной.— А. Е.). («В. И. Ленин о литературе и искусстве». Гослитиздат. М. 1960, стр. 99, 294.)

Этим же духом пронизаны и публикуемые статьи Луначарского. Ему было совершенно чуждо понимание коммунистической партийности только как художественной иллюстрации лозунгов партии. Проблема партийности для него была теснейшим образом связана с постижением происходящих в обществе процессов, с правдивостью изображения жизни, а искренность и честность художника неотделимы от его ответственности перед партией. В одной из статей Луначарский писал: «Что говорить, официальный оптимизм — дело прескверное. Меньше всего можем мы нуждаться в том, чтобы поэт надевал нам розовые очки на нос, мы должны видеть все зорко и в настоящем свете; больше, чем когда-нибудь, мы нуждаемся в исследующей литературе, в поэзии, суммирующей противоречивую, диалектическую, находящуюся в процессе ускоренного роста нашу действительность... предостеречь от фанфар и колокольного звона в поэзии необходимо; напыщенная, искусственная ода и «потемкинские деревни» должны быть сурово уничтожаемы критикой» (А. В. Луначарский. Собрание сочинений, т. 2, М. 1964, стр. 339—340).

Сложным вопросом является вопрос об отношении Луначарского к футуристам и футуризму, затрагиваемый и в публикуемых нами статьях.

Художественные идеалы и вкусы Луначарского неизменно были связаны с реализмом в искусстве и никогда не имели ничего общего с футуризмом. Но и как критик, и как нарком он стремился судить о художественных направлениях, группах и их представителях, исходя из конкретной ситуации и перспектив развития того или иного художественного явления и того или иного художника.

Это же определяло и его отношение к «левым» течениям в искусстве в первые годы революции, к футуризму; нелюбезная критика их программ и деклараций не мешала Луначарскому бережно относиться к таланту таких художников, как Мейерхольд, Маяковский, Асеев, интересоваться их исканиями (см. хотя бы его статью «Ложка противоядия», 1918; речь на I Всероссийском съезде по рабоче-крестьянскому театру, 1919; доклад на 3-й сессии ВЦИК седьмого созыва, 1920; речь на диспуте о постановке «Зорь» в Театре РСФСР, 1920; «Искусство в Москве», 1921).

Однако — и это подтверждают документы и материалы — Луначарский никогда не пытался потворствовать футуризму в ущерб реалистическому искусству.

Характерен такой факт. 10 апреля 1919 года коллегия Наркомпроса под председательством Луначарского, обсудив работу Отдела изобразительных искусств, выразила «категорическое пожелание», «чтобы общая политика отдела была строго выдержана в смысле равного отношения к различным течениям в искусстве», «чтобы важнейшие принципиальные вопросы Отдел изобразительных искусств вносил в художественную секцию, а в особо важных случаях входил с ними в коллегии Наркомпроса» (Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, ф. 2306, оп. 1, д. 180, л. 204 об.—205).

Когда пишут об обмене записками между В. И. Лениным и А. В. Луначарским в мае 1921 года по поводу издания «150 000 000» В. Маяковского, «забывают» иногда процитировать ответ наркома, что ему поэма тоже «не очень-то нравится» («В. И. Ленин о литературе и искусстве», стр. 478). Что это было в самом деле так, свидетельствуют и такие строки из письма Луначарского В. Полонскому от 11 мая 1921 года: «О Маяковском писать не буду. Я признаю за поэмой некоторые виртуозные достоинства и, конечно,

с симпатией отмечаю ее коммунистичность, но вместе с тем она кажется мне произведением напряженным, искусственным по самой манере, пошловатой по некоторым приемам или, вернее, образам. Вообще я должен был бы сказать много неприятного по ее поводу, а при теперешних обстоятельствах, когда на футуристов наваливаются довольно злобно, я считал бы неудобным и братья за перо» (Центральный государственный архив литературы и искусства, ф. 1328, оп. 2, ед. хр. 132, л. 6).

Таким образом, следует более объективно оценивать позицию Луначарского в этом вопросе. Ведь именно на основании отношения Луначарского к футуристам в рядах сторонников «чистой» пролетарской культуры родилась легенда о беспринципности, всеядности Луначарского в вопросах литературы и искусства. Беспорочно раздавались упреки, что с помощью наркома Маяковский переосвоен, что с Мейерхольдом слишком «носились» (а в 1923 году тот получил звание народного артиста), что Эйзенштейн «свил гнездо» в Пролеткульте (а позднее его фильмы завоевали весь мир).

С другой стороны, сторонники «левого» искусства вообще и футуристы в частности считали позицию Луначарского узкой, консервативной и ругали его на всех перекрестках.

Но время и жизнь показали правоту политики Наркомпроса. И если до принятия резолюции ЦК «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года Луначарский выражает уверенность, что партийная директива «подтвердит ту линию художественной политики, которую вел Наркомпрос», то после опубликования этого исторического документа он заявит: «Со всем удовлетворением отмечаю все-таки безусловное тождество ее идей с теми тенденциями, которые всегда проводил Наркомпрос. Не могу не выразить сожаления, что Наркомпрос, проводя эту политику, беспрестанно наткнулся на сопротивление и непонимание иногда и инстанций, имеющих ту или иную власть, иногда отдельных групп товарищей» (А. В. Луначарский. Собрание сочинений, т. 2, стр. 306).

Статья «Значение искусства с коммунистической точки зрения» была опубликована со значительными сокращениями в газете «Рабочий путь» (Омск, 1924, № 291, 21 декабря). Печатаемый здесь текст пополнен и исправлен по машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 279, оп. 1, ед. хр. 67, лл. 18—24).

Статья «Об Отделе изобразительных искусств» печатается по машинописи, хранящейся в ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 136, лл. 126—130. Конец статьи утерян. Можно предполагать, что статья была написана в 1920 году.

Статья «Принципы художественной политики в России» печатается по машинописи (ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 136, лл. 51—59). Упоминание в тексте седьмой выставки АХРРА и московских театральных премьер позволяет установить время написания статьи: март 1925 года.

А. ЕРМАКОВ.

## *Значение искусства с коммунистической точки зрения*

Важнейшие стороны, которыми искусство связывается с коммунистической партией и ее строительством, таковы:

1. Коммунистическая партия опирается на марксизм. Марксизм же есть мудро считающаяся с объективной действительностью тактика, основой которой должно быть внимательнейшее изучение прошлого и настоящего и прогноз будущего. Живой марксизм не может ограничиваться только экономическим анализом и политическими выводами из него, он ищет самого конкретного понимания отдельных классовых групп, типичных личностей и явлений, характерных для общества во всех его слоях и гранях. Вот почему Маркс высоко ценил таких великих писателей, как Гомер, Шекспир, Бальзак. Они в живых формах дают великолепно подготовленный материал, который служит дополнительной иллюстрацией к тому, что черпает марксист из статистики, публи-

цистики и других источников познания. Мы можем прямо сказать: искусство, отшумевшее искусство, оставившее нам важные памятники, является для нас источником познания прошлого. Искусство же, которое растет вокруг нас, должно служить нам для анализа окружающей нас действительности. Отсюда вывод: марксист, как наблюдатель, в высшей степени заинтересован в известной свободе искусства, ибо лишь в таком случае художественное зеркало будет достаточно многогранно, чтобы выразить действительность. К этому надо прибавить. Марксист вовсе не принимает искусство за плоское зеркало, просто отражающее действительность. Он знает, что каждый художник сам представляет, в большей или меньшей мере, чистый или смешанный классовый уклон. Изучая искусство, марксист изучает самого писателя, его произведение, и он не просто вычитывает в каком-нибудь романе Толстого, чем была Россия времени Анны Карениной, скажем, в ее высших классах,— он считается еще и с тем, какую именно группу, какой уклон интеллигентско-дворянской мысли выражал сам Толстой. Марксист одинаково освещает для себя прошлое как через материал, представленный писателем, так и через ту стилизацию, те тенденции, которыми оформил этот материал сам писатель. То же и для наших дней.

Допустим, что у нас появился бы писатель, выражающий тенденции крестьянства в его наиболее зажиточной, полукулацкой части; допустим, что явился бы писатель, выражающий мнение не коммунистически настроенной интеллигенции; допустим, что появился бы писатель, выразитель новой буржуазии...

Можно ли сказать, что с точки зрения точнейшего познания действительности, которое так нужно коммунистической партии для того, чтобы правильно лавировать, лучше, если бы всем этим писателям зажать рот и предоставить слово только писателям, отражающим тенденции передового пролетариата и примыкающих к нему общественных групп, т. е. советской интеллигенции и советского крестьянства?

Конечно, для всякого желающего познать действительность через литературу это было бы огромным уроном, у нас из-под рук уплыл бы богатейший материал.

Однако надо принять во внимание и другую сторону.

2. Искусство вовсе не является простым отражением действительности. Неправда также, что оно является лишь отражением действительности сквозь призму писательской индивидуальности, которая сама есть продукт известных общественных условий. Нет, писатель, иногда сознательно, а иногда и бессознательно, выступает еще и как проповедник. Он может это делать лирически, т. е. непосредственно выражая свои мысли и чувства, и может это делать эпически или драматически, т. е. давая будто бы объективное отражение действительности, будто бы факты, сами за себя говорящие, но подбирая их таким образом, чтобы они невольно толкали читателя на определенные выводы.

Искусство есть, таким образом, социальная сила. Искусство есть мощное орудие пропаганды. С этой точки зрения во всякой части общественной жизни художник представляет из себя боевую силу, которая принимает участие в классовой борьбе [...]

3. Но коммунист может быть не только наблюдателем, читателем и критиком, он может быть также писателем или во всяком случае может быть глубоко заинтересован в развитии нашего собственного коммунистического писательства. Наше коммунистическое писательство, согласно сказанному выше, может идти по двум линиям, которые, конечно, чрезвычайно легко могут переплетаться. Наш коммунистический писатель, во-первых, может жадно воспринимать текущий бытовой материал, обрабатывать его и превращать в достояние социального познания своего класса.

Этот писатель может, во-вторых, стараться организовать волю, чувства своего класса, давая им яркое выражение, рисуя классовые идеалы, выражая классовые симпатии, антипатии и т. д.

Однако необходимым условием того, чтобы мы получили не бледный коммунистически благонамеренный суррогат искусства или не публицистику, может быть, очень горячую и правдивую, но напрасно рядящуюся в художественные перья, условием этого является художественный талант и художественное умение. У нас нет решительно никаких оснований думать, что среди коммунистов или примыкающих к ним есть или будет меньше талантов, чем среди других. Правда, коммунисты в большинстве случаев заняты столь важной политической и государственно-строительной работой, что они сравнительно редко могут отдать часть своего времени искусству или выдвинуть людей, которые бы ему целиком отдались. Но я думаю, что уже прошли те времена, когда коммунисты смотрели на искусство как на нечто от роскоши, если не от праздной забавы. Если человек недаровитый художественно сделает лучше, занявшись какой-нибудь другой работой, то даровитого, а тем более высокодаровитого художника мы сами должны стараться выделить на эту работу.

И это тем более, что таланта одного здесь недостаточно. Необходимо значительное умение. Это умение можно почерпнуть у классиков России, в том числе, конечно, и у классиков-народников, т. е. у писателей, по тем или другим причинам оставшихся яркими выразителями общественно интересных художественных эпох. Можно учиться кое-чему у наших современников, хотя несколько не коммунистов, но сохранивших или развивших дальше художественные приемы в области литературы, музыки и т. д. С этой стороны для нас весьма нужны спецы, и без них, своим нутром, мы собственного искусства не создадим или же создадим лишь чрезвычайно большим количеством излишнего труда. Разумеется, наше искусство по содержанию будет глубоко отличным от искусства прошлого, оно будет отличаться от него и по форме, ибо содержание создает себе форму. Надо начать с лучших форм, уже достигнутых, вливая в них наше новое содержание, тогда дело выработки новой формы органически вытечет из нашей новой работы. Начать же с того, чтобы высасывать же из пальца эту новую форму, никак нельзя. Этим занимаются, собственно, пустопорожние люди, мелкая интеллигенция, стремящаяся щегольнуть оригинальностью и озорством. Как бы такие люди ни выдавали себя за коммунистических писателей, они только мелкие футуристы.

Так же точно надо с большой осторожностью относиться к восприятию самых последних буржуазных достижений. Последнее, позднейшее вовсе не значит лучшее. Мы знаем, что буржуазия и примыкающая к ней интеллигенция переживают за границей и переживали у нас глубокий и постепенный упадок. Созданная и создаваемая ими мода есть упадочная мода, возникающая на почве бессодержания поздней буржуазной классовой культуры. Нам она очень мало подходяща. Однако этим не отмечается целиком значение таких поздних форм, т. к. они отчасти выражают мотивы и ритмы большого города, которыми живет и пролетариат. С этой точки зрения не будет ничего удивительного, если кое-кто из футуристов окажется в наших рядах и если некоторыми из их достижений воспользуется пролетариат.

Во всяком случае пролетариат может дать футуризму бесконечно больше, чем получить от него.

4. Коммунистическое искусство, преследуя две выше указанные цели, может их преследовать, в общем, в двух разных плоскостях: как агитискусство и как, скажем, большое искусство. Агитискусство видит прежде всего общественную цель. Оно откровенно хочет поучать, но оно поучает в более или менее остроумной или трогательной форме. Оно одевает свои поучения в художественность и делает таким образом эти поучения более действенными.

Было бы чрезвычайно нелепым, если бы мы морщились и фыркали на агитискусство. В нашей, по преимуществу крестьянской, полуграмотной стране оно играет огромную роль. Можно представить себе особых мастеров, художественных агитаторов, прекрасно знающих это дело. Но и мастер «большого» искусства не только может, но и должен браться за агитационное искусство,



ибо часто оно у него выйдет не хуже, а лучше, чем у мастера литературных, театральных, живописных, музыкальных и т. д. агиток. Большая честь и слава, скажем, крупному живописцу, который сумеет дать яркий плакат, и т. д.

Большим искусством можно назвать прежде всего такое, которое преследует художественную цель, т. е. которое дает целиком, не приспособляясь, скажем, к недостаточному культурному уровню той или иной аудитории, мысли и чувства, волнующие художника. Для нас, марксистов, в этой свободе художника и есть высочайшая его общественная связанность. Мы ведь не признаем абстрактной свободы воли. Когда человек выражает себя свободно, то он лучше всего выражает ту общественность, которая на него воздействует. Если, например, поэт ощущает потребность написать поэму одним образом, а потом, принимая во внимание уровень своей публики или оглядываясь на свою партию, комкает и кромсает свой план, то он проявляет себя случайно. Он, так сказать, врезывается со своим мелким личным расчетом в социальную стихию, которой на самом деле является его творчество. Когда же он отдается этому творчеству во всей полноте, то он как раз является рупором общественности и всегда достигает бесконечно высших художественных высот. Такую свободу писатель-коммунист обязан оберегать в себе. Быть может, при этом он рискует иногда высказать какие-нибудь мелкобуржуазные тенденции, если они в нем живы. Это ничего, его выругают за это, укажут ему на них и т. п. В этом — воспитательный процесс, который меняет самую личность писателя. Гораздо хуже, если из боязни, быть может, совершенно мнимой мелкобуржуазности, а на самом деле просто особенности своего творчества, писатель будет подгонять себя к трафарету. Это грозит тем, что мы никогда коммунистического искусства не получим. Искусство совершенно не терпит такого рода насилия. Искусство должно быть коммунистическим само собою, а не потому, что автор стрижет его по коммунистической форме. Если ты подлинный коммунист, то искусство твое будет коммунистическим. Если еще никто из нас не подлинный коммунист, то и искусство у нас не будет еще подлинно коммунистическое, но из этой своей стадии будет расти в подлинное коммунистическое, потому что мы знаем, что и сам подлинный коммунизм вообще растет. Наоборот, коммунизм в искусстве, который стали бы искусственно создавать, — не подлинный коммунизм, он будет попросту поддельным коммунизмом и очень скоро выдаст с головой эту свою поддельность.

5. Теперь несколько слов о другом. Все, что я говорил до сих пор, касалось очень важного рода идеологического искусства, т. е. искусства, устремленного к познанию жизни и воздействию на нее через потрясение чувств человеческих. Но есть другое искусство — искусство промышленное, то, которое создает удобные и радостные вещи. Это искусство, конечно, тоже в высшей степени важное. Смешным варварством со стороны так называемых производителей является фырканье на идеологическое искусство, но и сторонники искусства пропагандирующего были бы тоже варварами, если бы они отрицали важность искусства, выражающегося в зданиях, мостах, парках, мебели, посуде, одежде и т. д. и т. п. Мы сейчас еще очень бедны, чтобы дать этому искусству достаточный размах. Но создавать художника-производственного и производственного-художника, конечно, задача большой важности, которая самым непосредственным образом связана с коммунизмом, ибо коммунизм есть пересоздание жизни из наших грязных и нелепых форм в формы удобные, радостные. А такое пересоздание жизни, без пересоздания окружающих нас вещей, немислимо.

## *Об Отделе изобразительных искусств*

Быть может, ни один отдел Наркомпроса не подвергался таким нападкам, как Отдел изобразительных искусств. Отдел этот был ответственным прежде

всего за доминирующее положение, которое заняло после Октябрьской революции в России искусство футуристического направления.

Одни, которые мало знают мои личные вкусы в искусстве, прямо упрекали меня в пристрастии к футуризму и в стремлении привить целой стране мои личные «чуждаческие» вкусы.

Те, кто ближе знаком с этим моим вкусом, недоумевали по поводу того, что я якобы поддерживаю направление, мне художественно отнюдь не близкое и всегда находившее в целом ряде моих статей довольно определенное осуждение.

Прежде всего чем же объясняется, что «судьбы» русского искусства были переданы футуристам?

Для этого надо перенестись в обстановку, следовавшую непосредственно за переворотом. В петроградском художественном мире царил враждебный к нам учредилковский настрой. На собраниях Союза художников выносились всякие резолюции более или менее саботажного типа. Быть может, в Москве такое отношение проявлялось слабее, но, конечно, эта часть интеллигенции, как и всякая другая, в то время была остро недовольна нашим курсом и органически подходила даже в лучшей своей части к «демократии» и «самоуправлению»<sup>1</sup>. Даже официальная крайняя левая художников, не только более революционная в смысле исканий, но и в смысле политического настроения, склонна была диктовать советской власти разные условия, при исполнении которых художники-де готовы были войти с «самозванной властью» в известный контакт. Несколько позднее на квартире т. Горького мне было прямо предложено художественным миром принять целиком список «избранных», которые «согласались» работать со мной, но не с моими помощниками, и которые фактически образовали бы своеобразную мозоль, или, вернее, щит черепахи, за которым искусство намерено было отсидеться от всяких неприятностей, грозивших ему со стороны «варварской революции».

Все это для меня как представителя советской власти было абсолютно неприемлемо. В области искусства прежде всего нужно было разрушить остатки царских по самой сущности своей учреждений вроде Академии искусств, надо было высвободить школу от старых «известностей», надо было дать свободу движения на равных началах всем школам, надо было в особенности найти симпатию молодежи и опереться на нее, прежде всего пополнив ее ряды из пролетариата и полупролетариата.

С этой программой полностью был согласен мой старый друг, присоединившийся к советской власти, левый бундист, выдающийся живописец, широко известный русскому художественному миру в Париже, честнейший человек, умевший также быть авторитетным, когда надо, тов. Д. П. Штеренберг.

Нельзя было думать найти более подходящего человека. Безусловно преданный советской власти, только потому не входивший в партию коммунистов, что ему как-то претило войти в нее в час ее победы, чрезвычайно осведомленный о строе художественной жизни за границей — тов. Штеренберг немедленно и энергично принялся за освободительную реформу в русском искусстве. И я утверждаю, что хотя в области школы царит еще много хаоса и что она нуждается в упорядочении, тем не менее в русском искусстве повело свободным духом, молодежи дано место, которого она никогда не занимала, и государственные мастерские представили из себя единственные по своей внутренней свободе и по инициативности творчества учебные заведения, к сожалению, не вполне здоровые в настоящее время исключительно по причине общего продовольственного кризиса.

Тов. Штеренберг, сам решительный модернист, нашел в своей деятельности поддержку почти исключительно среди крайних левых. Талантливые публицисты и теоретики художественной революции вроде Брика и Пунина, выдающие-

<sup>1</sup> Окончание этой фразы в подлиннике искажено

ся представители левых: Татлин, Малевич, Альтман, несколько человек, доброжелательных по отношению к самой резкой народной реформе в области искусств, как, например, Чехонин, Машков, создали группу, которая являлась опорой для нашей деятельности в области искусства.

Передача полномочий какому-нибудь профессиональному союзу художников, каким-нибудь вообще художественным объединением, какой-нибудь художественной учредилке означала бы крах советской политики в этой области и капитуляцию перед защитой старинки. Даже относительно левые художники в то время оробели бы перед необходимостью борьбы с чуть ли не вековыми устоями художественной жизни. Тут нужно было много пыла, много веры и, пожалуй, юношеского задора.

Вот почему я решительно поддерживал эту молодежь, собравшуюся вокруг т. Штеренберга, хотя часто видел и теоретические ошибки (выразившиеся, например, в заносчивых футуристических статьях петроградской газеты «Искусство коммуны»), и ошибки практические. Последние сводились к тому, что крайнее левое направление при закупке картин для создания Музея живого искусства, при художественных изданиях и т. п. оказывало всяческое покровительство своему направлению и не могло отделаться от скрытой вражды к другим направлениям.

Тов. Штеренберг много раз уверял меня, что он держится в этом отношении нейтральной точки зрения на вещи, он указывал также, что крайние левые до переворота были в постоянном угнетении и самом обидном пренебрежении и что покровительство им объясняется необходимостью по крайней мере на первое время выровнять линию, но, вопреки его собственной воле, молодые энергичные помощники его, так сказать, несли его слишком налево.

Я не знаю, впрочем, много ли нареканий не узкохудожественных кругов вызвала вообще администрация Отдела изобразительных искусств? Положение ухудшалось тем, что в чрезвычайно важных для нас кругах с осуждением относились к художественному направлению составлявших этот отдел живописцев и скульпторов.

В настоящей статье я могу сказать только вскользь несколько слов по этому предмету и когда-нибудь вернусь к нему более обстоятельно.

В линии развития европейского искусства импрессионизм, всякие виды неомпрессионизма — кубизм, футуризм, супрематизм — являются естественным явлением. Сущность их объясняется сменой все более аналитических приемов искусства. Дойдя до крайности, до разложения красок и рисунка на элементы, художники все сильнее подчеркивали свое стремление к конструкции, к синтезу, но пока ограничивались конструированием только из найденных ими на дне искусства элементов.

Вся эта работа, вполне добросовестная и важная, имеет характер лабораторный. Принимать эту работу, которая должна была бы совершаться в тиши мастерской, за настоящие картины, за подлинные произведения искусства мог только переуточенный век, который давно уже этюд, эскиз, подход, манеру, трюк поставил в центр внимания, отодвинув куда-то в даль будущего задачу создания подлинной картины, скажем, например, царицы живописи — большой фрески.

Дух конкуренции, царившей на буржуазном художественном рынке, стремление выделиться, привлечь к себе внимание, ажиотаж на художественной бирже очень дурно отзывались на этих лихорадочных поисках, принося сюда элемент кривляния, а порою даже шарлатанства.

Пролетариат же и наиболее интеллигентная часть крестьянства никаких этапов европейского и русского искусства не переживали и находятся совсем в другом пункте развития. Скажу определенно: пролетариату и крестьянству сейчас в тех грандиозных переживаниях, которые переполняют его душу, в искусстве важнее что, а не как.

Пролетариат и крестьянство возвращаются к тому благотворному и верному

взгляду в искусстве, что оно есть род громовой и прекрасной человеческой речи, способ великой агитации путем возбуждения чувств.

Из этого не следует, чтобы рабочий класс и крестьянство, вообще большая народная публика в России, не сумели различить прекрасных форм и были бы к ним равнодушны. Искусство только тогда является этой священной речью, когда оно есть подлинное искусство. Силу содержанию, мощь проникать в человеческие сердца и потрясать их дает именно художественность произведения, именно форма; но для не искушенных всякими переживаниями замысловатого культурного развития людей естественнейшей формой является, если мы будем говорить о больших массах, форма классическая, ясная до прозрачности, выдержанная в своей торжествующей красивости или близкая к окружающей нас реальности, стилизующая ее только в смысле отвлечения от ненужных деталей.

Пролетариат и крестьянство будут требовать классического искусства, упиравшегося, с одной стороны, в здоровый, крепкий, убедительный реализм, с другой стороны, в красноречивый прозрачный символизм в декоративном и монументальном роде.

Я думаю, что художник, который захотел бы сейчас овладеть действительно сердцами пролетариата, должен бы был своим учителем и прототипом считать, скажем, Иванова.

Если бы у меня спросили самую мою заветную формулу, поскольку я понимаю требования пролетариата, я сказал бы: в отношении святости подхода к искусству — в отношении формы — назад к Иванову, в отношении художественного эмоционального идейного содержания — вместо христианства — великий мир коммунистических мыслей и чувств!

Если так называемые художники-реалисты, поскольку они остались еще в России, и всякого типа «старые направления» мало окрыляют меня надеждами на достижение подобного искусства, то, конечно, и футуристы всех типов тоже должны были бы не то круто повернуть назад, не то сделать сумасшедший прыжок вперед, чтобы дать нам, коммунистам, то, что нам нужно.

Итак, Отдел изобразительных искусств навлек на свою голову, во-первых, тысячи нареканий, во-вторых, эти молодые художники часто не справлялись с практическими задачами и делали немало ошибок чисто хозяйственного типа, в-третьих, они несомненно перегибали палку и могли создать иллюзию стремления прямо-таки захватить в руки футуристической группы ресурсы государства в области искусства, в-четвертых, они были неприемлемы для масс, хотя и проявляли при народных празднествах много инициативы, бодрости, работоспособности, на которую абсолютно были бы не способны «старые художники».

Эта работоспособность не спасла их, однако, от недовольства пролетарских масс и рабочих сфер советской власти, которым искусство их ничего не говорило.

В последнее время между мною и Отделом изобразительных искусств возник ряд конфликтов. Я считал необходимым выделить из их Отдела, где царил острая атмосфера исканий и художественных левых устремлений, архитектурный отдел.

Архитектура столь смелых исканий не терпит. В отношении архитектуры нам важнее как можно скорей опереться на правильно понятые классические традиции.

Я считал необходимым, чтобы Наркомпрос имел у себя компетентный художественный штаб архитекторов, который мог бы разработать основы великого коммунистического строительства к тому времени, когда оно станет возможным, и художественно руководить им. Среди русских архитекторов имеется человек, проникнутый теплой симпатией к социализму уже потому, что стоит он обеими ногами на чисто архитектурном сознании возможности и важности коллективного творчества, человек, обладающий значительным авторитетом в качестве ученого в своей области и европейским именем в качестве мастера — тов. Жолтовский.

Видеть этого товарища и других архитекторов под сомнительным покровительством «отчаянного» авангарда в области искусства было тяжело.

## *Принципы художественной политики в России*

Рабоче-крестьянское правительство СССР (прежде РСФСР) с самого начала поставило перед собою глубокие культурные задачи.

Правительство и коммунистическая партия прекрасно сознавали болезненное несоответствие, существующее между колоссальной задачей осуществления коммунизма в нашей стране и ее хозяйственной и в особенности культурной отсталостью. Очень рано установился такой способ выражений: первый фронт — это фронт завоевания власти, укрепление ее внутри страны и военная самооборона; второй фронт — налаживание хозяйства и его дальнейшее развитие; третий фронт — подъем культурного благосостояния населения по двум линиям. Задача третьего фронта соприкасалась с искусством. Во-первых, правительство заняло твердый курс самой заботливой охраны всего наследия старой культуры.

Тов. Ленин заботливо указывал на возможные ошибки в этом отношении, на возможное незаконное пренебрежение огромными достижениями прошлого, ссылками на классово враждебный пролетариату характер дореволюционной культуры. Коммунистическая партия стала самым твердым образом на точку зрения преемственности культуры.

В этом смысле заботливо ограждено было и художественное достояние страны, при этом не только недвижимое, заключающееся в исторических или художественных ценных вещах, но и сохранившееся как традиции в различных живых учреждениях.

Коммунистическая партия отнюдь не стала на ту точку зрения, что пролетариат попросту ученически должен усваивать себе плоды прошлых культур и жить ими, наоборот, она проникнута уверенностью, что переворот принесет за собою новый расцвет культуры, которая в первой своей стадии примет классовый пролетарский характер и при этом постепенно и впервые общечеловеческий.

Но это строительство, по мнению коммунистической партии, возможно только на почве всестороннего усвоения культуры прошлого.

Работа по охране памятников прошлого и мастеров, хранивших традиции прошлого, наткнулась на различные препятствия политического характера. Так, несмотря на явно выраженную директиву тов. Ленина и наличие соответственного пункта в программе нашей партии, все же образовались и до сих пор образуются так называемые чисто пролетарские течения, к которым в большинстве случаев примыкают так называемые полукультурные элементы пролетариата, требующие разрыва со старой культурой и верующие в какую-то возможность спонтанного создания пролетарской культуры во всей ее чистоте. Порой это направление доходит и до лозунгов: пусть хоть беденькая культура, да своя.

Второй опасностью был большой натиск на устои старой культуры со стороны футуристов. Опасность эта усилилась, когда многие сильнейшие представители русского футуризма вошли в партию или объявили себя крепче связанными с коммунистической партией, так что стали действовать изнутри. Они с особым успехом доказывали, что каждая эпоха имеет свои художественные задачи, ищет свои собственные формы, и настаивали на том, что они отыскивали такие формы для нашего времени и что поэтому все старое должно быть выметено и забыто. Эти неправильные точки зрения никогда не влияли реально на твердую политику правительства. Большой опасностью являлась крайняя нищета страны. Она не только создавала весьма неблагоприятную атмосферу для сохранения старого искусства, для развития и сближения с новыми задачами унаследованных нами художественных сил, но часто приводила и правительство к постановке вопросов о том, не должно ли хотя бы временно закрыть те или другие учреждения (Большой театр, например), которые стоили сравнительно дорого и поэтому вступали в кричащие противоречия с нашей нищетой, особенно в такие годы, как голодный 21-й, и т. д.

В этих случаях Наркомпрос употреблял все усилия, чтобы такая точка зрения не восторжествовала, зная, что перерыв традиций (равно как и гибель от разных стихий, холода, сырости и т. п. художественных произведений музеев) явится утратой, ничем не вознаградимой.

Здесь с благодарностью нужно упомянуть самих деятелей как музеев, так и художественных учебных заведений, театров и музыкальных учреждений и т. п. Все они, за малым исключением перебравшихся из России или выброшенных из нее враждебных элементов, не боялись ни недоедания, ни холода, ни расстройств всех бытовых условий и остались на своем посту.

Помимо этой охранительной задачи, перед человечеством стояла еще другая, а именно — сделать искусство реальным союзником в общей просветительной работе.

Коммунистическая партия признает огромное агитационное значение кино, театра, плакатно-революционной пьесы и т. д. и т. п. Подчеркну здесь сейчас же, что шла и широкая работа просто по популяризации различных форм искусства среди народных масс.

В первый период революции, т. е. до новой экономической политики, театр был крайне доступен для рабочих, красноармейцев и т. д. Часто с щедростью, не соответствующей тогдашним нашим средствам, устраивались большие концерты для массовой публики, передвижные выставки и т. д.

Но Главполитпросвет и его органы, т. е. департамент Наркомпроса, который бедает образованием взрослых, конечно, особое внимание обращал на искусство агитационного характера, ибо для нас просвещение масс вообще неразрывно с политическим и коммунистическим их просвещением. В этом отношении, как раз в годы голода и войны, делалось чрезвычайно много. Во-первых, так называемый культотдел в армии, широко рассеянный, сделал из художественной пропаганды одну из сильнейших сторон всей политической работы в крестьянских главных образом по своему составу рядах нашей армии. Работа тут была сделана огромная, и хотя часто рядом с хорошими агитками, преданными своему делу и даже героическими артистами, сопровождавшими военные части при всех опасностях, рядом с доброкачественной музыкой, интересными яркими плакатами попадалась и плохая фальсифицированная пища. Тем не менее, в общем и целом, правительственная художественная пропаганда в красных войсках сделала свое огромное дело. Тыл, т. е. город и деревня, обслуживались, но более скупо, но и здесь были пущены в ход агитационные поезда и агитационные пароходы со стенами, раскрашенными лозунгами и плакатами, с библиотеками, кино, куплетистами и т. д. Эти поезда и пароходы крейсировали по всей России, привлекая к себе огромный интерес населения, главным образом сельского. В городах, в особенности во время праздников, искусство ярко выходило на улицу. Стены домов покрывались трафаретами, плакатами. Огромные толпы демонстрирующих носили их с собою. Театры были открыты для всех желающих более или менее бесплатно, в революционные праздники совершенно бесплатно; отовсюду била фонтаном живая художественная жизнь в виде самодеятельного клубного искусства часто невысокой формы, но близкая к трудовым массам как таковым.

В условиях новой экономической политики дело несколько изменилось. Во-первых, отпала такая настоятельная необходимость пропаганды в армии. Она приобрела спокойный характер и вошла в русло красноармейских клубов. Во-вторых, выяснено было, что для государства непомерны расходы, которые неслись на это дело. Правда, они никогда не были так велики, как о них говорили, и всегда в художественной части 3-го фронта и на всем 3-м фронте испытывалась нужда. Но новая экономическая политика потребовала суровой экономии со стороны государства и поставила под удар даже наиболее ценные части художественной части 3-го фронта.

Но если широта этого художественного потока несколько сузилась, зато он, конечно, углубился и влияние его упрочилось

В первый период до новой экономической политики мы хотя имели некоторые внешние формы сотрудничества с нами представителей старой интеллигенции, но даже те из них, которые работали с нами рука об руку — музейные работники, артисты государственных театров и т. п., — все же держались замкнуто. Правда, иногда общий поток агитационного искусства захватывал и их, но только как элементы просто более или менее высокого искусства, а не как участников нового строительства. Словом, рядом с интеллигенцией совершенно враждебной были такие, которые работали с правительством, но работали по-своему. Тем же отрядом художественной интеллигенции, в котором революция сразу нашла отклик, были крайние левые. Назовем их для краткости футуристами. Несмотря на то, что правительство всегда стояло на позиции самого сугубого нейтралитета по отношению к формам искусства, такое положение вещей привело к некоторой левой футуристической окраске всего нашего более или менее откровенно революционного искусства. Интересно, что и Пролеткульт, большое объединение, насчитывавшее до новой экономической политики до полумиллиона членов, поддался этим же модам. Так что создавалась иллюзия, будто бы Пролеткульт волеется в русло левых и новейших исканий интеллигентской богемы.

Новая экономическая политика, с одной стороны, сузила поток нашей художественной жизни, как я уже сказал. Театрам пришлось перейти на самоокупаемость, и доступность их для рабочих несколько сократилась, хотя мы сохранили 15 процентов всех мест от самых дорогих до самых дешевых. Суммы ассигнования на плакатное дело, на маленькие агиттеатры, кружившие раньше по стране, исчезли; агитпоезда и агитпароходы перестали существовать.

Но зато навстречу окрепнувшему строю пошла значительная группа старой интеллигенции, чему немало способствовало и улучшение общего хозяйственного положения в стране, и быта интеллигенции.

Театры, в том числе и академические, стали проявлять тенденцию ставить и некоторые художественно-революционные пьесы и обращаться с соответственными заказами к литературе. Образовался большой союз под названием Ассоциация художников революционной России, куда вошло весьма значительное количество мастеров живописи и скульптуры, устроивших ряд выставок, причем теперь уже можно сказать, что интерес публики к этим выставкам чрезвычайно высок, как показывает ныне развернутая в Москве 7-я выставка АХРР. За ними на этот же путь вступают и остальные художники кисти и резца. Окрепили чисто революционные театры вроде театра Мейерхольда, театра Революции в Москве и некоторые другие; образовался большой поток так называемых попутчиков в литературе. Конечно, попутчики эти находятся на разных расстояниях от партии. Одни из них представляют настоящих детей революции, как Сейфуллина и особенно Леонов и целый ряд других. Среди них замечаются яркие и новые дарования. Другие представляют собою сменовеховцев, т. е. интеллигентов, прежде враждовавших с революцией, в настоящее время изменивших свой курс и, в общем и целом, дружески относящихся к культурной политике правительства. Здесь есть и несколько очень крупных имен. Впрочем, крупные имена есть и среди тех, кто совершенно отдался пролетарскому течению, как, например, недавно умерший крупнейший поэт Валерий Брюсов и ныне здравствующий старый писатель Серафимович, одаривший революцию одним из сильнейших революционных литературных произведений за последние годы («Железный поток»). В литературе мы, безусловно, переживаем время расцвета. Не проходит и месяца без появления интересных романов, повестей и т. д. Новые имена постоянно поднимаются вокруг с произведениями, иногда поражающими своей зрелостью.

Так, передвижники в значительной степени стерли прежний характер футуризма, который носило послереволюционное искусство. Футуристы организовались вокруг журнала «Леф» (левый фронт), в некоторых театрах и некоторых изобразительно-художественных группировках и продолжают уже в законных рамках являться одним из интересных элементов общего художественного строительства.

Пролеткульт как таковой сузился, но отчасти углубил свою работу. А главное, рядом с ним возникло широчайшее пролетарское движение для работы в искусстве. Тут первое место занимает Всесоюзная ассоциация пролетарских писателей — ВАПП, объединившая сейчас большую часть пролетарских писателей и издающая несколько журналов («Кузница» и «Октябрь»). Очень талантливая группа пролетарских писателей «Перевал» остается в стороне от ВАППа. Бок о бок с писателями-попутчиками (организованными вокруг издательства «Круг», журнала «Красная новь» и т. д.) работают под общим редакторством тов. Воронского некоторые пролетарские писатели.

Не менее сказывается чисто пролетарское движение в других областях искусства. Тут оно выливается главным образом в клубную работу. Клубы очень окрепли и часто ведут весьма серьезную художественную работу. Не будет ничего удивительного, если из клубных работников вырастут новые силы театрального, изобразительного и музыкального искусства. Огромное количество пролетарской молодежи обучается в художественных техникумах, а также и в высших художественных учебных заведениях, музыкальных, изобразительных, в Москве и Ленинграде.

Политика правительства по-прежнему идет по двум, в сущности логически связанным между собой, руслам: охрана старого искусства, которое все более энергично, хотя и в мягких формах, вовлекается теперь в новое строительство, и поддержка нового, в особенности революционного искусства. Существующая у нас цензура, которой ведает Главное управление по делам литературы, чрезвычайно мягка. Она пресекает появление в свет только произведений, могущих иметь контрреволюционный характер. В тех случаях, когда цензура, как, например, в Главреперткоме, начинает стеснять свободное творчество художественных сил, высшие органы правительства и партии вмешиваются в духе предоставления им всей возможной свободы. Все же и в настоящее время старые конфликты между сторонниками учения у классиков и футуристами продолжают, равно как и борьба между сторонниками чисто пролетарского искусства и течением, особенно высоко ценящим привлечение к нашей общей работе мелкобуржуазных и полубуржуазных попутчиков.

Эти вопросы, однако, столь легко разрешаются по средним линиям, что, несомненно, в самом ближайшем будущем будет дана в партийном порядке окончательная и твердая директива, которая вполне подтвердит ту линию художественной политики, которую вел Наркомпрос.

Отмечу еще некоторую раздробленность аппаратов, ведающих художественной политикой России. В центре эту политику ведет, с одной стороны, научно-художественная секция ГУСа, т. е. Государственного ученого совета. Эта секция является как бы главным штабом правительства по части руководства всеми сторонами искусства. К ней привлечено много выдающихся художников и знатоков искусства, работающих там рядом с коммунистами, между прочим, весьма многочисленными. Художественными учреждениями, принадлежащими государству, ведает Главнаука через свои художественный и музыкальный отделы. Общее дело художественного просвещения масс и развитие агитационно-пропагандистского искусства ведется Художественным отделом Главполитпросвета. Наконец художественными учебными заведениями ведает Главпрофобр (Главное управление профессионального образования), которое для этой цели имеет для себя особый отдел художественной методики и педагогики.

Такая распыленность вызывает в последнее время и в руководителях Наркомпроса, и в заинтересованных кругах желание видеть все эти стороны объединенными в одно главное управление по примеру, скажем, Главнауки, каковое должно быть названо Главискусством и сосредоточить в своих руках всю художественную политику в стране.

На местах художественной политикой ведают политпросветы. В Москве существует особый Художественный отдел для этой цели. Все работники искусства



без различия объединены в один профессиональный союз, так называемый Всерабис (Всесоюзный союз работников искусства).

Нужда и сейчас еще дает себя знать очень остро. Художественные учебные заведения, музеи, государственные театры имеют чрезвычайно слабые субсидии, которые необходимо расширить в ближайшем будущем. Платежеспособность публики недостаточно высока, чтобы обеспечить развитие искусства без пособия со стороны правительства. Частный рынок, например, на изобразительные искусства почти совершенно иссяк. Приходится бороться со значительными трудностями. Жалуются на недостаток средств также и клубы, представляющие собою одну из надежд на развитие широкого демократического искусства в нашем Союзе. Но все полны большой энергией, и нельзя не указать на большой расцвет искусства. На переднем плане здесь идет литература, уже давшая такие шедевры, как «Барсуки» Леонова, как «Виринея» Сейфуллиной, как стихи Маяковского и Безыменского, как «Железный поток» Серафимовича, как «Чапаев» Фурманова, как «Неделя» Либединского и т. д. Перечислить все достойное внимания в нашей литературе положительно невозможно.

Начинает подниматься к тому же уровню и революционная драматургия. Театр же как таковой переживает несомненный расцвет. Москва, несмотря на тяжелые материальные условия, расцветает целым рядом значительнейших театров, ищущих новых форм, дающих от времени до времени поразительные по своей художественной высоте достижения. Перечисляя только бесспорно интересные спектакли этого года, надо указать на «Лес» в постановке Мейерхольда, на «Гамлета» и «Блоху» в постановке молодого Художественного театра и новую балетную постановку Большого театра под руководством нового балетмейстера Голейзовского, на интереснейшие работы студии Вахтангова и на чисто революционные постановки театра Революции, вроде «Эхо», «Воздушный пирог» и целый ряд других. Критика и публика у нас в Москве и вообще в России, видимо, даже не сознает всей роскоши, разнообразия и высоты художественных достижений современного театра. Мы несколько привыкли к этому, но посещающие нас иностранцы, примечая плюсы и минусы нашей культурной жизни, всегда с изумлением останавливаются перед необыкновенным взлетом русского театра. Надо прибавить к этому, что даже старые формы искусства, нами сохраненные, как, например, балет, не только не понизились за это время, но дали новый выпуск наших двух балетных школ и позволили нашим балетным труппам обновиться первоклассными исполнителями и исполнительницами.

Несмотря на скудость средств, наши художественные учебные заведения также вырастили яркую молодежь. Много обещают ученические выставки Вхутемаса (Высших художественных технических мастерских) и поражает необыкновенная ранняя зрелость наших молодых музыкантов. Здесь с особой гордостью можно указать на совершенно исключительные квартеты, состоящие большей частью из молодежи, которая недавно во время конкурса на звание государственного квартета показала себя с самой лучшей стороны. Словом, молодежь идет за нами крепкая, мужественная, талантливая и получившая достаточное обучение. В этом одно из лучших оправданий нашей художественной политики.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Лебедев.** Улыбнись во гневе.— **Е. Полякова.** Раздумья о детстве.—  
**С. Львов.** Путь Врехта.— **Р. Орлова.** Убийство становится обыкновенным.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Смолянский.** План, рентабельность, стимулы.— **Б. Поршневу.** «Потомство отомстит за меня».— **И. Зыков.** Богатство страны.— **Г. Герасимов.** «Эра Кеннеди» так и не началась.— **А. Потемнин.** Личность на грани катастрофы.

## Литература и искусство

### УЛЫБНИСЬ ВО ГНЕВЕ

**Фазиль Искандер.** Запретный плод. Рассказы. «Молодая гвардия». М. 1966. 256 стр.

**Фазиль Искандер.** Тринадцатый подвиг Геракла. Рассказы. «Советская Россия». М. 1966. 136 стр.

После каждой книги, после того, как прочтешь ее, остается какое-то общее образное воспоминание о ней. У меня, возможно, плохая память «на лица» героев художественных произведений, а может быть, вообще плохая память. Порой я с трудом восстанавливаю в своем сознании «содержание» многих книг, прочитанных всего несколько лет тому назад (сказанное не относится, конечно, к великому искусству, но только часто ли доводится встречать дотоле неизвестное произведение такого искусства?). Но это совсем не означает, что прочитанные ранее книги ушли из моей жизни бесследно. Есть еще, как видно, художественная память. Художественный образ книги навсегда сохраняется в нашей памяти. А в художественном образе книги, в том духовном отзвуке, который откликаешься на нее, в скрытом виде сохраняется, видимо, и вся внутренняя структура произведения, вся его поэтическая сущность. Иначе ведь этот образ, наверное, и не смог бы жить в нашей душе — он сделался бы бесплотен.

Критик может рассказать о книге, может пересказать ее содержание, выявить ее идейную проблематику и все такое прочее, но за этим важным делом может и не почувствовать и не передать эстетический «аромат» книги, ее общий образ. Читатель забудет такую статью раньше, чем критик забыл книгу. Так почему бы действительно не попытаться, рассказывая о книге другому, идти по тому естественному, хотя отнюдь не самому прямому пути, по которому сам идешь, думая о прочитанной книге? Кое-что при этом может, конечно, ускользнуть. Но ведь в противном случае может быть утрачено большее.

Так вот, рассказы Фазиля Искандера, о которых пойдет тут речь, вызывают почти зримый образ улыбки.

Не усмешки и не смеха, а именно улыбки — чуть ироничной, немножко благодушной и очень теплой. Когда какие-то частности прочитанной книги Искандера уже начинают уходить из твоей памяти, происходит маленькое чудо: улыбка остается.

Мир, описываемый Искандером, прелом-

лен через особое восприятие. Оно, пожалуй, немножко однообразно, порой чуть умилительно, порой трогательно, а иногда в нем видится предвестие некоей мудрости. Так, взрослея и умнея, люди подчас вспоминают свое детство — не снисходя до него, а открывая в нем новый смысл, тот, который был заключен в нем, как взрослое растение заключено в первом зеленом ростке, содержащем, однако, уже всю «программу» будущего развития.

«Хотя в наших морях,— пишет Искандер в рассказе «Время счастливых находок»,— не бывает приливов и отливов, земля детства — это мокрый, загадочный берег после отлива, на котором можно найти самые неожиданные вещи. И я все время искал и, может быть, от этого сделался немножко рассеянным. И потом, когда стал взрослым, то есть когда стало что терять, я понял, что все счастливые находки детства — это тайный кредит судьбы, за который мы потом расплачиваемся взрослыми. И это вполне справедливо.

И еще одно я твердо понял: все потерянное можно найти — даже любовь, даже юность. И только потерянную совесть еще никто не находил».

Герой Искандера не какой-то условный персонаж, простая персонификация авторского «я». Это вполне реальный мальчишка, который со своими папой и мамой живет в Абхазии. И рассказы об этом герое — рассказы о вполне ребячьих историях. И волнения героя — ребячьи, и радости и горести — тоже. Он учится в школе, и учителя ставят ему двойки за неприготовленный урок, как бы он при этом ни хитрил («Тринадцатый подвиг Геракла»). Он гоняет в футбол и воюет не на жизнь, а на смерть с другими забиякой — петухом («Петух»). Он собирает фантики и дразнит своих сверстников и взрослых, когда это ему удается. Он по-мальчишески горд и благороден, хотя его и обуревают все искушения ребячьего тщеславия.

«По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину...

Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость... Запах жареной свинины доводил почти до обморока». И вот однажды герой стал свидетелем страшного отступничества: его старшая сестра в гостях открыто и с явным удовольствием отведала кусочек свиного сала. «Придя домой, я быстро разделся и лег... Странные видения

проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются на меня, качают головами: что за мальчик? Я сам себе удивляюсь, но не ем, и все. Убивать убивайте, а есть не заставите».

Мифология часто требует вполне реальных жертв для поддержания своего престижа, и мальчишка как угрюмой кровожадностью ждет, что Магомет или простая справедливость страшно покарают отступницу, и она погибнет в муках. Но справедливость что-то задерживается. И герой решает помочь ей.

Час торжества наступил на завтра во время семейного обеда. Среди мирных застольных разговоров я «встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:

— Она вчера ела сало...»

И тут случилось нечто неожиданное для героя. «В комнате установилась неприличная тишина... Отец глядел на меня тяжелым взглядом... Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры,— пояснил я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, тряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол...

— Сукин сын! — крикнул отец. — Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась... Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею...

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал...» («Запретный плод»).

Несколько наивный дидактизм вывода, завершающего этот рассказ, одухотворяется неподдельным пафосом гражданской публицистичности: «Прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливее. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой высокий принцип не может оправдать подлости и предательства». Что ж, подобные «маленькие открытия» детства взрослым людям порой приходится оплачивать дорогой ценой.

Так за улыбкой начинает проступать гнев...

Цикл рассказов Искандера — целая мальчишечья Одиссея, а открытия, которые делает герой этой Одиссеи, и есть те «счастливые находки детства», тот «тайный кредит судьбы», за которые должен расплачиваться человек всей своей жизнью.

Но понятие долга — понятие достаточно сложное и не всегда достаточно определенное. Оно, как говорится, диалектично. Порой даже чересчур. В представлении некоторых людей оно допускает известное двоемыслие. И иногда получается так, что верность «Большому Долгу» становится индульгенцией для самых злостных должников. И тогда верность превращается в измену.

«Говорят, — замечает Искандер в рассказе «Должники», — Вильям Шекспир сказал, что, одалживая деньги, мы теряем и деньги и друзей. У меня получилось наоборот, то есть деньги-то я, в общем, потерял, но зато приобрел сомнительного друга. Однажды я ему сказал, что каждый человек в Большом Долгу перед обществом. Он со мной охотно согласился. Тогда я осторожно добавил, что понятие Большой Долг в сущности состоит из множества маленьких долгов, которые мы обязаны выполнять, даже если они порой обременительны. Но тут он со мной не согласился. Он указал, что понятие Большой Долг — это не множество маленьких долгов, а именно Большой Долг, который нельзя расплывать, не рискуя стать вулгаризатором. Кроме того, он обнаружил в моем понимании Большого Долга отголоски теории малых дел, давно осужденной передовой русской критикой. Я решил, что расходы на осаду этой крепости превзойдут любую контрибуцию и оставил его в покое...»

Но грех все-таки, наверное, валить все наши беды на одних должников. Ведь настоящих, злостных должников, как о том свидетельствует Искандер, не так-то уж и много: «На двести с лишним миллионов жителей нашей страны человек семь-восемь. В сущности говоря, ничтожный процент».

Другое дело — фальшивомонетки.

«Тайный кредит судьбы» они оплачивают ложью, создавая фальшивые ценности, в том числе и ложные идеи.

Есть у Искандера — среди лучших — рассказ «Мой дядя самых честных правил...»

На нем стоит остановиться подробнее, потому что именно в этом рассказе характерные черты дарования писателя проявились, думается, наиболее отчетливо.

Дядя был душевнобольным человеком. Жил он тихо: ходил за водой, носил за бабушкой продовольственные сумки с рынка, колот дрова и пел песенки собственного сочинения. Иногда на него «находило». Может быть, он вспоминал какие-то старые свои обиды. Но после того, как бабушка обливала его голову водой из-под крана, дядя успокаивался и садился пить чай. «Словарь его, — вспоминает рассказчик, — как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второклассника — там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушю мать». Еще в минуты волнения и душевной смуты дядя несколько загадочно произносил слово «Батум».

Так они и жили — мальчик, его семья и дядя — дядя «самых честных правил».

Но вот однажды маленький герой, начитавшийся как раз в ту пору входивших в моду «замечательных книжек про шпионов», был потрясен страшной догадкой: дядя никакой не сумасшедший — он шпион! То есть настоящий сумасшедший дядя существовал когда-то, но вражеская разведка, изучив его повадки и привычки, в один прекрасный день выкрала дядю, а на его место подсынула шпиона. Вспомнились подозрительные детали в поведении «дяди». Например, он ловил рыбу на удочку без крючка. Другие мальчишки еще смеялись над такой нелепостью! Конечно же, в удилище был спрятан радиопередатчик. Мальчик «разобрал» удочку и не обнаружил шпионской аппаратуры. Но это его не смутило.

«Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!» Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами: «С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпио-

на, который долгое время выдавал себя за его сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше».

А затем следует такая смешная сцена.

Главное, решил герой, напор и неожиданность. «Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг»,— сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа». (Неизвестно, откуда он взял, что дядя — подполковник Штауберг. Возможно, он доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых он читал, «в том числе сам майор Пронин».)

«— Отстань,— сказал дядя...

— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали,— великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.

— Мальчик сумасшедший,— сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения...

— Рыбка не клюет? — спросил я, пронзительно улыбаясь и глядя ему в глаза.— Море волнуется или удочка не годится?

— Удочка? — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.

— Вот именно, удочка,— сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь...

— Удочка, удочка, удушю мать! — проворчал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.

— Ни с места! — крикнул я.— Дом оцеплен!

— Батум! — крикнул он и побежал в комнату».

Маленький герой несколько растерялся. Вместо того, чтобы с достоинством слиться и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...», «подполковник» побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение. Через минуту он влетел в комнату, и все окончательно перепуталось.

«— Украл удочку! — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня...

— Назовите сообщников! — орал я в ответ, срезая угол стола... В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:

— Бабушка!»

Не правда ли, смешная сценка? Но внут-

ренняя ее коллизия не содержит ничего комического, она достаточно драматична. Что ж, гнев сквозь улыбку — это, пожалуй, в таких случаях все-таки лучше, чем смех сквозь слезы...

Правда, гнев в рассказах Искандера почти всегда остается как бы за кадром. В кадре — плутовато улыбающаяся мальчишечья физиономия. Для всего этого есть, конечно, свой резон. Автор говорит о вполне серьезных, «взрослых» вещах, но в сфере детского мировосприятия. Тем самым он как бы «примиряет» гнев и улыбку, найдя для них художественно гармоничное сочетание.

Правда, подобной гармонии автору удается достигнуть не всегда. Особенно это относится к некоторым из его «взрослых» рассказов, в которых он отказывается от помощи своего маленького героя и говорит со своим читателем «как мужчина с мужчиной». Порой в этих случаях улыбка оказывается какой-то кривой, а иногда манерно-умильной — на лице взрослого человека. Но в лучших своих произведениях Искандер находит достаточно точное сочетание улыбки и гнева, достигаая несомненного художественного эффекта. В рассказе с характерным названием «Посрамление фальшивомонетчиков» он признается: «Сорвать фальшивую игру... и чувствовать корчи фальшивомонетчика — это тайное удовольствие стоит многих явных». Вообще наивная улыбка при серьезности замысла — неплохая «уловка» для художника с развитым чувством эстетического такта. «Тут только одна опасность,— говорит Искандер.— Если фальшивая игра длится слишком долго, от этого внутреннего смеха можно и задохнуться».

Обращение писателя к детскому мировосприятию, помнится, еще не так давно вызывало суровые нарекания со стороны отдельных наших критиков. При этом высказывалось то соображение, что писатель не должен «передоверять» ответственное дело оценки окружающей жизни несовершеннолетним героям, «прятаться» за их спину, смотреть на жизнь «их глазами» и т. п. Подобные соображения вызывались, конечно, чувством недоверия — и к детям и ко взрослым.

Между тем указанный прием в искусстве имеет глубокий смысл.

Ведь почему-то взгляд на мир «глазами ребенка» оказался испытанным средством

как раз реалистического искусства. Дети Диккенса и Льва Толстого, дети Чехова и Короленко, Марка Твена и Достоевского оказывались подчас едва ли не самыми строгими судьями «взрослого» мира. Очень часто они были образным выражением высшего и окончательного критерия нравственной мирооценки великих писателей.

Конечно, взгляд на мир «глазами ребенка» — метафора, поскольку речь идет об искусстве. Художник-реалист попросту не может, если бы и хотел, «передоверить» свою мирооценку кому-либо из своих героев. Это ясно. И «дети Достоевского», и «дети Диккенса» тут не исключение. Более того: истинно реалистическому искусству чужд всякий инфантилизм, всякое сюсюканье и умильность при виде действительной жизни. Реалистическое отношение к жизни — очень «взрослое», очень серьезное по самому принципу своему. Нельзя «спрятаться» за маленького героя — такое намерение выдает лишь собственную авторскую незрелость. И речь у нас идет об ином. «Глаза ребенка», «душа ребенка» — это ведь и достаточно общепонятная метафора, которая раскрывается в повседневной жизни как синоним духовной чистоты и незамутненности нравственного чувства человека. А вместе с тем, по-видимому, в известном смысле можно сказать, что для каждого взрослого человека — в его детстве, как и для всех людей — в детях вообще есть нечто такое, что навсегда сохранит смысл и значение некоего критерия счастья и правды.

«Мужчина, — писал Маркс, — не может снова превратиться в ребенка или он ста-

новится ребячливым. Но разве не радуется его наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность. Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде».

И может быть, потому-то и называем мы подчас очень хороших поэтов и даже «просто» очень хороших людей «большими детьми», что чувствуем: им удалось это — на высшей ступени воспроизвести свою истинную сущность, которая была заключена в их детстве, как взрослое растение заключено в его первом зеленом ростке.

В общем, завершая разговор о рассказах Искандера, стоит заметить, что, развивая лучшие черты своего дарования, он сможет опереться на очень хорошую традицию в реалистическом искусстве. Даже если будет при этом писать о взрослых людях. Ведь можно, наверное, сказать, что всякий истинный художник в определенном метафорическом смысле — посланец детей в нашем взрослом мире. Ибо сам характер эпохи «в его безыскусственной правде» смотрит на нас с лиц детей человеческих...

Священно право человека на гнев — слишком много еще разных фальшивомонетчиков «бродят по нашей земле и вокруг», слишком нагло еще самые злостные должники разглагольствуют о своей верности Самому Большому Долгу. Но — улыbnись во гнев. Ведь только тогда люди с надеждой смотрят в будущее, когда они смеясь расстаются с прошлым.

А. ЛЕБЕДЕВ.

★

## РАЗДУМЬЯ О ДЕТСТВЕ

А. Шаров. Дети и взрослые. Маленькие повести и очерки. «Советский писатель». М. 1966. 277 стр.

Бывают произведения, привлекающие внимание в газете или журнале. А читая их собранными в книгу, недоумеваешь: почему года два назад это казалось интересным? Бывают произведения, очень выигрывающие оттого, что стоят рядом, друг друга поддерживая и проясняя. Такова последняя книжка А. Шарова. Маленькие повести и очерки его объединены не только общим переплетом, но и единым видением мира, своим беспокойством о жизни, о тех, кто живет сегодня и будет жить завтра.

Приметы этого сегодня в книжке точны и постоянны. Герои ее — наши соседи, столичные и провинциальные родственники, мы сами, воспитывающие детей и раздумывающие над проблемами воспитания. А Шарову интересны люди, которых принято называть «средними», — не занимающие высоких постов, даже большей частью не имеющие высшего образования. Скажем, не инженеры и врачи, но механики и медсестры, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, строго рассчитывающие свою не слиш-

ком высокую зарплату. Скромный быт окрывает повесть, но быт не затягивает писателя, как не затягивает его героев с трудной, большей частью очень трудной жизнью. Неизлечимо больной майор Хмелев лежит и лежит в госпитале, хотя и война давно кончилась, и раненые все разъехались, и госпиталь собираются снова превращать в школу (рассказ «Хмелев и Лида»). У Машеньки из одноименной повести в детстве — арест родителей, детдом, в юности — фронт. У Карвялиса — «общезития, случайные соседи, случайные связи» (рассказ «Поездка домой»).

Правда, у всех есть главное — они не тягостятся своим делом, в труде, как говорится, находят свое призвание. Лидия Алексеевна не просто медсестра, но старшая сестра терапевтического отделения, механик Карвялис — изобретатель, мастер; Машенька работает рядом с изобретателями и инженерами, но любит свое нехитрое дело. Из всех этих людей могли бы выйти отличные герои «производственных романов», одержимые своей работой, все время говорящие о наладке станков и новых лекарственных препаратов. Но Шаров не пишет производственные романы. Он знает, что, хотя труд может быть главным в жизни, но человеку нужен не только труд. Поэтому всеми уважаемая Лидия Алексеевна на удивление окружающим перевозит парализованного майора Хмелева в свою двенадцатиметровую комнату, расписывается с ним, обхаживает недвижимого человека с материнской заботливостью и бабьей жалостью. Поэтому недотрога Машенька приводит в свой дом актера-неудачника и неумело пытается «пробить» ему дорогу в искусстве. Поэтому Карвялис, придравшись к пустяковому поводу, берет неожиданно для себя расчет на заводе и уезжает в забытый родной город.

Все это вроде бы неожиданно. И все это закономерно. Да, призвание человека в труде — но и в семье, но и в сообществе с другими людьми, но и в умении помочь и принять помощь.

Последнее особенно важно для Шарова. Герои его проходят самое трудное и самое обычное испытание — испытание одиночеством. И для них, как для чеховского героя, «как там ни философствуй, а одиночество страшная штука».

Страшная для Леньки, которому от роду несколько лет и для судьбы которого давно

найдено определение: круглое сиротство. В повести «Ленька», вообще одной из лучших своих повестей, Шаров исследует жизнь мальчика, у которого умерла сначала бабушка, потом мать, официально именуемая матерью-одиночкой. Дальняя родственница ведет его в детдом. Там чисто и красиво, на стенах висят картины с Красной Шапочкой, на ужин дают манную кашу с вареньем. «Как в детсаду», — мысленно успокоил себя Леня. Но он только попытался успокоить себя, а не успокоился по-настоящему, без слов зная, что в детсаду, кроме такой вот комнаты со множеством кроватей, было еще самое главное — вечер субботы, когда его увозили домой, и утро понедельника, когда сразу начинало приближаться следующее воскресенье».

Мы можем, мы должны вспоминать те воспитательные дома, которые были уготованы незаконным детям Нехлюдова, Порфирия Головлева, слепцовской питомке — их морили голодом, а выживших раскидывали в нищие деревни. Мы можем гордиться нашими домами ребенка и детскими домами, из которых ребята идут в университеты. Но все же и сегодня сиротство — тяжелое слово, и уход ребенка в детский дом труден. А может превратиться из драмы в трагедию — если, скажем, у Лени отберут старую картинку, изображающую буденовского конника (картинка вырезана из журнала, но мальчик верит, что это его отец), или если не появится воспитательница, которая не просто выдаст добротную одежду и обеспечит кашей с вареньем, но посидит вечером у постели, поговорит или помолчит с новеньким. «Не хлебом единым» — условие подлинно человеческой жизни, всех ее возрастов. А детство для Шарова — не предварение, не предисловие жизни но важнейший, определяющий дальнейшее отрезок ее. Поэтому для героев «маленьких повестей» так важно возвращение к детству хотя бы в воспоминаниях. Вернувшись на старую дачу, Машенька вспоминает не только перелом в жизни — ночной обрыв, исчезновение матери, но счастливую протраженность детских лет. Карвялис уезжает с завода не куда-нибудь, но в Вильнюс — и там приходят вдруг на память литовские слова вместе с образом матери.

У замечательной медсестры Лиды таких воспоминаний нет. Даже избавляясь от одиночества, она тяготеет к нему. Хмелева она взяла потому, что он был слабым и никому

не нужным. А когда оказалось, что ему нужны другие и он нужен,— заревновала мужа к мальчишке Тимчуку, к бесприютной собаке. Поэтому у Хмелева и Лиды «ничего не получается», хотя оба они, по несовершенной нашей терминологии, прекрасные люди.

Можно, конечно, жить по-другому. Как медсестра Франя, что проводит время с кавалерами, услужливо готовая познакомиться с ними подругу. Как тот инвалид, что бойко торгует пивом в ларьке. Как Ленкина родственница, что поскорее спихивает его в детдом. Но эти люди Шарова не слишком интересуют. Написанные бегло, они точны, как Франя или инвалид из ларька, написанные подробнее — становятся неживыми, карикатурными, как тетка из «Машеньки», превращающая запущенную дачу в доходное предприятие. Внимание свое, писательскую тонкость Шаров отдает другим: Ленке, Хмелеву и им подобным, разделяя, пожалуй, слова одного своего героя: «В искусстве наступило время святых, героев. Люди поняли, что мораль, приспособленная к сегодняшним нуждам, подчиненная, может стать страшной».

Возвращая своих героев в детство или сталкивая их с надвигающейся старостью, Шаров старается проследить в них эту истинную человеческую мораль, вполне современную, но не «приспособленную» к нуждам современности, живущую в людях, но не порабощенную людьми. Это трудно. Это не всегда художественно осуществляется. Любимая Шаровым Машенька — светлый контур человека, но не живой, уже «отдельный» от автора человек, какими проходят рядом с ней всего-то несколькими штрихами очерченные сослуживцы, или знаменитый певец, у которого «был огромный бас, и когда он пел, сильно округляя губы, толстое, невыразительное лицо делалось совсем глупым, и казалось, он сам ошарашен: «Смотрите, какие удивительности рождаются из меня» Писатель щедро отдает Машеньке свою симпатию и свое восприятие жизни, но мы все время помним, что не Машенька, а зоркий писательский взгляд видит киностудию с ее бутафорной декорацией и деловитой суетой. Что не Машенька, а фронтовик Шаров помнит, что горевшие вишни пахли вареньем и что «листва на кустарнике от удара воздушной волны повернулась изнанкой и стала не желто-бурой, а серебристой, как при луне». И чистая, прямолинейная, принципиальная литовская девушка из

«Поездки домой», которая тоже говорит не своими, но авторскими словами и видит не своими глазами,— проигрывает рядом с озлобленной Катре, которая коротает век в поселке, пропахшем рыбой, зная, что не уйдет отсюда никуда. Такая неполная художественная жизнь важного, иногда главного образа снижает волнующее впечатление, которое, как правило, оставляют повести Шарова. Волнующее потому, что очень верно и в то же время никак не назидательна сама авторская позиция. Писатель стремится изображать жизнь в самых обычных, бытовых ее проявлениях, заставляя раздумывать над поступками простейшими, ежедневными, которые, сливаясь, и образуют дорогу человека, его характер. Время идет тихое, обычное, жизнь будничная, но в этой будничности всегда есть разные дороги, свобода и необходимость выбора — есть все те высочайшие, вечные понятия, которые называются человеческой моралью, нравственным законом.

Раздумывая над этим много лет, Шаров, естественно, не мог пройти мимо тех тревожных дискуссий о школе и школьниках, которые велись в последние годы в прессе. Очерки его «Языки окружающего мира...» и «Трудные дети» были из лучших в этом разговоре о задачах и методах воспитания. А сейчас они продолжили тему «маленьких повестей» и объединились с ними.

Объединились теми же раздумьями о детстве и ответственностью перед ним, которые пронизывают повести. Ленка вырастет в своем детдоме и придет в школу, как приходят в нее ежегодно дети, для которых после праздничного первого дня тянутся годы прописей, «планов сочинений», географии, состоящей из цифр, истории — из дат.

Как надо учить в школе, какой должна быть она, принимающая ребенка, выпускающая взрослого,— это волнует Шарова так же, как волновало многих и многих писателей прошлого. А Шаров точно знает, как не надо: не надо «огимназывать» советскую школу, не надо в ней казенщины, формализма, «одинаковости» учеников. В этом Шаров сходится и с великими авторитетами от педагогики, и с теми писателями-учителями — Ф. Вигдоровой, Л. Кабо, Н. Долининой,— которые сегодня так много дали нашей школе.

Воспитательные идеи Руссо, прокорректированные временем, живут и сегодня. Нужно вводить ребенка в мир, научить позна-



вать его, а не оставлять с глазу на глаз с учебниками, торопливо излагающими человеческие знания. Не навязывая, естественно, школе рецептов, Шаров говорит о бесплодности поучений и о великом значении примера. О своем детстве, которое ему посчастливилось провести в школе-коммуне, о детстве своего сына, его сверстников, которых надо дать почувствовать красоту мира и сознание его сложности.

Естественно, что Шаров откликнулся и на разговор о «трудных детях», начатый «Литературной газетой». Точку зрения его можно было предсказать. Нет плохих детей — есть плохие педагоги. Какие-то особые «школы для трудновоспитуемых», предлагаемые некоторыми учителями, принесут только вред.

У Шарова это — не сентиментальные разговоры человека, далекого от школы («хорошо говорить со стороны — был бы сам учителем»), не бодрое отмахивание от сложностей («в нашей советской школе нет трудных детей»). Он рассказывает о нескольких «тяжелых» детях — если не знать условий жизни этих ребят, они покажутся отъявленными «трудновоспитуемыми». Писатель признает все, о чем говорит учителя-

практики. Конечно, трудные ребята есть. Отвратителен трус, матерщинник, оскорбивший учительницу. Только не надо так уж радоваться тому, что сосед дал сквернослову по физиономии. Учителя, замotanного гекучкой, может тревожить только этот сквернослов и хулиган из его класса. Шарова больше тревожит другое — коллектив, целый класс, который молчит, когда один безобразничает, а может быть, и ухмыляется выходкам хулигана.

Панацеи, единого и всемогущего средства для преобразования школы и школьников Шаров и не собираются предлагать. Он просто напоминает о многом, зная, что нужно многое: и талантливые учебники, и талантливые учителя, и самостоятельность школьников, и главное — воспитание не «одинаковых человечков», но разных людей, живой интерес к каждому и понимание каждого. Последнее и есть то, чем живы лучшие книги самого Шарова, что объединяет его повести и рассказы, новеллы и статьи как бы в единое произведение. Оно не устарело, не закончилось — слишком много в нем тревог и раздумий о человеческой жизни и о начальной поре ее — о детстве.

Е. ПОЛЯКОВА.



## ПУТЬ БРЕХТА

И. М. Фрадкин. Бертольт Брехт. Путь и метод. «Наука». М. 1965. 374 стр.

Сейчас, когда в наших театрах идут одновременно самые разные пьесы Брехта, а некоторые из них на протяжении одного сезона можно увидеть в разных трактовках, нам трудно представить себе, что, когда в 1958 году (всего восемь лет назад!) театр имени Кингисеппа поставил «Господина Пунтилу и его слугу Матти», это было первым обращением к драматургии Брехта на нашей сцене после войны и что следовавшие затем два спектакля («Сны Симоны Машар» в театре имени Ермоловой в 1959 году и «Добрый человек из Сычуани» в Ленинградском театре имени Пушкина в 1962 году) не имели большого успеха. Понадобились совместные усилия театров, критики и зрителей, нужно было время, а главное — общие перемены в искусстве и его восприятии, чтобы проложить путь к Брехту.

Все это сказано, чтобы объяснить, почему чтение книги И. Фрадкина, которому принадлежат немалые заслуги в пропаганде и исследовании творчества Брехта, я советовал бы начать с приложения. Оно содержит сведения о постановках Брехта на советской сцене, радио и телевидении и хронологию библиографии. Сведения эти рисуют круто поднимающуюся кривую. Она свидетельствует и того, как растет общественный интерес к Брехту, и того, как расширяются возможности этот интерес удовлетворить: статей, книг, спектаклей с каждым годом все больше и больше.

Словом, монография И. Фрадкина появилась своевременно.

В творчестве Брехта есть особый раздел: короткие — иногда на полстраницы, а иногда на две-три строки — притчи о некоем господине Койнере (Брехт чаще называет

его просто господин К.). Господин К. задает окружающим неудобные и неприятные, навязные и неожиданные вопросы или сам отвечает на их вопросы гораздо откровеннее, чем на то рассчитывают спрашивающие. Его вопросы и ответы подобны восклицанию ребенка в сказке Андерсена «Голый король», обладают одной способностью — они выявляют пустоту, косность, лживость привычных штампов мысли и речи, разрушают «табу». С сожалением замечу, что этот интереснейший раздел творчества Брехта в книге И. Фрадкина лишь упомянут. Зато одна из характерных притч избрана эпиграфом к первому разделу монографии. Вот она: «Знакомый, с которым господин К. давно не виделся, встретил его словами: «Вы совершенно не изменились». — О! — воскликнул господин К. и поблбднел».

В этих строчках — весь Брехт! С точки зрения диалектики не изменяться — значит перестать существовать, а Брехт, однажды уверовав в научную истинность и революционную силу диалектики, не добивался для себя самого экстерриториальности по отношению к ее законам. Зрелым человеком и признанным мастером оглядываясь на свой путь, он не хотел изобразить его как ровную и непрерывную линию подъема.

Представление, или, вернее, заблуждение, что большой художник с молодых ногтей равен самому себе и выходит с юных лет на арену будущей деятельности, как Афина из головы Зевса, — полностью вооруженным зрелой мудростью, знающим все о себе и о мире, — и вообще-то не слишком плодотворно, а к Брехту вовсе неприменимо. Достаточно сказать, что к некоторым темам и мотивам своего творчества он возвращался на протяжении всей жизни, не просто редактируя первоначальный вариант, а пересматривая свой взгляд на проблему и на способы ее художественного воплощения.

Автор монографии постоянно помнит об этом важнейшем свойстве Брехта как художника и мыслителя. Хотя книга И. Фрадкина состоит из двух разделов — «Творческий путь» и «Художественный метод», — деление это до известной степени условно. Материал исследуется в развитии не только там, где характеризуется путь, но и там, где рассматривается метод. И это вполне оправданно. Да, Брехт необычайно много сил, времени и страсти отдавал теоретическому обоснованию своей художест-

венной практики. Бессчетны его речи, письма, статьи с характерными названиями: «Форма и содержание», «Социалистический реализм в театре», «Задачи театра», «Как играть Мольера?», «Должна ли драма иметь тенденцию?», «Краткое описание новой техники актерской игры», «Пафос», «Темп», даже «Занавесы», «Аранжировка сцены» и прочие. Кажется, нет ни одной проблемы — от места театра в общественной жизни до места третьестепенного исполнителя в массовой сцене очередной постановки, — которой Брехт не посвятил бы трактата или заметки. В этих трактатах и заметках он часто резок, порою односторонен. Но никогда не утверждает, что даже самая разработанная из его концепций — теория эпического театра — есть система окончательно завершенных, не подверженных и не подлежащих развитию и изменению взглядов.

Поставив притчу о поблбдншем господине Койнере эпиграфом к разделу «Творческий путь», автор берет на себя обязательство представить этот путь, сохраняя верность сложной и изменчивой природе исследуемого, не спрямляя пути, не упрощая его, не сглаживая. На мой взгляд, это трудное обязательство выполнено.

Ограничусь одним примером. Первые пьесы Брехта, особенно «Ваал», сложны для истолкования. Аморализм главного героя безграничен и несомненен, но не менее несомненна симпатия драматурга к нему. Эту «неудобную» для анализа и без всяких кавычек неприятную пьесу не отбросишь — некоторые ее мотивы, разумеется, преобразованные, пройдут сквозь все творчество Брехта. От нее не отделаешься фразой о «противоречивости» — Ваал, пожалуй, самый цельный образ во всей драматургии Брехта. Исследователь устанавливает многообразные жизненные и литературные воздействия, которые породили и этот образ, и эту пьесу, да и вообще сказались на всем раннем творчестве Брехта: желание эпатировать буржуа, вызов мещанским «добродетелям», восхищение легендами о Вийоне и Рембо, наконец полемика — идейная и стилистическая — с драматургией немецкого экспрессионизма. Вот вывод, завершающий главу:

«Циническое неверие писателя в бескорыстные, благородные и добрые начала в человеке, его стремление найти всеобъемлющую основу человеческого поведения в низменной сфере примитивных эгоистических

интересов — все это, хотя и заключало в себе нечто отрезвляющее по отношению к наивно-утопическому и идеалистическому энтузиазму экспрессионистов, в целом было чревато опасными элементами антигуманизма и декаданса. Но в то же время эти деструктивные черты художественного мышления молодого Брехта находились парадоксальным образом (парадокс в данном случае — лишь выражение самой диалектики явления) в ближайшем соседстве с теми идейно-эстетическими особенностями зрелого Брехта, которым он был обязан наивысшими достижениями своего творческого гения».

Сложность и парадоксальность вывода оправданы сложностью и парадоксальностью явления. Но мне все же кажется, что здесь не хватает одного немаловажного момента. Пьесу «Ваал» Брехт написал в двадцать лет. Биографический метод не может объяснить творчество писателя до конца, но двадцать лет — это двадцать лет! Кроме множества бесспорных и сложных воздействий, роль которых в появлении «Ваала» тщательно проанализирована, вероятно, следовало бы сказать и о юношеской бравате, о литературном бунтарстве. Да, полемика молодого Брехта с Шиллером, о которой пишет автор монографии, интересна. Но, быть может, не менее интересным было бы не только подсказанное самим Брехтом противопоставление Брехт — Шиллер, но и сопоставление: Брехт периода «Ваала» и Шиллер периода «Разбойников». Различны эпохи, ни в чем, казалось бы, не схожи личности, но в напряженном гиперболизме страстей, в стилистике, воинственно заостренной против предшественников, неожиданно много схожего. Художник начинается не только с учения у признанных мастеров, но и с бунта против них. Сказать об этом было бы не только справедливо по отношению к Брехту, но полезно для понимания других литературных биографий.

Впрочем, уже со следующей главы «От берега к берегу» анализ идейно-художественных течений, которые влияли на Брехта, сочетается у И. Фрадкина с характеристиками среды, человеческих отношений, даже быта. Это не превращает литературоведческую монографию в жизнеописание, чего и не требуется, но облакает теоретические построения плотью, наполняет их кровью. В книге И. Фрадкина появляются те, с кем

Брехт спорил, и те, с кем он дружил, те, с кем он враждовал, и те, с кем он сотрудничал. Многие факты творческой жизни Брехта сообщаются в монографии впервые, известные явления часто анализируются по-новому. Отмечу, например, превосходно написанную, точную и емкую главу «Новая деловитость — *рго и сонга*». Может показаться, что весь комплекс «новой деловитости» двадцатых годов с ее прагматизмом и машинопоклонничеством, с ее спортивно-техническим жаргоном и прочим давно принадлежит истории. Но стоит вчитаться в характеристику «новой деловитости» в монографии и прочитать публикуемое в связи с ней пародийное стихотворение Брехта «700 интеллигентов молятся на бензобак» (которое И. Фрадкин печатает на русском языке впервые), даже не подставляя на место «бензобака» какое-нибудь кибернетическое устройство («кибер», как любят интимно и фамильярно называть его авторы научно-фантастических романов), чтобы почувствовать: эта полемика Брехта с течением, которым он недолго увлекался, совсем не устарела, а этот раздел монографии важен и интересен не только в историко-литературном плане.

Мне, впрочем, кажется, что анализ некоторых литературных взаимоотношений мог быть глубже. Дружба, которая связывала Фейхтвангера с Брехтом, и существенные отличия их взглядов — факт общеизвестный. Прототипом инженера Прекля в «Успехе» Фейхтвангера был Брехт, а в спорах Прекля с Тюверленом много от споров Брехта с Фейхтвангером. Это несомненно. Но, быть может, стоило бы в анализе их многолетнего скрытого и явного спора пойти дальше и сравнить, скажем, эссе Фейхтвангера о Френсисе Бэконе «Опыт короткой биографии» и рассказ Брехта «Опыт» о Френсисе Бэконе. Эссе Фейхтвангера было опубликовано впервые в 1930 году, рассказ Брехта был напечатан значительно позже, но написан он был, очевидно, тоже в тридцатые годы. В обоих произведениях речь идет о великом ученом и беспринципном политике, но рассказы поражают своим различием. Кажется, что Брехт решил писать свой рассказ с того, на чем остановился Фейхтвангер. Последний роковой опыт Бэкона у Фейхтвангера упомянут, у Брехта составляет суть рассказа.

Я не могу развивать здесь подробно эту

гему, но диалог и диспут Брехт — Фейхтвангер заслуживал, на мой взгляд, более пристального внимания: это гораздо больше, чем личный спор. Каждый из них в глазах другого олицетворял целое мировоззрение, и можно с большой долей уверенности предположить, что дружба-соперничество Иосифа и Юста в «Иудейской войне» и «Сыновьях» — фейхтвангеровская версия некоторых сторон этой полемики, а «Дела господина Цезаря» Брехта и некоторые другие его исторические произведения соотносены не только с изображаемой эпохой, но продолжают принципиальный спор с Фейхтвангером о способах и целях изображения прошлого.

Особый интерес в разделе «Художественный метод» представляют главы, которые характеризуют многообразные и универсальные связи писателя с художественным наследием прошлого.

Собранный в них материал и сделанные из него выводы важны не только для понимания Брехта. Тем, кто склонен видеть что-то сомнительное в терминах «интеллектуальная проза» или «интеллектуальное кино» или иронизировать по поводу чрезмерной эрудиции, которая-де вредит литератору, стоит задуматься над одним только перечнем тех источников, к которым обращался в своей практике Брехт. Брехт, стремившийся создать литературу, театр и драматургию, обращаясь не к одиночкам, а к массовому зрителю!

«Поначалу обилие и пестрота источников ошеломляют. Древнекитайский философ Мо Дзы и древнеримский историк Тит Ливий. Софокл и Ярослав Гашек. Библия и Максим Горький. Франсуа Вийон и Эптон Синклер. Шекспир и Ведекинд. Киплинг и Шиллер. Дидро и Мей Лань-фан. Рембо, Шоу, Гете, Лукреций, Бюхнер, Мольер, Свифт, Граббе, Плутарх, Лессинг, Марло, Стивенсон, Мейерхольд, Ленц, Карл Краус, Гей и т. д.— список можно было бы значительно продолжить...»

Но, говоря об источниках Брехта, И. Фрадкин ставит перед собой не задачу накопления эмпирических сведений, а, останавливаясь на важнейших из них, показывает, как они переосмыслились, каким активным, творческим было отношение Брехта к наследию.

Через всю монографию проходит важная тема, как проходила она начиная с двадцатых годов через всю идейную и

творческую жизнь Брехта,— отношение к марксизму. И. Фрадкин не ограничивается уже ставшим хрестоматийным свидетельством Брехта, как он, желая разгадать непроницаемые тайны чикагской хлебной биржи, обратился к «Капиталу», не ограничивается и собственным справедливым наблюдением, что к диалектике и материализму Брехта подготовил смолоду присущий ему реалистический и рационалистический характер мышления. Он — и это, пожалуй, самое важное — показывает, как вели Брехта к марксизму его этические искания и та практика общественно-политической борьбы, в которую писатель вступил, едва затронул своими произведениями социальное устройство окружающего его мира.

«Брехту всегда, начиная с первых его произведений, было глубоко присуще чувство активного сострадания по отношению к жертвам любой несправедливости. Ведь именно этими мотивами определялась и его антивоенная позиция в 1914 — 1918 гг., и тот — вспомним о нем! — критерий, которым он руководствовался в своей рецензии на «Дон Карлоса», и его внешне циничные, а по сути исполненные боли и горечи баллады из «Домашних проповедей» о людях, униженных до состояния животных. И марксизм привлекал Брехта, несомненно, не только как наука об обществе, но и как программа общественного действия, как практический способ осуществления социального добра и ликвидации социальных уродств и жестокостей. Чувство гуманности и справедливости не только не было чуждо Брехту (не следует представлять его себе этаким бесстрастной и бесчувственной машиной логического мышления) — оно также влияло на мировоззрение Брехта, диктовало ему политический выбор, политические решения».

Это не просто утверждается, а доказывается всем ходом исследования. При этом автор монографии не замалчивает, что на первых порах освоения марксизма Брехту были присущи «нетерпимость догматического свойства, неумеренный радикализм не-офита». Издержки исканий не только названы — вскрыта их связь со временем, в частности с распространенными в тридцатые годы вульгарно-социологическими концепциями.

Мировая Брехтиана огромна. «Число работ о нем только на немецком языке уже перевалило за две тысячи. Одних лишь монографий и специально ему посвященных

книг насчитывается уже около полусотни. Ни один немецкий писатель XX в., кроме разве только Томаса Манна и Кафки, не привлекал и не привлекает к себе такого внимания исследователей», — пишет автор рецензируемой книги и вводит нас в самую гущу давно начавшегося и не прекращающегося по сей день сражения вокруг Брехта. И вступительная статья, и вся книга дают характеристики важнейших советских и зарубежных работ о Брехте. Эти характеристики содержательны и точны. Автор объективно и с уважением отмечает все ценное, что сделано другими исследователями Брехта, даже если он не согласен с ними в трактовке частных проблем.

Непримирим и резок он там, где речь

идет о некоторых западных фальсификаторах творчества Брехта. Важно отметить, что там, где появляется резкость, она обоснована. Так, например, измышления Мартина Эсслина, которыми наполнена его книга «Брехт. Парадокс политического художника», не просто названы ложью — их лживость доказана кропотливым разбором.

Насыщенная огромным количеством фактического материала, содержательная полемическая монография И. Фрадкина будет интересна всем, кто занимается творчеством замечательного немецкого драматурга, поэта и режиссера. Можно надеяться, что она найдет отклик и у широкого читателя.

С. ЛЬВОВ.



## УБИЙСТВО СТАНОВИТСЯ ОБЫКНОВЕННЫМ

Трумэн Капоте. Обыкновенное убийство. Документальная повесть. Перевод с английского В. Познера и В. Чемберджи. «Иностранная литература», № 2—4, 1966.

Когда в американской печати появились первые сообщения о том, что Трумэн Капоте работает над документальной повестью об убийстве целой семьи в штате Канзас, это очень удивило многих читателей, знавших прежние книги Капоте.

Он был известен как автор ювелирной, утонченной прозы, тщательно выписанных рассказов и повестей, действие которых замыкалось в маленьком, тесном мирке, чаще всего в пределах одной изломанной судьбы, больной человеческой души.

Персонажи его книг напоминали причудливые растения из ботанического сада. Героиня повести «Завтрак у Тиффани» (1958; напечатано в журнале «Москва», № 4, 1965) говорит своему другу, начинающему писателю, что в его рассказе «одни сопляки и негры. Дрожащие листья». Эта характеристика музыкально точно соответствует раннему Капоте: дети и негры. Дрожащие листья.

Повесть «Лесная арфа» (1951; напечатана в «Новом мире», №№ 6, 7, 1966) — полусказка-полубыль, воплощение смутных воспоминаний, зыбких, мерцающих, ускользающих. Герой, мальчик Коллин, бежит из дому вместе со старой теткой и служанкой негритянской. Они убегают почти так же, как некогда Гек Финн. Они бегут тоже на своеобразный плот, только их плот не движется по реке, а застыл на ветвях дерева.

Герои этой повести отнюдь не бунтари, не стремятся ничего изменять — ни мир, ни свой город, ни свой собственный дом. Но они чужды и даже мешают столпам общества. Недаром к их странному жилищу отправляется одна карательная экспедиция за другой. Общество преследует людей, которым не нужно ни денег, ни постов, которым радостно существовать, как птицы на ветвях деревьев, которые живут мечтами. «Когда человек не может мечтать, — говорит один из «древесных» жителей, — он все равно что не может потеть — в нем накапливается яд». Без мечты жизнь бессмысленна, даже отравлена. Мечта помогает раскрыть поэзию, ощутить природу. Только простым и чистым душам так открывается небо и лес, только они слышат голоса ветра, голос реки, песни трав. С высоты древесного дома беглецы видят то, что недоступно другим. В этой повести Капоте по-новому оживает фольклор южных штатов, в ней слышны отголоски негритянских народных песен и сказок.

Беглецы провели в древесном доме немного времени, но эти часы не прошли бесследно. Именно эти часы — жизненно важные; для героя они остаются важнейшим воспоминанием детства. По этим часам выверяются дни, месяцы, годы обычного существования. Но от звезд люди неминуемо воз-

вращаются к земле. И «древесный дом начал таять, таять, как мираж».

Героиня повести «Завтрак у Тиффани» Холли Голайтли — добрая и незадачливая девушка, которой тоже нет места в обществе. Мечтательная и безрассудная, белая ворона в мире корысти, жестокости, подлости. Множество раз ее обманывают, оскорбляют, предают, а она упрямо верит в доброту и справедливость. Соседи-обыватели строго осуждают ее «аморальное» поведение. Она ведь и впрямь нарушает нормы «добропорядочного» общества. Но лирический герой повести пытается прорваться сквозь внешние впечатления ее беспорядочной жизни, пытается понять, осмыслить ее судьбу. И оказывается, что за «прожиганием» дней, за мишурной поверхностью скрыты горькое одиночество, незащищенность, обреченность молодой души. Всем своим существованием она, так же как и мечтательные беглецы из повести «Лесная арфа», отрицает тот бездушный, лицемерный мир, в котором она живет, отрицает претензии этого мира считаться нормальным.

«Можно кем угодно быть, только не трусом, не притворщиком, не лицемером, не шлюхой — лучше рак, чем нечестное сердце. И это не ханжество. Простая практичность. От рака можно умереть, а с этим вообще жить нельзя», — говорит Холли. Она хочет быть самой собой. А у нее ведь все заемное, временное, зыбкое, как мыльный пузырь, даже имя. Миражи, иллюзии — единственное прибежище от жестокой действительности. Единственное, но ненадежное. Крушение иллюзий губительно, оно разрушает, отравляет жизнь.

К 1959 году, когда началась работа над повестью «Обыкновенное убийство», Трумэн Капоте был, как полагали, уже вполне сложившимся писателем. Американские исследователи литературы, критики прочно установили его репутацию, было известно, что книги Капоте изящны, экзотичны, замкнуты в проблематике индивидуальных, вернее — индивидуалистических, судеб. Представить себе этого изысканного эстета в роли полицейского репортера было нелегко. Сам Капоте так объяснял смысл своей новой работы корреспонденту газеты «Нью-Йорк таймс»: «Беллетристика становится все более и более субъективной... писатели все более и более удаляются в глубины собственного «я». И вот он сам понял,

что и он тоже «все более занимается изображением самого себя». Поэтому он решил изменить свою творческую жизнь так, чтобы жить в том мире, в котором живут другие люди».

В другом интервью Капоте говорит, что почувствовал внутреннюю необходимость «вырваться из мрака, который сам создал». Писатель, раньше творивший только для избранных, теперь стремится создать произведение, которое должно стать нужным многим, очень многим. Тем, кто просматривает лишь газеты, кто предпочитает кино книгам, тем, кто никогда не читает стихов, не знает ни Хемингуэя, ни Фолкнера, но помнит имена всех прославленных гангстеров, спортивных чемпионов и кинозвезд. Тем, кто ежевечерне сидит перед телевизором, тем, кто с замиранием сердца следит за футболом, боксом, регби. Миллионам.

В этом стремлении он не одинок. Тревога за судьбы литературы присуща многим крупным писателям. Так, Генрих Бёль, выступая летом 1965 года с лекциями во Франкфуртском университете, сказал, что современная литература чаще всего недостойна своей высокой ответственности перед обществом. Уклонением от этой ответственности Бёль и объясняет «претензии той литературы, которая с образцовой красотью выражает нечто ничего не говорящее, ничего не значащее, лишает человека всего человеческого, связанности с другими людьми, лишает социальности; его, ничего не значащего, помещает в ничего не значащую среду. Такая литература... ничего не высказывает, ничего не выпускает наружу, ни единого сообщения, ни единого слова, способного возбудить тревогу; остается в своем кругу, в своем кружке, никаких движений, направленных вовне, только ритм собственных колебаний».

Описывая «обыкновенное убийство», Капоте делает смелый шаг от подобной замкнутой, безответственной литературы «в тот мир, в котором живут другие люди».

Своих старых и новых читателей он заставил тревожно задуматься над одной из самых мучительных проблем современной Америки, и не только Америки.

Завоевать массовую, многомиллионную аудиторию Капоте сумел и тем, что, оставаясь зорким художником, чутким исследователем психологии, мастером слова живописного и музыкального, он вместе с тем заставил служить себе все те средства и

приемы повествования, которые создают популярность дешевого чтива, детективной и приключенческой беллетристики, сенсационных газетных репортажей. Он, разумеется, не первый открыл возможность такого сочетания «высоких мыслей» и «низких сюжетов», к этому прибегали уже Диккенс и Достоевский. Но Капоте осуществляет это по-своему, используя многообразный опыт современных многотиражных «бестселлеров», кинофильмов, телепередач, его рассказ «держит читателя». Капоте блестяще владеет литературной техникой — он уже дважды получал премию О'Генри за лучшую новеллу года. Но в этой книге дело не столько в литературной технике. «Обыкновенное убийство» существенно отличается от криминальных романов: ведь здесь нет никаких загадок, никакой тайны, заранее известно, что Клаттеры будут убиты, заранее известно, кто их убийцы. Автор уже с самого начала обо всем предупреждает читателей. Книга читается с неослабным напряжением потому, что, рассказывая, она ставит вопросы — такие, которые не могут не волновать каждого.

Нет, наверно, в Америке, да и в других странах человека, который не сталкивался бы со страшными, бессмысленными преступлениями или по крайней мере не слышал бы о них. Кто же их свершает? Кто убийцы? В какой среде они выросли? Воспитывались? Кто их родители? Кто учителя? Какие книги они читали? Кто их друзья? Как прошло их детство?

И в конце концов вопрос вопросов: как, почему обыкновенный человек становится преступником? Или преступниками рождаются?

Поставить такие вопросы — значит вторгнуться в самые важные области существования современного человека.

Каждый американский роман, как правило, предваряется авторским замечанием: «Все имена, характеры и события в этой книге вымышлены, и любое возможное совпадение с реальными людьми — чистая случайность». Это делается, чтобы предотвратить обвинение в клевете.

Капоте настаивает на противоположном: все факты, имена, разговоры, приведенные в книге, подлинны. Во многих интервью он подробно рассказывает, как он готовился к работе над этой книгой, как учился запоминать (с тем чтобы не записывать при собеседнике) и как научился воспроизводить

по памяти не менее девяносто процентов услышанного. Но и без этих специальных напоминаний не возникает и тени сомнения в достоверности. Все достоверно: быт, описание города Гарден-сити и деревушки Холкомб, фермы Клаттеров и больших дорог Америки. Читатель верит, что описанное произошло именно там, именно тогда, именно с теми людьми. В принципе здесь нет специфики документального жанра — таково воздействие каждого художественного произведения: иллюзия реальности.

В документальном жанре — и книга Капоте это подтверждает — действуют общие законы искусства: отбор фактов, организация материала, внесение порядка в хаос. И здесь тоже для создания скульптуры берется глыба и удаляется все лишнее.

Убитые Клаттеры жили в мире идеальном; их фруктовый сад назывался яблоневым Эдемом. Герб Клаттер, хозяин фермы, — образцовый американец, словно сошедший с рекламы. У него даже необходимая черта любой американской рекламы — ослепительно белые зубы. «Ешьте яблоки и улыбайтесь!» И он ест яблоки и улыбается. Он не пьет, не курит и даже обходится без кофе и чая. Дочка Нэнси — идеальная девушка, все умеет, все делает сама, умная, способная, красивая, послушная. Безмятежное существование омрачается разве что болезнью Бонни, жены Герба, да привязанностью дочери к мальчику из семьи католиков (Клаттеры — методисты). Но эти набегающие тени только яснее подчеркивают царящую безмятежность.

Само изображение семьи Клаттеров дано Капоте в замедленной, добротной реалистической манере. Автор подолгу задерживается на описании вещей: красное платье Нэнси, лакированный сундучок, который Кенъен делает в подарок старшей сестреневесте. Эти мирные детали необходимы для контраста последующему ужасу, нужны и чтобы дать читателю почувствовать на ощупь, что будет бессмысленно разрушено; но это явно еще и приятно автору, доставляет ему удовольствие, чистую художническую радость.

Изображенный Капоте мир процветающей американской семьи есть мир иллюзорный. Клаттерам свойственны иллюзии совсем иного рода, чем героям «Завтрака у Тиффани» или повести «Лесная арфа», но и это иллюзии. Из их мира исключено зло. Тем более такое непоправимое зло, как

убийство. Ведь до самой последней секунды глава семьи убежден, что в дом ворвались простые грабители, которым ничего не нужно, кроме денег.

Клаттерам, как и большинству окружающих их людей, кажется, что богатство, образование, труд, добрые отношения в семье, исполнение повседневных обязанностей — все это надежнейшие формы защиты от зла, от хаоса, от иной, бездомной, нищей, преступной Америки.

И ведь жизнь Клаттеров и впрямь оканчивается как бы обернутой в целлофан. Но внезапный порыв — и вот совсем рядом страшный оскал преступности, жестокая дикость, зверство.

Преступление в Холкомбе изображается автором как совокупность ряда сложных причин: жажда денег и зависть к тем, у кого все есть, наследственность (у Перри), то обстоятельство, что их было двое, — там, где, возможно, отступил бы один, они подогрели друг друга. Есть и совершенно извращенные формы самоутверждения (так, уже после убийства Дик вполне сознательно давит собаку колесами машины просто для того, чтобы «доказать»). Есть и тайные пропасти души, куда трудно добраться и социологу и писателю-исследователю. Убийство буднично и чудовишно.

Нашлись среди критиков книги и такие, кто утверждает: рост преступности вообще и убийств в частности вызывается мрачным взглядом на жизнь, который господствует в современной литературе. Так, Ребекка Вест пишет: «Умные люди полагают, что жизнь невыносима и, следовательно, не так уж страшно довести эту мысль до ее логического завершения и отнять жизнь у другого человека. Когда обнажаются язвы общества, убийца ощущает, как он возвышается: оказывается, он просто принадлежит к немногим сильным и логически мыслящим людям, отличающимся от слабых, не способных провести свои убеждения в жизнь... Существует отвратительная связь, связь между литературным миром и миром убийц, изображенных Капоте».

Однако большинство читателей и критиков справедливо полагает, что корень зла не в литературе, а в общественном устройстве. Капоте говорит, что «около 70 процентов авторов писем считает, что моя книга — отражение американской жизни: противоречия между жестокой, отчаявшейся,

блуждающей, дикой Америкой и другой, вполне удовлетворенной, защищенной».

В книге множество фактов, деталей, которые подводят именно к таким выводам: через одиннадцать месяцев после трагедии в Холкомбе была ограблена почтмейстерша; студент биологического факультета Эндрюз, сосед Дика и Перри по камерам смертников, хладнокровно убил родителей и сестру опять же ради денег. Сам убийца Перри оказался нужным своей стране только один раз — во время войны в Корее; за участие в этой войне он был награжден бронзовой медалью.

Определяющие причины преступления — неблагополучие мира, неблагополучие общества. Таков объективный, художественный вывод романа. Впрочем, понятие «вывод» можно употреблять весьма условно. Капоте скорее дает читателю богатый материал для размышлений, сопоставлений, прокладывает те пути, по которым можно прийти к ответам, к выводам.

Книга Капоте свидетельствует: понизилась цена человеческой жизни. Даже для тех, кто регулярно посещает церковь, заповедь «не убий» потеряла свой буквальный, бесспорный смысл.

С малых лет люди видят, слышат, читают о пролитой крови — на бесчисленных войнах, в лагерях, в столкновениях с полицией. Астрономические цифры убитых, уничтоженных невольно порождают ощущение: какая разница, если к этим миллионам прибавится еще одна, две, пять, десять отнятых жизней?

Зрелище насилия рождает насилие. Что публичные казни средневековья по сравнению с телевизором, по которому миллионы американцев увидели убийство Кеннеди и сразу же убийство Ли Освальда. (Где-то в подтексте книги, за изображением улыбающегося Герба Клаттера, быть может, и стоит одна из страшных фотографий тех дней: Кеннеди с Жаклин в открытой машине — улыбающиеся, счастливые, на вершине славы, богатства, власти — за несколько минут до трагедии.)

Миллионы американцев по телевизору видели столкновение борцов за свободу негров с полицией, с южными расистами, видели, как полицейские овчарки рвут маленьких детей. По телевизору видят войну во Вьетнаме. Так воспитывается привычка к насилию, привычка к убийству.



Так воспитываются люди, убежденные в том, что общество не несет за убийство никакой ответственности, люди, полагающие, что есть только один путь к прекращению преступности — жестокость. Одна из читательниц повести Капоте прямо пишет, что обвинять общество за зверское убийство в Холкомбе — это «сентиментальные глупости». «Личность убийцы всегда видна, и, конечно, можно найти пути, чтобы еще в детстве изъять из общества тех, кто способен на убийство... Нам нужна более сильная полицейская власть и надо усмирить тех негодяев, которые любят визжать о «полицейских жестокостях», когда поймают преступника». Далее автор письма, принадлежащий к тем, кто после любого приговора говорит: «Мало дали», требует более жестоких наказаний преступникам.

Отношение Капоте к убийству совершенно определено, безоговорочно. Он обнажает отвратительность его и при этом полную абсурдность: сорок долларов — вот все, что было взято в доме Клаттеров, вот цена шести человеческих жизней.

Сложнее и противоречивее отношение автора к убийцам. Капоте провел с ними много часов, подолгу разговаривал с ними, пытался войти в их внутренний мир, постичь их побуждения.

Изображая внешность Дика, автор пишет, что его лицо «словно состояло из частей, плохо пригнанных друг к другу».

Таковы же души и у Дика и у Перри. Расщепленные души, состоящие из разъединенных частиц. Потому можно ночью убить, а в полдень сидеть как ни в чем не бывало дома перед телевизором с родителями, смотреть спортивные состязания и спокойно уснуть от усталости. Потому можно говорить, как Перри: «Твоя мать удивительно милая женщина» — и никак не сопоставлять эти слова с другой матерью, с Бонни Клаттер, которую они заставили слушать, представляют себе, как убивают ее детей, а потом убили ее саму.

Дик пришел к убеждению, что Перри — «тип поистине редчайший — совершенно нормальный, но лишенный совести человек, который способен убивать без всякой цели». Такие люди существовали всегда, но после второй мировой войны и фашизма их стало больше и они представляют собой гораздо более реальную и страшную угрозу обществу.

Перри ближе, чем другие персонажи «Обыкновенного убийства», к миру прежних героев Капоте. Физическое уродство — маленькие ножки, деталь, к которой художник настойчиво привлекает внимание, — мрачный до бреда мир его детства.

Страшное, исполненное жестокостей детство Перри отчасти объясняет совершенное им чудовищное преступление. Но объясняет только отчасти и нисколько не оправдывает. Потому что в одинаковых обстоятельствах разные люди ведут себя по-разному. И нет таких обстоятельств, которые автоматически предопределили бы убийство.

Ведь сестра Перри не стала преступницей, как не стали преступниками сотни тысяч людей, воспитанных в той же обстановке, что и Дик. Но этот мотив — личной ответственности человека за свои поступки — звучит в книге приглушенно, вяло.

В прежних книгах Капоте именно в людях, нарушавших общественные нормы — как беглецы в древесном доме, как Холли Голлайтли, — воплощались доброта, сердечность, способность к настоящим чувствам. Здесь нарушители общественных норм — негодяи. Но это различие недостаточно отчетливо.

У Дика и Перри — сочетание сентиментальности и жестокости. Перри возит с собой целый сундук реликвий. У Дика среди прочих рисунков вытатуирован букет цветов и надпись: «Маме — папе».

Капоте остается и свидетелем, и общественным обвинителем не только в изображении самого убийства, но и в изображении казни убийц. Как и Гуго, Торо, Тургенев. Толстой, он выступает противником смертной казни. Отвратительный ритуал у виселицы уничтожает одного, двух, трех извергов. Но и сам по себе, и связанная с ним публичность — пресса, радио, телевидение, — возбуждающая массовое любопытство к «работе» палачей, неотвратимо содействуют тому, что убийство становится обыкновенным.

Среди многочисленных откликов на роман, появившихся в американской печати, любопытна статья левого критика Ли Баксандаля «Капоте и старый советский лозунг». Автор размышляет о призыве сблизиться с жизнью, о первых годах советской литературы (особо выделяя теории и практику Лефа, произведения Сергея Третьякова), размышляет о «позитивном содержании многих совет-

ских лозунгов» и приходит к выводу: «Каковы бы ни были намерения Капоте, этот крупный писатель-«декадент» воплотил в жизнь известный советский лозунг». Его статья заканчивается так: «Здорово было бы, если бы наши анархистствующие невропаты, как Беллоу, Рот, Барт, Пинч, Мейлер,—каждый по-своему приняли бы совет русских писателей. Трудно предположить, но ведь Капоте это удалось, почему же такое не может удаться другим?» Капоте действительно сделал важный шаг, важный не только для его творческого развития.

Однако читаешь, перечитываешь книгу Капоте, и неожиданно возникает чувство неудовлетворенности. Нравственной неудовлетворенности.

Автор выполнил поставленную задачу: создал строго документальную, объективную повесть, в которой он сам как бы и вовсе отсутствует. Материал отчужден от писателя. Капоте совершил путешествие в мир зла, именно путешествие добросовестнейшего ученого-исследователя, который все виденное записал, все принял во внимание, все передал читателю.

Но, видимо, мало фактов, даже и тщательно отобранных, мало стройного порядка, который господствует в книге. Мало ее блистательной техники.

Неудовлетворенность, которую испытываешь, когда закрываешь последнюю страницу книги, тонко сформулирована американским критиком Хиксом: «Я все же хотел бы заметить, что, хотя Капоте и написал очень хорошую книгу, «Преступление и наказание» — книга великая».

Повесть в оригинале названа «Хладнокровно». Название дало повод некоторым критикам говорить, что и сам Капоте написал свою книгу «хладнокровно». Это преувеличение. Не хладнокровно, но несколько отстраненно.

И все же книга Капоте — событие. Автор горько и недоуменно спрашивает. Книга заставляет задуматься над главными проблемами современности, книга печальная, умная, тревожащая, книга о «безумном, безумном, безумном мире», в котором убийство становится обыкновенным.

Р. ОРЛОВА.



### Политика и наука

## ПЛАН, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, СТИМУЛЫ

Серия «Экономисты о новой хозяйственной реформе в СССР». 10 брошюр. «Экономика». М. 1966;

С. П. Первушин. Необходимость и сущность хозяйственной реформы. 35 стр.;

Л. А. Леонтьев. Хозяйственная реформа и некоторые вопросы экономической теории. 24 стр.;

И. С. Малышев. Экономические законы социализма и планирование. 34 стр.;

Б. С. Николаев, Н. Я. Петраков, С. И. Лушин. Прибыль — экономическая категория социализма. 19 стр.;

З. В. Атлас. Хозрасчет, рентабельность и кредит. 43 стр.;

Л. А. Вааг. Плата за производственные фонды и эффективность их использования. 32 стр.;

В. Д. Белкин, Н. И. Бузова. Экономические методы хозяйственного руководства и пересмотр цен. 22 стр.;

В. В. Кистанов, В. М. Костеников. Территориальная организация производства в новых условиях. 18 стр.;

Е. А. Черток, Е. А. Целыковская. Новые методы планирования на предприятиях автомобильного транспорта и швейной промышленности. 20 стр.;

С. И. Шкурко. Новая система материального стимулирования. 54 стр.

Все эти брошюры пронизывает единая авторская концепция, хотя, как известно, по поводу экономической реформы было и есть немало разноречивых суждений и точек зрения.

Прежде всего авторы предостерегают от того, чтобы считать все решительно изме-

нения в планировании и управлении экономикой, происшедшие до 1966 года, надуманными и совершившимися по чьей-либо единоличной прихоти. Конечно, были и такие мероприятия, которые проводились без достаточного научного обоснования. Можно вспомнить, например, разделение партийных

и советских органов на сельские и промышленные, которое впоследствии было осуждено как нанесшее вред делу.

С. П. Первушин справедливо подчеркивает, что организация управления промышленностью через совнархозы позволила устранить определенные недостатки, вытекавшие из ведомственной разобщенности отраслей промышленности, и несколько упорядочить территориальную организацию производства. Были расширены возможности специализации промышленности и ее кооперирования в пределах экономического района, созданы специализированные заводы по ремонту оборудования, производству заготовок, инструмента, улучшилась организация материально-технического снабжения. Но переход к территориальному принципу управления не затронул ни характера отношений предприятий с руководящими органами, ни внутреннего содержания планово-экономической работы. Опыт показал, что они остались такими же, какими сложились за многие годы работы предприятий в системе наркоматов и министерств.

В брошюрах подробно раскрывается, что коллективы предприятий не обладали реальными экономическими условиями для развития полезной хозяйственной инициативы, материально не побуждались к полному выявлению производственных резервов. Существовавший порядок планирования и оценки результатов хозяйственной деятельности порождал стремление скрывать действительные резервы. Авторы рассказывают о том, что сохранялись прежние методы разверстки планов, планирования от базы, шаблонное увеличение программы на такой-то процент, выполнение плана «любой ценой».

На основе всего этого делается вывод, что реорганизация управления промышленностью и строительством по территориальному принципу не дала ожидаемых результатов. Подорвав в значительной мере действенность прежних методов руководства, она не создала стимулов для развития хозяйственной инициативы.

Известно, что центральные плановые органы из-за многоступенчатости и параллелизма управления тратили немало времени, чтобы преодолеть неразбериху, и уделяли больше всего внимания тому, что и где произвести, изыскивали пути покрытия недостающих материалов и изделий, упуская из виду фундаментальные, перспективные

вопросы развития народного хозяйства — планирование темпов, пропорций, структуры общественного производства.

В чем суть нынешней реформы? Главное — в переходе от прежней, преимущественно административной системы хозяйственного руководства к системе с преимущественным использованием экономических методов и стимулов хозяйственной деятельности. При новых системах планирования и управления для всех социалистических стран становится все более характерным сосредоточение центральных государственных органов хозяйственного руководства на наиболее общих перспективных проблемах единой государственной политики в области финансов, цен, кредита, оплаты труда, планирования производства, обмена и потребления и т. д. Что же касается предприятий, то во всех социалистических странах (конечно, со своими особенностями и спецификой) они все более самостоятельно, на основе прямых связей с поставщиками и потребителями, формируют свою производственную программу и программу реализации. Всячески развиваются хозяйственные условия их деятельности, в связи с чем вводится платность фондов, повышается роль кредита, усиливается материальная ответственность за выполнение договорных обязательств. Все это сочетается с усилением материальной заинтересованности работников в результатах производства; всячески стимулируется повышение качества выпускаемой продукции, снижение затрат, внедрение достижений научно-технической мысли в практику.

Не секрет, что пока еще качество продукции у нас не всегда отвечает современным научно-техническим требованиям, что некоторые виды оборудования по своим конструктивным и эксплуатационным показателям еще уступают мировым стандартам. И когда «эксперты по Восточной Европе и СССР» приводят такого рода факты, они не делают открытия. По этому поводу бьет тревогу прежде всего сама общественность социалистических стран. Но миссия антикоммунистов иного рода: они всячески раздувают временные трудности социалистического роста, спекулируют на них, чтобы извратить общую картину экономического развития, «подогнать» действительность под декларируемый ими вывод о «неспособности» социалистических государств решать проблемы научно-технического прогресса и

качества продукции. К сожалению, в брошюрах этой серии почти нет критики буржуазных концепций о «капиталистической эволюции» советской экономики и других социалистических стран в связи с реформами.

Ныне одним из главных критериев оценки хозяйственной деятельности будет использование новейших достижений науки и техники. Почему сейчас так остро поставлен вопрос о качестве? Есть ли это результат только недостатков в производстве отдельных видов продукции? Конечно, такие недостатки нетерпимы, и интересы прогресса социалистического производства, лучшего удовлетворения потребностей народа предполагают их быстрое устранение. Но дело также и в том, что в ходе строительства коммунистического общества на базе новейших достижений научно-технической революции совершается глубокий качественный переворот в материальных основах общественного производства, происходят крупнейшие сдвиги в структуре народного хозяйства. Этот процесс будет наиболее успешным только при постоянно растущем качестве продукции, отвечающем высшим техническим стандартам.

Авторы брошюр решительно выступают против тех работников, которые полагают, что планирование ведется само по себе, а деньги, цена, прибыль выступают лишь как второстепенные, дополнительные инструменты, которыми плановики могут, конечно, пользоваться, а могут и без них обойтись. Л. А. Леонтьев справедливо отмечает, что некоторые наши экономисты, долгое время объяснявшие наличие товарно-денежных отношений недостаточной зрелостью социализма, теперь прибегают к оговорке, что закон стоимости при социализме нельзя идеализировать. Естественно, что возникает сомнение в правильности такой постановки вопроса. Что сказал бы физик, если бы его спросили, можно или нельзя идеализировать, к примеру, закон сохранения энергии? Он, по-видимому, объяснил бы, что по отношению к законам объективного мира понятие идеализации совершенно неуместно. Но в экономической науке приходится, к сожалению, встречаться с постановками вопроса, невыслыжными в других науках. Далее Л. А. Леонтьев пишет:

«По отношению к объективным законам можно было бы повторить слова Спинозы: не плакать, не смеяться, а понимать. Оче-

видно, объективные экономические законы социализма надо понимать и в соответствии с ними действовать. Лишь тогда практическая деятельность приводит к поставленной цели. Можно, конечно, игнорировать или нарушать объективные законы, но это всегда так или иначе мстит за себя. Как говорится, закон есть закон!»

Вместе с тем нельзя принять без оговорки данную в серии трактовку соотношения между планом и рынком. Правильно ратуя за то, что в социалистическом обществе распределение ресурсов не может игнорировать трудовые затраты в соотношении с потребностями общества, что учет этого соотношения при социализме осуществим только в стоимостных категориях, в ряде брошюр недостаточно четко раскрывается, что все же основные пропорции в развитии экономики определяются планом. Процесс реализации товаров служит средством правильной увязки плана с потребностями. Иными словами, он помогает уточнить распределение труда и средств производства между отраслями, которое происходит на основе планомерного, пропорционального развития экономики.

В своей брошюре Б. С. Николаев, Н. Я. Петраков и С. И. Лушин выступают против тех, кто заявляет о неприемлемости показателя прибыли при социализме. Они на конкретных примерах и с помощью убедительных аргументов раскрывают, что прибыль и цена должны не противостоять плану, а, напротив, подкреплять его. Лишь тогда, когда прибыль верно выражает потребности плана, она может быть источником материального стимулирования. Зависимость между величиной полученной прибыли и премиальным фондом объективно обусловлена всем строем экономических отношений социализма. Стремление увеличить прибыль при социализме прямо совпадает с общественными интересами. Авторы ставят ряд практических вопросов определения научно обоснованных критериев распределения прибыли.

В брошюрах подчеркивается, что проведение хозяйственной реформы сделает возможной и вместе с тем необходимой перестройку всей действующей системы контроля за предприятиями. Подобная перестройка, по мнению З. В. Атласа, должна предусматривать упрощение системы контроля, устранение параллелизма и достижение полной координации действий контроль-

но-ревизионных органов. Очевидно, необходимо реже, но зато более тщательно анализировать производственно-хозяйственную деятельность предприятий и широко обсуждать итоги таких обследований на партийно-производственных активах. Вполне правомерно освобождать предприятия, имеющие положительные результаты по обобщающим показателям, от контроля за выполнением частных показателей и нормативов.

Авторы ставят законный вопрос: почему из-за нерадивых хозяйственников все объединения и предприятия страны, в том числе и рентабельные, повышающие экономическую эффективность производства, ограничены в своих хозрасчетных правах настолько, что не могут распоряжаться своими средствами для покрытия производственных затрат?

Немало интересных проблем поставлено и в области ценообразования. Правда, здесь, как и в вопросе о плате за производственные фонды и эффективности их использования, авторы нередко утрачивают контакт с аудиторией: переходят с общедоступного для массового читателя языка к языку сугубо специальному, что выпадает из общего стиля всей серии. Но тем не менее практическое значение рассматриваемых проблем несомненно. По мнению авторов, новые цены призваны обеспечивать соизмеримость производственных результатов и затрат между собой, то есть единообразно и полностью отражать издержки производства, включать прибыль, пропорциональную производственным основным и оборотным фондам, и дифференциальную ренту.

В брошюрах рассматриваются также актуальные вопросы территориальной организации производства в новых условиях. Основным звеном такой организации может и должен стать крупный экономический район. Авторы вносят предложения о создании территориальных главков в крупных экономических районах (не только по союзно-республиканской, но и по союзной промышленности), об организации объединений по руководству специализированными предприятиями межотраслевого характера, о необходимости особых планов, увязанных со схемами районной планировки, для новых формирующихся промышленных районов и узлов — Средне-Обского, Курской магнитной аномалии, Итатского и других. Они предполагают сосредоточить промышленное строительство в сравнительно ограниченном

количестве районов, но вести его комплексно и быстро, обеспечивая материальными и финансовыми ресурсами не отдельные строящиеся предприятия, а целые промышленные узлы.

Теоретические проблемы экономической реформы тесно увязываются в брошюрах с практикой социалистического хозяйствования. Это характерно для всей серии. Но, кроме того, в ней есть и специальная работа Е. А. Черток и Е. А. Цельковской, которая рассказывает о новых методах планирования на предприятиях автомобильного транспорта и швейной промышленности — об экономических экспериментах в Таганроге, Ленинграде, Москве и Горьком. Однако, к сожалению, живого, доходчивого рассказа здесь не получилось. Это скорее статистический отчет, служебный доклад, нежели разговор с читателем по душам.

Завершает серию брошюра о материальном стимулировании. Ее автор — начальник отдела Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы С. И. Шкурко — освещает основные и наиболее принципиальные стороны мероприятий по усилению материальной заинтересованности и повышению эффективности производства.

Хотелось бы отметить один существенный недостаток этой серии. Не всегда авторы раскрывают трудности, стоящие на пути осуществления хозяйственной реформы, и не нацеливают тем самым наших хозяйственников на их преодоление. Имеется в виду необходимость научно обоснованной дифференциации заработной платы, подготовки новых нормативов, а главное — психологической перестройки и систематической, глубокой воспитательной работы с нашими кадрами, которые еще не всегда решительно пользуются правами самостоятельности, предоставленными ныне предприятиям. Некоторые же работники министерств по привычке отдают предпочтение «добрым» старым методам всеохватывающих директивных указаний, чем могут лишь заглушить творческую инициативу хозяйственников.

Есть в брошюрах огрехи, есть и противоречия. Но в целом выпуск серии «Экономисты о новой хозяйственной реформе в СССР», несомненно, заслуга издательства «Экономика».

**В. СМОЛЯНСКИЙ,**  
*кандидат экономических наук.*

## «ПОТОМСТВО ОТОМСТИТ ЗА МЕНЯ»

Георгий Шторм. Потаённый Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву». «Советский писатель». М. 1965. 295 стр.

А. Н. Радищеву было двадцать четыре — двадцать пять лет, когда он служил в Петербурге в штабе 9-й финляндской дивизии. Ею командовал Я. А. Брюс, петербургский генерал-губернатор и один из главных организаторов подавления восстания Пугачева. А. Н. Радищев состоял в его штабе обер-аудитором, то есть дивизионным прокурором, в самые годы восстания, в 1773 — 1775 годах, и был по документам и изустно от приезжавших с мест сражений осведомлен о всей великой внутренней войне. Он вдыхал ее порох, он читал манифесты Пугачева. К осени 1774 года армия Екатерины II вышла победительницей, а Пугачев с несколькими соратниками доставлен в Москву. Их казнь состоялась на Болотной площади 10 января 1775 года. А 6 января вперед штаба Брюса выехал из Петербурга в Москву обер-аудитор Александр Радищев.

Этот факт впервые открыл не боящийся архивной пыли Георгий Шторм. В хозяйственных дворцовых документах он разыскал запись о выдаче Радищеву билета на поставку ему со спутниками трех подвод и лошадей. Г. П. Шторм рассчитал точно: «Лица придворного и военного ведомства, обеспеченные хорошими лошадьми, ездил быстро и преодолевали расстояние от Петербурга до Москвы на четвертые или пятые сутки. Таким образом, Радищев, скорее всего, прибыл в Москву 10 января, в день казни Пугачева» (стр. 210).

Присутствовал ли он при казни? Что передумал он за эти четыре-пять суток, когда перекладные несли его к заключительной сцене драмы великого восстания русских рабов, предыдущее действие которой он так досконально знал? При всей смелости в догадках, Г. П. Шторм не пытается связать это роковое путешествие Радищева из Петербурга в Москву с «Путешествием из Петербурга в Москву». Между ними действительно лежит промежуток в четырнадцать лет. Но психологически важно, что вскоре после этого жестокого путешествия Радищев вышел в отставку и, словно пытаясь забыться или, напротив, углубиться, укрылся в семейной жизни. Однако примерно с 1783 года — года смерти его первой жены, года разрешения частным лицам заводить

«вольные» типографии и, вероятно, года начала работы над одой «Вольность» — Радищев, по словам его покровителя А. Р. Воронцова, стал исключительно замкнут. Через шесть лет книга была готова. Та книга, которая навеки связала его с пугачевщиной. Та, которая вырвала у Екатерины II слова: «Бунтовщик хуже Пугачева». Та книга, в которой Радищев, по-видимому, видел свою голгофу, свой смертный путь к казни, подобной пугачевской. Г. П. Шторм справедливо обратил внимание на заключительные строки 2-й главы «Путешествия», где говорится о мужественном конце жизни, о жертве...

Как всякому известно, в 1790 году Радищев был арестован за отпечатание в своей домашней типографии около 650 экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву». Перед арестом он успел распорядиться об уничтожении оставшейся дома главной части тиража. Как и ожидал, он был приговорен к смертной казни. Затем к посевшему узнику Петропавловской крепости пришло помилование — ссылка в Сибирь. С воцарением Павла I, в 1797 году — разрешение поселиться в селе Немцово Калужской губернии. В 1801 году — перевод в Петербург по ходатайству А. Р. Воронцова, участие в работе Комиссии по составлению законов. 12 сентября 1802 года — загадочная смерть.

Книга Г. П. Шторма касается в основном последних трех лет. Ее идея: в 1799 году Радищев разогнул спину, он снова принимается за истребленное «Путешествие», соучаствует в размножении его рукописным путем.

Г. П. Шторм никак не ставит эти свои открытия в связь с вопросом о смерти Радищева. А мы попробуем зайти сначала с этого конца.

Есть две версии. Согласно одной, восходящей к Пушкину и устной традиции, Радищев покончил самоубийством. В книге Д. С. Бабкина «А. Н. Радищев. Литературно-общественная деятельность» (1966) приведены некоторые документы и показания сыновей в пользу версии о естественной смерти после тяжелой болезни или от несчастного случая. Но эти свидетельства нарочиты и, воз-

можно, прикрывают самоубийство. Не разбирая здесь деталей, сохраним пушкинскую версию. Ее держится большинство исследователей, в том числе и Г. П. Шторм. Но если самоубийство, то почему? Все найденные в книгах и статьях отвеги невразумительны. Между тем пусть немногие, но ясные факты говорят об одном: Радищеву снова грозила казнь. П. В. Завадовский, непосредственный начальник Радищева по Комиссии составления законов, пригрозил ему Сибирью, а его покровитель А. Р. Воронцов предупредил, что с ним поступят еще хуже прежнего. А хуже прежнего, хуже Сибири — это только казнь. Можно, кажется, даже точно датировать день, когда Радищев узнал о нависшей угрозе. 1 сентября 1802 года Радищев неожиданно ушел с заседания комиссии, не досидев до конца. 2 сентября он имел в середине дня краткую встречу с Завадовским. В тот же день Радищев слег в постель и сказывался больным до принятия яда 11 сентября. К этим дням относится написанная им записка: «Потомство отомстит за меня».

Отсюда и попробуем двигаться. Такие люди, как Завадовский и Воронцов, не могли не знать, что для ссылки в Сибирь или казни мало вольнодумства, нужен состав преступления, то есть действия, поступки. Раз предупреждали — значит, вскрылся состав преступления. Иными словами, к 1 сентября 1802 года какое-то следствие установило преступление А. Н. Радищева. Биографы и должны были бы выяснить, что за повторное преступление против законов Российского государства совершил А. Н. Радищев в последние годы своей жизни. Как оно раскрылось? Почему он предпочел самоубийство казни? Не потому ли, что следствие погубило бы и его сообщников или, может быть, раскрыло бы местонахождение копий «Путешествия»?

Из всех биографов и исследователей один Г. П. Шторм вплотную придвинулся к этой тайне. Он и не загадал эту загадку и не разгадал ее, но прошел от нее совсем близко, так что теперь ее уже нельзя не заметить. Вероятно, он сам и раскроет ее, ибо уже разорвал плену напополам.

Но прежде всего хочется сказать в целом об этой редкостной книге. Тот, кто начнет читать книгу Г. Шторма, не сможет закрыть, не прочитав все до последней страницы. Однако она неминуемо должна вы-

звать и протесты, и даже желание стереть ее с академической доски (что действительно уже пробовали сделать, причем раздражение и «нарушение правил игры» достигали крайней степени).

В радищевском времени и в послерадищевском, во времени декабристов Г. П. Шторм ищет прежде всего и с особенной охотой неведомые биографические соотношения и связи. Это его самая сильная сторона и виртуозность. Чего стоит хотя бы установление факта родственной связи Радищева с Грибоедовым или раскрытие никому ранее не ведомых секретов семейной хроники Грибоедовых. Вышли из тьмы и обрели бытие для науки разнообразные персонажи дворянской столичной и провинциальной России конца XVIII — начала XIX века с их общественными, политическими, литературными, имущественными интересами, сплетающимися и расходящимися. Кто сможет впредь изучать русское просветительство и фрондерство, особенно времен царствования Павла I, минуя книгу Г. П. Шторма? И в то же время кто мог бы, минуя ее, составить в будущем представление о блужданиях и взлетах пылкости, рассеивавшей в наши дни трудную тайну Радищева?

Что же удалось установить Г. П. Шторму по главной линии, если не говорить о сотне сопровождающих и попутных вещей? Кое-что кажущееся очень простым, но чего не было бы без огромного душевного напряжения.

На давно известном списке «Путешествия из Петербурга в Москву», так называемом лонгиновском, в известной мере отклоняющемся от напечатанного в 1790 году и многократно переписывавшегося текста, имеется на форзаце небольшая надпись русскими буквами на румынском языке. Нельзя даже сказать, что Г. П. Шторм первым ее правильно расшифровал. Основная часть была прочитана верно до него, а немного, что он прочел впервые, собственно говоря, только первая строка, может быть, расшифровывается иначе и проще, чем он предложил. В общем, в этой надписи говорится, что данный список изготовлен для автора надписи и подарен ему в 1800 году благородной госпожой девицей Аннушкой и казначеем Саровского монастыря отцом Киприаном. Десятки исследователей Радищева видели эту надпись,ковырнули ее ногтем и прошли мимо. Так и назвал Г. П. Шторм

первую главу своей книги: «Мимо тайны». Как в сказке волшебный посох стучит о землю там, где зарыт клад, так интуиция Г. П. Шторма приказала ему здесь копать. И откопал. Докопался до Саровского монастыря Тамбовской губернии, до его печатной истории и архивных фондов, до монаха Киприана и мирян — завсегдатаев и жертвователей, среди которых оказались и «благородная девица Аннушка» — Анна Ивановна Аргамакова (родственница и, видимо, преданная поклонница А. Н. Радищева), и престарелый отец его — Н. А. Радишев.

В высокой степени убедительно мнение, что именно последнему и был подарен рукописный список «Путешествия из Петербурга в Москву», изготовленный в Саровской пустыни в 1800 году. Наблюдение Д. С. Бабкина о наличии на форзаце листа бумаги с водяными знаками 1804 года свидетельствует о каких-то дальнейших превращениях рукописи. Во всяком случае она происходит из села Веденского, Клинского уезда, которое в конце XVIII века принадлежало Н. А. Радищеву (и, по некоторым данным, было передано им А. Н. Радищеву по возвращении из Сибири для уплаты долгов), позже П. Б. Кологривову, затем П. В. Голубкову, из собрания которого рукопись и попала к книголюбу М. Н. Лонгинову.

Итак, Г. П. Шторм проник в гнездо — в Саровский монастырь, в круг связанных с ним, а вместе с тем и с А. Н. Радищевым лиц. Началось разматывание разных нитей этого клубка. Одна из них — исследование об А. И. Аргамаковой, ее сестре М. И. Грибоедовой — бабушке А. С. Грибоедова — и их круге. Добавим, что все предположения и выводы Г. П. Шторма по поводу А. И. Аргамаковой и ее роли в жизни Радищева, вернее, в судьбе его истребленного, но укрытого ею творения, представляются весьма надежными и обоснованными.

Вторая нить — казначей Саровского монастыря Киприан, соучастник А. И. Аргамаковой. Именно он дал монахам-писцам каллиграфически переписывать полученный от А. И. Аргамаковой текст. Что же разузнал о нем Г. П. Шторм? Узнал кое-что о его разночинном происхождении, разыскал описание его личной библиотеки, свидетельствующее о многогранных светских интересах. Но самая интересная находка была сделана под занавес: из писем епископа

Феофила и указа Тамбовской духовной консистории игумену Саровской пустыни Исаею в сентябре—октябре 1800 года выясняется, что иеромонах казначей Киприан был экстренно вытребован в Тамбов для весьма секретного расследования. Г. П. Шторм с полным и величайшим правом заключил, что это говорит о доносе и «деле» по поводу копирования в Саровской пустыни «Путешествия из Петербурга в Москву». Очень скоро по возвращении из Тамбова Киприан был отстранен от должности казначея. Далее прослеживается нечто любопытное: в 1802 году Киприан отправляется уже не в Тамбов, а в Петербург. Формально это выглядит как выполнение судебно-хозяйственных поручений самого монастыря, но фактически Киприан был за что-то сурово наказан в столице: духовные власти не отпустили его обратно в Саров и содержали как бы в заточении в Александро-Невской лааре, где он сравнительно скоро (1806 год) скончался.

Ясно, что эта нить прослежена далеко не до конца. Остается искать и искать документы о происшедшей в Саровском монастыре смене игуменов, о пребывании Киприана в Петербурге. Тут есть надежда прямо дойти до следов второго следствия над Радищевым, может быть, где-нибудь в еще не разобранных фондах Синода.

Однако остаются два капитальных вопроса. Доказано ли, что А. Н. Радишев был причастен к попытке размножить рукописным копированием его книгу в 1800 году? Сколько было изготовлено копий, какова их судьба?

Ответ на первый вопрос, пока не найдутся новые документы, может быть дан только текстологическим методом. А именно, следовало проверить все разночтения между «лонгиновским» и печатным текстом «Путешествия» и выяснить: являются ли все до одного разночтения предшествующими, то есть отвечающими допечатному варианту, или среди них хоть часть отражает последующую работу Радищева. Сложный, очень сложный текстологический сюжет. Г. П. Шторм увлечен убежденностью, что многие разночтения относятся к позднему времени, к 1799 году. Но оставим эту дискуссию специалистам. Здесь достаточно сказать, что если хоть одно, хоть малейшее изменение неоспоримо сделано после возвращения Радищева из ссылки, это доказывает, что А. И. Аргамакова предприняла



конспиративную затею в Саровском монастыре не по своей инициативе, а по согласованию с А. Н. Радищевым, по его воле; скажем, она заехала к нему в Немцово по санному пути в монастырь, имея в руках сохраненный ею все эти годы допечатный рукописный текст. И вот что бесспорно: Г. П. Штурму удалось доказать наличие хотя бы минимума этих поздних прикосновенных пера Радищева к тексту.

Сколько изготовили в монастыре копий? Во всяком случае нелепо думать, что все опасное дело было затеяно ради единственного экземпляра, подаренного слепому престарелому отцу автора «Путешествия». Самое большее — для него могли изготовить экземпляр наилучшего качества. Но не было ли прервано размножение копий доносом в епархию? И в этом направлении исследование далеко не закончено. Однако существует в распоряжении литературоведов некий «список В», фактически тождественный «лонгиновскому». По водяным знакам на бумаге он датируется примерно тем же временем. Г. П. Штурму посчастливилось открыть еще один, притом интереснейший, «список Г». Он сделан крайне наспех и содержит не полный текст «Путешествия», а как раз все наиболее крамольные места и из ранней и из поздней редакции «Путешествия». Это открытие отнюдь не распутало, кое в чем даже запутало текстологическую историю «Путешествия». Но оно добавило лишнюю гирию на чашу весов в пользу представления о более или менее подготовленном и налаженном копировании запретной рукописи в Саровском монастыре.

Если так, было за что вторично арестовать А. Н. Радищева и предать его казни. Никакой «либерализм» Александра I не мог бы в этом случае остановить легкую судебной машины. Ведь автор «Путешествия» был помилован только потому, что раскаялся. Раз вскрылась ложность раскаяния — казнить! Он на это шел. Добавим, что, по новейшим разысканиям Д. С. Бабкина, Радищев в 1801 году в Петербурге благодаря случайности смог похитить печатный экземпляр «Путешествия» из секретной библиотеки Тайной экспедиции и тоже принялся его к чему-то готовить, да не успел.

Автор этих строк избегает всех тех аспектов, особенно текстологических, где требуется слово узких специалистов. Его побудило отозваться на книгу Г. П. Штурма поразившее отдаленное сходство исторического и

психологического образа упорного конспиратора А. Н. Радищева с образом французского революционера-просветителя XVIII века Жана Мелье (см. Б. Ф. Поршнев. Мелье, «Жизнь замечательных людей». 1964). Конечно же, между ними безмерно больше различий, чем подобия. И все же их портреты хочется повесить рядом. Поэтому биографу Жана Мелье естественно протянуть руку биографу А. Н. Радищева, закончившему свою взволнованную книгу словами: «И если бы меня спросили — за что я боролся в этой своей работе? — я бы ответил: за раскрытие тайны, запечатанной «семью печатями» — за подлинный нестигаемый характер Радищева, восстановившего и дописавшего в последние годы жизни свою истребленную книгу, смотревшего вперед «сквозь целое столетие» и ненавидевшего рабство, в какой бы форме оно ни выражалось, павшего в борьбе с самовластием за счастье своего народа, но уверенного, что потомство за него отомстит» (стр. 279).

Потомство еще не отомстило сполна ни за Мелье, ни за Радищева. Оно это делает сейчас, восстанавливая их подлинный облик. Оно обязательно довершит свое отмщение.

И еще один аспект дает право «постороннему» высказаться о книге Г. П. Штурма: она неожиданно затрагивает близкую всякому проблему Пушкина.

Сколько ни штудируй русскую литературу конца XVIII — начала XIX века, остается что-то еще непонятное во внезапном явлении пушкинского языка. словно разом распахнулось окно. Но было ли душно, сбиралась ли гроза? Чем больше думаешь о чуде Пушкина, тем более укрепляешься в выводе, что во второй половине XVIII века в русской культуре нагнетался конфликт между мыслью и словом. Мышление стремительно мужало, а адекватной речи не находилось. Интеллигенция некоторое время буквально придумывала русский литературный язык для новых идей, понятий, представлений. Поистине великой трагедией Ломоносова является противоречие между содержанием и стесняющей его формой. Перевести бы сочинения Ломоносова на современный, то есть идущий от Пушкина, русский язык! Какой был бы дар читателям.

Но в литературе конца XVIII века прослеживается уже и противоположающаяся тенденция: найти недостающие языковые сред-

ства не путем новообразований и заимствований, а в усвоении подлинно архаичных форм русской речи.

Вот это и касается Радищева. Г. П. Шторм заметил проблему и подал ее очень ярко. Подчеркнуто архаизованный стиль Радищева он называет вторым самоубийством, полагая, что Радищев писал нарочито одревлённым языком с целью маскировки своих анонимных сочинений. Блестяще замечен факт, а объяснен совсем не убедительно. Те сопоставления, которые делает Г. П. Шторм на страницах 274 и 275, можно с правом отнести к истинным открытиям: примеры велеречивого ридикульного слога из «Путешествия» сопоставлены с отрывками из сибирского «Дневника», написанного мастером совсем иного литературного стиля. Это действительно два стиля, два человека. Причем второй стиль Г. П. Шторм характеризует, как «приблизившийся к языку Пушкина по своей прозрачной точности и простоте» (стр. 274). Это правда. Верно ли, что, следовательно, в «Путешествии» «Радищев занимался намеренной стилизацией»? Правильнее было бы сказать о намеренно избранном стиле. Но к конспирации это явно не имеет отношения, ибо в то время большинство авторов занималось такой же самой, а то и куда большей, подчас весьма художественной архаизацией. Однако с выигрышем скорее в своеобразной выразительности, чем в ясности.

Мы уже пояснили, в чем дело. То был большой кризис в механизме русской культуры — в языке. К последним десятилетиям XVIII века рот залеплен мутными словами. Мысль вязнет. И вот вместо того, чтобы сразу двинуться в единственно истинном направлении, образованные умы устремляются в обратном. Думают одолеть мучительную полунемоту, пошире воспользовавшись старинными словами, древними речениями. Не оценив всего размаха маятника в эту сторону, никак не поймешь его последующего освобожденного взлета в пушкинскую. Это и был «циклотрон». Радищевские архаизмы стоят далеко не на самом краю, но, безусловно, следует связать его стилистику с его занятиями Несторовой летописью. Но на этих путях русской стилистики

заколodило. Не было в ту сторону выхода к большей логической ясности и прозрачности. Мудрость Радищева, как и Ломоносова, выступала в связывающей одежде. И это тем трагичнее, что, как видим, для Радищева уже брезжил пушкинский путь.

Вывод могут назвать кощунством: совершенно необходимо выпустить «Путешествие из Петербурга в Москву» в переложении на современный литературный язык. Право же, это было бы вторым рождением книги, которая перестала бы вызывать в читателе оскорбительную, но неизбежную снисходительность к старомодному сочинителю.

Это непременно, обязательно надо попробовать, и есть, к примеру, человек, которому такая деликатнейшая литературная задача по плечу. Человек, который уже делал успешные переводы с древнерусского на русский (что, кстати, настойчиво рекомендовал покойный академик М. Н. Тихомиров). Этот человек — тот же Георгий Шторм.

Судьба возмутителя спокойствия всегда нелегка. Г. П. Шторма за его книгу о поэтах Радищеве жарко порицают и жарко приветствуют. И уж во всяком случае все поучают, даже те, кто хвалит, как мог заметить и наш читатель. В критике со стороны профессиональных знатоков, «радищевоведов», многое Г. П. Шторму придется хладнокровно продумать. Во втором издании следы спешки, почти горячечной, должны исчезнуть. Но страсть этой книги, как и страсть дискуссии останутся. Тому есть важная причина. На самом дне, в самом кратере дискуссии борются две недосказанные мысли. Искания Г. П. Шторма (как и Д. С. Бабкина) всем своим прицелом противостоят идее (например, не так давно ее повторил Е. Плимак), будто закат жизни Радищева определяется разочарованием в революции — не только в русской, но в американской, во французской, в революции вообще. Разочарование в революции... Возможно ли оно, было ли действительно? Вот в связи с чем Радищев оказался на скрещении шпаг.

**Проф. Б. ПОРШНЕВ,**  
*доктор исторических наук,*  
*доктор философских наук.*

## БОГАТСТВО СТРАНЫ

**Леса СССР. В пяти томах. Том 1. Леса северной и средней тайги Европейской части СССР. 458 стр. Том 2. Подзона южной тайги и смешанных лесов. 472 стр. «Наука». М. 1966.**

**Ж**ивая природа, наши некогда богатые, а ныне оскудевшие внутренние водоемы, наши леса — все это стоит в центре внимания общества. И нельзя ограничиваться чтением газетных статей да популярных книжек, следует обращаться и к более солидным источникам, не пугаясь их многотомности. Поскольку выход остальных томов академического издания о лесах нашей страны задерживается, уместен отклик на два первых тома.

Сводные итоговые обзоры лесов Советского Союза во всем их многообразии от северной тайги до горных лесов Кавказа и Тянь-Шаня публикуются не впервые. В 1961 году вышла книга В. П. Цепляева «Леса СССР», в 1965 году — его же книга «Лесное хозяйство СССР».

В. П. Цепляев принадлежит к числу руководителей работников лесного хозяйства; в его распоряжение поступали и поступают все статистические сведения по учету лесов, материалы многочисленных лесоустроительных экспедиций, огромное количество фотоснимков. Эти данные и послужили основой для написания книг, которые при безукоризненности сообщаемых статистических сведений отличаются некоторой схематичностью изложения.

Вполне понятен повышенный интерес к академическому труду на ту же тему. В описании тридцати наиболее лесистых республик и областей европейской части СССР приняли участие тридцать два автора, и почти каждый из них своими ранее опубликованными работами заслужил репутацию знатока лесов своего района.

Для Московской, например, области трудно найти более достойного автора, чем профессор В. П. Тимофеев. Видный ученый в течение длительного времени был практически связан с лесным хозяйством Подмосковья, побывал буквально всюду, его консультациями пользовались многие московские лесничие.

И. С. Мелехов тридцать лет профессорствовал в Архангельском лесотехническом институте, основал в Архангельске научно-исследовательский институт леса и лесохимии, организовал много экспедиций для изучения тайги и сам в них участвовал. Какую ж другому писать о лесах Севера?

То же самое можно сказать о многих других авторах.

В рецензируемом труде много места отведено характеристике типов леса, встречающихся в тех или иных областях европейской части страны. Эти типы настолько разнообразны, что передать в короткой журнальной рецензии содержание всех опубликованных в двух томах статей так же немислимо, как пересказать два тома Большой Советской Энциклопедии.

Есть, однако, нечто общее, позволяющее говорить суммарно о лесах той или иной зоны: тайге, центральных областях России, республиках Прибалтики. В каждой зоне перед лесоводами стоят одинаковые задачи. Природа дала нам в руки большое богатство, и надо не истощить его, а увеличить.

Из обширной и содержательной статьи о лесах Архангельской и Вологодской областей, написанной И. С. Мелеховым в соавторстве с В. Г. Чертовским и Н. А. Монсеевым, видно, какие прекрасные сосняки и ельники с запасом в четыреста кубических метров древесины на гектаре растут в средней тайге на почвах с оптимальным увлажнением и какие жалкие (сто кубометров на гектаре) — на избыточно увлажненных почвах.

К сожалению, в Архангельской области огромные площади заболочены; плохих лесов сейчас больше, чем хороших. «Будущие леса Севера должны стать более высокопродуктивными и здоровыми, чем современные», — сказано в сборнике. Достигнуть этого можно только путем осушения.

Лесохозяйственная мелиорация настойчиво стучится в дверь. Осушение лесов не утопия, а назревшая необходимость. По расчетам авторов, Архангельская область после осушения сможет давать в год пятьдесят миллионов кубометров древесины вместо нынешних двадцати пяти, и каждый дополнительный кубометр обойдется всего в двадцать пять копеек, что составляет ничтожную часть общей стоимости лесоматериалов.

И, конечно, надо бороться с пожарами, а также принимать меры к тому, чтобы вырубки и гари быстро заселялись молодня-

ком ценных древесных пород — сосной и елью.

В последние годы лесохозяйственные работы в Архангельской области расширились: с пожарами борется авиация, на вырубках производятся посевы хвойных пород. Но объем этих работ до сих пор недостаточен. Леса в засушливые годы горят, посевы выполняются низкокачественно, и ухода за ними нет. В итоге на значительной части вырубок самовольно поселяются береза и осина. А эти породы представляют наименьшую ценность для народного хозяйства. Они до сих пор слабо используются в строительстве и даже в химической переработке древесины.

Все сказанное об Архангельской области относится и к остальным гажным областям; всюду стоят одни и те же задачи: охрана от пожаров, восстановление лесов на вырубках и гарях, мелiorация.

Во многих областях тайги к этим задачам прибавляется проблема разумного неистощительного лесопользования.

В Карелии в прошлом, как и повсюду в тайге, леса мало рубили. Поэтому в республике не много молодняков, средневозрастных и приспевающих древостоев; преобладают леса спелые и перестойные. На первый взгляд нет оснований возражать против скорейшей рубки этих стареющих лесов. Но, если вести лесозаготовки в таком же размере, как нынче, весь запас спелых древостоев будет израсходован через тридцать лет, а приспевающие поколения, идущие на смену, малочисленны. В этом случае деревоперерабатывающие предприятия Карелии через тридцать лет остались бы без сырья, а население лесной республики — без работы.

Чтобы предотвратить такую беду, необходимо уменьшить площадь сплошных рубок, а для омоложения стареющих лесов ввести санитарно-оздоровительные выборочные рубки отдельных дряхлых деревьев с оставлением на корню их жизнеспособных соседей.

Наиболее интенсивное лесное хозяйство ведется в Латвии. Там размер сплошных рубок строго ограничен; большое количество древесины получается от рубок ухода, улучшающих условия существования оставленных на корню деревьев и увеличивающих прирост. К сожалению, в рецензируемом труде все таблицы о работе латвийских лесоводов заканчиваются 1960 годом.

В издательстве «Наука» слишком долго путь рукописи от письменного стола автора до печатной машины. Год назад в журнале «Лесное хозяйство» (№ 7, 1965) в статьях В. К. Кариса, П. Э. Сарма и Я. Я. Кронита мы читали итоговые данные за 1964 год. К этому сроку тенденции развития лесного хозяйства Латвии выявились полнее.

Переходя к центральным областям, необходимо предварительно выяснить два вопроса.

Первый — о количестве лесов и с том, как изменяется их площадь.

В 1899 году Московский Художественный театр поставил пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня», и знаменитый Станиславский в роли доктора Астрова произнес слова о безостановочном уничтожении лесов. Эта пьеса удержалась в репертуаре театра до сего дня. Ее ставили сотни других театров. К многим миллионам театральных зрителей надо прибавить миллионы читателей Чехова. Думается, нет у нас человека, который бы не знал чеховского доктора Астрова с его тремя картами лесов, исчезающих с лица земли.

Воздействие художественного образа огромно. Мы все с детства привыкли думать, что лесам свойственна способность исчезать с лица земли, возвращаться же обратно они якобы не умеют.

Сторонники концепции доктора Астрова встречаются и среди работников лесной науки. М. А. Цветков постарался облечь эту концепцию в цифры, пользуясь экстраполяцией и построением «динамических кривых». Сам Цветков называет свою работу гипотезой, и, надо сказать, это небызынтересная и небеспользная гипотеза. Но есть в ней погрешности, есть и искажения. Между тем некоторые авторы рецензируемого труда, сторонники мнения «о неуклонном уменьшении площади лесов», ссылаются на М. А. Цветкова с такой безапелляционностью, словно бы его работы обладали точностью справочника ЦСУ.

Я не разделяю суровой оценки «Дяди Вани», данной Львом Толстым, и считаю «Дядю Ваню» хорошей пьесой. Но мысль «о неуклонном, всегда идущем только в сторону уменьшения и никогда не увеличивающемся количестве лесов» надо проверить.

В том же самом 1899 году, когда со сцены Московского Художественного театра

впервые прозвучали слова доктора Астрова, в «Ученых записках Московского университета» была опубликована работа историка Н. А. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке». Она основана на кропотливом изучении писцовых книг и других архивных документов. В старину вели учет земель для сбора налогов. Материалы заносились в писцовые книги. Конечно, в ту пору не измеряли землю гектарами; земля была промеряна трудом: известно было, какой участок земли можно обработать одной сохой и сколько семян он требует для посева. К этим трудовым мерам нельзя относиться пренебрежительно. И надо еще иметь в виду: писцы «крест целовали» в том, что станут писать всю правду без утайки. Писцовые книги, при многих своих недостатках, служат достоверным источником.

Глубоко изучив сельское хозяйство Московской Руси в XVI веке, Н. А. Рожков пришел к неожиданным и даже ошеломляющим выводам. Оказалось, что в Московском, Звенигородском, Рузском, Верейском, Волоколамском, Дмитровском, Кашиинском и других уездах нечерноземного центра при царе Иване Грозном пахотной земли было больше, чем в конце XIX века, когда писалась книга, а лесов — меньше.

Но в конце царствования Ивана Грозного в стране разразился острейший хозяйственный кризис. Он был результатом причины, трудных войн, тяжелого налогового бремени. Крестьяне бежали на юг, осваивали целинные степные черноземы. Центр же пустел и зарастал лесом.

Тому же процессу запустения центральных районов способствовали голод, мор, «смутное время» и польская интервенция начала XVII века. Историкам доподлинно известно, что к 1620 году в центральных нечерноземных районах заросло лесом шестьдесят процентов культурных сельскохозяйственных земель.

Таким образом, выявляется способность леса не только исчезать, но и заселять пространства. Лесистость, то есть покрытый лесом процент той или иной территории, может изменяться и в ту и в другую сторону. В центральной нечерноземной зоне она теснейшим образом связана с сельским хозяйством. Лесистость уменьшается при расцвете сельского хозяйства и увеличивается при застое и спаде сельскохозяйственного производства.

В рецензируемом труде на реалистических позициях стоит автор статьи о Новгородской области А. В. Давыдов. Он сообщает: «С конца XVII в. до начала XIX в. лесистость уменьшилась при соответствующем увеличении площади сельскохозяйственного пользования. В конце XIX и начале XX в. в России бурно развивался капитализм, который приводил к разорению крестьян и массовому переходу их в города. Поэтому в этот период происходил процесс увеличения лесистости за счет брошенных сельскохозяйственных угодий. После Великой Октябрьской социалистической революции... снова наблюдается уменьшение лесистости и увеличение площадей культурных сельскохозяйственных земель. В 1927 г. лесистость губернии... была наименьшей за всю историю».

На наших глазах стремительно возрастают покрытые лесом площади. Вот некоторые данные об увеличении лесистости за пять лет — с 1956 по 1961 год: в Смоленской области она возросла с 21,5 до 27,8 процента территории области, в Калужской — с 29,4 до 40,8 процента, в Новгородской с 39 до 49,6 процента. То же самое происходит и в других центральных областях.

Обыватель наивно представляет нынешние древостои недорубленными остатками древних лесов. Автор статьи о Московской области В. П. Тимофеев поправляет: «Леса области давно используются человеком и возникли преимущественно в результате его хозяйственной деятельности: одни на месте вырубок, другие после пожаров, третьи на заброшенных пашнях, четвертые созданы искусственно».

А сейчас второй вопрос — о качестве постоянно возникающих новых лесов. Видели ли вы летом в Москве, как ветер гоняет по улицам белый пух? Он носится в воздухе, катится по асфальту, а в уголках, где от ветра затишье, ложится хлопьями белой ваты. Это мельчайшие и легчайшие семена тополей. Средней величины тополь пускает по ветру миллион семян. В Москве им нигде прорасти, мешает не только асфальт (в нем есть трещины), а большое движение.

Но во время осады Ленинграда в притихшем и обезлюдевшем городе древесный молодняк появился на Невском проспекте и даже.. на Кировском мосту, висящем над Невой.

В лесах растет родная сестра тополя —

осина. Она точно так же пускает по ветру несметное количество летучих семян. Такою же плодovitостью обладает береза. Ее семена тоже разлетаются по ветру на большие расстояния. Нетрудно понять, что береза с осиною первыми кидаются на заселение пространства, где бы ни освободилось местечко.

И. С. Тургенев в «Записках охотника», говоря о массовой гибели лесов от суровых морозов и жестокой засухи в тяжелом 1840 году, замечает: «Заменить их трудно... на «заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить роши у нас не умеют».

Так было не только при Тургеневе, но всегда. И так продолжается до сих пор. При рубках происходит смена пород, вырубки заселяются березой, осиною, серой ольхой. Но если бы смена пород шла всегда в худшую сторону, если бы береза с осиною поселялись навечно, мы давно бы не видели на русской равнине ни одного «благородного» дерева.

К счастью, происходит обратная смена: под полог осины или березы подселяется теневыносливая ель, постепенно она занимает господствующее положение, выходит в верхний ярус, а светолюбивые береза и осина не могут дать в лесной тени второе поколение. В итоге лес после двукратной смены пород снова становится хвойным.

Естественный процесс смены пород длится долго. Нам надо выращивать леса скорее. Перед лесоводами стоят задачи формировать молодняки рубками ухода: удалять осину и березу, создавать для ценных пород лучшие условия развития.

К сожалению, рубки ухода ведутся в недостаточных размерах не только в тайге, но и, как на это справедливо сетует В. П. Тимофеев, в столичной области: «Они еще не охватывают всех нуждающихся в уходе насаждений».

Наиболее тяжкий урон лесам Московской и других центральных областей наносят лоси. «Находясь под охраной закона, поголовье лосей увеличилось так значительно, что массовое повреждение ими лесных насаждений и ценных лесных культур во многих случаях приводит к гибели леса».

Лесоводы старательно сажают сосну, лоси не менее старательно ее поедают. По учету 1962 года, в Московской области лоси

повредили сорок две тысячи гектаров молодняка и полностью уничтожили двадцать четыре тысячи гектаров. Тут есть над чем подумать.

В двух вышедших томах «Леса СССР» есть немало дельных статей; изданию придана праздничная внешность: великолепная бумага, хорошие переплеты, суперобложки; рассчитано оно на более широкий круг читателей, чем обычная выпускаемая издательством «Наука» литература о лесах. И все же, когда прочтешь оба тома до конца, первоначальный восторг тускнеет.

Не говорю об отдельных промахах и ошибках; они встречаются и в хороших статьях. Досаду вызывает другое: нерадливость, нежелание некоторых авторов довести свои работы до нужного уровня. В частности, написанные главным редактором издания академиком А. Б. Жуковым в соавторстве с профессором А. П. Шиманюком статьи о лесах Калининской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей основаны на материалах 1956 года, и лишь кое-где в них механически вставлены данные 1961 года. А весь устаревший материал остался переработанным, и это вызвало противоречия.

Несколько слов о форме изложения. Издательская аннотация говорит, что этот труд предназначен для широкого круга любителей природы. Значит, книги должны быть написаны живо и ярко. Получилось ли это? К сожалению, не получилось. Одна из особенностей манеры письма А. Б. Жукова и А. П. Шиманюка — многократное повторение одних и тех же мыслей. Это происходит оттого, что содержание излагается нелогично, непоследовательно, а ссыпается беспорядочной грудой, и осколки одной и той же мысли разлетаются по разным местам статьи. Так, например, цифра лесистости Костромской области повторена четыре раза, к тому же всюду неверно.

При издании многотомного труда сделать его легко обозримым и удобочитаемым нелегко. Тут надо основательно поработать. Между тем авторы и редакторы «Лесов СССР» мало заботятся об этом, забывают, что словом надо пользоваться экономно, а содержание излагать стройно.

Мы многого ждем от дальнейших томов труда и надеемся, что они будут лучше первых двух.

**И. ЗЫКОВ.**

## «ЭРА КЕННЕДИ» ТАК И НЕ НАЧАЛАСЬ

T. Sorensen. Kennedy. Harper and Row. New York. 1965. 783 p.

Т. Соренсен. Кеннеди. Издательство «Харпер энд Роу». Нью-Йорк. 1965. 783 стр.

**М**олодость Кеннеди; краткость его пребывания у власти; его поведение, необычное для хозяина Белого дома; бессмысленная и толком не объясненная гибель; всемирное (с помощью телевидения) зрелище скорби Америки — все это способствовало возникновению легенд вокруг личности тридцать пятого американского президента.

Легенды питаются в наши дни литературой и в свою очередь питают литературу, и книг о Кеннеди вышло уже очень много. Среди них две выделяются толщиной и серьезностью подхода. Одну, в тысячу страниц, написал видный историк и бывший помощник Кеннеди Артур Шлезингер-младший, назвав ее «Тысяча дней». Вторую, лишь немного меньшую, написал другой помощник покойного президента — Теодор Соренсен, назвав ее просто «Кеннеди».

Из двух помощников Соренсен стоял к президенту ближе, возможно он был самым близким свидетелем деятельности Кеннеди. Они работали вместе с 1954 года, когда Соренсен стал составлять тексты речей для молодого, начинающего сенатора. «С годами,— вспоминает Соренсен,— когда я узнал как его мнение по всем вопросам, так и форму выражения этого мнения, наш стиль стал все более похожим... Постепенно возник стиль речей Кеннеди — я не постесняюсь сказать «наш стиль», поскольку он никогда не делал вида, будто у него есть время готовить с самого начала все свои речи».

В «прологе» автор рассказывает о намерении покойного по истечении максимально возможного по конституции США восьмилетнего срока пребывания в Белом доме заняться написанием мемуаров. Кеннеди любил историю, еще больше любил ее делать, и ему очень хотелось самому написать о своем вкладе в эту область. Он упоминал в разговорах с Соренсеном о «книге, которую мы напишем». Пуля убийцы помешала Кеннеди осуществить среди прочих и этот замысел, и Соренсен решил один выполнить это намерение президента.

Соренсен не является бесстрастным летописцем, он и не скрывает своего восхищения личностью Кеннеди. Такая авторская позиция делает некоторые места его книги суровыми и напоминающими страницы

сентиментальных женских журналов. Автор упоминает, например, о том, что Кеннеди постоянно мучили боли в позвоночнике, и именно это, по мнению Соренсена, способствовало его пониманию чужих страданий и несколько фаталистическому отношению к жизни, выраженному в довольно-таки поверхностной сентенции: «Жизнь несправедлива. Некоторые здоровы, а некоторые больны». В то же время Кеннеди ценил маленькие радости жизни. У него были непритязательные вкусы. Из напитков он отдавал предпочтение пиву и водке с томатным соком. Заметив, что Кеннеди «стоил десять миллионов долларов» (положенных отцом на его банковский счет), автор рассказывает, что у президента редко водились в кармане наличные, и случалось, нечем было расплатиться за поездку в такси...

Этот сладкий авторский «конфитюр» существует в книге сам по себе. Соренсен все же писал книгу о политике, а не о показательном семьянине, и в конце концов перед читателем возникает образ не из легенды, а из реальной жизни — образ умного, расчетливого, порою жестокого политического деятеля, чуждого какой бы то ни было сентиментальности.

Вот, например, идет предвыборная борьба с кандидатом от республиканской партии Ричардом Никсоном. Мобилизуются все — даже сестры и мать Кеннеди выступают с речами. Перед телевизионными дискуссиями с Никсоном — специальные солнечные ванны и легкий грим, чтобы быть «телегичнее» соперника.

Кеннеди критиковал своего предшественника, генерала Эйзенхауэра, за то, что он чуть ли не подорвал американскую военную мощь. По мнению Кеннеди, она была недостаточной для ведения ядерной войны по причине «ракетного отставания», но особенно недостаточной она казалась ему для ведения войн против национально-освободительного движения — так называемых ограниченных войн.

Помнятся его красивые слова о мире. Эти слова сочетались с ростом военных ассигнований. На реорганизацию вооруженных сил он израсходовал на тридцать миллиардов долларов больше той суммы, которая была

бы израсходована, если бы военный бюджет сохранился на уровне, существовавшем при Эйзенхауэре.

Кеннеди также критиковал своего предшественника за то, что тот «проглядел» Кубу. Став президентом, он одобрил организованную Центральным разведывательным управлением и военными интервенцию на Плайя-Хирон. Во время интервенции американские официальные лица — Раск, Стивенсон и другие — лгали международной общественности, будто Соединенные Штаты ни при чем. Соренсен вспоминает, будто накануне интервенции Кеннеди был полон мрачных предчувствий, но по его книге получается, что единственной допущенной ошибкой была неудача интервенции. Автор фактически утверждает, что президента-новичка обманули дяди из ЦРУ, подсунув ему гладкий на бумаге план победы и умолчав о существовавших в реальной действительности оврагах, по которым пришлось идти.

Можно умножить примеры, взятые из книги Соренсена или из недавней, еще у всех на памяти, истории, доказывающие, что Кеннеди в Белом доме стал частью уже существовавшего механизма власти американских правящих кругов и продолжал служить интересам этих кругов.

Соренсен утверждает, что при подборе министров Кеннеди ценил прежде всего деловые качества, кругозор и способности, что он хотел создать при себе «кабинет министров таланта». Но, между прочим, три ключевых поста: государственного секретаря, министра обороны и министра финансов — получили лица, рекомендованные монополистами с Уолл-стрита во главе с Робертом Ловеттом. Кеннеди даже не был лично знаком ни с Раском, ни с Макнамарой.

В то же время Кеннеди был своевольным ставленником монополий, незаурядной личностью, смелым политиком, готовым поспорить с миллионерами на тему о правильном понимании их же собственных интересов.

В книге рассказывается о его решительном выступлении против попытки стальных магнатов поднять цены на сталь, что повлекло бы за собой всеобщее повышение цен и свело бы на нет усилия президента по оздоровлению экономики. Монополистическая печать обвинила Кеннеди в «содействии социализму» и в «противодействии свободному предпринимательству и прибылям».

Она особенно возмущалась вообще-то довольно метким замечанием Кеннеди, что «все бизнесмены — сукины дети». На самом деле, — берет его под защиту Соренсен, — Кеннеди имел в виду не всех, а только сталепромышленников.

Автор, между прочим, язвит, что в тот момент «коммунистическая пресса испытывала трудности при объяснении того, каким образом правительство, находящееся под контролем капиталистических монополистов, обрушилось на одного из своих хозяев». Объяснение простое: в американских правящих кругах существуют различия интересов и даже различия в толковании этих интересов.

Монополиям, скажем, вряд ли нравится движение негров за свои права. Недаром предшествующие президенты ничего в этой области не делали. Но Кеннеди понял, что пора открывать клапан, чтобы избежать взрыва котла. Как пишет Соренсен, «Джон Кеннеди не начинал негритянской революции». В то же время, продолжает автор, «никакие его действия не смогли бы ее остановить». И Кеннеди выступил в поддержку ее, идя на риск для своей политической карьеры.

Умение учитывать новое — вот то качество, которое выделило Кеннеди на фоне его заурядных предшественников. Оно оказалось особенно важным для внешней политики, которой Кеннеди отдавал явное предпочтение перед внутренней. «Внутренняя политика, — говорил он, — может принести нам в крайнем случае поражение, а внешняя политика может принести нам смерть».

Это умение учитывать новое легко прослеживается по книге Соренсена, в которой в отличие от книги Шлезингера рассказывается и о ранней политической деятельности Кеннеди в американском сенате. С годами его взгляды менялись. Он объяснял эту эволюцию тем, что «все мы учимся с момента рождения и до момента смерти». Он начинал свою политическую карьеру с заявлений о том, что разоружение является пустой мечтой, а кончил заключением Договора о частичном запрещении ядерных испытаний. Он начинал с голосования за реакционный закон о внутренней безопасности (закон Маккарена) и с терпимого отношения к маккартизму, а кончил присуждением премии имени Энрико Ферми Роберту Оппенгеймеру, жертве маккартизма, и приглашением в Белый дом Лайнуса Полинга.



«Политика — это джунгли», — говорил Кеннеди, но он хорошо понимал, что бессмысленно лезть в джунглях напролом, что политика — это также искусство возможного и что Соединенные Штаты, хотя они и сильны, тоже выше себя прыгнуть не могут. Кеннеди учитывал изменения, происшедшие в соотношении сил в мире, и предупреждал, что «не существует американского решения для каждой международной проблемы».

«Мы не можем, — говорил он, — всегда навязывать нашу волю остальным 94 процентам человечества». Заметим, Кеннеди не говорил, что «не хочет» навязывать волю американских монополий человечеству. Он бы хотел, о чем свидетельствуют другие его рассуждения о каких-то самозванных «обязательствах по мировому руководству». Но уже не мог — не такое стало нынче соотношение сил.

Трезвый учет изменений в соотношении сил на международной арене заставил здравомыслящего Кеннеди сделать ряд важных политических выводов. Прежде всего он признал, что теперь «у войны новое лицо» и что океаны уже не спасут Америку от катастрофических последствий ядерной войны. Из этого признания вытекал отказ от идеи превентивной войны и от ставки на фактор внезапности — не по причине вспышки миролюбия, отнюдь не сопутствующего империализму, а по причине результатов расчета, показавшего, что даже внезапное нападение не обеспечивает уничтожения сил возмездия противника, которые наверняка сохранят возможность нанести сокрушительный ответный удар. Из этого следовал дальнейший вывод о неизбежности долгого периода соперничества с коммунистическим миром и о желательности перевести это соперничество из военной области в любые другие. Как свидетельствует Соренсен, «Кеннеди не считал возможным быстрое урегулирование разногласий между Востоком и Западом. Но он надеялся, что небольшие достижения приведут к большим и шаг за шагом будет достигнута разрядка...»

Катализатором эволюции взглядов Кеннеди стал Карибский кризис осенью 1962 года. В те тревожные дни Америка почувствовала, чем ей грозит ядерное столкновение. Выводы были сделаны Кеннеди в его самой значительной речи, произнесенной 10 июня 1963 года в Американском университете в Вашингтоне. По оценке Соренсена, она была

«первой за восемнадцать лет речью президента, сумевшей подняться выше холодной войны... Президент решил сделать принципиально новый упор на мирное и позитивное в наших отношениях с Советами... Он призвал слушателей по-новому взглянуть на Советский Союз и на холодную войну, отбросить конфликты и предрассудки прошлого». Вскоре ему пришлось преодолевать значительное сопротивление конгресса и военщины, чтобы добиться заключения Договора о частичном запрещении ядерных испытаний, который он, кстати, рассматривал «как начало, а не как завершение». По свидетельству Соренсена, из всех своих многочисленных запланированных будущих свершений Кеннеди одним из важнейших считал «растущую разрядку в отношениях с Советским Союзом».

Именем Кеннеди названы в Америке мыс, аэропорт, выпущены юбилейные полдоллара, но политическое его наследие забывается. Конечно, и Кеннеди несет ответственность за вьетнамскую авантюру, хотя Соренсен пытается представить дело так, что она перешла к нему от предшественника, а сам президент почти ничего не мог поделать, поскольку здесь «Пентагон взял верх над государственным департаментом». Но во всяком случае президент отверг предложение своих советников послать во Вьетнам американские войска для непосредственного участия в военных действиях. «Прежде всего, — говорил он, — это их собственная война. Они сами должны ее или выиграть, или проиграть... Если когда-либо она перерастет в войну белого человека, мы потерпим поражение точно так же, как десять лет назад его потерпели французы».

Многое изменила в американской политике пуля Освальда.

Кем же был Кеннеди для Америки и мира? Книга Соренсена носит слишком апологетический характер, чтобы претендовать на окончательную объективную оценку деятельности тридцать пятого президента Соединенных Штатов. Впрочем, автор и сам признает, что он был к президенту «слишком близок», да и для оценок, возможно, еще «слишком рано». Но можно, пожалуй, сказать, что при живом Кеннеди американская внешняя политика в большей мере учитывала бы реальную обстановку сегодняшнего мира.

## ЛИЧНОСТЬ НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

**Ю. А. Замошкин.** Кризис буржуазного индивидуализма и личность. Социологический анализ некоторых тенденций в общественной психологии США. «Наука». М. 1966. 327 стр.

Эти цифры настолько поразительны, что могут показаться недостоверными. Но сомнений нет — ведь приводятся они апологетами капиталистического строя...

Только за один год в Соединенных Штатах по обвинению в тяжелых преступлениях арестовано более двух миллионов шестисот тысяч человек. Восемьсот тысяч американцев в психиатрических больницах. В стране шесть миллионов алкоголиков. Наркомания среди молодежи распространилась по всей Америке, только в штате Нью-Йорк зарегистрировано двадцать тысяч наркоманов. Каждый год двадцать пять тысяч американцев кончают жизнь самоубийством. Торговец порнографической литературой, зарабатывающий на разращении молодежи полтора миллиона долларов в год, судом оправдан. Служащие ежегодно крадут на работе на круглую сумму в один миллиард долларов. На взятки и откупные в современной Америке расходуется пять миллиардов долларов в год.

Официальная буржуазная пропаганда, признавая эти факты, рассматривает, однако, различные формы разложения личности (растущую преступность, душевные заболевания, пьянство, наркоманию, самоубийства) как явления, никак не связанные с устоями современного американского общества. Напротив, апологеты американского образа жизни пытаются говорить о подобных фактах, как о чем-то совершенно чуждом социальной организации американского общества, несовместимом с его «здоровой», «нормальной» жизнедеятельностью, противоречащем традиционной психологии и идеологии индивидуализма.

Советский философ Ю. А. Замошкин, побывавший в США, имел возможность непосредственно познакомиться с американской действительностью, и с ее отражением в социологической литературе. Опираясь на свои наблюдения и на исследования американских социологов, он в своей книге убедительно развенчивает миф о непричастности капитализма к социальным болезням личности. Для разоблачения этой и многих других легенд об американском образе жизни автор использует богатейший фактиче-

ский материал из работ известных американских исследователей Р. Мертона, Р. Миллса, Д. Рисмэна, Э. Фромма, М. Лернера, У. Уайта.

Эти и многие другие буржуазные социологи показали, что официальная американская пропаганда, продолжающая воспевать идеалы индивидуализма, рекламировать США как общество равных возможностей для всех, как царство частной инициативы и свободного предпринимательства, — находится в вопиющем несоответствии с социальным устройством современной Америки и с реальным положением в ней личности. Перемены в экономической, политической и духовной жизни Америки, свершившиеся за последние полвека, не оставляют места для героев Джека Лондона. Всевластие монополий в экономической жизни, симбиоз бюрократического аппарата промышленных корпораций и полицейско-чиновничьей государственной машины, мощная индустрия коммерческих развлечений создают такую социальную атмосферу, в которой свободная, активно действующая человеческая личность столь же возможна, как и в кастовом обществе древнего Египта. Свободная конкуренция уступила место ситуации, которую сами американцы метко называют «крысиными бегами в закрытой комнате», что соответствует русскому выражению: «Как пауки в банке».

Один из мифов, поддерживаемых официальной пропагандой, — утверждение, что и в современной Америке деловитость и уважение к труду остаются незыблемыми основами общества и принципами формирования личности. Беря в свидетели такие лояльные к буржуазным порядкам источники, как «Ценз Соединенных Штатов» (многомное статистическое издание) и социологические работы Д. Белла, Р. Вейса, А. Видича, Дж. Бенсмана, Х. Свадоса, автор книги убедительно показывает, что в то время, как в Советском Союзе и других социалистических странах характерной особенностью общества является массовый трудовой энтузиазм, в США наблюдается упадок трудолюбия. «Еще вчера европейцы, приезжавшие в нашу страну, находили Америку нацией наиболее энергичных, ревностных ра-

ботников... Сегодня, однако, мы находим все увеличивающиеся жалобы на то, что американцы не хотят хорошо работать...» Это пишут в своей работе «Социальные проблемы и дезорганизация в сфере труда» Р. Вейс и Д. Рисмэн. Современная американская действительность убивает в людях качества, присущие «деловому человеку»: энергию, инициативу, предприимчивость, нелюбовь к праздности. «Для большинства людей небольшой по размерам собственный бизнес есть просто сон наяву». В статье «Миф о счастливом рабочем» Х. Свэдос сообщает, что у большинства рабочих, которых он наблюдал, действительное отношение к труду сводилось к «ненависти, стыду и покорности перед лицом необходимости...». Особенно показательное обращение одного мастера автомобильного завода к молодежи, в котором он сказал: «Я проклинаю тот день, когда я начал работать здесь. Любой человек с разумом, который остается здесь, должен пройти психиатрическую проверку. Это не место для разумного человеческого существа».

Современный капитализм доводит до предела противоречия труда, на которые Маркс указал еще в первой половине прошлого века. Чем больше ценностей создает рабочий, «тем больше сам он обесценивается и лишается достоинства; чем лучше оформлен его продукт, тем более изуродован рабочий... чем замысловатее выполняемая им работа, тем большему умственному опустошению... подвергается сам рабочий». «Конечно,— писал К. Маркс,— труд... творит красоту, но также и уродует рабочего... Он производит ум, но также и слабоумие, кретинизм как удел рабочих» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. 1956. стр. 562).

Американец, как и всякий трудящийся в современном буржуазном обществе, испытывает отвращение к труду именно потому, что современное механизированное и автоматизированное производство низвело человека до роли придатка машины, до положения частичного работника, пораженного разделением труда. Проникновение бюрократических принципов в организацию бизнеса превращает рабочих в придаток производственных процессов, а служащих — в живую деталь механизма управления. Чикагский социолог П. Блау откровенно признает, что «большая и все возрастающая по размерам часть американского народа

проводит свою трудовую жизнь в качестве маленьких винтиков в сложной машине бюрократических организаций».

Общее пренебрежение к идеалам созидания нашло свое выражение и в толковании самого понятия «труд». Упомянутое многотомное статистическое издание «Ценз Соединенных Штатов» связывает труд лишь с понятием «наемная служба». Деятельность экономических, политических и культурных институтов все более строится на обезличивании человека, подчиняясь правилу: «Не принимая во внимание личность». Корень понижения ценности труда и возрастания ненависти к нему со стороны трудящегося человека кроется в том, что современный капитализм вообще характерен превращением всех форм деятельности и жизни в жесткий механизм, в замкнутый автоматический процесс. «Тенденция такова, что функции индустриального рабочего могут быть определены как деятельность по образцу машины», — отмечает Э. Фромм. По мнению очень многих американских социологов, сама организация общества в США, в особенности в сфере бизнеса, копирует машину, автомат. Американцы берут машину даже в качестве образца для человеческого поведения. В самом непосредственном материальном производстве к человеку относятся как к одному из многих средств производства. Сама суть современного буржуазного способа производства обуславливает то, что отношения между людьми выступают как отношения между двумя машинами, которые используют друг друга. Рабочий лишен возможности мыслить и вообще каким-либо образом проявлять свою индивидуальность. В. Паккард на основе многочисленных наблюдений и опросов делает вывод, что рабочие и служащие «находятся вне той области, где принимаются решения».

Другая причина падения социального престижа труда состоит в том, что колоссальное количество труда тратится впустую. В США значительно вырос объем деятельности, выгодной лишь с точки зрения «большого бизнеса», но бессмысленной, если учитывать естественные, нормальные потребности здорового человека и объективные потребности экономического развития. «Американское общество,— пишет П. Гудмэн,— приложило столь много усилий для защиты теории и практики производства преимущественно ради прибыли, а не ради пользы, что сегодня мы весьма преуспели в создании

видов труда и продуктов, приносящих прибыль, но фактически бесполезных».

В условиях безысходной зависимости личности от внешних обстоятельств, господства над человеком могущественных социальных сил все более выступают отрицательные эмоции: ненависть, буйство, безразличие, зависть, страх. Принцип конкуренции, переродившейся в «крысиные бега», причает рассматривать всех людей как действительных и потенциальных соперников или врагов, делает наиболее устойчивой и массовой эмоцией страх. Американские психологи Р. Ньютон и Ф. Г. Нихольс считают страх наиболее универсальным переживанием американцев. «Посмотрите вокруг себя — и вы увидите людей, работающих и живущих в постоянном страхе... Девушка боится потерять свою популярность, учитель боится потерять работу, глава делового предприятия боится за свой бизнес, министр боится поражения, фермер боится, что цены упадут прежде, чем он успеет продать свой урожай... На каждой фабрике, ферме, в каждом доме и деловом предприятии есть несчастные люди, постоянно преследуемые страхом».

Интересна характеристика типов личности, которая дается в книге Ю. А. Замошкина. Перед взором читателя проходят люди-призраки, однобоко развитые, опустошенные, лишенные своего собственного содержания. Общество, превращающее человека в товар, неизбежно само превращается в рынок личностей. У «рыночной личности» все ее способности и свойства, а также все ее отношения с другими людьми становятся товаром, предметом купли-продажи. «Весь процесс жизни, — пишет Э. Фромм, — рассматривается по аналогии с выгодным вложением капитала, когда и моя жизнь, и моя личность становится капиталом, который вкладывается в дело».

Рыночные отношения ориентируют личность на внутренний оппортунизм, отказ от собственного «я». Для нее характерны крайняя пластичность и аморфность, способность действовать в соответствии с принципом: «Чего изволите?» Психологию такого приспособленца-конформиста ярко изобразил Э. Фромм: «Я должен подчиняться требованиям и не быть отличным... Я должен быть готов добровольно меняться в соответствии с изменениями основной линии. Я не должен задавать вопрос, прав я или не

прав, но лишь достаточно ли полно я приспособился или нет, не являюсь ли я особенным, отличным от других». При такой психологической ориентированности человек чувствует себя актером. По требованию «рынка личностей» он надевает и снимает различные маски, демонстрирует те или иные чувства, взгляды, стремления, черты характера.

В американской социологии по отношению к человеку все чаще употребляется термин «исполнитель ролей».

Ю. А. Замошкин прослеживает, как этот человеческий тип трансформируется в «отчужденного человека» — в личность, постоянно мучимую страхом перед лицом социальных бедствий и катастроф, отчужденную от своего прошлого, от своей работы, от общества, в котором она живет, и даже от самой себя.

По заключению автора, подкрепленному ссылками на американские источники, в США очень распространен тип человека, называемого «эскапистом» и стремящегося убежать от действительности при помощи различных возбуждающих средств. Разновидностью этого типа являются хипстеры (от английского слова *hips* — «бедра») — молодые люди с развинченной походкой, презрительным выражением лица, отдающие все свое время поискам развлечений. Типичен для Америки мешанин-обыватель, потребительская личность, все интересы которой направлены в сферу личного быта. Широко распространен «стандартизированный человек» — продукт бюрократической обработки, политической пропаганды, коммерческой рекламы. Его мозги хорошо промыты, облик отшлифован, а сам он превращен в «неспособного мыслить робота», инертного и легко поддающегося любому влиянию. Именно эти социальные типы личности являются средой, порождающей преступников, наркоманов, искателей развлечений, душевнобольных.

Все эти болезни личности, называемые американскими социологами «аномии», оказываются вполне закономерными следствиями существующей в Соединенных Штатах социальной системы и порождаемой ею политической и культурной атмосферы. Общество, запутавшееся в неразрешимых антагонизмах, поставило личность на грань катастрофы. В обосновании этого тезиса заклю-

чалась основная задача автора книги, и он хорошо справился с ее решением; с документальной достоверностью он сумел обнажить истинный облик «американского образа жизни».

Есть в книге и промахи. Автору не удалось с той же достоверностью обрисовать становление черт нового типа личности — борца против социального и технологического порабощения человека в современной

Америке. Его заявления на этот счет носят декларативный характер. Не всегда автору удается держаться на уровне последовательной научности: в некоторых местах изложение становится наукообразным. В целом же книга Ю. А. Замошкина — заметное явление в современной советской социологической литературе.

**А. ПОТЕМКИН.**

Ростов-на-Дону.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**«ЖИЗНЬ — ПОДВИГ».** А. Избышев. С. Шварц. Д. Карбышев. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1965. 122 стр.

Это — первая книга из серии «Жизнь — подвиг», издание которой предприняло Западно-Сибирское книжное издательство. В нее вошли очерки о трех выдающихся сибиряках, имена которых вынесены в заглавие.

Из очерка П. Карякина «Красный урман» читатель узнает о партизанском движении, возникшем в период борьбы за советскую власть в Тарском уезде Западной Сибири, под руководством Артема Ивановича Избышева. Возвратившись большевиком из царской армии в родное таежное село Седельниково, Избышев организует вокруг себя бедняцко-средняцкие массы. Его избирают председателем волисполкома. После контрреволюционного переворота в Сибири Избышев создает партизанский отряд. Вначале в нем было всего лишь пятнадцать человек. Вскоре в него влились крестьяне освобожденных сел и деревень, партизаны соседних волостей; отряд стал именоваться партизанской армией. Она насчитывала несколько тысяч человек и освободила правобережные волости вдоль Иртыша на протяжении восьмидесяти километров. Для борьбы с партизанами ставка Колчака была вынуждена снимать воинские части с фронта. После героической гибели командира Избышева партизаны под командованием комиссара Захаренко и начальника штаба Абрамова продолжали громить белогвардейцев. Они удержали освобожденную территорию до прихода Красной Армии, влились в ее состав и преследовали отступающих колчаковцев до Иркутска.

Очерк В. Быкова «Солдат партии» посвящен видному большевику Сергею Александровичу Шварцу, члену партии с 1912 года. В прошлом грузчик, он до революции был одним из организаторов забастовок новониколаевских рабочих. После победы Октябрьской революции С. А. Шварц работал в Новосибирском Совете рабочих и солдатских депутатов. В период колчаковщины был арестован, сидел в Александровском центре и стал одним из организаторов восстания заключенных. После побега был партизаном, а затем комиссаром в Красной Армии.

С окончанием гражданской войны С. А. Шварц — профессиональный партийный и советский работник, был делегатом X, XI и XIII съездов партии. В январе 1938 года он стал жертвой необоснованных репрессий.

В очерке Ф. Володарского «Ученый, воин, коммунист» воскрешается герсическая жизнь и смерть Героя Советского Союза профессора и генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, уроженца Омска.

Рассказывая о подвигах сибиряков, эта небольшая, но содержательная книжка воссоздает картины нашего герсического прошлого и знакомит читателя с замечательными советскими патриотами.

В. Яунзем.

★

**Р. КАРМЕН.** Буэнавентура — гражданин Кубы. «Детская литература». М. 1966. 229 стр.

Роман Кармен известен в Советском Союзе и за его пределами как один из лучших кинорепортеров нашего времени. В этой оценке нет преувеличения: свидетельством тому — успех его документальных фильмов о вооруженной борьбе народов Испании и Вьетнама, о битвах под Москвой и Сталинградом, о том, как Индия и Бирма ищут новые пути развития, о том, как трудятся нефтяники Каспия и полярники Арктики.

Как правило, почти за каждым новым кинопроизведением этого мастера следует появление книги, написанной им же. В этом проявляется, видимо, естественное стремление Кармена поделиться с людьми тем, что осталось за кадром его фильма, о чем он в силу лаконичности и специфики языка кино не смог или не успел рассказать при помощи целлулоидной ленты. Так появились его книги журналистских очерков «Автомобиль пересекает пустыню», «Свет в джунглях», «Вьетнам сражается», «По странам трех континентов». А в этом году появилась еще одна его книга: «Буэнавентура — гражданин Кубы».

«Буэнавентура — это значит добрая судьба, — пишет автор на форзаце. — Так зовут мальчика, которого мы повстречали в горах Сьерра-Маэстра на острове Куба.

Маленький Буэнавентура стал героем документального фильма о революционной Кубе».

Но главный герой новой книги Романа Кармена, как и фильма «Пылающий остров», — народ Кубы, страны, которую автор хорошо изучил, несмотря на всю сложность ее характера, понял и, чувствуется, искренне полюбил. Это ощущается не только в горячности взволнованного рассказа, но и в сделанных самим автором выразительных и ярких фотографиях, которыми щедро иллюстрирована эта книга о «первой свободной территории Америки», избравшей путь строительства социализма.

Книгу «Буэнавентура — гражданин Кубы» автор строит естественно и просто. Он предлагает читателю проделать по Кубе тот же путь, который он со своей съемочной группой сам совершил во время работы над «Пылающим островом». И вместе с группой советских людей, пристально наблюдающих Кубу глазами, полными острой любознательности, и воспринимающих ее дружелюбным сердцем, мы знакомимся с бурной историей карибского острова, с полной романтики революционной эпопеей «барбудос» Фиделя Кастро, видим сегодняшней день острова Свободы, его пейзажи и населяющих его людей. И хотя после 1959 года в Советском Союзе написано о Кубе немало интересных и запоминающихся книг, репортаж Романа Кармена не повторяет сказанного. Даже люди, побывавшие в этой стране, могут узнать о ней по книге Кармена много интересных деталей и штрихов, которые не сразу бросаются в глаза, составить более полный и яркий образ замечательной страны.

Хуан Кобо.

★

**П. В. МАКОВЕЦКИЙ.** *Смотри в корень!* Сборник любопытных задач и вопросов. «Наука». М. 1966. 232 стр.

Судя по названию — это юмористическая книжка. Но продается она в магазине технических изданий. И тут нет ошибки, ибо крылатые слова Козьмы Пруtkова следует в данном случае понимать в самом прямом смысле. «Вы овладеваете физикой, математикой, географией, астрономией и другими науками, — пишет автор, обращаясь к своим читателям. — Вы твердо знаете, что все эти науки пригодятся в жизни... А прочно ли вы усвоили науки? Сумеете ли вы применить их в жизни?»

Книга «Смотри в корень!» не повторяет хорошо известные занимательные книги Перельмана и других. Она построена так: сначала формулируется задача, и читатели приглашают: попробуйте сами найти корень. Иные задачи кажутся столь ясными, что ответ напрашивается сам собой. Например, такая: «Сегодня день равен ночи. Чему равна их общая продолжительность?» Не задумываясь, вы, конечно, скажете: 24 часа 00 минут 00 секунд и что так оно всегда. И вы... ошибетесь.

В чем ошибка? Это можно узнать, прочитав книгу.

Впрочем, ее нельзя просто читать, ее надо изучить, штудировать. Эта книга — экзаменатор. Но экзаменатор не оставляет экзаменуемого беспомощным — он помогает ему находить ответы на все вопросы, добраться до корня. Однако автор предупреждает: сначала попытайся сам. Если окажешься в тупике, вот тебе помощь. За изложением задачи следует как бы подсказка. Она наводит на истинный путь, но еще не содержит ответа на вопрос. И наконец дается решение и объяснение.

Подбор задач интересен и остроумен. Автору не чуждо чувство юмора. Афоризмы Пруtkова порой как бы освещают смысл задач.

Выпустила эту книгу главная редакция физико-математической литературы издательства «Наука». В похвалу этой редакции надо сказать, что она заботится не только об обеспечении литературой уже зрелых специалистов, но и тех, кто собирается стать на путь науки. И это хорошо.

П. Ильин.

★

**АЛЕКСАНДР КУШНЕР.** *Ночной дозор.* Вторая книга стихов. «Советский писатель». М.—Л. 1966. 124 стр.

Как ни разноречивы были мнения о первой книге Александра Кушнера «Первое впечатление», одно не вызвало споров: со страниц сборника глядел на нас человек, интересующийся всем на свете, умеющий смотреть на мир зорко и свежо, хотя некоторая созерцательность и холодноватость, склонность к парадоксам были заметны невооруженным глазом.

К счастью, Александр Кушнер, так сказать, не стоял на месте. Вторая книга его стихов — «Ночной дозор» — хотя и не свободна от тех же недочетов, но привлекает новыми, более значительными поисками и достижениями.

Прежде всего у нее есть своя сквозная тема, есть тенденция, явственно заметная и во вступительном, программном стихотворении:

Черты случайные сотру,  
Свою внимательность утворю.  
Чему стихи нас учат? Строю.  
Точнее — стройности. Добру.

Стихи о добре, о красоте, о человечности труда, вносящего в жизнь строй и стройность, составляют как бы единый цикл. Трудовая тема, раскрытая и в лирическом, и в философском плане, не новость для нашей поэзии. Но А. Кушнеру удалось найти к ней свой подход. Связав ее с обыденной атмосферой жизни своего героя, он исподволь то и дело переводит разговор в философский план, никак, однако, этого не выделяя и не подчеркивая. Получается именно «строй» самой повседневности. Так же входит в жизнь его героя тема красоты. В стихотворении «Декабрьским утром...» он говорит:

И я усилием привычным  
Вернуть стараюсь красоту  
Домам, и сверлам безразличным,  
И переходу на мосту.  
И пропускаю свой автобус,  
И замерзаю, весь в снегу,  
Но жить, покуда этот фокус  
Мне не удался, не могу.

Основная тема, безусловно, господствует в книге, и это создает особую трудность для рецензента — пересказать прозой тонкие и неожиданные вариации одного и того же мотива. Особенно оригинальны в этом смысле стихи о природе, где все уравновешено с такой точностью, «что может пенчик спать в гнезде», где и земное время порой становится вместительным, как вечность, а пространство — сжатым, как часовая пружина...

Из всего сказанного легко заключить, что перед нами, как принято теперь говорить, интеллектуальная поэзия. Ее нельзя назвать «рассудочной», потому что на размышления тут почти всегда наводит живое чувство, увлеченная, искренняя интонация. Порой, правда, хотелось бы с большей силой ощутить непосредственное переживание, быть может, не влекущее за собой далеко идущих обобщений, но способное захватить силой и страстью. Но при этом надо сказать, что «поэзия мысли» почти нигде не переходит у А. Кушнера за ту грань, где начинается надуманность, искусственность, претенциозность.

Эти сны роковые — вранье!  
А рассказчикам нету прощенья,  
Потому что простое житье  
Безутешней любого смещенья.

Кушнер очень настаивает на том, что для его героя жить, как все, быть, как все, — это и значит жить по-настоящему, на самом деле. Он воспевает и поэтизирует «эту подлинность» обыденной жизни. И тут вовсе не какая-нибудь лирическая «дегеронизация», потому что «простое житье» само по себе возвышенно, драматично и удивительно.

**В. Портнов.**

Баку.

★

**НИНА ПЛАТОНОВА.** Книжка эта про поэта. Издательство «Мектеп». Фрунзе. 1965. 108 стр.

Книга Н. Платоновой написана для школьников среднего возраста. Это — рассказы о Маяковском, часть из которых построена на собранных и обработанных автором воспоминаниях людей, видевших и знавших поэта, другая посвящена теме «Маяковский сегодня». В числе первых наиболее интересны воспоминания скульптора О. М. Мануйловой («Ровесница поэта»). Здесь есть эпизоды, может быть, и незначительные в масштабе всей жизни Маяковского но интересные для тех, кто его любит. Так, впервые, кажется, в литературе о Маяковском рассказано о шуточном гадании, устроенном им на вечер в пользу раненых в Училище живописи, ваяния и

зодчества; дана живая зарисовка Маяковского на выставке футуристов. Интересны и «Три встречи» — запись рассказа случайного попутчика, оказавшегося тем человеком, о котором Маяковский заметил: «Красноармеец из уличного патруля... сам удостоверял мою поэтическую личность».

Однако эти рассказы — приятное исключение в книге. В основном автор стремится просто проиллюстрировать то, что известно даже школьникам. Общеизвестные факты биографии поэта — видимо, в целях «художественности» — обрастают подробностями не только ненужными, но и мзлоубедительными. В рассказе «Желтая кофта», например, наряду с десятками раз побывавшими в разных книгах репликами из разговоров Маяковского с аудиторией (не случайно автор дважды ссылается здесь на Льва Кассиля) приводятся фантастические подробности шествия футуристов — Бурлюка, Каменского и Маяковского — по улицам Москвы. Коробит от рассказов о детстве Маяковского. Они направлены к одной цели: показать, каким пай-мальчиком был великий поэт. Из автобиографии «Я сам» известно, что однажды в мальчишечьей драке на Рионе Маяковскому пробили камнем голову. Из этого эпизода Н. Платонова создает рассказ «Светлячок», где о «Володе Маяковском» умиленно рассказывает старый учитель. Это он был тем мальчишкой, который разбил голову Володе, и до сих пор он потрясен благородством своего знаменитого друга: Володя ни разу не попрекнул его и даже не пожаловался ни в полицию, ни родителям. Всю эту «трогательную историю» учитель рассказывает в назидание поссорившимся девочкам.

Претендуя на то, чтобы быть художественным произведением, книга Н. Платоновой теряет свою единственную ценность — ценность достоверности. Облекая в беллетристическую форму общеизвестные факты, книга не выходит за рамки «оживляющей иллюстрации» к школьному учебнику по литературе. Сама поэзия Маяковского, его взгляды на поэзию трактуются в ней крайне прямолинейно. «Сначала он говорил о том, что глубокая поэзия всегда общедоступна, как земля, по которой может ходить каждый. Но, чтобы извлечь из земли все ее ценности, нужно проникнуть в ее недра. Так и в поэзии: не все ведь лежит на поверхности», — такими общими и необязательными словами пересказывает автор один из разговоров-докладов Маяковского, в котором было сформулировано существо его понимания поэзии.

Острый вопрос об отношении к Маяковскому сегодняшней молодежи возникает в рассказе «На одном уроке»: двое ребят заявляют в классе, что не любят его поэзию. Проблема эта имеет под собой глубокие психологические и социальные корни и дает основания для серьезных размышлений. Однако у Н. Платоновой все разрешается исключительно просто: с одной стороны, она сводит это к единичному случаю.



с другой — показывает, как легко с этим бороться. Ученик не понимал, не любил Маяковского — учитель разъяснил ему, и он полюбил.

Без сомнения, Нина Платонова рассказывает все это с самыми лучшими намерениями и из любви к Маяковскому. Она не замечает только, что книга ее часто звучит крайне фальшиво и что она добавляет в литературу о Маяковском большую порцию того «хрестоматийного глянца», который так ненавидел поэт.

**В. Швейцер.**

★

**ВСЕГДА ПО ЭТУ СТОРОНУ.** Воспоминания о Викторе Кине. «Советский писатель». М. 1966. 280 стр.

Как-то исподволь, незаметно, но устойчиво и прочно у нас образовалась хорошая традиция — выпуск мемуарных сборников о советских писателях. Трудно переоценить их значение и ненавязчивую, скромную поучительность. Тем более, что год от года, с каждой новой книгой, сборники эти делаются все лучше и лучше. Постепенно исчезает с их страниц однообразно-юбилейный тон и бархатное риторическое словословие, обволакивавшее живые образы тех, кому посвящены воспоминания, и делавшее их неотличимо похожими друг на друга.

Лучшие сборники этого рода существенно расширяют наше представление о живых литературных процессах недавно минувших, но отчасти уже забытых лет, заставляя пересмотреть многие случайные оценки, ошибочные репутации, поверхностные выводы. Конечно, не все, вошедшее в эти сборники, равноценно по содержательности и литературному значению: обычно в каждой книге над всеми материалами доминирует какая-нибудь одна, особенно удавшаяся, богатая новизной фактов и их освещением работа. Но и почти в каждой, пусть небольшой, всего в несколько страничек, статье, зарисовке, очерке найдется что-то важное и характерное.

Сборник «Всегда по эту сторону» посвящен памяти превосходного писателя и удивительного человека Виктора Павловича Кина, автора прославленного романа «По ту сторону», образ которого усилиями многих его друзей недавно был воскрешен из

исторического небытия, в котором он пребывал почти четверть века. Двадцать два мемуариста и составитель книги С. А. Ляндрес сумели воссоздать живой, неповторимый портрет Виктора Кина, этого на редкость цельного и целеустремленного художника, газетчика, революционера.

Вот он перед нами — борисоглебский гимназист, сын паровозного машиниста Павла Суровикина, организатор первой в городе комсомольской ячейки (воспоминания Марии Ереминой, Рафаила Гуревича, статья А. Арбузова). Вот Кин — дальневосточный подпольщик (воспоминания Виктора Шнейдера). Вот комсомольский газетчик сначала в Свердловске, потом в Москве (воспоминания А. Зуева, Г. Литинского, Н. Стальского, Б. Борисова и других). Вот Кин — иностранный корреспондент, представитель ТАСС в Италии и Франции (воспоминания А. Курской, С. Маршака, М. Рихтерман, М. Чарного). Вот Кин — писатель и редактор (воспоминания Льва Славина, В. Катаяна, С. Трегуба). Вот Виктор Кин в трудные годы культа Сталина, накануне своей гибели (воспоминания Л. Бать и Анны Наумовой). И, наконец, весь жизненный путь Виктора Кина обнимает лучшая в сборнике, обстоятельная, неторопливая мемуарная повесть жены и друга писателя Ц. Кин «Наша молодость». Она занимает пятую часть всей книги и талантливо рисует не только самого В. Кина, его убеждения, пристрастия, привычки и антипатии, его неосуществившиеся замыслы и планы и великолепное мужество его характера, но и дает верными и точными штрихами историческую панораму времени, в котором он жил и работал. Это вершина книги, ее центр, ее кульминация — «сюжетная» и идейная.

Стоит отметить, что книга эта (в отличие от некоторых других изданий подобного «профиля») изящно сделана полиграфически (художник И. Куклес). Во всем чувствуется, что сборник составлялся, редактировался и оформлялся с большой любовью и уважением к его герою, которые не может не почувствовать каждый читатель этой прекрасной и очень своевременной книги.

**Александр Гладков.**

#### ПОПРАВКА

В № 8 журнала «Новый мир» за 1966 г. допущены опечатки.

На стр. 217, первый столбец, в строках 26—28 сверху следует читать: «Другое дело, что принципиальный литературный спор обычно сам по себе бывает бесполезен...»

На стр. 222, второй столбец, в строках 16—17 снизу следует читать: «какую не всегда удавалось сохранить и этому мастеру».

## Без комментариев

Появление на наших страницах нового раздела «Без комментариев», в котором «Новый мир» без возражений или пояснений перепечатывает некоторые материалы, появившиеся в других изданиях, встретило живой отклик наших читателей, которые не только оценили наглядную убедительность этой формы полемики, но и стали активно помогать нам своими советами, наблюдениями и находками, сопутствующими чтению литературной периодики. Так, публикуемые в этом номере фрагменты из отчета П. Струкова («Октябрь», № 6, 1966) присланы нам читателем А. Г. Васильевым (г. Обнинск).

### 1

Из статьи Михаила Брагина «Сущность подвига» («Литературная газета», 15 сентября 1966 года)

Очерк Кривицкого в «Красной звезде» о 28 павших героях был написан так, что стал военно-политическим и литературным документом. Чеканные фразы его были похожи на эпитафии, высеченные на граните надгробий героев Октябрьской революции на Марсовом поле.

Из письма Б. А. Ивантера с фронта (сборник «В редакцию не вернулся...». Политиздат. М. 1964, стр. 149)

28 сентября 1941 г.

...Ты знаешь, чем меня огорошил шеф<sup>1</sup>, когда я только приехал: «А, писатель! Хорошо, а можете ли вы, если я вам дам факт в четыре строчки, сделать из него очерк? Вот что нам нужно».

— Могу, — сказал я. — Я все могу, но делать этого не буду.

<sup>1</sup> Редактор армейской газеты.

Из книги А. Кривицкого «Не забуду forever» (Воениздат. М. 1964, стр. 13)

Вскоре после переезда в здание «Правды» редактор вручил мне четыре строчки политдонесения, поступившего в числе многих других от политотдела одной из дивизий, оборонявших Москву. В нем было сказано, что группа бойцов во главе с политруком Диевым отразила атаку 50 танков. Ни имен бойцов, ни точного рубежа, на котором разыгрался бой, — ничего не известно. Только фамилия политрука, упоминание о разъезде Дубосеково и самый факт, волнующий, как тревожная, сильная песня...

Я тотчас сел к столу и написал передовую...

Из той же книги (стр. 70—71)

Автор был тогда молод, но уже не питал никаких иллюзий насчет своего литературного таланта. Он понимал: судьба столкнула его с Великим, у нее не было в тот момент под рукой никого другого, и она сказала ему: «Видел, понял? Теперь пиши, да поскорее!»

Из очерка А. Кривицкого «Василий Клочков и его товарищи» (сборник «Навечно в строю». Воениздат. М. 1961, стр. 241)

...Меня вызвал к себе Александр Сергеевич Щербаков...

— Хорошо, — сказал товарищ Щербаков, выслушав меня. Подчеркнув в очерке две строки, он спросил:

— А кто вам передал последние слова Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва?»

Я тихо ответил:

— Все, кто был с ним, убиты, поле боя осталось у фашистов. Этих слов, товарищ армейский комиссар, никто мне не передавал. Но это само написалось... Наверно, Клочков перед смертью думал именно так...

### 2

Из статьи Владимира Левина «Дуэль Лермонтова» («Литературная Россия», № 31, 1966.)

Не следует забывать, что Лермонтов был очень молод, что характер его был еще недостаточно устойчив и полон противоречий, так как находился еще в процессе формирования. В то же время Печорин, человек умудренный значительно большим жизнен-

ным опытом, закалившим свой характер в различных бурях, уже прошедший в своих отношениях с обществом тот этап, на котором пока еще находился Лермонтов,— натура, безусловно, более цельная и в данный момент, пожалуй, более сильная, чем Лермонтов.

Очень существенно также, что герои и автор находятся по своему интеллекту на одном уровне. Лермонтов создал образ, в этом плане ничем не уступающий ему самому. Интеллектуальная близость Печорина и Лермонтова такова, что, встретиться они в жизни, между ними вполне могли бы возникнуть близкие отношения — в тех пределах, разумеется, в каких допустил бы их Печорин, который был бы в этой дружбе старшим.

## 3

**Из отчета Петра Строкова о пленуме Союза писателей РСФСР («Октябрь», № 6, 1966)**

Если В. Федоров остановился на критике абстрактно-гуманистических позиций при освещении исторического прошлого нашей Родины, то А Иванов обратил свой взор к современности, к социальным конфликтам наших дней.

— Сейчас нет в нашем обществе Половцевых, Рваных, Островных в том виде, в каком описал их Шолохов. Но есть — и немало, как мне кажется, — их наследников, которые еще живут на земле, среди нас, в самых разнообразных обличьях. И борьба с ними будет еще долгой и нелегкой... (стр. 215).

В своем выступлении Г. Бровман подверг справедливой критике... (стр. 216).

...Тем, кто стремится... хорошо ответил В. Липатов... (стр. 216).

. И. Стаднюк с возмущением говорил... (стр. 218).

..не худо бы прислушаться к совету Н. Равича, резко выступившего против... (стр. 218).

Против... горячо восстал Г. Мдивани (стр. 219).

Дополняя общую картину, выступающие (И. Стаднюк, А. Дымшиц, Г. Бровман, В. Чивилихин, К. Поздняев и др.) не обошли молчанием и... (стр. 220).

И. Стаднюк дал справедливый отпор... (стр. 220).

И. Стаднюк:

— ...Вынужден сказать еще несколько слов о «Новом мире». За последнее время этот журнал подверг жестокому критическому разному немало произведений, в том числе роман В. Очеретина «Сирена», две последние повести Е. Карпова, повесть Н. Почивалина «Летят наши годы», две повести А. Калинина, повесть М. Алексеева «Хлеб — имя существительное», книгу В. Фирсова «Преданность», повесть В. Чивилихина «Елки-моталки», рассказ В. Тельпугова «Чудо-дерево», литературоведческие книги А. Исбаха и В. Перцова, обругал романы «Орлиная степь» М. Бубеннова и «Минное поле» М. Годенко, повесть Вл. Федорова «Марс над Козачьим бором», стихи Е. Долматовского... (стр. 221).

**Из статьи Леонида Леонова «По координатам жизни» («Вопросы литературы», № 6, 1966, стр. 105—106)**

Заведено так, что назвать бесталанность ее подлинным именем считается чуть ли не признаком дурного тона, во всяком случае, поступком нетоварищеским, антисоциальным что ли, неким публичным поношением. Критическая застенчивость и снисходительность, молчаливое согласие, будто все пишущие наделены равными возможностями, мешают заметить истинную талантливость, способность искусства открывать и показывать то, чего никто не видел.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Краткий биографический очерк. 224 стр. Цена 26 к.

**А. Абрамов.** Часовые поста № 1. Из истории почетного караула у Мавзолея Ленина. 80 стр. Цена 14 к.

**В. Беляев, Н. Петров.** Работаем по-новому. 144 стр. Цена 17 к.

**В. Горбунов, В. Полуян.** Смелчачи. Отряд особого назначения. 80 стр. Цена 9 к.

**Б. Евладов, С. Мокшин.** Золотая долина, академгородок (Репортаж из Новосибирского научного центра). 136 стр. Цена 20 к.

**З. Косидовский.** Библейские сказания. Перевод с польского. 456 стр. Цена 1 р. 48 к.

**Марксистско-ленинская философия.** 512 стр. Цена 92 к.

**Страна национального бесправия.** 128 стр. Цена 24 к.

## «МЫСЛЬ»

**А. Банников.** По заповедникам Советского Союза. 224 стр. Цена 91 к.

**П. Бобровский.** Народнохозяйственная эффективность химизации производства. 287 стр. Цена 1 р. 2 к.

**Л. Коган.** Художественный вкус. Опыт конкретно-социологического исследования. 213 стр. Цена 55 к.

**В. Кривуля.** Он ненавидел войну (Очерки о жизни немецкого публициста и общественного деятеля К. Осецкого). 213 стр. Цена 31 к.

**300 путешественников и исследователей.** Биографический словарь. Перевод с немецкого. 271 стр. Цена 87 к.

## «ЭКОНОМИКА»

**Л. Дудкин.** Оптимальный материальный баланс народного хозяйства (Модели для текущего перспективного планирования). 184 стр. Цена 56 к.

**М. Дьячков.** Учет и анализ хозяйственной деятельности в строительстве. 447 стр. Цена 91 к.

**Научная организация труда и управления.** Сборник. 431 стр. Цена 1 р. 28 к.

**И. Писарев.** Население и труд в СССР. 151 стр. Цена 51 к.

**Экономика Югославии.** 223 стр. Цена 1 р. 33 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**В. Астров.** Круча. Роман. 459 стр. Цена 85 к.

**Е. Благинина.** Окна в сад. Книга стихов. 123 стр. Цена 16 к.

**В. Богатырев.** Чапаев. Поэма. 64 стр. Цена 14 к.

**В. Бритвин.** На Волге (Из жизни рыболовно-инспектора). 262 стр. Цена 33 к.

**С. Даронян.** Тугейльбай Садыкбеков. Критико-биографический очерк. 143 стр. Цена 22 к.

**Г. Диамант.** Правдивая песня. Стихи. Перевод с еврейского. 83 стр. Цена 15 к.

**М. Зингер.** Ходили мы походами. Избранное. 296 стр. Цена 67 к.

**Д. Костанов.** Слияние рек. Роман. Перевод с адыгейского. 387 стр. Цена 70 к.

**В. Краковский.** Возвращение к горизонту. Повесть. 286 стр. Цена 44 к.

**К. Кулиев.** Мир дому твоему. Стихи. Перевод с балкарского. 178 стр. Цена 24 к.

**П. Панченко.** Небосклоны. Стихи. Перевод с белорусского. 131 стр. Цена 20 к.

**А. Поцюс.** По переулочкам пройденным. Рассказы. Перевод с литовского. 174 стр. Цена 29 к.

**Л. Уварова.** Сиреневый бульвар. Повести и рассказы. 440 стр. Цена 78 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**П. Антокольский.** Избранное. В 2-х томах. Т. I. 527 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Кубинские народные сказки.** Перевод с испанского. 295 стр. Цена 1 р. 70 к.

**О. Савич.** Поэты Испании и Латинской Америки. Избранные переводы. 239 стр. Цена 54 к.

**К. Симонов.** Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. I. 639 стр. Цена 1 р. 40 к.

**М. Харлап.** О стихе. 148 стр. Цена 26 к.

**Эстетика и литература.** Статьи болгарских критиков. 367 стр. Цена 1 р.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Б. Анашенков.** Пока гром не грянет. Повесть. 224 стр. Цена 48 к.

**Г. Глязер.** Новейшие победы медицины. Перевод с немецкого. 192 стр. Цена 83 к.

**Е. Дубровин.** Грибы на асфальте. Повесть. 288 стр. Цена 42 к.

**И. Лаврецкий.** Боливар. 208 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 62 к.

**«Прометей».** Историко-биографический альманах. Том I. 424 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 17 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Баруздин.** Повторение пройденного. Роман. 287 стр. Цена 60 к.

**С. Георгиевская.** Дважды два—четыре. Романтическая повесть. 134 стр. Цена 34 к.

**О. Дриз.** Дерево приехало. Стихи. Перевод с еврейского. 110 стр. Цена 34 к.

**Родная поэзия.** Избранные стихотворения советских поэтов народов СССР. 638 стр. Цена 1 р. 61 к.

**А. Сахнин.** Крик из глубины. Повесть. 64 стр. Цена 11 к.

**Ш. Тагаи.** Витязь с двумя мечами. Повесть. Перевод с венгерского. 142 стр. Цена 35 к.

**Х. Теунов.** Правдивая повесть о мальчике из Кожежа. Перевод с кабардинского. 112 стр. Цена 28 к.

## «НАУКА»

**Т. Агекян.** Звезды, галактики, метagalактика. 374 стр. Цена 89 к.

**В моем городе идет дождь.** Новеллы писателей Сирии, Ливана, Иордании. Перевод с арабского. 112 стр. Цена 29 к.

**Вопросы античной литературы и классической филологии.** Сборник статей. 535 стр. Цена 2 р. 49 к.

**Н. Зограф.** Малый театр в конце XIX—начале XX века. 603 стр. Цена 3 р. 2 к.

**М. Ирошников.** Создание советского центрального государственного аппарата. Совет Народных Комиссаров и народные комиссариаты. Окт. 1917 — янв. 1918 г. 298 стр. Цена 1 р. 56 к.

**Искатель жемчуга.** Новеллы израильских писателей. Перевод с арабского, иврит и идиш. 144 стр. Цена 36 к.

**Г. Кошеленно.** Культура Парфии. 220 стр. Цена 91 к.

**Ж.-Ф. Лауэр.** Загадки египетских пирамид. Перевод с французского. 224 стр. Цена 72 к.

**К. Муратова.** Возникновение социалистического реализма в русской литературе. 279 стр. Цена 1 р. 37 к.

**Развитие зарубежных славянских литератур на современном этапе.** Сборник статей. 440 стр. Цена 1 р. 55 к.

**Русско-европейские литературные связи.** Сборник статей. К 70-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева. 474 стр. Цена 2 р. 33 к.

**М. Тихомиров.** Средневековая Россия на международных путях (XIV—XV вв.). 174 стр. Цена 29 к.

**Тургеневский сборник.** Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. II. 395 стр. Цена 2 р. 16 к.

**С. Утченко.** Глазами историка. Рим—Лондон—Париж. Акрополи Эллады. Помпеи—город вечной жизни. Нил течет от пирамид до Асуана. Об исторической науке. 264 стр. Цена 86 к.

**Л. Фришман.** Творческий путь Баратынского. 142 стр. Цена 21 к.

**О. Чемена.** Создание двух романов Гончаров и шестидесятница Е. П. Майкова. 159 стр. Цена 24 к.

**Т. Шах-Азизова.** Чехов и западно-европейская драма его времени. 151 стр. Цена 47 к.

**В. Шошин.** Поэт и мир (о творческой индивидуальности в советской поэзии). 186 стр. Цена 64 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**М. Вентури.** Белый флаг над Кефаллинией. Роман. Перевод с итальянского. 239 стр. Цена 83 к.

**Н. Катифорис.** Когда мы долбили небо. Роман. Перевод с греческого. 166 стр. Цена 45 к.

**А. Лану.** Здравствуйте, Эмиль Золя! Перевод с французского. 510 стр. Цена 1 р. 94 к.

**П. Руссо.** Землетрясения. Перевод с французского. 248 стр. Цена 1 р. 50 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**В. Аксенов.** На полпути к Луне. Книга рассказов. 184 стр. Цена 46 к.

**Р. Бикмухаметов.** Муса Джалиль. 136 стр. Цена 16 к.

**В. Кеулькут.** Солнце над Чукоткой. Стихи. 112 стр. Цена 16 к.

#### «ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Кириллова.** Исковая давность. 156 стр. Цена 61 к.

**Е. Кичигина.** Ответственность за нарушение безопасности движения городского транспорта. 124 стр. Цена 33 к.

**А. Кони.** Собрание сочинений. В 8-ми томах. Том I. Из записок судебного деятеля. 568 стр. Цена 93 к.

**Протест прокурора по уголовным делам.** 128 стр. Цена 33 к.

**С. Смирнов, Э. Зайцев.** Консультации по пенсионному обеспечению. Выпуск I. Трудовой стаж при назначении пенсий. Пенсии на льготных условиях и в льготных размерах. 200 стр. Цена 29 к.

**А. Ширшиков.** Исполнение судебных решений. 108 стр. Цена 28 к.

#### ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ЯРОСЛАВЛЬ)

**С. Аверичева.** Дневник разведчицы. 280 стр. Цена 47 к.

**В. Фатьянов.** Паруса рассвета. Стихи. 64 стр. Цена 7 к.

#### ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (НОВОСИБИРСК)

**И. Елегечев.** Надежда. Повесть. 188 стр. Цена 15 к.

**О. Хавкин.** Вдовья жизнь. Повести. 304 стр. Цена 59 к.

#### ЛЕНИЗДАТ

**С. Красников.** С. М. Киров в Ленинграде. 198 стр. Цена 49 к.

**И. Михайлов.** Поздняя любовь. Книга лирики. 122 стр. Цена 19 к.

**М. Розанов.** Василий Андреевич Шелгунов. 335 стр. Цена 51 к.

Главный редактор А. Т. Твардовский

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), Б. Г. Закс (ответственный секретарь), А. И. Кондратович (зам. главного редактора), А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 2/VIII 1966 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 19/IX 1966 г.  
A 10130. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.) Тираж 141.250.  
Зак. 2593. Тираж 141.250.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



## «НОВЫЙ МИР» В 1967 ГОДУ

В 1967 году редакция журнала «Новый мир» предполагает опубликовать среди других разнообразных материалов имеющиеся в ее портфеле или близкие к завершению и предназначенные для «Нового мира» произведения:

роман **Ф. Абрамова** «Две зимы и три лета» — о северной деревне послевоенных лет;  
 новый роман **Г. Бакланова**;  
 «Плотницкие рассказы» **В. Белова**;  
 повесть **Г. Бёля** «Конец служебной командировки»;  
 повесть **В. Быкова** «Атака на рассвете»;  
 книгу очерков **Р. Гамзатова** «Мой Дагестан»;  
 повесть **Е. Герасимова** «Путешествие в Спас на Песках»;  
 новую повесть **Х. Гойтисоло**;  
 «Деревенский дневник» **Ефима Дороша** (заключительные главы);  
 роман **С. Залыгина** «Соленая падь» — о годах гражданской войны;  
 повесть **Фазиля Искандера** «Сандро из Чегема»;  
 новый цикл рассказов **В. Некрасова**;  
 роман **А. Рыбакова** «Дети Арбата»;  
 повесть **В. Семина** «Исполнение надежд»;  
 пьесу **Г. Троепольского** «Гнилой король»;  
 роман **Уоррена Р. П.** «Вся королевская рать».

В 1967 году в связи с близящимся пятидесятилетием советской власти редакция журнала особое внимание уделит произведениям историко-революционной темы. Готовятся к публикации:

«Зимний перевал» — большая работа **Е. Драбкиной** о последних годах жизни **В. И. Ленина**; воспоминания одного из организаторов советской промышленности Героя Социалистического Труда, члена-корреспондента АН СССР **В. С. Емельянова**; Главного маршала авиации **А. А. Новикова**; участника боев в Испании **А. Эйнера** и другие работы этого жанра.

### ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

Подписка на «Новый мир» принимается во всех отделах и агентствах «Союзпечати», в отделениях связи и общественными распространителями печати без всяких ограничений.

О всех случаях отказа в оформлении подписки просим сообщать в редакцию журнала.